

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЕСТНИК
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

25 (1)

1928

ИЗД-ВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Коммунистическая академия
1972
874-а

ВЕСТНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

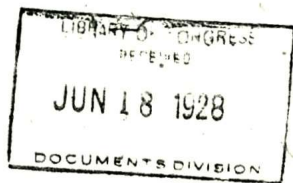
СНР

КНИГА
XXV (1)

ИЗДАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

1928

AS262
M58



Москва. Главлит А 9296.

ИКА 171.

3.500 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный пер., 9.

ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО ПЕРЕД СУДОМ СОВРЕМЕННОСТИ¹.

Связь эстетического и этического учения Чернышевского с его личностью обыкновенно устанавливается и друзьями его, и врагами, но, как мне кажется, неправильно, благодаря тому, что обычно недостаточно отчетливо рисуется самый портрет Н. Г. Чернышевского. Характеристика его, как человека, довольно легко может быть почерпнута из переписки, воспоминаний, дневника и всего того обильного материала, которым мы располагаем; но до сих пор материалом этим пользовались весьма недостаточно.

Господствующее представление о Чернышевском такое: это был человек необычайно твердых убеждений, очень большого ума, очень широкого образования, мужественная натура и в высшей степени серьезная личность, конечно, передовой человек своего времени, но, вместе с тем, — человек прозаического склада, нигилист, «желчевик», как его называл Герцен. Выражение, которое употребил Тургенев в разговоре с ним, когда сказал: «Вы, Николай Гаврилович, просто змея, а Добролюбов — очковая», свидетельствует о том, что и Тургенев расценивал его, как существо очень мудрое, ползучее и лукавое. Во всяком случае, тем, кто по наслышке или вообще более или не менее поверхностно знает Чернышевского, он представляется человеком несколько суховатым, чуждым всякого идеализма.

У нас идеализм теоретический и философский очень часто смешивали, а, может быть, и сейчас смешивают, с идеализмом практическим. Так, например, известный поэт Третьяков провозгласил на-днях, что нужно объявить борьбу пафосу и поставить ставку на «делягу». И мы часто склонны думать, что Чернышевский был делягой, человеком без пафоса, человеком, который относился к эстетизму с такой же иронией, с какой Базаров относился к красивым фразам, словом, — деловая, рассудочная натура.

Отсюда выводят его беллетристическую бездарность. Говорят: конечно, «Что делать» — в своем роде великое произведение, вызвавшее огромный шум и, в свое время, очень многим, указавшее путь; но, если рассматривать его с чисто художественной точки зрения, то в нем ощущается недостаток фантазии, лирики, как раз вот того, чего и должно не хватать у такого очень ученого, очень уважаемого, даже по своему

¹ Доклад в Секции литературы и искусства Комм. Академии.

великого, но все-таки — сухаря. Ему, казалось бы, надо было дать тот совет, который Аполлон дал Сократу, человеку слишком интеллектуальной и рассудочной природы, незадолго до его смерти. Аполлон советовал Сократу поучиться музыке. Этой музыки, смягчающей, гармонизирующей, дающей привкус интуиции, романтики, Чернышевскому совсем уже, повидимому, не хватало. И те, кто готов держать и держит курс на «делая», должны быть в восхищении от такого «реализма» Чернышевского, и этот самый сухой очерк его фигуры должен им до чрезвычайности импонировать.

Чернышевского-беллетриста в сегодняшнем моем докладе я совершенно не буду касаться. Но можно было бы подумать, что такая вот сердечная сухость Чернышевского, его «мозговизм» подсказали ему мысль, что на самом деле существует только эгоизм, и что только разумно избираемый, с точки зрения эгоизма, тот или другой план поведения человека и существует реально, и никакой другой этики, кроме этики разумного эгоизма, нет и быть не может. Сухо, рационалистично. Целый ряд невосомых величин, бессознательное, все уплыло куда-то, не видит этого Чернышевский. Легко сделать вывод, что автор такой теории, т. е. Чернышевский, сам слишком сознательный человек. человек исключительно интеллектуального плана.

Что является главной идеей всей «Эстетики» Чернышевского? Отрицание эстетизма, как такового, настолько далеко идущее отрицание эстетизма, что Писареву даже показалось, будто Чернышевский, взяв в свои узловые руки исследователя такие тонкие предметы, как искусство и эстетика, придушил их — ко всеобщему благополучию, по мнению самого Писарева. Правда, Плеханов доказывал, что ничего подобного не было, что «Эстетика» Чернышевского — серьезный, исчерпывающий трактат; но самая постановка вопроса — заподозривание искусства в какой-то непрактичности, стремление доказать, что действительность, как таковая, гораздо выше всякой мечты и всякого рода художественного творчества — все это, конечно, заставляло тех либералов, которые окружали Чернышевского, относиться к нему, как к чудовищу антиэстетизма, как к человеку, чересчур делового и сухого типа.

Самую блестящую характеристику Чернышевского, всех граней его необычайно богатой личности, дал Плеханов. Пятый и шестой томы сочинений Плеханова — это самые блестящие книги, посвященные Чернышевскому. Но у самого Плеханова мы находим, как главный подход, — я бы даже сказал, как основную нить в его понимании Чернышевского, — нечто родственное такой характеристике Чернышевского, как сухого человека, как нигилиста, как базаровоподобного индивида.

Главный тезис Плеханова в его характеристике Чернышевского: Чернышевский — просвещенец, Чернышевский — просветитель того же типа, что и просветители XVIII века. Это, как известно, были мозговики, люди, которые рациональный подход ставили выше всего, которые совершенно не умели ценить интуитивного, подсознательного, и которые исторически, или, как сказал Маркс, диалектически, к предметам подходить не умели, а ставили вопросы чересчур с точки зрения логики, здравого смысла, требований интеллекта.

На чем основывается Плеханов, когда он выдвигает такое обвинение против Чернышевского? Главное основание (и здесь Плеханов абсолютно прав), конечно, — мирозерцание Чернышевского, основная характеристика его системы и, прежде всего, социальной системы. В самом деле, Плеханов устанавливает, что Чернышевский был настоящим, выдержанным материалистом-фейербахианцем, и, как многие материалисты-фейербахианцы, он, ставя перед собой социальные проблемы, переставал быть материалистом. Представление о мире и о человеке было у него материалистическое. Ничего, кроме материи со всеми ее свойствами и ее эволюцией, он, как будто, не допускал. Но рядом с этим, он считал, что, как говорит Плеханов, мнения руководят миром. Это значит, что если понять законы природы, если понять законы человека, то можно тогда продиктовать свою разумную волю этому миру. Так говорили и великие люди Французской революции: признавши, что природа представляет собой закономерную совокупность материи и сил, надо познать ее, как следует, а, с другой стороны, — раскритиковать перед судом разума существующие порядки, отбросить то, что разум найдет хламом, и оставить то, что разум находит выгодным для людей. Вся задача заключается в познании, критике и осуществлении разумного плана. Такое представление о ходе развития общества и вытекающая отсюда тактика его преобразования, заключающаяся в осуществлении установленного разумного плана, сила которого — убедительность его, его разумность, — это, конечно, идеалистический подход.

Таким образом, материалисты, стоящие на домарксистской точке зрения, срываются в отношении общественных вопросов в идеализм. И вот то, что они к вопросам социологическим, к вопросам исторического, экономического и политического порядка подходят с такой идеалистической точки зрения, и делает их рационалистами и просветителями, т. е. людьми, думающими, что движущей силой процесса исторического развития является идея. А отсюда неизбежно вытекает и преувеличенное представление о значении идеолога.

Умный, образованный человек, критическая личность есть носитель идеи. А идея — это есть сила, преобразующая мир. Значит, настоящий преобразователь мира, настоящий руководитель событий — это именно разумная личность. В этой разумной личности нет ничего более важного, чем ее интеллект. Все остальное — чувства и т. д. — отходит на задний план.

Сам Плеханов не говорит, определяя Чернышевского, как просветителя, что он — интеллектуалист, что он — мозговик; он не примыкает полностью к тем, кто рисует портрет сухого человека, живущего исключительно жизнью мозга, жизнью убеждений (замечу, что среди них много людей, уважающих Чернышевского). Но так как обвинение в том, что Чернышевский ставил слишком высоко значение идей, что он переоценивал значение интеллектуалистов и их интеллекта, дополнилось всякими, до Плеханова и после Плеханова возникшими суждениями о Чернышевском в духе этого суженного о нем представления, то Плеханов, можно сказать, способствовал упрочению такого рода характеристики Чернышевского.

вления, то Плеханов, можно сказать, способствовал упрочению такого рода характеристики Чернышевского.

Я хочу восстановить образ настоящего Чернышевского, который был по преимуществу эмоциональной, чувственной натурой, тем, что можно назвать—сердечный человек. Он был человеком больших страстей, большой реальной жизни, страстной влюбленности в живую жизнь, в реальные события интимной, даже личной жизни, богатой натурой. Именно эту сторону Чернышевского мне хочется воссоздать, так как на самом деле и его эстетика, и его этика вытекают не из мозговизма его, не из односторонности его, а как раз из мощности, огромной страстности и многогранности его, из реализма, который нужно понимать именно как любовь к жизни, как наличие в самом Чернышевском колоссальных жизненных сил. Если мне удастся воссоздать эти его качества, тогда образ Чернышевского приобретет другие черты, и тогда, может быть, придется несколько по-новому его оценить.

Недавно вышел первый том литературного наследия Чернышевского. Одна из главных частей этого тома—дневник Чернышевского, объемлющий собой годы ранней молодости. Самой лучшей частью этого замечательного дневника, который вообще способен внушить каждому, кто его прочтет, огромную любовь к Чернышевскому, является последняя часть, которую сам Чернышевский называет так: «Дневник моих отношений с той, которая составляет теперь мое счастье». В этот дневник с чрезвычайной подробностью записаны все разговоры, которые он вел со своей невестой. Прочитав следующие две страницы из этого дневника, мы услышим самого Чернышевского в важный момент его жизни и сразу сможем оценить тот темп, которым он жил, ту музыку индивидуального человека, которая была ему присуща. Все это отстоит неизмеримо далеко от того представления о Чернышевском, которое создали себе либеральные помещики, которое они беспрепятственно распространяли, пользуясь скромностью Чернышевского, его нежеланием отводить место своей личности, и которое вновь повторяли потом Волынский и прочие идеалисты, когда пришла пора разоблачения Чернышевского, разочарования в Чернышевском и т. д.

Самый подход уже очень интересен, интересно то, с каким волнением и как точно регистрирует свои разговоры с невестой этот 26-летний учитель гимназии, готовящийся к революционной и литературной деятельности:

«Выпивши чаю, сели—она у окна, я по другую сторону стола с длинного бока, так что между нами был угол. Это было в 5½ часов. Я посмотрел 2-3 секунды на нее, она не сводила с меня глаз.

«Я не имею права сказать того, что скажу; вы можете посмеяться надо мною, но я все-таки скажу: Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы».

«Да, правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжела. И если я весела, то это более принужденно, чем настоящая веселость».

«Я не могу, я не имею возможности отвечать вам на это тем, чем должен был бы отвечать».

(Продолжаю в 11 часов вечера. А завтра к Стефани, чтобы осмотрел грудь).

«Скажите, у вас есть женихи?».

«Есть, два».

«Но они дурны? Линдгрэн?» (Это имя я произнес так, что: конечно, уже в числе этих двух вы не считаете его).

«Нет». (Таким тоном, что: как же это может быть?)

«Яковлев? Он не дурной человек?».

«Поэтому-то я и не могу выйти за него. Один мой жених—старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков (к дяде или другому родственнику, как она сказала—не помню я). Там меня сватал один помещик, довольно богатый—150 душ, но он старик, и я отвечала ему, что без папеньки я не могу согласиться, да и не согласилась бы, если бы и было согласие папеньки,—как же решиться сгубить свою молодость?».

«Выслушайте искренние мои слова. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить, потому что никогда не буду получать столько денег, сколько нужно. Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это еще ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить свою семейную жизнь так, как бы мне хотелось. Правда, маменька чрезвычайно любит меня и еще более полюбит мою жену».

(Продолжаю 21 февраля в 7 часов утра, перед отправлением к Стефани).

«Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым я бы мог ужиться; поэтому я теперь чужой дома,—я не вхожу ни в какие семейные дела, все мое житье дома ограничивается тем, что я дурачусь с маменькой. Я даже решительно не знаю, что у нас делается дома. Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь *ничего* по приезде туда: как же я могу явиться туда женатым? С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли я буду пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут ка-торгою,—я такие вещи говорю в классе».

«Да, я слышала это».

«И я не могу отказаться от этого образа мыслей, может быть, с летами я несколько поохладею, но едва ли».

«Почему же? Неужели в самом деле вы не можете переменитьсь?».

«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что

вления, то Плеханов, можно сказать, способствовал упрочению такого рода характеристики Чернышевского.

Я хочу восстановить образ настоящего Чернышевского, который был по преимуществу эмоциональной, чувственной натурой, тем, что можно назвать—сердечный человек. Он был человеком больших страстей, большой реальной жизни, страстной влюбленности в живую жизнь, в реальные события интимной, даже личной жизни, богатой натурой. Именно эту сторону Чернышевского мне хочется воссоздать, так как на самом деле и его эстетика, и его этика вытекают не из мозговизма его, не из односторонности его, а как раз из мощности, огромной страстности и многогранности его, из реализма, который нужно понимать именно как любовь к жизни, как наличие в самом Чернышевском колоссальных сил. Если мне удастся воссоздать эти его качества, тогда образ Чернышевского приобретет другие черты, и тогда, может быть, придется несколько по-новому его оценить.

Недавно вышел первый том литературного наследия Чернышевского. Одна из главных частей этого тома—дневник Чернышевского, объемлющий собой годы ранней молодости. Самой лучшей частью этого замечательного дневника, который вообще способен внушить каждому, кто его прочтет, огромную любовь к Чернышевскому, является последняя часть, которую сам Чернышевский называет так: «Дневник моих отношений с той, которая составляет теперь мое счастье». В этот дневник с чрезвычайной подробностью записаны все разговоры, которые он вел со своей невестой. Прочитав следующие две страницы из этого дневника, мы услышим самого Чернышевского в важный момент его жизни и сразу сможем оценить тот темп, которым он жил, ту музыку индивидуального человека, которая была ему присуща. Все это отстоит неизмеримо далеко от того представления о Чернышевском, которое создали себе либеральные помещики, которое они беспрепятственно распространяли, пользуясь скромностью Чернышевского, его нежеланием отводить место своей личности, и которое вновь повторяли потом Волынский и прочие идеалисты, когда пришла пора разоблачения Чернышевского, разочарования в Чернышевском и т. д.

Самый подход уже очень интересен, интересно то, с каким волнением и как точно регистрирует свои разговоры с невестой этот 26-летний учитель гимназии, готовящийся к революционной и литературной деятельности:

«Выпивши чай, сели—она у окна, я по другую сторону стола с длинного бока, так что между нами был угол. Это было в 5½ часов. Я посмотрел 2-3 секунды на нее, она не сводила с меня глаз.

«Я не имею права сказать того, что скажу; вы можете посмеяться надо мною, но я все-таки скажу: Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы».

«Да, правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжелой. И если я весела, то это более принужденное, чем настоящая веселость».

«Я не могу, я не имею возможности отвечать вам на это тем, чем должен был бы отвечать».

(Продолжаю в 11 часов вечера. А завтра к Стефани, чтобы осмотрел грудь).

«Скажите, у вас есть женихи?».

«Есть, два».

«Но они дурны? Линдгрэн?» (Это имя я произнес так, что: конечно, уже в числе этих двух вы не считаете его).

«Нет». (Таким тоном, что: как же это может быть?)

«Яковлев? Он не дурной человек?».

«Поэтому-то я и не могу выйти за него. Один мой жених—старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков (к дяде или другому родственнику, как она сказала—не помню я). Там меня сватал один помещик, довольно богатый—150 душ, но он старик, и я отвечала ему, что без папеньки я не могу согласиться, да и не согласилась бы, если бы и было согласие папеньки,—как же решиться сгубить свою молодость?».

«Выслушайте искренние мои слова. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить, потому что никогда не буду получать столько денег, сколько нужно. Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это еще ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить свою семейную жизнь так, как бы мне хотелось. Правда, маменька чрезвычайно любит меня и еще более полюбит мою жену».

(Продолжаю 21 февраля в 7 часов утра, перед отправлением к Стефани).

«Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым я бы мог ужиться; поэтому я теперь чужой дома,—я не вхожу ни в какие семейные дела, все мое житье дома ограничивается тем, что я дурачусь с маменькой. Я даже решительно не знаю, что у нас делается дома. Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь *ничего* по приезде туда: как же я могу явиться туда женатым? С моей стороны было бы низостью, подлость связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли я буду пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгой, я такие вещи говорю в классе».

«Да, я слышала это».

«И я не могу отказаться от этого образа мыслей, может быть, с годами я несколько поохладею, но едва ли».

«Почему же? Неужели в самом деле вы не можете перемениться?».

«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что

я вижу кругом себя. Теперь я не знаю, охладю ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае, до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый схимник каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того, у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».

Она почти засмеялась, ей показалось это странно и невероятно. «Каким же это образом?».

«Вы об этом мало думали, или вовсе не думали?».

«Вовсе не думала».

«Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно—когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие».

«Вместе с Костомаровым?».

«Едва ли, он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

«Не испугает и меня» (О боже мой! если эти слова были сказаны с сознанием их значения!).

«А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей».

(На ее лице были видны следы того, что ей скучно слушать эти рассказы). — «Вот видите—вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого, я не могу говорить».

«Довольно и того уже, что с моей судьбой связана судьба маменьки, которая не переживет подобных событий. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?».

«Помню».

«Он был весьма богатый человек. Женился по любви на девушке, с которою вместе воспитывался. Через несколько времени являются жандармы, берут его, и он сидит год в крепости. Жена его (извините, что я говорю такие подробности) была беременна. От испуга у нее родился сын глухонемой. Здоровье ее расстраивается на всю жизнь. Наконец его выпускают. Наконец ему позволяют уехать из России. Предлогом для этого была болезнь жены (ей в самом деле были нужны воды) и лечение сына. Живет где-то в Сардинских владениях. Вдруг Людовик Наполеон, теперь император Наполеон, думая оказать услугу Николаю Павловичу, схватывает его и отправляет в Россию. Жена, которая жила где-то в Остенде или в Диэпп, услышав об этом, падает мертвая. Вот участь тех, которые связывают свою жизнь с жизнью

подобных людей. Я не равняю себя, например, с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю ему и что я должен ожидать подобной участи». (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие. Стр. 556—557).

Вот как нам рисуется молодой Чернышевский. Ему хочется этой женитьбы; он в другом месте говорит: «Если я этот случай пропущу, я не буду иметь никакой личной жизни, никакого личного счастья, а между тем я создан для личной жизни, для семьи...» и т. д. Ему страстно хочется этого личного счастья; но вместе с тем он говорит: «Не испугаюсь ни крови, ни тюрьмы и отойти от революции не смогу».

Это уже очень мало похоже на тот образ сухого человека, который перед нами часто рисуют.

Живым истоком его эстетических идей также является, несомненно, его жизненная сила. В своем большом сочинении об эстетике он так определяет подход к предмету эстетики:

«Что же такое, в сущности, прекрасное? Ощущение, производимое в человеке прекрасным, — светлая радость, похожая на ту, какую наполняет нас присутствие милого для нас существа. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любимся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека... Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нечто чрезвычайно многообъемлющее, нечто способное принимать самые разнообразные формы, нечто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся нам предметы чрезвычайно многообразные, существа, совершенно непохожие друг на друга.

Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете—жизнь; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить: все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение:

«прекрасное есть жизнь»;

«прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни»,—

кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного». (Чернышевский. Полн. Собр. соч., т. X, ч. II. Стр. 88—89).

Как видите, это в буквальном смысле слова поэтическая страница. Заметьте, откуда он черпает свои аналогии—из области сердечной жизни, влюбленности, из области пола, только взятого в чрезвычайно высоком преломлении. Для того, чтобы сказать, что всего на свете ему милее жизнь, что больше всего он хочет расцвета этой жизни, гармонического развития, что там, где есть эта гармонически развитая жизнь, там и прекрасное, там и светлая радость человека, для того, чтобы выразить это, он говорит: «совершенно так же, как если бы вы встретили любимого вами человека». Эти нотки совершенно изменяют

образ сурового разночинца, каким обыкновенно рисуют нам Чернышевского. Кипучая жажда жизни, приятие жизни самой подлинной, настоящей, — вот что нас поражает в Чернышевском.

Недавно были изданы письма Чернышевского к Некрасову. В этой переписке имеется страница действительно замечательная. Она была неожиданна и для меня, любящего Чернышевского и много им занимавшегося с молодых лет.

Некрасов написал Чернышевскому жалобное письмо. Содержания его мы не знаем, но ясно по ответу, что он говорил о том, что устал от жизни, что ему все на свете надоело, что он даже подумывает, не лучше ли ему умереть. И вот Чернышевский в ответном письме пишет такую лирическую страницу:

«Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении вашею тенденцией, — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, — притом же я вовсе не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца — истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы, — не от мировых вопросов люди топятя, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие (же) права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично для меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией.

Когда из мрака заблуждения...
Давно отвергнутый тобой...
Я посетил твое кладбище...
Ах, ты страсть роковая, бесплодная...

и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — но только затем, чтобы сказать вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею». (Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым. Стр. 28).

Что это значит? Может быть, это отступничество Чернышевского? Может быть, мы прикоснулись к слабости его сердца? Может быть, мы напрасно принимали его за героического революционера в то время, как на самом деле он хотел отделаться от политики? Но это суждение Чернышевского на самом деле — правильное и разумное суждение.

В чем заключалась та политика, за которую Чернышевский сложил свою жизнь? В устранении самодержавия, крепостного права, буржуазного строя и т. д. Почему все это так страстно хотелось ему устранить? Потому, что это дало бы возможность жить настоящей жизнью сердца, отдаться подлинному, культурному существованию, со всем богатством его переживаний. Цель политической борьбы заключается в установлении счастливого человеческого быта. Если бы такой цели не было, то зачем была бы нужна эта политика? Мы занимаемся политикой, мы должны это делать потому, что это — необходимость. Если бы каждый из нас думал только о своем личном благополучии и, вследствие этого, уменьшал бы степень своей энергии в общей борьбе, мы были бы разбиты. Но это не значит, что настоящий, подлинный революционер должен быть страстно влюблен в политику, как какой-нибудь шахматист или картежник в свою игру, и думать, что она — цель всего мира. Нет, конечно. Политика революционера это есть целесообразная деятельность, и она служит для того, чтобы из колоссального моря зол вывести человечество к счастью, благополучию, к разумной жизни. И поэтому Чернышевский имел право сказать то, что мы узнали из этого письма. Письмо это свидетельствует о том, какая страстная жажда счастья в нем жила, какая это была здоровая, богатая натура. Становится ясно, что именно от этой жизненной мощи происходили и его правила поведения.

Между прочим, Чернышевский пишет: «Сам, по собственному опыту, знаю, что от разных невзгод жизни иногда можно сделаться пьяницей». Что же, были у него действительно такие обстоятельства? Были, и мы узнаем о них из тех же писем к Некрасову. Это чрезвычайно замечательно, так как прибавляет еще лишний штрих этой, при всей своей мужественности, необычайно нежной натуре. Вот что он пишет в другом письме:

«У меня с Лессингом не достает времени на составление Ин. Изв. — т.-е. достало бы, если бы я был спокоен; но когда бы вы знали, что я пережил в последние полтора месяца, вы подивились бы, что я мог писать хотя одну строку в это время. Скажу только, что чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь, что люди, правда, безрассудны, делают вздор, глупости, — но все-таки в них больше хорошего, нежели дурного. В успокоение вам скажу, что неприятности эти имели источником не литературу и касались только меня, никого больше. Еще больше прежнего убедился, что все учреждения, ныне существующие, глупы и вредны, как бы благовидны ни были, все это глупо; любовь, дружба, вражда — все это если не чепуха, то имеет следствием чепуху. А человек все-таки хорош и благороден, все-таки нельзя не уважать и не любить людей, по крайней мере, многих людей». (Переписка Чернышевского. Стр. 35).

Что же это были за переживания, из которых он вначале вынес такое впечатление, что все вздорно, все нелепо, но в результате которых еще больше поверил в человека? А вот какая совершенно интимная вещь, но опять-таки рисующая нам Чернышевского с необычайно нежной стороны:

«Вы, может быть, помните, что я свою жену люблю, — помните, может быть, что первые роды были очень трудны, сопровождалась разлитием молока и т. д. Доктора говорили, что это может повториться при вторых родах и иметь следствием смерть. Поэтому я и распологался удовольствоваться одним потомком, — но как-то по грехам нашим — против моей воли, оказалось, что у нас готовится еще дитя — вы вообразите, какими сомнениями за счастливый конец глупого дела я мучился. Последний месяц, когда я несколько сохранял спокойствие, был сентябрь, — а с октября черт знает, какое унылое ожидание спутывало у меня в голове все мысли, — так прошло около четырех месяцев, — писал, что мог, но мало, — верите, двух слов не мог склеить по целым неделям, — раз, два даже напивался пьян, что уже вовсе не в моих привычках. Только вот в последние дни, когда все кончилось хорошо и жена уже ходит, стал я похож на человека. А то было скверно и в голове и на душе. Хорошо, что эта глупая история кончилась». (Переписка Чернышевского. Стр. 42).

Вот вам этот «эгоист», этот «сухарь»: его страстная натура тянет его к молодой и красивой жене. Он знает, что их близость может ее убить, и когда ему кажется, что он, быть может, убил ее, — он совершенно теряет голову, у него все валится из рук, а на первый план выступает мысль, что этого дорогого, милого человека он сам загубил, принес в жертву своим страстям. Но когда он опять выздоровливает от этого потрясения, ему вспоминаются и многие слова, которые тут были сказаны, и многие сокровенные чувства, движения сердца, и он говорит: «все-таки, какое хорошее существо человек!».

Мне хотелось бы еще показать вам и его личное отношение к поэзии. Мы увидим потом, когда я буду разбирать его эстетические воззрения, что Плеханову кажется, будто Чернышевский и к поэзии относится интеллектуалистически, что он ее расценивает по степени поучительности. Мы уже видели, что это не так, что лирические произведения, которые рисуют непосредственные человеческие чувства, находили в нем горячую оценку (хотя это не значит, с другой стороны, что он проходил более или менее равнодушно, скажем, мимо лирики Некрасова, — поскольку она была социальна; наоборот, эта социальная лирика возбуждала в нем огромное волнение). Когда Некрасов умирал, вот как откликнулся на это из своих сибирских льдов загнанный, как зверь, с тускнеющим от этого абсолютного безлюдия разумом, Чернышевский в своем письме к Пылину:

«Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что целую его, что я убежден, его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем»... Некрасов еще дышал, и слова Чернышевского, прочитанные Пылиным, его глубоко взволновали и обрадовали». (Переписка Чернышевского. Стр. 13).

Как видите, это опять идет от сердца.

А вот Краснов, секретарь Чернышевского, рассказывает, как в Сибири Чернышевский читал Некрасова:

«Николай Гаврилович предложил мне послушать «Рыцаря на час». Его слегка растянутое, ритмическое чтение, с логическими ударениями, произвело на меня громадное впечатление, и, заслушавшись, я не заметил, что, чем далее, тем звонче становился голос Н. Г. Он уже как бы пережил «восхождение на колокольню», обрвавшимся надтреснутым голосом начал заключительный стих принесения повинной перед памятью матери. Вдруг Н. Г. не выдержал и разрыдался, продолжая, однако, читать стихотворение. Я не в силах был остановить его, ибо и сам сидел потрясенный. Эту тяжелую сцену прервала Ольга Сократовна возгласом: «тебе это вредно». — «Не буду, голубушка, не буду», — ответил Н. Г., и мы уселись через некоторое время за работу». (Переписка. Стр. 14).

Не правда ли, это совершенно не «ума холодные наблюдения», не расценка по степени количества знаний, которые данное поэтическое произведение принесло? Николай Гаврилович был благодарнейшим, отзывчивейшим читателем, который с колоссальным волнением всей своей стихийно-богатой души откликался на зовы поэзии. И поэтому трудно поверить, чтобы он в свою эстетику, в свою теорию искусства внес тот сухой интеллектуализм, в котором его обвиняют не только идеалисты типа Волынского, но, в значительной степени, и Плеханов. Об этих обвинениях мы будем говорить подробнее в дальнейшем изложении.

Вы знаете, что Чернышевский относился с громаднейшей симпатией к Добролюбову, что эти люди друг друга очень любили. Я приведу в заключение этой части моего доклада еще две выписки. Одна — из книги Чехихина-Ветринского и характеризует личное отношение, которое возбуждал к себе Чернышевский. Другая — слова Чернышевского о Добролюбове, которые можно великолепнообразом отнести к нему самому, и которыми мы, друзья и поклонники Чернышевского, можем ответить всякому, кто сейчас осмелился бы еще выставить это обвинение в бессердечной сухости, нигилизме, эгоизме и т. д.

Вот что пишет Чехихин-Ветринский:

«Через ранние годы Чернышевского и потом через последующую его жизнь проходят две основных черты; эти две особенности его невольно останавливают внимание исследователя.

Во-первых, от природы это — необыкновенно мягкое и участливое сердце, покоряющее ему окружающую среду.

В детстве это — «ангел во плоти»; подростком он окружен обожанием разной детворы, которую забавляет играми и возней с нею. В годы учения перед ним «просто благоговеют» товарищи, не только перед его исключительными способностями семинарского гения, но и перед обаянием его характера и мягкой натуры. В молодые уже годы в нем видят человека, который «прежде всего создан быть поверенным, которому говорят все»: юноши привязываются к нему, «как собаки», по признанию одного из них, и до гроба его гимназические ученики сохраняют способность плакать об учителе. Юноша Лободовский

и поэт Некрасов, на расстоянии десятков лет, второй — с невыразимой накипью горечи, разочарований в сердце, равно сравнивают его с Христом». (В. Е. Чешихин-Ветринский, Н. Г. Чернышевский, 1828—1889. Стр. 103).

По тогдашнему времени это значило возвести на самую высокую вершину, какая только возможна.

«Это же обожание по отношению к нему сохраняют навсегда и те, кто будет сближаться с ним в последующие годы, так что, годы спустя после его смерти, один из них, вспоминая насильственную с ним разлуку, скажет: рана и до сих пор не зажила». (М. Антонович, Арест Н. Г. Ч., «Былое», 1906, 3). «Кто знал его, забыть не может, тоска о нем язвит и глохнет», — применит к нему стих Некрасова один из его товарищей по ссылке (Шаганов). Но еще поразительней обаяние этой природы на людей простых, — способность, которая в нем развилась, очевидно, еще в эти годы, ибо, вообще говоря, способность к сближению, общительность природы с годами редко растет. Отметим поразительный рассказ г. Николаева, свидетеля того, как слово Чернышевского утишило буйно настроенную толпу поляков из простонародья, по своим воззрениям «черносотенцев», ополчившихся в тюрьме против товарищей по ссылке, социалистов, и как эта толпа в заключение беседы «рыдала», под обаянием безыскусственной, но прямо к сердцу шедшей речи «пана Чернышевского» (там же).

Вот дополнение к тому, что мной было выше сказано, характеризующее во весь рост этого человека, совершенно исключительного по непосредственной очаровательности своей природы. А очаровательность эта вытекала из той огромной жизненной силы и необычайного чувства симпатии ко всему, что его окружало, — конечно, кроме того, что мешало развитию жизни, что было ее злом.

А вот фраза, которой закончил Чернышевский свою первую статью по поводу смерти Добролюбова:

«Теперь, милостивые государи, называвшие нашего друга человеком без души и сердца, — теперь честь имею обратиться к вам, и от имени моего, от имени каждого, прочитавшего эти страницы, в том числе и от вашего собственного имени, — да, и вы сами повторяете себе то, что я говорю вам, — теперь имею честь назвать вас тупыми глупцами. Вызываю вас явиться, дрянные пошляки, — поддерживайте же ваше прежнее мнение, вызываю вас... Вы смущены? Вижу, вижу, как вы пятитесь». (Переписка. Стр. 59).

Это самое точь-в-точь можем мы сказать всякому либералу, эстету, идеалисту, который будет говорить: ах, этот разночинец Чернышевский, первый семинарский демократ, от которого, как писал Толстой, клопом пахнет, ведь это — совершенно лишенный поэзии человек, до невозможности сухой педант, в котором нет ничего такого, что бы говорило сердцу, какой-то Базаров в неуклюже сшитом семинарском сюртуке.

Из необычайно страстной и сильной природы вытекает и материализм Чернышевского. Мы теперь живем уже в другой атмосфере, и у нас многие понятия совершенно переместились, но еще недавно

обывательской среде материалист и идеалист рисовались так, как они изображены на одной картине Маковского: она находится в Третьяковской галерее и называется «Материалист и идеалист». Материалист изображен в виде толстого повара, с необычайно большим брюхом (чтобы сразу было ясно, что это — материалист, живет для брюха), у него толстая шея, он близорук — очки на носу (аллегория, конечно), на лице у него скептическое самодовольство, и он брюзгливо, с явным неодобрением слушает, что говорит ему какой-то фертик, который изображает идеалиста. Ну, а этот — какой-то тонкий человек, который мог бы летать по воздуху пушиночкой, одет он во все обтрепанное, подбитое ветерком, шейка такая, что двумя пальцами задушить можно, волосики в разные стороны (а причесаться не может потому, что занят мечтами), в глазах — мечтание, и на всем лице разлито розовое сияние грез. Может быть, вам так представленный идеалист и покажется не особенно симпатичным, но все-таки он лучше, чем этот увесистый повар. Так вот, это представление о том, что материалист — это человек туповатый, человек с горизонтом, более или менее ограниченным, который ценит только осязаемое, а что идеалист — это человек, способный на полет, живущий в нездешнем мире, наполненный какими-то сияющими, неосязаемыми образами и чарующей музыкой, это представление очень часто вновь и вновь повторяется и делается известной силой в борьбе двух мирозерцаний. А на самом деле идеалист — это жидкий человек, и мирозерцание идеалистическое — это жидкое и даже газообразное мирозерцание. Идеалист — это человек, который не любит действительности, который не мирится с действительностью.

Правда, бываю такие времена, когда действительность очень плоха, когда она превращается в какое-то каменное лицо, которое смотрит безжалостными глазами. Примириться с такой жизнью значит примириться с жизненной подлостью.

Но материалисты, боевые материалисты, принимают действительность, любят ее, считают ее материалом для творчества и борьбы. Идеалист этого творческого начала не видит, и не только в силу хлюпкости своей природы, вовсе не потому, что Иван Иванович сильнее характером и поэтому он может быть материалистом, а Петр Петрович слаб желудком и мускулатурой и поэтому дрожит перед действительностью. Нет, причина этого лежит гораздо глубже: классы, группы, индивиды, которые оказываются в положении выбрасываемых из жизни, которые не мирятся с жизнью потому, что ничего, кроме неприятностей, она им не доставляет, — хотя они могут быть поставлены внешним образом на верхних ступеньках общественной лестницы, но у них испорчены нервы, желудок, они оторваны от жизни и они не могут ею наслаждаться, — вот такие классы, группы, лица и отчливают от действительности в царство воображаемого, в эту жидкую и газообразную мечту и начинают ею подменивать жизнь. Для них это, может быть, и хорошо. Мы над ними ставим крест, — на что они нам? — пускай отравляются чем хотят. Но ведь они создают такую философию, такую псевдо-науку, такое искусство, которое вообще отрицает жизнь. Наш

современник, литературовед и искусствовед Эйхенбаум обмолвился, например, замечательной фразой: «Откуда вы берете, что искусство связано с жизнью? Может быть, оно гораздо больше связано со смертью». Эйхенбауму кажется, что смерть, пожалуй, поэтичнее, чем жизнь, потому что, повидимому, г. Эйхенбаум — жидкий человек, у него нет устойчивости, жизненной установки, и поэтому ему нравится все, что имеет характер убаюкивающий, успокаивающий, все, чуждое всякой утилитарности, то, что в себе самом носит прекрасное.

И Чернышевский понимал, что формализм — это утверждение, что в искусстве ценна только форма, утверждение, что искусство есть вещь призрачная, и что мы его ценим именно за призрачность.

Ну, а сам Чернышевский был не таков. Материалист такого типа, как Чернышевский, — это человек, который, можно сказать, бешено, всеми фибрами, всеми клетками организма влюблен в природу, в действительность, в жизнь. Но это вовсе не значит, чтобы он принимал ее беспрекословно. Наоборот: потому, что он любит жизнь, любит ее развитие, любит положительное, он видит, что жизнь в природе и в особенности в обществе поставлена в ненормальные условия. Во имя этой любви к жизни крепнет у него ненависть к тому, что останавливает эту жизнь, и он принимает бой и все связанные с ним страдания, потому что ему рисуется впереди победа. А победа — это преобразование самой действительности, очищение ее от всяких шлаков, от всего нелепого, уродливого, смешного, порочного.

Мы отметили, что Чернышевский постоянно проводит аналогию любви к жизни с любовью половой; но это не значит, что он — нечто вроде фрейдиста. Смысл этой аналогии: любовь человека к телу другого человека, стремление к обладанию, к оплодотворению — все эти чувства коренным образом связаны с настоящей сочностью жизни, с подлинной мощностью ее; эта же радость жизни, свойственная представителям новых, поднимающихся классов, толкает к тому мужественному трудовому мирозерцанию борца-победителя, которое составляет материалиста. И повторяю: мы считаем а priori неверным — и это я постараюсь доказать, — что мирозерцание Чернышевского не было сверкающим окраской, что в нем не было того, что можно назвать красотой и поэзией. Подойдя к Чернышевскому ближе, мы поймем, что это есть жизнь в ее максимальном развитии, что Чернышевский — одна из прекраснейших по своей законченности и широте человеческих натур, которая когда-либо жила на свете. И на всем его мирозерцании, как и на всей его жизни, лежит отпечаток силы, красоты и поэтичности.

Мы знаем, что Чернышевский — разночинец, семинарист, поповский сын. Почему помещики тогдашнего времени, люди усадебной культуры (включая даже левых помещиков, типа Тургенева), почему они склонны были к мечте и грезе, и почему действительность казалась им в достаточной мере трубой? Конечно, потому, что они были отодвинуты от труда, отодвинуты от реальной борьбы за существование. В том-то и дело, что помещик в своей усадьбе был полуживым человеком. Он мог наполнять свою жизнь искусственными переживаниями,

слушать музыку, ухаживать за помещицами, создавая всякие искусственные драмы, путешествовать и т. д. Но эти люди чувствовали, что прикоснуться к земле им никак не удастся. Это создавало искусственную утонченность обстановки, которая сказывалась во всем их мирозерцании. Что представляла собой политическая борьба помещиков, начиная, скажем, с пушкинской революционности первой части его жизни? Какую-то борьбу между собой. Революционный декабрист припадал к плечу Николая и говорил: отец мой, батюшка-царь и т. д. Это был спор между собой, этот спор был чем-то почти совершенно искусственным, борьба была завалулирована высоким служением тем или иным идеям. Правда, дело доходило и до виселицы, и действительной подоплекой было желание определенным образом оформить расширение прав передовой части буржуазии, — но это не был тот конфликт, кровавый непосредственный конфликт, который не случайно превращается в восстание, а неизбежно ведет к нему, вытекает из того, что нельзя жить рядом с самодержавием, и не потому, что вопросы совести не позволяют, — это второстепенное, — а потому, что вопросы самого бытия толкают к этому.

Другое дело — разночинец. Разночинец органически, по самому своему положению в жизни, не мог быть никем иным, как революционером, или вообще не «дозрев до политической программы, не сдавался просто обывательской тине.

Чернышевский, хотя и происходил из протоиерейской семьи, но с самого детства был поставлен в необходимость работать. Трудно было и в семинарской обстановке, да и дома. Он сам рассказывает: правда, сыты были, но денег никогда не было, и когда необходимо было купить новую пару сапожек, то это была целая история, откуда достать денег. Вы помните, что он подходит к вопросу о женитьбе не так, как помещик, у которого всего вдоволь, хоть на десяти женах женись. Чернышевский должен был думать: а не подлец ли я, если любимую женщину осмелюсь сделать своей, когда, может быть, она у меня голодать будет? Это — жесткий реализм, сама жизнь требовала от него этого реального подхода. А помещику, конечно, это казалось не поэтичным.

Я вам прочту интересный разговор между Тургеневым и Некрасовым, который эту классовую сторону чрезвычайно рельефно подчеркивает:

«Однажды за обедом у Некрасова Тургенев сказал:

— Однако, «Современник» скоро делается исключительно семинарским журналом: что ни статья, то семинарист оказывается автором!

— Не все ли равно, кто бы ни написал статью — раз она дельная, — возразил Некрасов.

— Уверю вас, господа, что я даже в бане сейчас узнаю семинариста, — сказал один из присутствующих литераторов: запах деревянного масла и копоти чувствуется в присутствии семинариста, лампы начинают тускло гореть от недостатка кислорода, и дышать становится тяжело.

— И откуда появились эти семинаристы? Как случилось, что они наводнили литературу? — спросил друг Тургенева Анненков.

— Дело в том, что теперь не то время, что раньше, — ответил Некрасов. — Теперь публика требует освещения общественных вопросов, какого мы ей дать не можем. Да и в других отношениях между ними и нами огромная разница, надо сознаться. Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголки, а под нашу можно бревно подложить. Они в своих нравственных устоях тверды, как сталь, а мы — люди расшатанные». (К. Н. Беркова. Чернышевский. Стр. 114).

Что должен был сказать Н. Г. Чернышевский, великий человек и великий семинарист, отчетливый, четкий представитель первой волны демократии, близкой к народу, когда он подошел к вопросам эстетики? Вот что: «настоящий, здоровый человек любит действительность, любит природу, любит человека, любит жизнь. Господа эстеты, и философы, и практики, господа художники заполнили жизнь всякой дрянью, эстетическим хламом, раскрашенным, размузыкаленным, расстилизованным, и утверждают, что это есть ограждение идеи, сияние божества, падающее в наш тусклый мир, что гении приносят с собой эти роскошные дары, перед которыми наша жалкая действительность должна сразу потускнеть и устыдиться. Все это — попытка класса, не только вообще оторванного от жизни, но и класса, начинающего социально подыхать, дискредитировать живую действительность, а вместе с ней дискредитировать и борьбу, навязать свой искусственный рай, свой наркотический художественный эдем другим классам, молодежи — новому поколению.

И действительно, Чернышевский защищает священную гигиену демократии от всего этого эстетизма, который своими удушливыми парами, на первый взгляд как будто благовонными, хочет отравить молодую демократию. Отсюда подозрительное отношение Чернышевского к искусству. Это ведет Н. Г. к тому, чтобы опротестовывать такое искусство, которое считает себя отражением высшего бытия или прекрасным потому, что оно есть чистый призрак, дающий только форму действительно существующего без его мимолетности, весомости, порочности, случайности и т. д. Все такие формы искусства Чернышевский преследует, доказывает их фиктивность, доказывает их худосочность, доказывает, что с точки зрения действительного эстетического критерия — максимальной жизни, максимального жизненного развития, они как раз являются далеко уступающими самой действительности, и что этого искусства быть не должно.

Но из этого вовсе не следует, чтобы Чернышевский считал, что искусства вообще быть не должно, как это понял Писарев, и из этого вовсе не следует, чтобы он не понимал, что искусство имеет свою чрезвычайно высокую роль. Вот цитата, которая показывает, что я прав:

«Определяя прекрасное, как полное проявление идеи в отдельном существе, мы необходимо приходим к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашею фантазиею»; из этого

будет следовать, что, «собственно говоря, прекрасное создается нашей фантазией, а в действительности (или, говоря языком спекулятивной философии: в природе) истинно прекрасного нет», из того, что в природе нет истинно прекрасного, будет следовать то, что «искусство имеет своим источником стремление человека восполнить недостатки прекрасного в объективной действительности» и что «прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в объективной действительности», — все эти мысли составляют сущность, господствующих ныне эстетических понятий и занимают столь важное место в системе их не случайно, а по строгому логическому развитию основного понятия о прекрасном.

Напротив того, из определения «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; происхождение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объяснено из совершенно другого источника; после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете». (Чернышевский, Полное Собр. соч., т. X, ч. 2. Стр. 92—93).

Чернышевский доказывает, что эстетические волнения человека вовсе не связаны только с красотой. Это, конечно, знали и другие эстеты; они говорят и о таких эстетических ценностях, как возвышенное, трагическое и комическое. Я опущу анализ возвышенного и комического, потому что здесь спора особого нет, а остановлюсь, прежде чем перейти к идеям Чернышевского о социальной роли искусства, на определении им трагического. Плеханов считает, что в этом пункте «Эстетика» Чернышевского грешит недоговоренностью и грубостью.

Представление о трагическом, которое было господствующим во времена Чернышевского, присуще было величайшим трагикам античного мира. Аристотель в своей бессмертной «Поэтике» (о которой Чернышевский, между прочим, писал специальный этюд) выявил основную идею трагедии, как ее рисовал себе античный мир, а Гегель и Фихте, эстетические цари середины прошлого столетия, многое восприняли из этой идеи. У них выходило так: трагедия изображает судьбу очень значительного, великого человека, замечательной личности, которая гибнет в силу своей трагической вины. Мы жалеем, что эта личность погибла, потому что она прекрасна, но мы должны осознать справедливость совершившегося. В чем же заключается вина? Личность эта, представляя собой силу, не ладит с окружающей средой, несет в себе что-то новое, оригинальное и не клонит головы. Греки это так и определяли: «гюблис» — гордость. «Гюблис» — гордое чувство своей самостоятельности, стремление противопоставить законы человеческие божеским — вытекает именно из силы, из сильного тела, из сильного духа, из сильного социального положения. Именно то, что человек выдающийся, именно это его и губит. В более ранние времена Геродот прямо говорил, что если какой-нибудь человек превозносится головой над другими, то боги его непременно

погубят, ибо боги завистливы. Боги считают человека, который оказывается выше нормы, преступником, потому что они — блюстители нормы. Если ты поднялся выше нормы, ты стал интересен, но интересен именно тем, что аномален, что перерос норму. Потому ты и погибнешь, ибо все, что выходит за норму, — гибнет.

Откуда возникло это представление у греков? Почему оно нужно было греческой демократии? Потому же, почему нужен был остракизм. В этой демократической среде, чрезвычайно неустойчивой, чрезвычайно взволнованной, отдельные демагоги, к какому бы классу они ни принадлежали, пытались захватить власть, сесть другим на шею; беспрестанно возникали маленькие и большие тираны под разными именами, — то в качестве диктаторов, то в качестве любимых ораторов, то в качестве людей, ставших во главе аристократического переворота. А настоящая средняя демократия, ее ареопаги и все учреждения, созданные для того, чтобы хранить устойчивость нации, создавали определенную политическую мораль, при помощи которой они боролись против этой самой «гюблис». Они говорили: Если ты выйдешь из среднего класса, если ты преступишь законы своей родины, установленные средней демократией (которая была в Афинах господствующим классом), — то ты погибнешь. Это была социальная гигиена, которой обыкновенно является всякая этика. Хотели воспитать в людях чувство страха перед тем, чтобы сделаться выдающимся. Если кто-нибудь делался слишком значительным, знаменитым, его изгоняли без объяснения причин. В этом сказывалась глубокая подозрительность этой неустойчивой демократии. Фихте, который являлся защитником личности, выдвинутой Великой Французской Революцией, говорил: «Пусть обломки неба обрушатся на меня, пусть звезды падут на меня, но идеи нравственной личности не могут быть отменены». А Гегель, возрождая на новой социальной основе идеал античной демократии, сказал: когда личность топорщится и противопоставляет себя вечному закономерному ходу идеи, то это только смешно.

Чернышевский этим совершенно справедливо возмущен. Он говорит, что великие люди бывают иногда счастливы, а иногда и несчастливы. Со всяким может случиться и то, и другое, а поэтому вы не запугаете нас. Его смешило учение, что существует какой-то рок. Все это, в конце концов, только бабушкины сказки, все это есть привесок к религии, все это запугивание мнимыми существующими вечными законами, которые устанавливает на самом деле определенная общественная среда, желающая бороться с человеческой самостоятельностью. Не в этом трагедия. Трагедия есть во всяком ужасном происшествии, во всяком ужасном конце, во всяком страдании человека, если оно даже совершенно не заслуженно. В самом деле, почему если человек виноват и гибнет — это трагедия, а если он не виноват и гибнет — это не трагедия? Густав Адольф, после великолепных побед, был убит в одном из сражений случайной пулей, — почему это не трагедия?

Плеханов говорит, что Чернышевский, когда он заявляет, что всякое ужасное есть трагическое, — не прав. Есть разница между трагическим и просто ужасным. В просто ужасном нет ничего поучи-

тельного, нет материала для настоящего трагического творчества. Гегель и Аристотель, по мнению Плеханова, более правы. Трагедия — это закономерная гибель. Но значение ее не в том, что героя губят рок и какие-то завистливые боги, а в том, что провозвестники, предтечи нового мира, новых убеждений сталкиваются со старым миром и неизбежно погибают в таком столкновении. Такая гибель провозвестников нового мира, которая кажется нам прекрасной, вызывает в нас сочувствие, и которая все-таки неизбежна, потому что они — ласточки слишком еще ранней, неустановившейся весны, — вот это и есть истинная трагедия.

Плеханов говорит, что Чернышевский взял положение о трагедии абстрактно, не в ее социальной связи, не подошел к этому так, как, по мнению Плеханова, должен подойти марксист, т.-е. с точки зрения классовой борьбы. Я позволю себе возразить, что не всегда трагедия есть трагедия предтечи, что трагедия не только столкновение личности с обществом или столкновение представителя одного класса, более слабого, с другим классом, более сильным. Я действительно не знаю, почему смерть Густава Адольфа не трагична, почему, если обрушился дом и раздавил детей и женщин, то это несчастный случай, но еще не трагедия?

Откуда происходят страдания, откуда происходит преждевременная и страшная гибель? Вследствие нашей слабости перед лицом природы, вследствие того, что является так называемым случаем. Силы, не регулируемые нами, разрушают иногда наше существование, и это не только, не непременно социальные силы. Социальный буржуазный строй играет ту роль, что, благодаря его хаотичности, разрозненности, разобщенности в нем отдельных людей, мы слабы перед лицом природы. Маркс говорит: Религия до тех пор будет нужна человеку, пока он будет нуждаться в утешении, потому что он слаб перед лицом природы. Когда человек победит природу, тогда ему не нужна будет религия, тогда это чувство трагизма всего нашего существования отпадет. Когда Энгельс говорил о «прыжке из царства необходимости в царство свободы», он говорил, что жить в царстве необходимости — это трагедия, это значит быть вынужденным поступать не так, как ты хочешь, укладывать свою жизнь в рамки, которые не соответствуют твоим желаниям. А прыжок в царство свободы — это есть возможность вливать жизнь в формы, которые соответствуют нашим желаниям, т.-е. прежде всего законам нашего собственного бытия, это есть конец человеческой трагедии. Человек постепенно становится хозяином природы. Капитализм рисуется, с этой точки зрения, как подпадение человека под власть дезорганизованного общества, под власть машины, — орудия, им же самим созданного для порабощения природы. Но капитализм — уже последнее порабощение. И когда социализм превратит машину действительно в слугу организованного человечества, воля которого становится законом, тогда произойдет переход от трагического введения в человеческую историю к настоящей разумной истории человечества.

Вот почему я считаю, что Чернышевский, в сущности говоря, был вполне прав и что Плеханов подменил очень важной, но все-таки спе-

цифической и частичной трагедией ту громадную, общую трагедию, которую Чернышевский совершенно реалистически противопоставляет выдумкам, продиктованным классовыми интересами буржуазной демократии.

Господа идеалисты спорят с нами, стараются подвергнуть сомнению прочность и реальность действительности. Они говорят: действительность мимолетна, быстротечна, ее, в сущности говоря, даже нет; где она? Момент, в который вы произнесли предыдущее слово, прошел; момент, который вы называете настоящим, летит, его нельзя остановить ни на одну секунду, вы живете уже в каком-то будущем, которое, в свою очередь, уже уходит назад. Где же она, эта действительность? Это все кажущиеся, быстролетные вещи. Искусство же старается по возможности остановить действительность. Роза, которую нарисовал художник, живет гораздо дольше, чем настоящая.

Чернышевский знал это рассуждение и ответил на него так:

«Пережитое было бы скучно переживать вновь, как скучно слушать во второй раз анекдот, хотя бы он казался чрезвычайно интересен в первый раз. Надобно различать действительные желания от фантастических, мнимых желаний, которые вовсе и не хотят быть удовлетворенными; таково мнимое желание, чтобы красота в действительности не увядала. «Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», — говорят эстетики; — правда; но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании, наши желания, и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает—оно исчезает, исполнив свое дело, оставив ныне столько эстетического наслаждения, сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день, с новыми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их. Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она надоела бы, опротивела бы нам. Живой человек не любит неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту, и очень скоро пресыщает его *tableau vivant*, которую предпочитают живым сценам исключительные поклонники искусства». (Чернышевский. Полн. Собр. соч., т. X, ч. 2).

Вот вам противопоставление двух мирозерцаний. Апология покоя: человек нашел что-то такое, что ему понравилось, и он кричит: стой, мгновенье, остановись, жизнь! Ему хочется замереть в этом мгновении. В скором времени настоящее наслаждение, то, что называется наслаждением новизной, пройдет, и настанет такое блаженное любованье, каким, как обещают попы, мы насладимся в раю, когда будем вечно созерцать господа бога, расплываясь в блаженстве, — нирвана, сладостное погружение в небытие, забвение самого себя. Все эти неподвижные красоты есть способ загипнотизировать себя, такой же способ обморачивания себя самого, как и употребление наркотиков. Это — бегство от жизни.

А Чернышевский не этого хочет. Он хочет, чтобы жизнь была ключом, — только тогда она прекрасна; он хочет, чтобы она изменялась. Это и есть то революционное представление о жизни, которое выте-

кает из настоящей активной природы и только такие природы достойны жить. А тем, которые считают главным в человеческой жизни покой, лучше всего отправляться на кладбище, — там они найдут этот покой.

Перейдем теперь к разбору большого столкновения двух великих людей — Чернышевского и Плеханова — в вопросе о значении искусства. Вот как определяет его Чернышевский, исходя из своей эстетики:

«Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». (Чернышевский. Полн. Собр. соч., ч. II. Стр. 164).

Искусство, по его мнению, реалистично, оно воспроизводит действительность, те ее черты, которые могут интересовать человека. Изображается это интересное так, что существенные черты выдвигаются на первый план, а мало значительные — опускаются. Таким образом, получается объяснение жизни. Объяснение — это вовсе не значит комментарии, это вовсе не значит перевод на язык рассудка. Вот что это значит: по прочтении страниц Гоголя о Плюшкине становится ясно, что такое скудная, бесчеловечная, безжизненная старость. В жизни, может быть, это не встретится и, во всяком случае, не будет так ясно понято.

«Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии быть человеком вообще, не может, если бы и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении — вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека».

Остановимся на этом, чтобы не цитировать слишком много, и систематизируем сказанное.

Что же такое, по мнению Чернышевского, искусство?

Человек интересуется многим в жизни, это интересное он хочет понять не только разумом, но и приять в себя, отметить, стать к нему ближе, изучить и головой, и сердцем, и для этого служит ему художник. Уже Белинский установил (и Чернышевский это оценивает так же), что художник, говоря о вещах, объясняет их не путем перевода на понятия, а дает образы. Но его образы — объясняющие образы. Почему? Потому, что они отвлекаются от случайного и дают самое важное. Тем самым явления жизни уясняются, становятся более прозрачными, становятся более убедительными. Но, конечно, убедительность достигается не тем, что художник говорит, например: «этого человека я люблю, а этого вот нет», и доказывает, почему это так, расплываясь в публицистике. Правда, так иногда делает сам Чернышевский в своих беллетристических произведениях, но он не считает это правильным. Он говорит, что приговор над жизнью должен получиться из этого самого объяснения выпуклыми образами. Любите вы или ненавидите, жалко вам

или вызывает ваше уважение к себе то или иное лицо или явление, изображенное художником, зависит от всей вашей установки, от ваших убеждений, от того, как бы вы к нему отнеслись в жизни. Только в жизни вы бы его сразу, может быть, не поняли, прошли бы мимо него, а художник дал вам в образе самое существенное, и вы это восприняли.

Можно ли сказать, что в этом суждении об искусстве есть что-нибудь такое, чего мы не могли бы принять сейчас? А между тем, эти положения Чернышевского, что художник объясняет, что художник произносит приговор над жизнью, пугают Плеханова, и он заявляет: с точки зрения оценки подлинного художника, дело заключается вовсе не в каком бы то ни было философском, этическом или публицистическом воздействии его произведений на людей. Хотя, конечно, такое воздействие возможно, но не надо пытаться навязать искусству эти учебные цели. Искусство для искусства, конечно, отвергается Плехановым; художник, разумеется, захвачен большой идейной жизнью своего века, если он действительно большой человек, в особенности, если он—представитель передового класса. Но, говорит Плеханов, в Чернышевском сказывается именно этот самый просветитель в том, что ему кажется, будто особую важность имеет не образный язык художника, не интуитивное в искусстве, не то, что отличает специфически художественную литературу от всякой умственной деятельности, а то, что роднит ее с этой умственной деятельностью. С ужасом приводит Плеханов слова Чернышевского, что поэзия неминуемо несет с собой множество всяких познаний. Ему кажется, что Чернышевский оценил на корабле искусства как раз самое неважное—какие-то канаты, какие-то пустяки, мелочь,—то, что тут есть, но только между прочим; по-настоящему воспитательно могуче действует искусство как раз не теми своими частями, которые роднят его с интеллектом.

Плеханов видит тут порок в рассуждениях Чернышевского об искусстве, вытекающий, по его мнению, из этого пресловутого «мозговизма», интеллектуализма.

Плеханов и Чернышевский сошлись бы в том, что художественное творчество можно назвать нравственной деятельностью. Творчество художника «чистого» (которого и Плеханов, и Чернышевский одинаково отметили) нельзя назвать нравственной деятельностью; если же произведения художника дают оценку, если эта оценка приводит к тому, что мы становимся мудрыми в жизни, лучше разбираемся в жизненных явлениях, получаем новый импульс для передовой деятельности, тогда, конечно, художник выполняет нравственную миссию.

Но в чем тут большая разница между Плехановым и Чернышевским? В том, что Плеханов боится Чернышевского, как рационалиста и просветителя, боится, что задняя мысль Чернышевского заключается в том, чтобы заставить художника заняться этой нравственной миссией. Плеханов говорит: «Мы смотрим на вещи, как они происходят в природе и в обществе, и мы выясняем их причины. Например, мы видим перед собой целую эпоху, во время которой художники нравственной миссии не выполняют, а занимаются тем, что называют искусством для искусства; но это иначе и быть не могло, так же, как не могут

розы цвести зимой, а снег выпасть в июле. Люди, оторванные от жизни, которых действительность не удовлетворяет, непременно уклоняются в сторону фантастики, в сторону мечты. Мы должны это понять, констатировать. У всякого времени свой овощ,—и в наше время будут расти овощи, которые будут соответствовать нашему времени. Но диктовать свою волю, говорить о том, каким должно быть искусство,—этого говорит Плеханов, делать нельзя. Мы должны забыть эту мысль: мы хотим такого-то искусства, искусство должно быть таким-то. Нет, ты бери искусство, каким жизнь его сделала, и объясни по-марксистски, какой класс высказал в нем свои тенденции». Вот что Плеханов говорит в своей статье «Эстетическая теория Чернышевского»:

«В статье о литературных взглядах Белинского мы сказали, что в своих спорах со сторонниками чистого искусства он покидал точку зрения диалектика для точки зрения просветителя. Но Белинский все-таки охотнее рассматривал вопрос исторически; Чернышевский окончательно перенес его в область отвлеченного рассуждения «о сущности искусства», т.-е., вернее, о том, чем оно должно быть. «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее,—говорит он в конце своей диссертации. Искусство также не должно думать быть выше действительности... Пусть искусство довольствуется своим высоким прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторой заменой ее, и быть для человека учебником жизни» (Плеханов, т. VI. Стр. 251).

Плеханов прямо, можно сказать, руки поднимает к небу: «Это уже взгляд просветителя чистой воды. Быть учебником жизни, это значит соответствовать умственному развитию общества. И просветитель видит в этом главное назначение искусства».

Возьмем быка сразу за рога пока в области эстетики, а потом и в области этики, и посмотрим, чего хочет Плеханов.

Плеханов хочет марксистски-исследовательского, объективного взгляда на вещи, он говорит: не предписывайте жизни ничего, а объясняйте жизнь. Не будем говорить о том, так ли мыслил Плеханов во всех областях, но он утверждал, что в области искусства никогда марксист не должен употреблять слова: искусство должно быть таким-то, а всегда должен говорить: искусство таково, и вот почему.

Да, до марксизма люди неясно представляли себе закономерную сущность общественных явлений. Чернышевский был домарксистским материалистом и поэтому мог очень легко преувеличить силу человеческого интеллекта и человеческой воли. Так, Чернышевский не верил, как вы знаете, в народ, не верил в силу народа, и Плеханов прав, когда говорит, что Чернышевский вовсе не был народником. Он любил народ, хотел, чтобы народ вышел из своего подавленного состояния, но думал, что не сам народ добьется этого. Народ будет бороться, заявит о своих правах всенародным бунтом только тогда, когда он будет разбужен другой силой—интеллигенцией, передовой интеллигенцией, во главе с ним, Николаем Гавриловичем, во главе с Добролюбовым и другими людьми их типа. Освободить народ может интеллигенция, ее революционные организации, путем неустанной пропаганды среди себе подоб-

ных, и путем агитационного воздействия на народ, и путем, может быть, террора (как вы слышали в начале моего доклада, Чернышевский прямо говорил: «кровь и грязь меня не испугают»).

Плеханов говорит, что это—утопический социализм, и, несомненно, он прав в этом. С этой точки зрения это есть просветительство¹. Чернышевский жил до марксизма и был утопистом. Подумаем,—что изменяет марксизм в этих рассуждениях Чернышевского об искусстве?

Марксизм дал правильное представление о закономерностях, по которым развиваются общественные явления. Но если мы из этого марксизма совсем изымем идею о сознательности, о сознательном руководстве явлениями, о нашей активности, если мы станем на ту точку зрения, что все общественные явления мы должны оценивать, как процессы, а представление о том, что есть, кроме того, и акты, выбросим, это будет меньшевистский марксизм, самый настоящий меньшевистский марксизм. Ведь мы в настоящее время являемся авангардом гигантского класса пролетариев, организованных в партию, высшим проявлением сознательности, какое когда-либо существовало на свете. Мы действуем не только, как партия, но руководим государством, составляем правительство, которое выражает собой диктатуру пролетариата.

Мы понимаем, что дело вовсе не так обстоит, что стоит нам только издать декрет, и все будет по-нашему. Конечно, нет. Но можно ли сказать, что мы не должны рассуждать, каким должно быть то или другое явление? Тогда мы были бы чистой воды меньшевиками. А мы — марксисты-большевики, марксисты-государственники, и рассуждаем так: первый акт, который нам диктует марксизм, это внимательнейшее объективное изучение классовой структуры общества, изучение тенденций развития производительных сил, изучение рынка и всей экономики, знание идеологии отдельных групп — «надстроек», которые над этим экономическим организмом высятся. Но значит ли это, что мы должны заниматься только определением этих объективных сил? Нет, ведь мы не сидящие в подпольи, оторванные от масс интеллигенты, которым ничего не остается делать, как наблюдать и только наблюдать, куда пошла жизнь, — направо или налево. И мы должны, конечно, основываться на объективных жизненных данных, но мы представляем собой руководящую партию, которая может в огромной мере влиять на ход событий. На основании объективного научного анализа мы должны начертать план, и нет почти ничего в жизни страны в том числе в ее культурном строительстве, до чего наш план не смел бы коснуться. Как можно, например, предположить, что мы можем обойти вопрос о том, какую литературу мы будем ценить, раз-

¹ Тов. Стеклов старался в первой своей книге о Чернышевском доказать, что Чернышевский вовсе не утопист, а мыслитель, почти на все 100% предугадавший марксизм. Плеханов был прав, когда опровергал эту точку зрения и приводил доказательства того, что Чернышевский был действительно утопистом. В № 1 «Под знаменем марксизма» за 1928 г. есть новая статья Стеклова «Были Чернышевский утопистом». Я ее еще не читал, но, по заглавию статьи предвижу, что тов. Стеклов опять стремится доказать свою прежнюю мысль. Думаю, что это безнадежно.

вывать, поддерживать и с какой литературой мы будем бороться? Вам известно, что Центр. Комитет Партии издал декларацию о литературе.

Приведу пример из области социальной экономики. Развитие деревни в условиях буржуазной страны таково: средний слой, среднее крестьянство расщепляется на бедняков и кулаков. Предоставленная самой себе, деревня порождает неизбежно верхушку — сельскую буржуазию. Но, под влиянием пролетарской диктатуры, в атмосфере советской власти, действие этих законов изменяется. И мы не только констатируем это, но прямо и резко отмечаем, что это зависит от нас, поскольку мы поддерживаем бедноту, соединяем ее и середняков в коллективные хозяйства, нажимаем на кулака, отрываем от него середняка, лишаем его политических возможностей, облагаем его высокими налогами.

Дерево, выросшее в лесу, дало бы кислые дички, но после приевки приносит прекрасные, сладкие груши. Мы являемся такими садовниками, которые сознательно изменяют явления природы; для этого не нужно быть чудотворцами, это — не чудо, это — активное использование знаний, это и есть большевистский марксизм.

Чернышевский воображал, будто он и его среда уже являются руководителями социальных явлений, а, между тем, эта маленькая горсточка интеллигентов не могла на самом деле сделать ничего социального, не могла вести за собой крестьянство, не могла его организовать. Поэтому Чернышевский — утопист. Маркс и его ученики установили, что для того, чтобы сделалась возможной социальная революция, надо, чтобы капитализм вспахал землю стальным плугом, чтобы он создал своего могильщика — пролетариат, чтобы пролетариат мог организовать партию, как его сознательный авангард, который могуч тем, что он знает законы развития общества, по отношению к которому пролетариат выполняет прогрессивную роль. Марксизм, научная социология, предохраняет от фантастических, произвольных теорий, указывая настоящее течение истории. Но если, кроме этого знания, мы не добьемся еще кое-чего, то мы будем безвольно плыть по течению — и только. Например, в России капитализм был очень мало развит, рабочих в ней было еще очень мало, социальная революция могла сделаться неизбежной через много лет. Что же мы должны были действовать только в пределах того, что допускается фатумом?

Народническая интеллигенция, которая хотела опереться на миллионы крестьянства и вызвать революцию, конечно, не могла этого сделать. Но, может быть, пролетариат окажется достаточно богатым силами, чтобы сделать то, чего те сделать не могли? По мнению Плеханова, это — возвращение назад. Плеханов на Стокгольмском съезде кричал Ленину: «В новизне твоей мне старина слышится». Какая старина ему слышалась? Старина Чернышевского. Но напрасно он думал, что в этом есть что-то новое. Это был подлинный марксизм. Маркс в 1884 г. написал известное письмо Михайловскому, над которым все меньшевики долго ломали голову и пришли к заключению, что Маркс просто пошу-

тил. Но Маркс был человек серьезный и в письмах к русским революционерам не стал бы шутить. Это письмо взволновало, замучило одного из самых святых людей нашей страны, Глеба Ивановича Успенского. Он перечитывал это письмо, обливал его горькими слезами. Почему? Потому что Маркс писал, что Россия упустила единственный в своем роде случай, когда группа ее революционной сознательной интеллигенции могла стать во главе революционного крестьянского движения и изменить ход событий, ход исторического развития. А теперь, — писал Маркс, — момент упущен, этого сделать нельзя, и Россия бесповоротно вступила на путь капитализма. Успенский понимал это и верил в истинность слов Маркса, а меньшевикобразные «марксисты» говорили, что Маркс пошутил или ошибся.

Успенский заливался слезами, запил и сошел с ума. В этом не последнюю роль в числе других факторов сыграло и письмо Маркса. Успенскому казалось, что, раз упущен момент, страна погибла. А Маркс не об этом говорил; он говорил: как и остальные, не «святы», страны, ваша «святая Русь» вступает на путь капиталистического развития.

Иными словами: теперь ждите пролетария. Когда дождетесь пролетария, будете и вы с праздником, а пока нет пролетариата, нет вам и революции. И когда пришел пролетариат, эта его колонна в 7—8 миллионов, оказалась действительным руководителем и организатором всего стомиллионного крестьянства.

Мы пошли по линии этой ленинской «старины». Да, мы еще не дозрели капиталистически, и у нас пролетариат еще не составляет большинства населения, но, пользуясь исторически сложившимися условиями нашей страны, которые создали предпосылки для крестьянского аграрного восстания, мы считали необходимым рискнуть на социальную революцию. Ну, хорошо, возражали нам, допустим, что вам удастся взять власть в свои руки, но что же вы дальше будете делать с этим крестьянством? Землю оно получило, и больше ничего с ним сделать нельзя. Неужели вы воображаете, что проведете социализм в стране, большинство населения которой — крестьяне? Но марксисты-большевики не испугались и сказали: не только воображаем, но знаем, что это возможно. Это возможно, если нам удастся создать прочное советское государство, диктатуру пролетариата, руководящего крестьянством. В этих условиях вполне возможно продвижение крестьянства к социализму собственным, ему присущим путем, — путем кооперации, включая сюда и общественную запашку, и коллективные хозяйства, о котором теперь сказал нам XV съезд партии.

Все это различие меньшевистского фатализма и большевистской активности мы должны помнить при наших суждениях относительно литературы.

Имеет ли право наша теперешняя критика говорить о литературе с точки зрения того, какой она должна быть? Может ли она, имеет ли право сказать, что есть социальный заказ, что наш лучший читатель требует материала для осознания, для изучения жизни теперешних классов, социальных групп страны в этот переходный период? Имеем ли мы право требовать, чтобы писатель изображал типы

положительные, которые могут показать, каким должен быть молодой гражданин нашей республики, чтобы писатель умел клеймить, умел сделать в наших глазах презренными те пороки и недостатки, которые вредят нашему строительству? Имеем ли мы право ставить литературе эти этические требования? Правы ли мы или не правы, когда мы поворачиваемся спиной к «чистым звукам и молитвам» и заявляем, что наша литература должна быть этической силой, должна содействовать нашему самовоспитанию, что само наше литературное творчество есть процесс самовоспитания нашего класса? Я думаю, что правы. И кто тогда прав — Плеханов ли, который утверждает, что величайший грех сказать: наша литература должна быть такой-то, или Чернышевский с его суждением о нравственной деятельности писателя? Сам Плеханов говорил, что каждый класс создает искусство по образу и подобию своему для своей потребности, на свою службу, что, когда класс идет вперед, он пронизывает сознательностью все свои действия. Когда, например, рыцарство, в его расцвете, создавало рыцарский роман, который должен был укрепить самоуважение рыцаря к себе, это делалось совсем не бессознательно, это делалось с большой долей классового сознания. Конечно, не вся культура класса строится сознательно, но чем более он сознателен, чем он организованнее, тем все действия его, строительство его — сознательнее.

Пролетарский класс не может допустить, чтобы литература росла так, как грибы растут в лесу. Пролетариату, классу новому, поднимающемуся, свойственно садовническое, культивирующее отношение к жизни. Его политика — не только объяснение действительности перед лицом законов природы, а комбинация, техническая комбинация, которая изменяет ход явлений. Это есть активная часть марксизма.

Вот почему я говорю, что для нас важна и приемлема эстетика Чернышевского, с ее страстной ненавистью к искусству, понимаемому, как сила, подменяющая действительную жизнь, с ее влюбленностью в действительную жизнь, с жаждой развития подлинной жизни и ее расцвета, с отрицательным отношением к мертвечине и утверждением, что искусство отражает то, что интересно для человека, а не просто все, как отражает зеркало. Основная мысль Чернышевского, что искусство произносит приговор над жизнью, т.-е. вызывает с нашей стороны определенную эмоциональную реакцию на изображаемое, и что художник является моральным деятелем, принимает участие в культурном строительстве, — совершенно правильна. Мы заявляем, что хотя Чернышевский не был марксистом, но это его учение приемлемо для нас, марксистов. Не владея марксовым методом, Чернышевский не мог бы объяснить, например, чем вызван был переход от 20-х к 30-м годам в нашей русской литературе. Мы имеем такой марксистский прожектор, который освещает нам внутренние корни событий, закономерную связь явлений, — это наше огромное преимущество, но мы, обладая возможностями научного анализа, не должны забывать нашу собственную активную роль, которую так хорошо понимал Чернышевский.

Теперь предпримем экскурс в область этики Чернышевского. Плеханов уделил ей не очень много страниц, но то, что написано им, — чрезвычайно глубоко, чрезвычайно эффектно. Этическая теория Чернышевского не особенно сложна и тоже умещается в весьма небольшое количество очень решительных тезисов.

Плеханов берет такую цитату из Чернышевского, чтобы установить сущность этических воззрений его:

«При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетами, велящими отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия» (Плеханов, т. V. Стр. 215).

При этом Чернышевский предвидит вопрос: отрицает ли он явление самоотвержения, идущего вплоть до смерти за любимых людей, за свой народ, за идею и т. д.? Чернышевский его не отрицал. Тогда кажется, что это довольно странный эгоист, который может предпочесть, как более выгодное, свое собственное уничтожение. Это, однако, Чернышевского нисколько не смущает, и он говорит: «Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснется к пище, оскверненной какой-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть легче унижения» (цитирую по Плеханову, т. V. Стр. 216).

Это очень важное этическое положение, которое свидетельствует о том, что этика Чернышевского вовсе не так уж примитивна. Чернышевский говорит, что бывают случаи, когда, не пожертвовав самим собой, вы обрекаете себя на жизнь чрезвычайно подлую; может быть, она внешним образом будет унижительна, вы должны будете жить в каком-то страхе, рабстве, среди унижений, оскорблений, страданий и т. д., или, может быть, ваше собственное уважение к себе вследствие этого настолько упадет, что вы лишитесь всякой радости жизни. Человек, который не считает себя достойным жить, который сам себя презирает, у которого к каждому моменту его жизни присоединяется голос, осуждающий его, — у такого человека нет аппетита к жизни, и в этом случае, если он умный человек, то он предпочтет умереть. Лучше умереть, чем жить жизнью, полной унижений.

Плеханов совершенно правильно говорит, что на самом деле то, что предпочтет человек, и то, как он поступит, вовсе не зависит от его рассудка и от какого-то расчета. Если бы мы даже стали на рационалистическую точку зрения, рассуждает, то и тогда нужно было бы сказать, что в его рассуждение входит некоторая, не особенно легко определяемая величина. Почему, например, один предпочтет украсть, чтобы не быть голодным, а другой предпочтет голодать, но не красть? И можно ли сказать, что есть совершенно обьективные веса, на которых можно взвесить и то и другое, и что все люди одинаково разрешают такой-то вопрос? Мы знаем, что люди разрешают одинаковые вопросы разное, в зависимости от своих предпосылок, как совершенно

правильно говорит Плеханов, унаследованных и созданных воспитанием. Если даже мы будем говорить о рациональных поступках, о таких поступках, которые вытекают из рассуждения, и в этом случае то, что вы предпочтете, зависит не от силы вашего рассуждения, а от степени удовольствия, симпатии, от той оценки, которую вы придаете тому или другому благу. Это зависит от характера и, стало-быть, от того, в какие нормы отлилась данная натура. С нашей теперешней научно-психологической точки зрения можно сказать, что это зависит от того, какие рефлексы в данном человеке образовались, какие реакции у него преобладают. И, установив эту точку зрения, мы поймем, что рассуждение есть сложная реакция, которая очень часто не наступает. Действие не всегда идет через так называемую мысль, т.-е. через сплетение разных рефлексов, часть которых отменяет другие; очень часто человек реагирует сразу, не рассуждая. Характер добрый или злой, отважный или трусливый зависит не столько от степени рассуждательных способностей, сколько от образовавшегося комплекса рефлексов.

Плеханов обращает очень большое внимание, и, конечно, совершенно правильно, на то, что характер человека не вырастает стихийно, а что его воспитывает общество — пример семьи, улицы, потом школы, потом казармы, прессы и общественное мнение. Вся общественная среда есть огромный воспитательный аппарат, в котором общество старается человека, от природы звереныша, сделать социальным, т.-е. так извратить или, наоборот, так облагородить его инстинкты, чтобы они оказались социальными, чтобы из них можно было извлечь возможно больше общественного блага. Моральным большинством людей называет такое поведение, которое общественно выгодно, и с этой точки зрения можно сказать, что общество оказывает постоянное воздействие на личность, чтобы она не была преступной, т.-е. не преступала общих правил, а, напротив, действовала согласно им, поступала бы правильно. Приучить человека поступать правильно, т.-е. соответственно установленным общежитским правилам, это цель каждого общества.

С этой точки зрения рассуждения Чернышевского как-будто являются детскими. Ведь человек, рассуждает ли он или не рассуждает, на самом деле действует не в силу тех рефлексов, которые в нем сложились в значительной мере под давлением воспитывающей силы общества. Плеханов об этом говорит следующее:

«В самом деле, предположим, что мы имеем дело с обществом, не разделенным на сословия или классы. В таком обществе добрыми будут считаться только те поступки отдельных лиц, которые совпадают с интересами целого, а дурными те, которые противоречат этим интересам. Стало быть, в основе суждений о добре и зле будет лежать то, что можно назвать эгоизмом целого, *общественным эгоизмом*. Но эгоизм целого отнюдь не исключает альтруизма отдельного лица, *индивидуального альтруизма*. Напротив, он является его источником: общество стремится воспитать отдельных своих членов так, чтобы они ставили общественный интерес выше своего частного; чем более поступки данной личности будут удовлетворять этому требованию общества, тем самоотверженнее, нравственнее, альтруистичнее будет эта личность. А чем

более ее поступки будут *нарушать* это требование, тем более своекорыстной, безнравственной, эгоистичной она окажется. Это и есть тот критерий, который всегда — с большей или меньшей сознательностью — применялся и применяется людьми при суждении о том, альтруистичен или эгоистичен данный поступок данного лица: вся возможная здесь разница сводится к тому, что именно представляет собою то целое, интересы которого ставятся в данном случае выше интересов отдельных лиц».

... «Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что поступки, полезные обществу, становятся для него инстинктивной потребностью («категорический императив» Канта). И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее отдельное лицо. Героями называются такие люди, которые не могут не повиноваться этой своей потребности даже тогда, когда ее удовлетворение решительно идет вразрез с их самыми существенными интересами, грозя им, например, смертью. Это обыкновенно упускалось из виду «просветителями» и в их числе Чернышевским. Можно, впрочем, прибавить, что не менее «просветителей» ошибался и Кант, утверждавший, что нравственные побуждения не имеют никакого отношения к пользе. Он тоже не умел стать в этом случае на точку зрения развития и вывести *индивидуальный альтруизм из общественного эгоизма*. (Плеханов, т. V. Стр. 218—219).

Вполне воспитанный в духе данного общества, в духе данного класса человек действует как будто инстинктивно, у него превратились в инстинкты те рефлексы, которые ему привиты общественным давлением. Это совершенно бесспорно. Все же при этом возникает довольно значительное «но», которым я сейчас постараюсь с вами поделиться.

Чернышевский говорит: человек, стоящий перед известной дилеммой, рассуждает, как будет лучше действовать в данном случае, и, пользуясь своим здравым смыслом, выбирает тот или другой поступок. Он может выбрать далеко не то, что ему хочется. Например, горит дом, и человек должен выбрать, что лучше — сгореть или выброститься с пятого этажа. При нормальных условиях он бы, конечно, не выбросился, тут он вынужден это сделать. Но, однако, это не значит, что ему нравится прыгать с пятого этажа. Это только наименьшее зло в данном случае. И всегда, при всех условиях, человек выбирает наименьшее зло или наибольшее благо. Плеханов возражает: ты думаешь, что ты выбрал? Нет, это в тебе выбрало твоё воспитание, твой характер, а воспитание и характер не зависят от тебя самого. Многие зависят от того, с каким телом ты родился, и еще больше от того, какие вкусы, инстинкты и понятия развивала в тебе социальная жизнь, частью которой ты являлся.

Это, разумеется, верно, но отсюда как-будто бы нужно сделать тот вывод, что и в области морали мы тоже являемся более или менее наблюдателями. Мы видим, что люди поступают; но оказывается, что они, в сущности, вовсе не поступают, т. е. не совершают никаких актов. Совершаются процессы, — не люди выбирают, а в них нечто выбирает. Это «что-то» есть социальное «что-то». И всюду во всем мы

видим только всплески социального моря. Никакого активного желания, никакого активного творчества у человека быть не может.

Чернышевский стоит на точке зрения человеческой активности. Он говорит, что человек выбирает наименьшее зло или наибольшее благо и этим руководится в своей жизни; поэтому человек есть эгоист. Бессмысленно говорить: я герой, я добродетельный и т. д. Всякий человек делает то, что ему нравится. Ну, а если то, что мне хорошо, другим тоже нравится, и для других хорошо, тем лучше. Чернышевский считает, что человек честный, человек отважный, человек общественный не может требовать себе какой-то награды. Такой человек получает награду в самом своем поступке. Это очень хорошая, честная, чистая позиция, но не в ней дело, — это только привкус. Важна самая теория поведения человека. Чернышевский, как и Гольбах, как Гельвеций, думал, что человек выбирает законы своего поведения; а Плеханов говорит, что на самом деле все происходит закономерно, выбора никакого нет, у человека есть только иллюзия, будто он выбирает, а на самом деле он выбирает по законам своей природы, каковая природа является результатом общественных воздействий.

Но почему же бывают на свете вот эти самые рационалисты, эти самые просветители, и когда они возникают? Ведь они все-таки возникают, а мы должны объяснять явления. Объясните, почему Гельвеций и Чернышевский думали, что всякий человек — эгоист и выбирает то, что ему лучше? Что это значит, когда в известные эпохи появляются личности, которые говорят: нет никакой морали, нет никаких заповедей, нет никакого долга, человек совершенно свободен и выбирает то, что ему больше нравится; именно такой человек, который понимает это, — настоящий человек? По какой исторической причине появляются эти просветители?

Это бывает тогда, когда устойчивая мораль рушится, когда мораль какого-нибудь господствующего класса со всей определявшей им эпохой рушится, когда выдвигается новый класс, у которого нет еще устоявшейся морали, который первоначально пробивается вперед в форме революционного авангарда, сокрушая старое.

Эти «критически мыслящие личности», которые разбивают старое и являются, если хотите, закономерными, являются выражением самого процесса распада старого устойчивого мира и проявления нового. Можно, например, сказать, что Рахметовы, Лопуховы и все прочие герои Чернышевского, сам Чернышевский, Добролюбов, вступая в жизнь, не были воспитаны каким-то классом в духе определенных реакций. Я не думаю, чтобы их поповская, семинарская среда воспитала в них определенные реакции, которые они поняли, как новую мораль. Я думаю, что это неправильное представление. Они вступили в жизнь, как люди, которые усомнились в морали своих отцов; эта мораль им уже несколько не imponировала. Они вступили в жизнь тогда, когда уже расшаталась мораль того мещанства, из которого они вышли. Они вышли из-под ее власти, но для них неприемлемы были самодержавные законы, мораль дворянства и т. д. И они противопоставили всему этому свою свободу.

Конечно, эта свобода, с точки зрения материалистического детерминизма, иллюзорна, но социальна она несколько не иллюзорна.

Они заявляли: мы низвергаем всякий долг; я не хочу действовать ни по каким заповедям, я хочу быть свободным. И они хотели осуществить свое право быть свободными. Мы знаем, что еще с древнейших времен, начиная со времен софистов, существовали в различных обществах личности, которые не сдерживались никакими твердыми заповедями, которые заявляли, что человек есть мера всех вещей. Такие люди часто оказывались циничными, потому что раз нет бога, нет души, нет долга, нет законов, морали, нет норм поведения, то надо гнаться за всяким сладким куском, за всяким сладким мгновением,—все позволено. Вспомните, как эти два слова—«все позволено»—понимал у Достоевского Смердяков; может быть, вы благородная душа, Иван Карамазов, и для вас «все позволено»—только фраза; а Смердяков пойдет и сделает пакость. И в каждом человеке есть Смердяков, дайте ему свободу, и он напакастит. Вот как понимает этот аморализм Достоевский. Но когда новая революционная волна выдвигает людей на новые пути, они совсем не для того приходят, чтобы пакостить; они объявляют свою свободу, она им нужна, потому что они находят в себе совершенно особенный душевный уклон или, как бы мы теперь сказали, находят в себе определенный тип рефлексов.

Вл. Соловьев издевался: у Чернышевского выходит так: «человек произошел от обезьяны, после смерти из него вырастет лопух, а поэтому — умрем за общину», и хохотал, держась за бока. Но ведь если бы человек произошел не от обезьяны, а от Адама, в грудь которого господь бог вдунул душу по образу и подобию своему, тогда зачем было бы умирать за общину? Тогда, конечно, оставалось бы ждать, пока душа, покинув свое брэнное тело, не вернется к господу богу и не будет там блаженствовать. Если бы после смерти дело не кончалось тем, что лопух вырос, а отверзлись бы врата райские, или, напротив, врата адовы, тогда было бы совершенно другое дело. Вл. Соловьев думает, что если души нет и со смертью для человека все кончается, то мы непременно должны быть негодяями и непременно будем друг другу пакостить. Только в том случае человек не будет пакостить, если есть рай и ад, награда и наказание. В сущности, это — средневековая, даже дикарская идея. Ученейший г. Соловьев не с высоты своего величия, как он воображает, а по-дикарски не понимает Чернышевского, который говорит: если жизнь есть биологический кратковременный процесс, то делаем ее возможно более счастливой; но нельзя сделать ее наиболее счастливой индивидуально потому, что, во-первых, свое собственное счастье страшно трудно построить в атмосфере ненависти, эгоизма, давления сильных и т. д., а, во-вторых,—совесть зазрит, тяжело, мучительно, даже невозможно было бы пользоваться благосостоянием, если знаешь, что рядом люди гибнут, что их гибелью, их каторжным трудом ты пользуешься для своего благосостояния. И поэтому, чтобы сделать жизнь действительно разумной, чтобы она стала счастьем людей, для этого нужен социальный переворот. А раз это так, то единственное подлинное счастье, единственное подлинное

оправдание жизни—это участие в революционном движении, в том, чтобы отдать этой работе свои силы. И если окажется, что одно поколение этого сделать не может, ну что же,—делаем это в несколько поколений; если окажется, что эту задачу не мы выполним, что мы сами ее выполнить не сможем, то давайте действовать от имени народа. Вот как тогдашнее поколение перебросило этот мост от аморализма, от теории эгоизма к служению народу, что невдомек Владимиру Соловьеву.

Такой строй чувств соответствует революционно настроенному человеку, который подвергает критике все и хочет действовать разумно. Конечно, марксист, пока он стоит в стороне и находится в положении наблюдателя этой самой этики, будет говорить: все это, в сущности говоря, есть иллюзия, а на самом деле поведение закономерно predetermined. Но сам Плеханов, когда он дает блестящее осуждение фаталистического детерминизма, совершенно правильно говорит, что из того, что каждый наш шаг действительно predetermined, из того, что всякое наше действие есть закономерное действие, не следует, что мы действуем, как слепая сила. Если смотреть с точки зрения стороннего наблюдателя, историка из последующих времен, то все окажется процессом. А если мы будем смотреть нашими глазами, глазами людей, живущих в данных условиях, борющихся в данных условиях, то это будет активность, это будет определенное действие, определенная воля, определенное творчество в живой жизни. Мы именно так и чувствуем, потому что процесс, который мы объясняем, есть процесс живой жизни, процесс самого органического творчества.

Плеханов прекрасно понимал это, но в данном случае пошел несколько вкривь. Плеханов должен был учесть, что этические представления Чернышевского и его единомышленников не только объективно соответствовали тогдашним историческим условиям, но были наиболее полезными для того времени, наиболее развертывали активность людей, легче всего могли вытолкнуть человека из его закоруждой среды к той творческой, светлой жизни, к которой звали Чернышевский, Писарев, Добролюбов.

Мы все, конечно, прекрасно понимаем, что, например, формирование новой морали, которая нам нужна, есть сложный общественный процесс. Но значит ли это, что мы не должны сейчас пересматривать основы морали активно? Вот перед нами молодой пролетарий, который действует, не рассуждая, всегда по-пролетарски. Очевидно, у него общественное воспитание превратилось в инстинкт. Можно позавидовать ему. Но ведь далеко не у всех это так. И у того, в ком общественное воспитание не так закончено, у того, кто, с одной стороны, хочет поступать так, как должен настоящий пролетарий поступать, а, с другой стороны, чувствует, что его собственные страсти, предрассудки, недостатки толкают его в другую сторону,—у того возникает внутренняя моральная борьба. Можем мы воспитывать таких людей? Да. Ведь буржуазия стремится воспитывать, стремится известные рефлексы, известные правила превращать в инстинкт. Мы тоже это должны делать. Мы должны это делать дошкольным воспитанием в детском саду, через школу, путем прямого влияния нашей среды, воздействия друг на друга

и самого на себя, чтобы у нас пролетарские элементы восторжествовали и превратились в инстинкт, как говорил Владимир Ильич, в нашу пролетарскую мораль. Мы не скажем: пролетариат строит свою мораль интуитивно, так, как паук плетет паутину. Когда одна мораль рушится, а другая еще создается, когда надо активно создавать правила своего поведения, как же мы можем не рассуждать? Когда к апостолу Павлу обратились с вопросом о боге, он ответил: «А кто ты такой, чтобы о господе боге спрашивать?». Мы не удовлетворяемся таким «апостольским» ответом, мы хотим знать, хотим объяснить, почему такие-то правила, нормы поведения—единственно разумные, единственно законные. Кто скажет мне—не рассуждай об этом, потому что на самом деле человек не рассуждает, ибо на самом деле в человеке говорят те рефлексy, которые в нем созданы обществом? Зачем мне это, когда мне надо знать, как мне завтра поступить: украсть у товарища книгу и продать на базаре или не красть? Если я этого не сделаю, я не смогу заплатить долг и буду голоден, а если сделаю, я буду себя презирать. Я не сплю ночи, ворочаюсь с бока на бок и не знаю, как поступить. Моральная борьба, колебания, противоречия бывают всегда, но в особенности тогда, когда мораль покачнулась; когда, с одной стороны, нет никакого долга, нет никакой нравственности и человек должен быть реалистом, смотреть прямо на вещи, обсуждать вопросы с точки зрения утилитарной, а, с другой стороны, должен спросить себя: лучше ли поступать с точки зрения твоего достоинства, но не интересов, или лучше с точки зрения твоего класса, хотя это и губительно для тебя, как единицы? Если мне говорят, что каждый раз надо исходить из таких-то правил поведения, то я требую, чтобы эти правила поведения себя доказали.

Наша мораль не может быть интуитивной, категорически предписывающей, она должна доказать свою правоту. А можно ли жить без морали? Ленин правильно говорит, что Бухарин, может быть, и прав, что он не хотел этого слова, отдающего кантианством, но дело не в слове: нужны нормы поведения, которые мы должны выработать и которые мы должны превратить в воспитательные нормы.

Но тогда мы очень близко подойдем к Чернышевскому, потому что, если мы станем на ту точку зрения, что человек должен обсудить правила своего поведения и выбрать для себя правила поведения,—очевидно, что он должен выбрать лучшие, с точки зрения разума. Каждый человек, как эгоист, имеет право и возможность выбрать то, что для него лучше; мы приходим к нему и говорим: я тебе сейчас объясню, как ты должен себя вести, и докажу, что это для тебя самое лучшее. Приняв это, мы будем очень близки к Чернышевскому.

Почему же на первый взгляд наивная теория Чернышевского об эгоизме, которую так, казалось бы, легко разрушает глубокой критикой Плеханов, вновь возникает для нас?

Потому, что время, в которое мы живем, и обязанности, которые на нас возлагаются, то поведение, которое нам этим временем диктуется, похоже на то, которое воображал себе существующим уже тогда Чернышевский.

Чернышевский воображал, что он есть великий учитель жизни, что он сплотит вокруг себя какую-то партию, что эта интеллигентская партия будет перестраивать жизнь, создавать новую мораль, разумную мораль, что она сможет доказать, что эта мораль действительно разумна, а всякая другая недействительна. Но его представления о времени, в которое он жил, и о роли, которую он должен выполнить, были иллюзорны. А мы на самом деле попали в такое положение. Еще недавно мы говорили: не станем же мы писать кодекс поведения, и правильно т. Ярославский говорил: что же мы будем предписывать сколько рюмок водки выпивать? А теперь ясно, что никуда от этого мы не уйдем. И молодежь требует этого.

Надо в общем представить себе, что такое настоящий пролетарий, что это за тип, и как он поступает в разных случаях жизни, что такое наше добро и зло. Нельзя полагаться, что инстинкт подскажет. Разве это похоже на нас, воспитателей, сознательных воспитателей новых поколений, разве это похоже на нас, которые стараются пролить разум на всякую проблему, если мы будем полагаться на инстинкт, на то, что «ён достанет», кривая вывезет? Нет, мы не можем сказать, что молодой гражданин может жить без норм поведения. И Ленин прямо говорит: будет такой кодекс морали, и основное его положение несомненно: в наше переходное время, время борьбы, каждый человек должен подчинять свое поведение интересам всего своего класса. А из этого следуют очень многие пункты, которые еще нужно развернуть.

Я не хочу сказать, что Плеханов, если бы рассуждал о наших теперешних моральных задачах, не говорил бы того же самого, что говорил Владимир Ильич и что я вам сейчас говорю. Но когда он подходит к Чернышевскому, чувствуется, что он как будто от этого отходит: уж очень он напирает на то, что все происходит само по себе, что поступки не есть поступки, а процессы, что они есть выражение определенных причин. Почему это? Да потому, что Плеханов выражает собой ту полосу в развитии пролетариата, в развитии пролетарской идеологии, когда надо было разбить весь субъективизм и утопизм Михайловского. Это надо было разбить беспощадно; надо было доказать, что без исследования объективных сил и слияния их воедино, пока история не создаст предпосылок, пока массы определенно не выступают на первый план, пока они не заразятся определенной энергией, не приобретут определенной организации, не может быть никакого сдвига вперед, не может быть никакой победы. Поэтому не воображай, что человек может руководить толпой, что ты можешь развязать то, что связала история. Иди к пролетариату, помогай ему расти, сознательно организовывайся, действовать в союзе с историческими силами. Только так ты можешь победить, только тогда ты победишь, когда твои собственные желания окажутся совпадающими с законами общественного развития.

Все разумное действительно, все действительно разумно. Но что это значит? Что разумное непременно станет действительным? Но когда для этого созреют сроки, когда это разумное, завтрашнее разумное созреет из сегодняшнего неразумного? Все действительное

разумно. Но это значит, что в нынешней действительности есть неразумное, то, что собственно относится ко вчерашнему дню, что отмирает, а то, что относится к завтрашнему дню, это — разумно. Так вот, становясь на точку зрения завтрашнего разумного, содействуй его развитию; только тогда, когда ты будешь действовать в униссон с природой, когда ты будешь содействовать истории, ты будешь что-нибудь делать.

Когда Михайловский построил свой беззубый субъективизм, свою теорию о том, что можно поворачивать историю, как хотите, Плеханов был колоссальным провозвестником подлинной истины, настоящим учителем мудрости жизни. Это верно, но есть ли это вся истина? Нет, это две трети истины, скажем, даже девять десятых истины, но это не есть вся истина.

Нужно содействовать действительности. Когда мы были в подпольи, тогда меньшевикам слова «развязывать революцию» казались невероятными, страшно смелыми. Как это так? Революция — явление стихийное, приходит сама по себе, все равно, как фазы луны. Как можно развязать фазы луны? Никак, конечно, не развяжешь. Наша воля и наше сознание могут только в некоторой степени способствовать общественным явлениям, помогать чуточку. Все что казалось досадным революционерам-романтикам старого народнического типа; они считали себя силой индивидуальной, которая свою печать накладывает на эпоху. А им говорили, — какая там печать? Тут надо только говорить, почему что произошло, надо немного содействовать тому, чтобы не задерживалась старуха-история, а шла бы вперед. И правда, когда мы были в подпольи, что это было за содействие истории, если мы, например, на задворках Обуховского завода учили пролетариат по брошюре «Кто чем живет»? Сравнить это с теми возможностями, которые дал Октябрь! Произошли исторические события гигантского, мирового значения, которые делались и сознательно, и организованно. Пришло время такое быстротекущее, такое революционное, такое заряженное энергией, с таким огромным количеством сил, которые только ждали своей организации, чтобы выступить, как доминирующие.

Мы, большевики, знали об этом, еще будучи загнанными в подполье.

Напомню еще раз великую фразу Энгельса о прыжке из царства необходимости в царство свободы. Что этим хотел сказать Энгельс? Когда человеческая воля будет организована, она получит огромную власть над судьбой человека. И Маркс говорит неоднократно и подчеркивает это, что человек потому верит во всяких богов и т. д., что у него запутаны, хаотичны социальные отношения, а когда общество будет организовано, человек станет выше общественных законов, вся судьба человека будет подчиняться разуму, будет итти соответственно разуму.

Но мы находимся уже на переломе. Мы уже имеем начало социального общества, у нас диктатура сознательного класса — пролетариата, мы несем в себе сознание того класса, который является вершителем судеб человечества. Это значит, что все большую власть у нас над действительностью получает сознание, организованное сознание. Власть эта не безгранична, может быть, она даже очень ограничена; нужно прерасно обследовать явления, чтобы воздействовать на

них, нужно их правильно оценивать, чтобы не ошибиться, но тем не менее можно на них воздействовать, их изменять. В числе этих явлений и человеческая мораль, правила нашего поведения. Уже нельзя говорить, по Плеханову, что мораль зависит от воспитания, — как тебя воспитали, так ты и будешь действовать. Но, по Плеханову, т.-е. влиянию всей нашей общественности, эти правила нужно привить. А так как теперь воспитываем мы, так как теперь все школы, вся пресса, вся экономика, все воспитывающие силы в наших руках, то надо спросить себя: в каком духе мы будем воспитывать, что мы считаем действительно хорошим, и как мы будем воспитывать, сознательно подбирая обстановку, чтобы превратить это хорошее в инстинкт? Мы должны определить содержание воспитания и тот метод, которым мы хотим привить ребенку общественную, пролетарскую мораль, развивая в нем мысль, заставляя его подумать о различных мотивах поведения и выбрать то, что является социально наиболее благородным и полезным.

Вот почему оказывается, что мы на девять десятых согласны с Плехановым, но через его голову протягиваем руку этому утопическому социалисту, который придавал огромное значение власти человеческого разума и воли. Марксизм чрезвычайно урезал эти факторы, показал, что на самом деле они подчинены объективным законам, но в то же время показал, что по мере большей организации пролетариата, по мере того, как власть будет переходить в его руки, сфера влияния воли и разума станет все больше и больше, — и уже не так, как представляли себе это утописты, а на самом деле.

Вот почему этика и эстетика Чернышевского, его иллюзорное представление о власти разума человека над действительностью, сейчас оказываются нам близкими, и очень многое из критики Плеханова, направленной против Чернышевского, отпадает. Поэтому я не согласен с тов. Стекловым, когда он говорит, что Чернышевский не был утопистом, но не согласен и с Плехановым, который говорит, что так как Чернышевский был утопистом, то вся его этика и эстетика никуда не годятся, что он подошел к этим вопросам именно так потому, что он был утопистом, что ничего из его учения нельзя применить. Идеи Чернышевского важны тому, кто уверен в действительной победе, важны для нас, потому что мы действительно строим социализм и строим его сознательно, потому что мы действительно имеем власть над событиями, хотя она и ограничена.

Вот что можно сказать по поводу этики и эстетики Чернышевского, если поставить их перед судом нашего времени и нынешнего нашего положения. Чернышевский сам по себе, вся фигура Чернышевского, все, что он оставил, представляет собой громаднейшее достояние, исключительное по ценности наследие.

Когда я встретил на днях Н. К. Крупскую и она спросила, чем я сейчас занимаюсь, я упомянул, что, между прочим, занимаюсь подготовкой доклада о Чернышевском в Комм. Академии. И тогда Надежда Константиновна сказала мне: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского. Это был человек, к которому он чувствовал какую-то непосредственную близость и уважал его в чрез-

вычайно высокой мере». И потом, подумав минуту, она сказала мне: «Я думаю, что между Чернышевским и Владимиром Ильичем было очень много общего». Я не знаю, было ли много общего,—было и общее, было и отличное,—но я знаю, что в оценке калибра человеческого и в оценке красоты, формы натуры, действительно эти два человека стоят в какой-то близости по отношению друг к другу. Если наследие Ленина, мудрость его на необозримые времена еще является для нас кладезем изучения, то и от Чернышевского осталось еще очень много такого, что должно признать не только замечательным памятником определенной эпохи, но и таким, чему следует и чему необходимо учиться.

Некоторый вклад в такого рода оценку Чернышевского хотелось мне сделать и моим сегодняшним докладом.

А. Луначарский.

ГЕГЕЛЬ И МАТЕРИАЛИЗМ

Положение на фронте борьбы диалектического материализма с механистами сейчас таково, что общих рассуждений о важности изучения Гегеля совершенно недостаточно. Та же самая проблема теперь ставится по-иному, и решение ее должно возможно детальнее показать взаимоотношение Гегеля и диалектического материализма. Это означает, что нужно разрешить два вопроса: во-первых, имеются ли в философии Гегеля какие-нибудь элементы теоретической системы материализма и какую роль и значение они там играют, и, во-вторых, что и в каком виде переходит от Гегеля в марксизм.

1. Материальный мир в философской системе Гегеля

Диалектический идеализм Гегеля был, с точки зрения идеологических причин его возникновения, не чем иным, как реакцией на метафизический материализм вообще, французов XVIII века в частности. Для оценки этого факта необходимо принять во внимание следующее.

Плеханов, как известно, придавал большое значение тому, что он называл вслед за Дарвином «законом антитезы». Применяя его к истории развития обычаев, нравов, воззрений, Плеханов дал нам с помощью этого закона исчерпывающее об'яснение целого ряда идеологических фактов.

Этот закон, являющийся лишь одной из форм выражения диалектики противоречий, необходимо применить и при анализе причин возникновения философии Гегеля. Может быть, его нужно было бы только дополнить другим, имеющим весьма широкое распространение,—законом, который целесообразно назвать «законом прогрессирующей крайности». Под последним нужно понимать то же самое, что понимал Ленин под весьма нередким у него выражением, что такой-то (имя рек) «скатывается» или «скатился» к идеализму, поповщине и т. п. Такого рода об'яснению определенных идеологических процессов Ленин придавал громадное значение во всех своих работах. Раз возникли определенные противоположности, они благодаря своей внутренней логике «стремятся» не сойтись, а разойтись. Крайности прогрессируют. Люди, стоящие на точке зрения какой-нибудь одной противоположности и борющиеся против другой, нередко «скаты-

ваются» к полному отрицанию первой, к огульной борьбе с нею. Именно об этом говорит Ленин в своем фрагменте «К вопросу о диалектике». «Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии (человеческого познания) может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая, если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов)».

История человеческой мысли, в том числе и философии, есть длинная цепь связанных между собою звеньев, как в сделанной кузнецом цепи: очень часто связанных друг с другом только через свои противоречия.

Каждая исторически обусловленная система философии не только разрешает определенные теоретические задачи, но и ставит новые перед своими преемниками. Так и было в интересующем нас случае. Задача, поставленная историей мысли перед французскими материалистами, состояла в том, чтобы, отбросив прежние негодные методы познания материального мира, разработать в соответствии с достижениями современной им науки метод новый и применить его на деле. Эта задача обща французам со всеми другими направлениями в философии, поскольку они возникают, как новые направления. Различия вырастают только в пределах способов ее разрешения. Французские материалисты жили и действовали в «переходное» время. В центре внимания философского познания предшествующей эпохи стояла природа с ее закономерностями. Познание общественной жизни занимало подчиненное положение, хотя здесь мы и встречаемся с такими именами, как Маккиавели и Вико. Однако социальные потрясения XVII и XVIII веков заставили ученых сосредоточить свое внимание на социальных проблемах и подвели мысль к разработке общественных наук. Центр тяжести научных интересов и научного исследования начал перемещаться в эту сторону. Но разработка общественной науки в XVIII веке должна была остаться скорее перспективой, чем достижением, и это вытекало по необходимости из успехов математического естествознания, только-что победившего схоластику и имевшего поэтому тенденцию подчинить своему методу все области знания, — обществоведение в том числе. Этим методом был метод метафизического материализма, защите и разработке которого посвятила свой труд целая плеяда французских материалистов.

Но метафизике внутренне присуще впадение в те противоречия, непризнание которых она ставит своим высшим принципом: Однако, пока Гольбах, Гельвеций, Ламеттри пользовались метафизическим материализмом для понимания природы, они впадали в еле заметные противоречия. Положение решительно изменялось в худшую сторону, когда французы подвергали анализу человеческую историю. Да иначе и не могло быть, поскольку они подходили к этому в высшей степени сложному диалектическому процессу с точки зрения простой и плоской метафизики. Масса общеизвестных фактов решительно опровергала все их рассуждения об общей всем «природе человека», о роли законодателя, мнений и т. п. Вопросы остались, таким

образом, не решенными: они были только поставлены и притом поставлены не всегда правильно. Но, само собой разумеется, человеческая мысль не могла остановиться на этом. Она искала действительного разрешения вопроса, хотя, как мы знаем из истории философии, и впадала в величайшее заблуждение, — в идеализм.

Желая создать на путях метафизики общественную науку, французы доказали неприменимость метафизики к познанию человеческой истории. Философы после них, рассматривавшие этот вопрос, отказались — вернее, отказывались — от метафизики. Но в их представлении метафизический метод был неразрывно связан с материализмом: вместе с метафизикой они отбросили и материализм; борясь с первой, они *скатились* к идеализму.

Для оценки этого процесса чрезвычайно характерны следующие моменты.

Родоначальником нового идеализма, несомненно, является Кант. И на примере Канта особенно ясно видно, как протекает переход от материализма к идеализму, по каким путям он идет.

Общеизвестно, что в свой докритический период Кант был близок к материализму: по крайней мере, он отнюдь не сомневался в об'ективном существовании материального мира. И как раз в этот период Кант занимается почти исключительно натурфилософскими проблемами, мало интересуясь вопросами обществоведения. Но в философии Канта происходит поворот: он отказывается от «догматизма» и становится на «критическую» точку зрения. Центр тяжести интересов Канта решительно переносится из области натурфилософии в область проблем, связанных с познанием человека. Известное самосравнение Канта с Коперником, сравнение, столь любимое идеалистами, имеет под собой ту реальную почву, что Кант радикально изменил об'ект философского исследования, на место природы поставив человека. Правда, при этом Кант зашел слишком далеко, превратив живого реального человека в мертвого носителя трансцендентального рассудка, но за этой надуманной формой нельзя не видеть вполне реального стремления познать именно человека и человечество. В соответствии с этим естественно-научные произведения Канта в данный период занимают самое скромное место («Метафизические основания естествознания»), и их количественно и качественно подавляют разного рода «Критики» и «Антропологии».

Развитие идеализма из метафизического материализма по принципу антитезы явствует также из того, что Кант «составил эпоху» в философии перенесением центра тяжести на выработку метода познания в противовес конкретному «догматическому» познанию материалистов. Устремляясь в эту сторону, Кант как бы говорит, что на очереди дня стоит не столько мировоззрение, проблема действительного разрешения частных вопросов, сколько проблема самого подхода к науке, каковой вопрос — и это верно — материалисты отнюдь не заостряли.

Характернейшим моментом является также самый «критицизм» Канта, выдвинутый им на смену метафизическому методу. Конечно,

критицизм отнюдь не составляет прямой и исключаяющей противоположности метафизике, а сам впадает в нее. Однако на первых порах он действует против метафизики, подвергая критическому пересмотру ее прочно установленные основоположения. И в то же время критицизм исторически, в форме, приданной ему Кантом, означает переходную ступень к диалектике: именно благодаря своему впадению в метафизику критицизм приводит к признанию некоторых безысходных противоречий, антиномий, которые по известной оценке Гегеля являются зародышем диалектики.

Все это: и «антропологический» характер нового идеализма, и подчеркивание проблемы метода, и критицизм, и зародыши диалектики, прямо противопоставленное метафизическому материализму, должно в своем продолжении и завершении дать вполне законченную и внутренне цельную систему диалектического идеализма. Но сам Кант является только переходной ступенью к этому, и потому его собственная философия есть дуализм. Она дуалистична в самом основном — в решении вопроса об объективном существовании материального мира. Вещь в себе существует независимо от познающего субъекта и является даже причиной его представлений, но в то же время ее объективное существование есть иллюзия, поскольку никто иной, как субъект, вкладывает в мир априорные формы и законы его бытия. В этом дуализме Канта выразилось то положение, когда мыслитель, начинающий борьбу с известными теориями, сам не может еще освободиться от их влияния. И только в длительном процессе «дестилляции» достигается в конце концов монистическая система идеализма.

Дальнейшее развитие немецкой идеалистической философии показывает, как проходил этот процесс. Интересы борьбы с метафизикой заставляют постепенно разрабатывать диалектику. Неумение отделить метафизику от материализма определяет эту диалектику, как идеалистическую. И все это возглавляется постоянно растущим интересом к диалектике общественной жизни в ущерб диалектике природы.

Данный процесс со всех своих сторон завершается в Гегеле. Здесь мы имеем цельную и законченную монистическую систему идеализма. Материализм считается окончательно опровергнутым и отринутым. Материальный мир превращен в инобытие духа, в самоотчуждение спонтанной развивающейся идеи, в переходящий момент ее становления. Метафизический метод окончательно уступил место диалектике, возведенной в систему бытия и познания. Внимание идеализма настолько сосредоточено на обществе и человеческой истории, что природа, по Гегелю, перестает быть ареной диалектического развития во времени: автор системы готов, следовательно, пойти на сильнейшее ограничение абсолютного характера своей диалектики, лишь бы только наиболее полно развить ее в отношении человеческой истории. В ряде своих трудов, в «Философии истории», «Феноменологии духа», «Философии права» и т. д., он и производит эту работу.

Философская система Гегеля есть чистейшей воды идеализм. Как идеалист, Гегель настолько последователен, что почти насмешкой звучит вопрос, какую роль играет в его системе материальный мир.

И тем не менее, абсолютно прав Энгельс, когда он говорит: «В гегелевской системе дело дошло наконец до того, что она и по методу и по содержанию оказалась лишь перевернутым вверх дном материализмом». («Людвиг Фейербах», гл. II). Тут мы имеем интереснейшее диалектическое переплетение противоположностей, которые отмечали вслед за Энгельсом Плеханов и Ленин. И каждому, кто хотя сколько-нибудь знает историю философии, ясно, что это переплетение свойственно только одному Гегелю. Ни к Канту, ни к Фихте, ни к Шеллингу слова Энгельса о «перевернутом вверх дном материализме» не могут быть, конечно, приложимы. Их системы бедны содержанием, абстрактны и мертвенны, их философия, несмотря на все потуги, не выходит за пределы субъекта и субъективного понятия. Совершенно не то представляет собою система Гегеля: в ней жизнь перевернута («вверх дном»), но это — все же жизнь, а не пустая схема. Гегель своей диалектикой осуществил в философии идеализма такой же переворот, какой за несколько столетий раньше произошел в европейском искусстве. Худосочные, истощенные постом и молитвой святые уступили место тициановским красавицам и упитанным мадоннам Рафаэля. Напоказ выставляется «одно цветущее тело, правильные благородные лица, красивые и свободные движения; правда, имена у них христианские, но только и христианского, что имена. Есть ли из числа этих лиц хотя один, истощавший себя постничеством и бдением? Есть ли хотя один, думавший с сокрушением и слезами о суде божьем, умерщвлявший и смиривший свою плоть, наполнявший свое сердце евангельскими печальями и радостями? Нет, они слишком сильные, слишком здоровы для этого!..» — эта характеристика Ип. Тэна¹ во многом применима и к гегелевскому идеализму. Именно эта особенность последнего дала основание Гайму² причислять его к романтизму, в каковом гегелевская диалектика совершенно не повинна, хотя она и есть выражение и теоретическое оправдание «живого беспокойства жизни».

В философии Гегеля идеализм достигает своего кульминационного пункта в качестве универсального метода и всеобъемлющей системы. Он стремится здесь полностью исключить материализм и в то же время через свою диалектику оказывается переходом к научному материализму. Сам Гегель «подсказывает нам материалистическое понимание истории... Выражаясь терминами Гегеля, можно сказать, что материализм оказывается истиной идеализма. И с такими неожиданностями мы сплошь и рядом встречаемся в гегелевской философии истории. Величайший из идеалистов как будто задался целью расчислить поле для материализма»³.

Положение, по меньшей мере, парадоксальное. Но еще резче подчеркивает ту же мысль Ленин в своих «Философских тетрадках»:

¹ «История английской литературы». Русск. пер., 1878 г., ч. I, стр. 191—192.

² Р. Гайм, «Гегель и его время». Русск. пер. 1861 г., стр. 192.

³ Плеханов, «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля». Сочинения, т. VII, стр. 43.

«Объективный (и еще более абсолютный) идеализм зигзагом (и кувырком) подошел *вплотную* к материализму, частью даже превратился в него»¹.

Всеми этими выдержками проблема поставлена достаточно остро. Гегелевский диалектический идеализм есть реакция на метафизический материализм французов. Он борется с материализмом вообще, но в то же время *расчищает* ему почву, частично *превращается* в него. Как возможно такое положение, ниспровергающее все обычные представления?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть следующее.

Идеализм и материализм представляют собою философские системы. Это значит, что тот и другой исходят из известных основоположений, которые со всей возможной последовательностью проводятся через все звенья системы и определяют их: Идеализм далеко не тождествен простому признанию идеи, понятия и т. д. Материализм в свою очередь не равен одному лишь признанию материи. Идея, понятие, материя выступают в данном случае только как *элементы*, могущие стоять в самой разнообразной зависимости от других элементов и от целого. Идеализм же и материализм суть именно целое.

Идеализм, вообще говоря, вырастает теоретически из того, что, беря такой элемент бытия и познания, как идею, понятие, он абсолютизирует его и превращает во все остальное исключаящую систему. Однако эта последняя особенность является скорее тенденцией, чем вполне реализованным фактом: сколько бы ни стремился тот или иной идеалист к преодолению материального мира, он даже в своей идеалистической чепухе будет только отражать—хотя и извращенно—тот же самый материальный мир.

Из этой совершенно несомненной истины марксизма можно было бы сделать вывод, что идеализм *во всех своих видах обязательно эклектичен*: он по необходимости допускает то, против чего боролся, допускает в резком противоречии и с субъективным желанием и с объективными посылками. Существуют, однако, различные формы идеализма, из которых некоторые действительно эклектичны, тогда как другие дают образец глубоко продуманного и во всех частях проведенного монизма. К первой категории принадлежит, как известно, кантианство. Ко второй—философия Гегеля, о которой Плеханов с полным правом писал: «Философия Гегеля имеет, во всяком случае, то неоспоримое достоинство, что в ней нет ни атома *эклектизма*... и кто с любовью и со вниманием пройдет ее суровую школу, тот навсегда получит спасительное отвращение от эклектического *винегрета*»².

Мы видим, таким образом, что парадоксальность положения увеличивается. Не только величайший из идеалистов «как бы задался

¹ См. выдержки из этих тетрадок в ст. т. Сорина в «Правде», от 1/VIII—26 г., № 175.

² Сочинения, т. VII, ГИЗ, 1923 г., стр. 39. Курсив автора.

целью расчистить почву для материализма», но он совершал это, отнюдь не впадая в эклектизм, а давая, напротив, высокий образец монистической системы.

Уже Кант, чувствуя свои противоречия, пытался преодолеть их путем известного синтеза. Но эта его попытка потерпела неудачу, поскольку он просто уничтожил одно из противоречий,—вещь в себе,—превратив его в понятие. Эта неудача поставила перед идеализмом вопрос о выработке более целостной системы,—такой, в которой материальный мир не был бы просто отрицаем, но *подчинен* некоему идеальному началу. Первым шагом в этом направлении было фихтеанство, рассматривавшее природу, как «не-я», и производившее ее от «я» путем самоотрицания-последнего. Но так же, как и в отношении Канта, о Фихте совершенно нельзя сказать, что он «расчищает почву для материализма». И это полностью вытекает из той особенности фихтеанства, как и кантианства, что оба они были формами *субъективного* идеализма. Абсолютный идеализм Шеллинга мог бы заслужить вышеприведенную характеристику Плеханова, если бы он не был так абсолютен и не выродился в философское оправдание религии.

Нерешенная, таким образом, задача была поставлена перед Гегелем. И надо сказать, что он разрешил ее блестяще. Основой для этого явились, во-первых, объективный характер его идеализма, во-вторых,—диалектика.

Ни субъективный, ни абсолютный идеализм не могут приблизиться к материальному миру потому, что первый не выходит за границы субъекта, а второй уходит за границы реальности. Не так обстоит дело с объективным идеализмом в той его форме, которая ему придана Гегелем.

Если субъективный идеализм совершенно откровенно ограничивает себя субъектом и поэтому пренебрегает объектом, в какой бы то ни было его форме, и закономерностями, свойственными объекту, то идеализм объективный, выступая, как реакция, на субъективизм, подчеркивает все значение объекта для познания. Когда же при этом, как у Гегеля, субъект вообще низводится до совершенно ничтожной роли (по Гегелю, даже гениальная личность является только «инструментом духа»), тогда объективный идеализм способен выступать, как форма разрыва с субъективизмом и, следовательно, с идеализмом, как форма перехода к материализму¹. Конечно, оба эти вида идеализма оперируют понятием, как единственной реальностью. Но в одном случае это понятие есть *антитеза* действительности, тогда как в другом—ее *синоним*. Именно поэтому формы понятия в объективном идеализме Гегеля почти тождественны формам материального мира. Субъективно

¹ Что история философии знает далеко не один случай подобного рода «странностей», ясно из известных слов Маркса в «Святом семействе»: «Деизм—не более, чем удачный и легкий способ отделаться от религии,—по крайней мере для материалиста». Энгельс же в агностицизме, перерастающем при известных условиях в идеализм, видит «стыдливо-прикрытый материализм». (См. Фр. Энгельс, «Развитие социализма от утопии к науке». Библиотека марксиста. Вып. 11, 1926 г., стр. 19 и 20).

Гегель расценивает материю, как момент имманентной диалектики понятия; об'ективно же все формы понятия суть формы диалектики материи. Гегель, таким образом, впадал в иллюзию, если он хоть сколько-нибудь был убежден в правоте своего принципа, что форма саморазвивающегося духа и понятия не имеют ничего общего с формами развития материи. Развернутые им в «Науке Логике» категории—качество, количество, мера, явление, действительность и т. д., и т. п. только для глаз, пораженных близорукостью идеализма, могут казаться моментами в становлении понятия; на деле, даже в форме, приданной им идеалистом Гегелем, они суть не больше, чем выражение материальной действительности, сущности и явления и т. п. Именно на этих путях анализа развития об'ективного духа и об'ективной идеи расчищает Гегель почву для материализма.

Другой путь—это *диалектика* об'ективного понятия. Гегелевскую диалектику иногда выводят из различных религиозно-мистических верований. Закон триады превращается тогда в философское оправдание догмата о троичности бога, а борьба противоположных начал—в своеобразное выражение весьма древней идеи о вечной борьбе добра и зла. Такого рода выведением пытаются показать, что научному материализму нечего делать со всей этой мистикой. На самом же деле, если не касаться исторического генезиса гегелевских идей (от Канта через Фихте и Шеллинга), нужно сказать, что диалектика его, как об'ективиста, есть диалектика материального мира и поэтому неизбежно приводит к диалектическому материализму.

Для оценки этого вновь необходимо обратить внимание на различия между суб'ективным и об'ективным идеализмом. Если бы суб'ективисты и доходили до диалектического понимания, их диалектика была бы развита на совершенно неверной суб'ективной основе и потому не смогла бы вобрать в себя все богатство форм материального мира. Это была бы «дурная» диалектика, не способная дать целого ряда важнейших категорий,—напр., таких, как «действительность». Это вовсе не значит, что суб'ективизм совершенно отрицает понятие действительности, сущности и т. п. Это значит только то, что данные категории берутся в их пошло-суб'ективистском смысле и потому не имеют никакого касательства к научному познанию. Только у Гегеля, в его об'ективном диалектическом идеализме, все это находит впервые свое теоретическое обоснование. Именно стремление к содержательности, выдвинутое в противовес пустоте суб'ективной идеи, делает гегелевскую диалектику достаточно полным, хотя и перевернутым, выражением наиболее общих черт становления материального мира. Суб'ективист, напр., вовсе не обязан теоретически разрабатывать категорию «сущности». Даже напротив,—будучи последовательным, он вынуждался бы к тому, чтобы полностью отвергать ее, утверждая, что ему известны только одни явления нашего сознания. Во всяком случае, он, как Кант, имеет всегда тенденцию оторвать одно от другого, так как «сущность» неразрывно связана с действительностью, а против об'ективного существования последней и борется как раз суб'ективизм. Суб'ективист, далее, не может прийти

с точки зрения своих принципов до понимания развития, хотя бы по форме своей близкого к научному: по его мнению, развития нет, существуют только непосредственные «данные сознания», идущие в известной последовательности друг за другом. Он не способен также и к обоснованию принципа противоречий, как основного закона развития.

* Достаточно построить в ряд все эти и другие «затруднения» суб'ективного идеализма, чтобы видеть, что диалектика в границах идеализма может быть обоснована и разработана только об'ективным идеализмом: последний не отрицает независимого существования об'екта и видит в познании его форм свою важнейшую задачу. Конечно, как идеалист, он извращает некоторые формы материального об'екта, но это относится уже к другой области.

Вот почему, в общих чертах, Гегель может, оставаясь последовательным идеалистом, допускать рассмотрение материального мира, вот почему он «как бы задался целью расчистить почву для материализма». Диалектика, в какую бы форму ее ни облекать, может быть только диалектикой материального мира. Поэтому каждый, кто дает ее целостную теорию, вынужден либо исходить из посылок материализма, либо, суб'ективно отрицая его, об'ективно помогать его развитию.

Если мы зададимся вопросом, чем об'ясняются с точки зрения истории философии все эти особенности гегелевского идеализма, то перед нами будет один ответ, данный в свое время еще Энгельсом: философская система Гегеля есть *последняя* великая система идеализма, и потому она *исчерпывает* идеализм со всех сторон, *создавая* тем самым мост к материализму. Эту внутреннюю диалектику развития идей из одной противоположности в другую нельзя оценивать слишком низко. Ведь и империализм,—чтоб взять пример из другой области, но аналогичный по своей структуре,—наиболее полно развивая все особенности капитализма, заканчивает развитие последнего и дает ряд форм, используемых его антагонистом,—социализмом. И если тут и там процесс рождения нового происходит, как выражается Ленин, «кувырком», то это только лишний раз подтверждает универсальность диалектики.

Что касается Гегеля, то в этом переходе одного в другое мы замечаем некоторые весьма интересные и характерные особенности. Из всех произведений Гегеля—а он охватил в них всю область философствования—диалектическому материализму наиболее близки те, где он *более всего абстрактен*, где он *менее всего* обращает внимание на материальный мир. Ленин по этому поводу делает такую заметку: «В этом (речь идет о «Науке Логике». К. М.) *самом идеалистическом* произведении Гегеля *всего меньше* идеализма, *всего больше* материализма. Противоречиво, но факт»¹. Убедиться в правильности этой «парадоксальной» мысли легко, если сравнить друг с другом отдель-

¹ См. статью г. Вл. Сорина в «Правде», № 175, от 1/VIII—26 г. «О философских тетрадках Ленина». В оригинале *двойной* курсив, что, как известно, означает, что подчеркнутому положению Ленин придает сугубо важное значение.

ные произведения Гегеля. «Феноменология духа» и «Философия мировой истории» являются, несомненно, крупнейшими произведениями мировой научной литературы. В первой из них Гегель дает историю человеческого познания, во второй, как видно из самого названия, он анализирует движущие силы мировой истории. Однако, подходя к тому и другому, как идеалист, Гегель иногда впадает в обобщения, которые не имеют и не могут иметь никакого научного значения. В общем и целом тут его ошибки вытекают из того, что он старается навязать истории свою схему, а не открыть ее в самом конкретном материале. Это заставляет его в «Философии мировой истории» представлять дело таким образом, что восточный мир является низшей ступенью развития, тогда как наивысшая форма—это мир германский, в особенности—Германия. В «Феноменологии духа» он на одну из высших ступеней ставит религиозное познание. Поэтому нельзя согласиться, в частности, с С. Васильевым, который в примечаниях к своему переводу «Философской пропедевтики» Гегеля заявляет: «Вообще «Феноменология духа» является лучшим из произведений Гегеля» и «представляет собой одно из самых ценных произведений»¹. Очевидно, с точки зрения диалектического материализма?

Для марксизма наиболее ценным произведением Гегеля является «Наука Логики». Вопрос, почему дело обстоит именно так, заслуживает подробного рассмотрения.

2. Логика и методология. Учение Гегеля о категориях

Среди понятий, употребляемых в современной марксистской литературе, нет, кажется, более часто встречающихся, чем понятия «логика», «методология», «категории». Однако только незначительная часть авторов систематически излагает марксистское понимание всех возникающих здесь вопросов, обращаясь с этими понятиями, как с чем-то не требующим пояснений. И это отчасти правильно, поскольку все они употребляются марксистами в одном и том же смысле.

В настоящем же случае именно их детальное выяснение бросает яркий луч света на взаимоотношения Гегеля и материализма и является поэтому чрезвычайно важным.

Когда марксист дает общую характеристику диалектики, то он указывает, что последняя есть факт действительности, логика и методология. При этом каждому понятно, что таким образом единая и единственная диалектика выступает перед нами в трех разных формах. Нам необходимо выяснить взаимоотношения между ними.

В настоящей статье, посвященной специальному вопросу, нет никакой необходимости подробно характеризовать диалектику, как факт и всеобщую закономерность материального мира. Правда, споры по этому поводу с механистами имеют еще тенденцию продолжаться, однако, сейчас при абсолютной доказанности об'ективного характера

¹ Гегель, «Введение в философию», изд. НИТ'а, М., 1927 г., стр. 216.

диалектики как со стороны всех работ крупнейших марксистов, так и со стороны современных достижений науки, тут задача заключается, скорее, в выяснении отдельных деталей вопроса, чем в обосновании его в целом. Поэтому положение об об'ективном характере диалектики необходимо принять за данное и совершенно несомненное.

Какое же взаимоотношение об'ективной диалектики и логики?

Современная логистика, опираясь в данном случае на всю предшествующую идеалистическую философию, за исключением Гегеля, понимает под логикой нечто, не касающееся материального содержания. В таком понимании находит свое наиболее полное и последовательно продуманное выражение тот древний взгляд, что логика есть наука о чистом мышлении, его формах и законах. Отчасти исходя из Канта, эта концепция тем не менее забывает, что не кто иной, как Кант, сам того не желая, совершенно вразумительно показал тщетность «чистой логики» и ее полную ненужность для науки. В отделе об «Антиномиях» своей «Критики чистого разума» Кант наглядно демонстрирует, как можно отвлеченно логически, с соблюдением всех правил логики (правда, формальной!) «доказать» одна другую исключаящие «истины». Обычно принято считать, что этим Кант доказал (уже без кавычек) нереальность только одной формальной логики. Однако значение кантовских «доказательств» далеко выходит за эти сравнительно узкие пределы и уничтожает притязания «чистой логики» вообще. Но заслуга (к сожалению, только отрицательная) Канта этим не исчерпывается: своим «доказательством» Кант показал, что вообще логика, как таковая, имеет какой-нибудь реальный смысл лишь в качестве орудия доказывания, как способ привлечения словесных аргументов, когда нехватает знания дела и мысли. Эту особенность логики, оставшуюся не вполне еще ясной Канту, современные логисты (напр., Б. Рессель) превратили в абсолютный принцип, чем и похоронили окончательно логику, как таковую.

Кантовское и кантианское понимание логики было уничтожающим образом раскритиковано Гегелем. В своей «Науке Логики» (первая часть, первая книга, «Введение. Общие понятие логики») он полностью разбивает то неумное представление, что возможна некая бессодержательная логика, логика чисто формальной мысли. Свою разрушительную в этом смысле работу он дополняет попыткой создания новой логики, где формы были бы наполнены определенным содержанием, стали бы формами этого содержания. И этот переворот в логике не мог не удасться Гегелю, поскольку он стоял на точке зрения диалектики. Даже больше: сделанное им в этой области настолько ново и велико, имеет такое громадное значение для науки, что нередко является базой для заключений, что «Наука Логики» есть только логическое—правда, в некотором новом смысле—произведение. На этой точке зрения стояли Дюринг и др. критики марксизма, когда они, обвиняя Маркса в «гегельянстве», ссылались на то, что Маркс, якобы, *доказывает* с помощью триад и других аксессуаров диалектики свои научные взгляды. В противовес этой абсолютной неверной концепции Ленин выдвигает другую точку зрения. В своих «Философских

тетрадка» он делает такое замечание: «Итог и резюме, последнее слово и суть Логике есть *диалектический метод*—это крайне замечательно»¹.

Эта небольшая фраза Ленина имеет чрезвычайно глубокий смысл и значение.

Гегелевская «Логика», как и другие его произведения, построена таким образом, что каждая последующая глава, соответствующая новой ступени в развитии идеи, вскрывает истинное содержание предшествующей. Поэтому последняя глава последнего отдела «Логике», «Абсолютная идея», должна являться кульминационным пунктом всей системы логики, раскрытием ее истинного содержания. Нам не важен сейчас тот факт, что именно абсолютная идея завершает собою логику, нам важно подчеркнуть, что как раз здесь исследует Гегель вопросы метода. Вот почему слова Ленина о диалектическом методе, как «итоге и резюме» и «последнем слове» «Логике», надо понимать не в качестве характеризующих одну только архитеконику «Науки Логике» Гегеля, а в смысле принципиальном,—в смысле завершающей все исследование *истинной «сущности»* логической системы. Это крайне замечательно,—говорит Ленин,—замечательно потому, что *логика превращается* Гегелем в *методологию*. Замечательно тем, что именно через этот мост происходит переход диалектического идеализма в диалектический материализм.

В обычных курсах логики, а отсюда и в обыденном понимании, метод преподносится, как собрание некоторого количества *технических* правил суждения, исследования или действия. Борьба с таким неверным взглядом затрудняется тем, что метод действительно имеет эту природу². Ведь категории и законы диалектики служат нам также и в качестве известного «свода правил» действования на практике. Однако первое глубоко принципиально отлично от второго.

Метод, рассматриваемый, как техническая часть логики и науки, представляет собою нечто суб'ективное, в лучшем случае—результат определенной договоренности логиков и ученых между собой. Каждой науке, говорят нам, свойственны свои методы, то же самое—и каждому отдельному об'екту³. Последнее звучит, правда, весьма материалистически, по существу же является только завуалированным суб'ективизмом, когда метод превращен в подход к тем или иным явлениям.

¹ См. цит. выше статью т. Вл. Сорина в «Правде», курсив Ленина.

² Гегель, «Наука Логике», ч. II, стр. 199 русского изд. 1916 года.

³ См., напр., Е. Преображенский, «Новая экономика», изд. Комм. Акад., М., 1926 г., стр. 5—26. Мы потому ссылаемся именно на эту работу, что 1) она с достаточной резкостью ставит вопрос о множестве методов в соответствии со множеством об'ектов, 2) «аргументирует» при этом от материализма и 3) наглядно показывает в конкретном изложении, к каким извращениям приводит практически забвение универсальности диалектики. В тексте мы не считаем необходимым специально останавливаться на проблеме универсальности марксовской методологии и тех форм, которые путем ее конкретизации она приобретает в связи с приложением к частным об'ектам; также рассмотрение, выходящее за рамки намеченной темы, завело бы нас далеко в сторону.

Гегель говорит, что «метод есть... *душа и субстанция*, и нечто понято и познано в своей истине лишь постольку, поскольку оно *совершенно подчинено методу*»¹. Таким образом, с точки зрения Гегеля, метод не внешен об'екту, а имманентен ему, представляя его «душу и субстанцию». Эта чрезвычайно близкая к материализму, почти совпадающая с ним, концепция богата целым рядом важных выводов, на которых в данной связи мы не имеем возможности остановиться. Тем более, что подчеркивание об'ективности метода далеко еще не раскрывает, по Гегелю, всего содержания этого понятия.

Из дальнейшего изложения мы узнаем, что: «Понятие, как оно было рассмотрено для себя, является в своей непосредственности; *рефлексия* или *рассматривающее его понятие* находится в нашем знании. Метод же есть самое это знание, для коего оно есть не только предмет, но его собственное суб'ективное действие, *орудие*, или средство познающей деятельности, отличное от нее, но ее собственная сущность. В ищущем познании метод также есть *орудие*, некоторое на суб'ективной стороне стоящее средство, через которое она относится к об'екту. В этом умозаключении суб'ект есть один, а об'ект—другой крайний термин, и первый образуется через свой метод заключение со вторым, но при этом не совпадает для себя с *собой самим*. Крайние термины остаются различными, так как суб'ект, метод и об'ект не положены, как *одно тождественное понятие*, и потому умозаключение есть всегда формальное; посылка, в коей суб'ект полагает форму, как свой метод, на своей стороне, есть *непосредственное* определение и потому содержит в себе, как мы видели, определения формы, определения, разделения и т. д., *преднаденные в суб'екте* факты. Напротив, в истинном познании метод есть не только множество известных определений, но определенность в себе и для себя понятия, которое лишь потому есть средний термин, что оно имеет такое значение об'ективного, достигающего поэтому в заключении не только внешней определенности через метод, но положенного в своем тождестве с суб'ективным понятием»².

О чем говорит в этой цитате Гегель?

Хотя метод есть «душа и субстанция» вещи, Гегель не случайно помещает рассмотрение его в «суб'ективную логику». Это означает, что метод, имманентный об'екту, стоит в процессе познания на суб'ективной стороне, есть «собственное суб'ективное действие» знания, «орудие или средство познающей деятельности». Такого рода трактовка вопроса, конечно, совершенно отлична от суб'ективистского понимания метода обычными логиками: раз об'ективный характер метода показан, Гегель использует это для дальнейшей развернутой и полной характеристики. Метод, по Гегелю, есть не простая, при себе остающаяся об'ективность, но выражение этой об'ективности в суб'екте, в понятии, переход ее в свое инобытие. И иной, с точки зрения гносеологии, постановки вопроса и не мог дать диалектик Гегель.

¹ Гегель, «Наука Логике». Курсив автора.

² Гегель, там же, стр. 200. Курсив автора.

Однако этим дело не исчерпывается. По Гегелю, в процессе познания (он сравнивает, как видно было выше, этот процесс с умозаключением) суб'ект и об'ект образуют два крайних термина, тогда как метод играет роль термина среднего, соединяющего их воедино. Именно эта сторона имеет *решающее* значение для понимания сути метода, по Гегелю и, вслед за ним, Марксу.

Гегель, как известно, учит, что саморазвивающаяся об'ективная идея на известной стадии своего становления самоотчуждается, переходит в свое инобытие, каковое есть, в границах логики, суб'ективность или суб'ективное понятие: об'ективная логика переходит в логику суб'ективную. Этот процесс завершается возвратом идеи из своего инобытия к самой себе, но возвратом, несущим с собою все богатство полученных в процессе саморазвития определений: момент этого возврата в себя есть абсолютная идея и, как высший ее пункт, метод. Вот почему «метод есть чистое понятие, относящееся только к самому себе; он есть поэтому то *простое отношение к себе*, которое есть бытие»¹.

Не знакомому с философией Гегеля может показаться, что во всех своих рассуждениях о переходах в инобытие и возвращениях в себя, одним из образцов которых является трактовка проблемы метода, Гегель обращается в порочном кругу тождественных понятий. Однако судить так—значило бы совершенно не понять ни подлинной мысли Гегеля, ни диалектики. Сущность дела—понятие—во всех этих переходах остается одной и той же: она принимает только разные формы. Однако эти формы, раз возникнув, сами накладывают на сущность некоторый отпечаток, определяют его и потому сами играют весьма существенную для дела роль. Поэтому гегелевское различение метода, как среднего термина, от об'ективного и суб'ективного понятия отнюдь не имеет только и чисто терминологического значения. Устанавливая его, Гегель, напротив, хочет подчеркнуть некоторые особенные, специфические черты, которые свойственны диалектике в разных ее формах.

Но Гегель подчеркивает в то же время и относительную тождественность этих форм,—тождественность, чрезвычайно важную для понимания сущности метода. Последняя мысль вышеприведенной цитаты говорит, что метод, будучи моментом суб'ективного понятия, «имеет также значение об'ективного... положенного в своем тождестве с суб'ективным понятием» (см. выше). Это конкретное тождество суб'ективного с об'ективным и делает метод «средним термином», высшей формой диалектики.

Как относится к этому учению Гегеля диалектический материализм?

Если правильно будет сказать, что упреки Гегелю в смысле наличия порочного круга в его переходах в инобытие и т. д. ни на чем не основаны, кроме непонимания сути его диалектики, то этого никак нельзя утверждать относительно взглядов Гегеля на вопрос о содержании метода. Об'ективное понятие, переходя в свое инобытие, ста-

новится суб'ективным. Это гениальное по форме утверждение становится совершенно ложным, если его рассматривать с точки зрения сущности вопроса. Ведь категория «инобытия», по Гегелю, означает, что здесь мы имеем некоторую новую качественность, при чем—это обязательно—качественность существенную, затрагивающую самую сущность изменяющейся и переходящей в иное вещи. Но этого-то как раз и нет у Гегеля в данном случае. Инобытие об'ективного понятия, как его новое качество, отнюдь *не изменяет его сущности*, как понятия: об'ективность, абсолютная идея и метод, как специфический момент последней, есть *то же самое понятие*. Это вытекает, как известно, из основной идеалистической установки всей системы Гегеля.

Выше уже были приведены слова Плеханова о том, что истиной гегелевской идеалистической философии оказывается научный материализм. Слова эти, правильные в отношении всей системы Гегеля и материализма, правильны и в данном частном случае. Диалектический материализм, использовав учение Гегеля по форме и подведя под него новый фундамент, впервые показывает, какие глубокие мысли таятся в этом его учении и какое громадное значение имеют они для науки.

Материальный мир существует сам по себе, независимо ни от какого суб'екта. Последний есть часть материального мира, но такая часть, в которой мир приходит к своему самопознанию. Об'ективная диалектика отражается и выражается в диалектике суб'ективной, в диалектике понятий. В этом совершенно бесспорном утверждении материализма впервые в истории была подтверждена общая правильность гегелевской категории перехода в инобытие. Но здесь же впервые она нашла и свое действительное содержание. У Гегеля она была простым топтанием в порочном круге понятия, в материализме—это есть подлинный переход в инобытие. И если гегелевское различение об'ективного и суб'ективного понятия было надуманным и потому делало совершенно нелепой с точки зрения сущности дела необходимость об'единения их в метод, как высшую категорию, то для диалектического материализма все это является хорошо обоснованным. Наши понятия являются инобытием материального мира. Это значит не только то, что в суб'екте не может быть ничего такого, чего в той или иной форме нет в остальном мире: это означает нечто большее,—перевернутость, искаженность, известное несоответствие наших понятий о мире самому материальному миру.

Однако такое утверждение, взятое само по себе, несмотря на всю свою правильность, может явиться исходным пунктом для суб'ективистской теории познания и тем самым для возврата к идеализму, от которого отказались ссылкой на об'ективность материального мира. В истории философии так именно и обстояло дело с родоначальником эмпиризма Беркли. Диалектический материализм, марксизм не останавливается на половине дороги, а идет дальше, воссоединяя раз'единенные анализом части. Наши понятия о мире должны быть проверены на практике, и только тогда они перестают быть исключительно суб'ективными, хотя и остаются понятиями, «на суб'ективной

¹ Гегель, «Наука Логики», стр. 212. Курсив автора.

Однако этим дело не исчерпывается. По Гегелю, в процессе познания (он сравнивает, как видно было выше, этот процесс с умозаключением) суб'ект и об'ект образуют два крайних термина, тогда как метод играет роль термина среднего, соединяющего их воедино. Именно эта сторона имеет *решающее* значение для понимания сути метода, по Гегелю и, вслед за ним, Марксу.

Гегель, как известно, учит, что саморазвивающаяся об'ективная идея на известной стадии своего становления самоотчуждается, переходит в свое инобытие, каковое есть, в границах логики, суб'ективная или суб'ективное понятие: об'ективная логика переходит в логику суб'ективную. Этот процесс завершается возвратом идеи из своего инобытия к самой себе, но возвратом, несущим с собою все богатство полученных в процессе саморазвития определений: момент этого возврата в себя есть абсолютная идея и, как высший ее пункт, метод. Вот почему «метод есть чистое понятие, относящееся только к самому себе; он есть поэтому то *простое отношение к себе*, которое есть бытие»¹.

Не знакомому с философией Гегеля может показаться, что во всех своих рассуждениях о переходах в инобытие и возвращениях в себя, одним из образцов которых является трактовка проблемы метода, Гегель вращается в порочном кругу тождественных понятий. Однако судить так—значило бы совершенно не понять ни подлинной мысли Гегеля, ни диалектики. Сущность дела—понятие—во всех этих переходах остается одной и той же: она принимает только разные формы. Однако эти формы, раз возникнув, сами накладывают на сущность некоторый отпечаток, определяют его и потому сами играют весьма существенную для дела роль. Поэтому гегелевское различие метода, как среднего термина, от об'ективного и суб'ективного понятия отнюдь не имеет только и чисто терминологического значения. Устанавливая его, Гегель, напротив, хочет подчеркнуть некоторые особенные, специфические черты, которые свойственны диалектике в разных ее формах.

Но Гегель подчеркивает в то же время и относительно тождественность этих форм,—тождественность, чрезвычайно важную для понимания сущности метода. Последняя мысль вышеприведенной цитаты говорит, что метод, будучи моментом суб'ективного понятия, «имеет также значение об'ективного... положенного в своем тождестве с суб'ективным понятием» (см. выше). Это конкретное тождество суб'ективного с об'ективным и делает метод «средним термином», высшей формой диалектики.

Как относится к этому учению Гегеля диалектический материализм?

Если правильно будет сказать, что упреки Гегелю в смысле наличия порочного круга в его переходах в инобытие и т. д. ни на чем не основаны, кроме непонимания сути его диалектики, то этого никак нельзя утверждать относительно взглядов Гегеля на вопрос о содержании метода. Об'ективное понятие, переходя в свое инобытие, ста-

новится суб'ективным. Это гениальное по форме утверждение становится совершенно ложным, если его рассматривать с точки зрения сущности вопроса. Ведь категория «инобытия», по Гегелю, означает, что здесь мы имеем некоторую новую качественность, при чем—это обязательно—качественность существующую, затрагивающую самую сущность изменяющейся и переходящей в иное вещи. Но этого-то как раз и нет у Гегеля в данном случае. Инобытие об'ективного понятия, как его новое качество, отнюдь *не изменяет его сущности*, как понятия: об'ективная, абсолютная идея и метод, как специфический момент последней, есть *то же самое понятие*. Это вытекает, как известно, из основной идеалистической установки всей системы Гегеля.

Выше уже были приведены слова Плеханова о том, что истиной гегелевской идеалистической философии оказывается научный материализм. Слова эти, правильные в отношении всей системы Гегеля и материализма, правильны и в данном частном случае. Диалектический материализм, использовав учение Гегеля по форме и подведя под него новый фундамент, впервые показывает, какие глубокие мысли таятся в этом его учении и какое громадное значение имеют они для науки.

Материальный мир существует сам по себе, независимо ни от какого суб'екта. Последний есть часть материального мира, но такая часть, в которой мир приходит к своему самопознанию. Об'ективная диалектика отражается и выражается в диалектике суб'ективной, в диалектике понятий. В этом совершенно бесспорном утверждении материализма впервые в истории была подтверждена общая правильность гегелевской категории перехода в инобытие. Но здесь же впервые она нашла и свое действительное содержание. У Гегеля она была простым топтанием в порочном круге понятия, в материализме—это есть подлинный переход в инобытие. И если гегелевское различие об'ективного и суб'ективного понятия было надуманным и потому делало совершенно нелепой с точки зрения сущности дела необходимость об'единения их в метод, как высшую категорию, то для диалектического материализма все это является хорошо обоснованным. Наши понятия являются инобытием материального мира. Это значит не только то, что в суб'екте не может быть ничего такого, чего в той или иной форме нет в остальном мире: это означает нечто большее,—перевернутость, искаженность, известное несоответствие наших понятий о мире самому материальному миру.

Однако такое утверждение, взятое само по себе, несмотря на всю свою правильность, может явиться исходным пунктом для суб'ективистской теории познания и тем самым для возврата к идеализму, от которого отказались ссылкой на об'ективность материального мира. В истории философии так именно и обстояло дело с родоначальником эмпиризма Беркли. Диалектический материализм, марксизм не останавливается на половине дороги, а идет дальше, воссоединяя раз'единенные анализом части. Наши понятия о мире должны быть проверены на практике, и только тогда они перестают быть исключительно суб'ективными, хотя и остаются понятиями, «на суб'ективной

¹ Гегель, «Наука Логики», стр. 212. Курсив автора.

стороне стоящим средством» познания. В этом случае диалектика, о которой только и может идти речь, из простой логики превращается в *методологию* и *метод* живого человеческого познания и действия. Понятия же превращаются в *категории*.

С точки зрения материализма, может показаться схоластикой попытка разграничить диалектику, как логику, от диалектики, как метода: метафизик-механист так, несомненно, и подумает. На самом деле, подчеркивание здесь конкретного различия, т.-е. различия в тождестве, предохраняя мысль от омертвления в границах понятия, заставляет сосредоточить свое внимание на сознательном приведении понятий в соответствие с действительностью. С другой стороны, только методологические категории, но никак не логические понятия могут явиться подлинным «руководством для действия» (Ленин) и «способом нахождения новых результатов» (Энгельс).

Чтобы правильно понять смысл и значение этого, необходимо несколько остановиться на понятии категории.

Что «понятие» и «категория» не тождественны друг другу, это видно хотя бы из того, что, говоря о стоимости в системе Маркса, мы употребляем обычно термин «категория стоимости», а не «понятие стоимости». Первое выражение имеет своей целью подчеркнуть, что относящиеся сюда открытия Маркса отнюдь не имеют суб'ективного значения, что они, наоборот, единственно верно выразили в понятиях об'ективную обстановку капитализма.

И в таком смысле употребляется термин «категория» в новой философии, начиная с Канта. Последний в «Критике чистого разума» (§ 10 «О чистых понятиях рассудка или категориях») считает необходимым, критикуя старую логику за бессодержательность, указать на то, что установленные им «чистые понятия рассудка» «а priori относятся к об'ектам, чего не может дать общая логика»¹. Однако Канту с его суб'ективной точкой зрения не удалось сколько-нибудь удовлетворительно разрешить проблемы категорий: категория в конечном счете оказывается отношением суб'ективного понятия к суб'ективному представлению, т.-е. остается чисто суб'ективным понятием. На это и указывает Гегель в своей критике Канта, когда говорит, что «категории (Канта. К. М.) не способны быть определением абсолютного, поскольку оно не дано в одном восприятии; поэтому рассудок или познание с помощью категорий не в состоянии дать *знания вещи в себе*»². Эта критика Гегеля совершенно верна, хотя суб'ективно Кант и хочет привести понятия в соответствие с об'ектом. Однако Гегель не развил этой своей мысли, что об'ясняется, видимо, тем, что под об'ектом Гегель понимает само понятие. И тем не менее, брошенные им по этому поводу отдельные замечания весьма важны. Так, например, говоря о категорическом суждении, он пишет, что оно «должно быть определено отложено от положительного и отрицательного суждения; в последних то, что говорится о суб'екте, есть *еди-*

¹ Стр. 74 второго русского издания Н. Лосского, 1915 г.

² Encyclopädie, § 44 (Lasson's Ausgabe, 1923). Курсив автора.

ничное случайное содержание, в первом же оно есть *полнота* рефлексированной в себя формы»¹. Таким образом, можно признать, что под категориями необходимо понимать те понятия, кои уже приведены в соответствие с об'ективной действительностью, об'ективное значение которых уже выяснено практически.

В «Науке Логики» Гегеля и дана система диалектических категорий. Их специфической особенностью является, правда, то, что суб'ективное понятие (философия самого Гегеля) приведено в соответствие с выдуманным Гегелем об'ективным понятием и его самодвижением, — но это нисколько не уничтожает факта наличия в «Логике» именно категорий. Эти категории обработаны на идеалистический лад, так как весь метод, моментами и результатом которого являются эти категории, насковзь идеалистичен. При оценке различий марксовой и гегелевской методологий у нас нередко относят вопросы идеализма и материализма, как таковых, к рангу мировоззрения и от этого отделяют диалектику, как метод. В интересующем нас случае последовательное проведение такого принципа означало бы отождествление диалектики Маркса с диалектикой Гегеля и марксистской системы категорий с гегельянкой. Однако сам Маркс, как известно, пишет о *противоположности* своего метода методу Гегеля: «Мой диалектический метод не только в корне отличен от гегелевского, но представляет его *прямую противоположность*». Эта противоположность состоит в идеалистичности гегелевской диалектики и материалистичности марксовой, а не только в различии мировоззрений: «Для Гегеля процесс мысли, который он под названием идеи превращает даже в самостоятельный суб'ект, есть демиург действительности, представляющей лишь его внешнее проявление. Для меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как переведенное и переработанное в человеческой голове материальное»².

Итак, метод Маркса противоположен методу Гегеля. А как обстоит дело с категориями, — моментами метода? Не переходит ли диалектический идеализм — хотя бы и «кувырком» — через этот мост в диалектический материализм?

На этот последний вопрос надо ответить *положительно*, подчеркнув притом, что именно здесь пролегает, так сказать, *главная дорога* исторического и логического перехода гегельянства в марксизм.

3. Категории гегелевской «логики» и диалектический материализм

Маркс и Энгельс, насколько нам известно, никогда не ставили вопроса о гегелевской диалектике так, что от нее необходимо отказаться в целом и в отдельных частях. Напротив, они весьма высоко оценивали всегда даже гегелевскую ее форму. Этим самым они указали нам, какое значение имела она для создания системы диалектического материализма.

¹ Гегель, «Наука Логики», II, стр. 60. Последний курсив наш.

² «Капитал», предисловие ко II изд. I тома, стр. XXVIII русск. изд. 1909 г.

Задача, стоявшая перед Марксом и Энгельсом, заключалась вовсе не в том, чтобы подвергнуть чисто логической проверке категории гегелевской «Логики»: это значило бы создать новую—может быть, столь же вымученную—идеалистическую систему философии, и только. Основоположники марксизма скоро поняли, что, как говорит Ленин: «Гегель действительно доказал, что логические формы и законы не пустая оболочка, а отражение об'ективного мира. Вернее, не доказал, а гениально угадал»¹. Поэтому им оставалось только встать на материалистическую позицию, чтобы с этой точки зрения, с точки зрения практики, посмотреть, какие понятия гегелевской «Логики» сохраняют свое категориальное значение для научного материализма.

В дальнейшем мы постараемся рассмотреть этот вопрос в отношении некоторых отдельных категорий. Сейчас же необходимо обратить свое внимание на несколько более общую проблему.

Маркс и Энгельс, отдавая дань уважения Гегелю, всегда подчеркивали, что его идеализм наложил на диалектику отпечаток отвлеченной схемы, извне навязываемой действительности: поэтому переходы от одной категории к другой нередко надуманны и не основываются ни на чем, кроме шутки или потребностей всей схемы в целом. В связи с этим встает вопрос, что означает выражение о материалистической переработке диалектики Гегеля. Казалось бы, что проблема разрешается просто: достаточно отбросить идеализм Гегеля, чтобы диалектика приняла свою рациональную форму. Однако на такой точке зрения можно стоять лишь в том случае, если идеализм Гегеля относить к сфере мировоззрения, а к методу—диалектику самое по себе. Эта последняя концепция неизбежно приводит даже к чисто «механическому» обращению с философией Гегеля, образец чего литература знает в работе Б. Кроче «Живое и мертвое в философии Гегеля»², как будто бы ее—философию Гегеля—можно разрезать неким ножом на две половинки.

Диалектика «об'ективного духа» и понятия отнюдь не тождественна диалектике материального мира, а категории гегелевской «Логики» не тождественны категориям диалектической методологии марксизма. В первом случае—это возвратившееся в себя понятие, во втором,—понятие, отвлеченное от действительности и вновь, так сказать, сращенное с ней. Отвлеченного тождества, простого приравнивания тут нет и быть не может. Есть, однако, конкретное тождество, единство, содержащее в себе различие. Гегель действительно «гениально угадал» формы материального мира. Хотя им придана в его системе вымученно-идеалистическая трактовка, они продолжают оставаться не чем иным, как формами материальной действительности. Дело Маркса, рассматривая вопрос с этой стороны, заключавшийся в том, что он эту догадку превратил в совершенно неоспоримый факт. И в движении по данному пути ему помог сам Гегель.

¹ См. цит. выше статью г. Вл. Сорина в «Правде».

² «Lebendiges und Totes in Hegels Philosophie». Deutsche Übersetzung von K. Bückler, Heidelberg, 1909.

История знает два основных типа перехода от диалектического идеализма Гегеля к материализму: Фейербах и Маркс. Фейербах, воюя с идеализмом Гегеля, совершенно порвал со своим прошлым и встал на почву метафизического материализма. Не будучи сам диалектиком, усвоив диалектику лишь как внешнюю форму современного ему идеализма, Фейербах подошел к философии Гегеля, так сказать, извне и не развивал поэтому ее внутренние возможности, а отрицал. Своей философией он оказал, как известно, сильнейшее влияние на основоположников марксизма. В данном случае нас должен интересовать самый характер этого влияния. Интересующей нас сейчас проблемой занимался уже Плеханов, но в своей «Философской эволюции Маркса»¹ он не дал почему-то полного ответа. Глубокая и важная мысль Плеханова о «трех различных фазисах» эволюции Маркса, фазисах, по существу—соответствующих действительности, а по форме—являющихся применением гегелевской триады к разбираемому вопросу, подчеркивает, что гегельянец Маркс под влиянием Фейербаха переходит в «инобытие» с тем, чтобы потом, в зрелый период, осуществить синтез противоположностей—идеалистической диалектики и метафизического материализма: в результате мы имеем диалектический материализм Маркса. Однако Плеханов не дает ответа на вопрос о характере влияния Фейербаха. Не ставит этой проблемы и Л. Аксельрод-Ортодокс, давшая опубликованной рукописи свое предисловие. Между тем, этот вопрос очень важен.

Плеханов не досказал того, что гегелевская триада господствует не только в процессе всей эволюции Маркса, взятой в целом, но и в отдельных моментах этого процесса. По Гегелю же, нечто переходит в свое иное не благодаря толчкам извне, а вследствие внутренне-присущей ему качественности. Это общее положение Гегеля имеет в данном случае тот смысл и значение, что имманентное развитие основных идей Гегеля должно было и без того привести мыслителей к материализму, как истине гегельянства. Правильность данного положения доказывается рядом фактов: во-первых, тем, что Маркс и Энгельс, оба—гегельянцы в молодости, пришли к преодолению Гегеля независимо друг от друга, во-вторых, тем, что «процесс линянния», как говорил Энгельс, шел от ортодоксального гегельянства, где гегельянцы были ббльшими идеалистами, чем сам Гегель, к гегельянству левому,—этой исторически неизбежной тогда «формуле перехода» к материализму. Поэтому роль Фейербаха свелась об'ективно к толчку, ускользающему развитию, но не порождающему его. Только потому и было возможно обратное возвращение, но на новой основе, к Гегелю, возвращение, о котором прекрасно говорит Плеханов в выше цитированной статье².

¹ См. «Группа «Освобождение Труд», сборник № 2, ГИЗ, 1924 г., стр. 8—21.

² Сейчас нет возможности, да и необходимости полностью развивать эту интересную тему. Иначе, пользуясь плехановским «законом антитезы», можно было бы показать, почему под влиянием Фейербаха Маркс и Энгельс зашли одно время слишком далеко в своем отказе от Гегеля и встали на почву чистого феербахянства.

Фейербаховский путь развития говорит, что попытка механического отделения идеализма Гегеля от его диалектики может привести лишь к изображению этой диалектики в качестве ни к чему неприменимой схоластики и, следовательно, к ее уничтожению. Философское развитие Маркса, напротив, впервые показывает истинный смысл и значение разработанной Гегелем диалектики и ее категорий.

Когда Маркс на новом этапе своего развития вновь подошел к Гегелю, он оценил методологическое значение гегелевской «Логики» и использовал развитые там категории. И если всю совокупность категорий, как определенную систему, ему пришлось пересмотреть с точки зрения ее основы и внутренних связей, то категории, как таковые, сохранили для него свое значение. Иначе обоснованные и приведенные в другую связь, многие из этих категорий перешли в марксизм, позволив Марксу избежать нового абстрактно-методологического исследования и дав ему в руки орудие для конкретного познания конкретных объектов.

К сожалению, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, несмотря на свое стремление к этому, не оставили нам систематизированной теории материалистической диалектики. Продолжатель их дела в этой области, т. А. М. Деборин, только приступил к подобного рода работе¹, при чем из ныне опубликованной части еще не видно, какова архитектура этой теории с точки зрения автора.

Итак, перед нами нет ни одного образца, который можно было бы сравнить с «Наукой Логики» Гегеля, образца, устанавливающего в общем виде и в частности различие между гегелевской и марксистской системой диалектики². Таким образом, но совершенно другого типа является только «Капитал» Маркса, о котором Ленин совершенно справедливо писал: «Если Маркс не оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил логику «Капитала», и это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу. В «Капитале» применена к отдельной науке логика, диалектика и теория познания (не надо трех слов: это одно и то же) материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед»³. К сожалению, это—такой образец, методологическая суть которого до сих пор не может еще считаться понятой вполне адекватно, а для некоторых марксистов не может считаться даже и отмеченной. Трудности идут, следовательно, и с этой стороны. Однако эти трудности не непреодолимы: человека, более или менее знающего «Науку Логики» Гегеля и «Капитал» Маркса, они прямо наталкивают на намечение общих контуров вытекающего из такого сравнения ответа.

¹ «Под знаменем марксизма», № 11, 1926 г., стр. 5 и сл.

² Мы не принимаем при этом во внимание работу А. К. Топоркова, «Элементы диалектической логики», по той причине, что, не говоря уже о неверности ряда основных положений автора, она 1) не дает систематического изложения всех категорий диалектики и 2) устремлена на логику с теорией умозаключения, а не на методологию.

³ См. статью т. Вл. Сорина в «Правде».

«Наука Логики» Гегеля представляет собою изложение саморазвивающегося понятия. Если здесь уместно какое-нибудь сравнение, то нужно сказать, что развитие понятия идет, согласно Гегелю, по спирали, состоящей из ряда внутренне замкнутых и в то же время переходящих один в другой кругов. Каждый из этих последних в свою очередь состоит из одна за другой идущих и одна над другой находящихся спиралей второго порядка и т. д. Получается нечто вроде Птолемеевой системы мира с той лишь разницей, что сколько бы мы ни усложняли эту схему и эти аналогии, они могут лишь *отчасти указать* на подлинную мысль Гегеля, но не дадут возможности понять ее во всей ее сложности¹.

Во всяком случае установленным может считаться то, что «Логика» начинается с самого простого и абстрактного понятия «чистого бытия», которое в силу присущего ему диалектического самодвижения постепенно восходит на ступени все большей сложности и наполненности. Каждый следующий узловый момент в развитии понятия содержит в себе все предшествующие в снятом виде. «Мера» есть синтез «качества» и «количества», «действительность»—«сущности» и «явления», а «идея»—объективности и «субъективности». При этом «действительность» впитала в себя «меру» со всеми ее специфическими определениями, а «идея»—эту богатейшим образом развернутую «действительность». Таким образом, дух и буква гегелевского учения говорят, что каждая категория находит свою истину в других, дальнейших категориях и, следовательно, существует в связи с ними, а не самостоятельно. Однако, поскольку Гегель стоит на идеалистической точке зрения, поскольку диалектика категорий есть отражение саморазвивающегося *понятия*, постольку категории гегелевской «Логики» как бы расставляются в пространственно-временной последовательности. Оказывается, что «бытие» и «ничто» суть не только моменты становления, но и существуют самостоятельно. Именно поэтому Гегель мог утверждать, что существует «чистое ничто», как такое, и из этого «чистого ничто» возникает нечто.

Как относится к этому диалектический материализм?

С точки зрения марксизма, действительность *распадается* в процессе нашего познания на сущность и явление, будучи на деле их синтезом. С точки зрения Гегеля, действительность впервые *порождается* сущностью и явлением, как самостоятельными моментами понятия, и потому является последним звеном об'ективной диалектики этих категорий, а не первым, исходным звеном всякого теоретического анализа². То же самое можно сказать и о других категориях.

¹ Mc Taggart (см. его «Commentary on Hegels Logik») на основании слишком механического понимания соотношения между триадическими кругами приходит к извращению диалектики Гегеля.

² Для избежания недоразумений необходимо здесь же отметить, что в настоящий момент мы хотим оценить диалектику гегелевских категорий с общеметодологической точки зрения—идеализма или материализма. Марксисту должно быть ясно, что гегелевская мысль о *возникновении* действительности из сущности и явления тоже имеет известный рациональный смысл. Возникновение новых явлений. вытекающее из особенностей действительности и до известной

В реальной жизни не существует одного качества или одного количества: действительность знает только одну меру, или их диалектический синтез. Точно так же не существует и отдельно бытие и ничто: мы имеем только вечное становление природы. Короче говоря, — марксизм утверждает, что в мире не существует никаких «чистых» категорий, или закономерностей, а имеется, напротив, сложнейший клубок связей и взаимодействий. Таким образом, если Гегель начинает свою «Логiku», должествующую отразить самодвижение объективного понятия, с «чистого бытия», так что наполненные, конкретные категории выступают, как заключительное звено анализа, то теория марксистской диалектики должна идти по *обратному* пути — от «действительности» к «сущности» и «явлению», от «меры» — к «количеству» и «качеству» от «становления» — к «бытию» и «ничто». И когда Энгельс указывал, что из всей «Науки Логики» Гегеля наибольшее значение имеет для нас «учение о сущности», то он, надо думать, имел в виду и эту сторону дела, так как именно здесь дана теория действительности.

Образцом такого разрешения вопроса является «Капитал» Маркса. Правда, специально экономические категории идут у Маркса в гегелевской последовательности — от абстрактных к конкретным, от стоимости к деньгам и т. д. Но что касается категорий общеметодологических, то каждая экономическая категория содержит их в себе *во всем их многостороннем объеме*, да и сама-то найдена с помощью *всей* марксистской методологии *в целом*. Как указание на эту сторону дела, имеют значение слова Ленина из его «Философских тетрадей»: «Нельзя вполне понять «Капитал» Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв *всей* логики Гегеля»¹. В одной только главе о стоимости мы имеем, таким образом, все диалектические категории, при чем исследование устанавливает ту специфическую их связь и взаимообусловленность, каковы свойственны данному объекту.

Говоря о различиях теории материалистической диалектики от гегелевской, мы сосредотачиваем внимание на вопросах архитектоники. Может показаться, что это — совершенно не существенная проблема, такая, что то или иное решение ее не может иметь касательства к содержанию теории диалектики. Однако думать так было бы неправильно. Большинство категорий, развитых в «Науке Логики» Гегеля, не могут возбудить в марксисте никакого сомнения с точки зрения их реального значения. Во всяком случае, основная трудность для материалиста-диалектика отнюдь не в этом. Ведь недаром Маркс и Ленин обращали специальное внимание на проблему архитектоники. Первый в своем общеизвестном «Введении к критике политической экономии» протестует против той иллюзии, в которую впадал Гегель, «говоря, что реальное следует понимать как результат са-

степени изменяющее сущность, порождает новую действительность (напр., империализм в отношении капитализма). Гегель не прав, следовательно, лишь постольку, поскольку для него из диалектики сущности и явления возникла действительность, как таковая. Его положение верно, однако, в применении к конкретной действительности.

¹ Цит. статья Вл. Сорина. Курсив Ленина.

мого в себе объединяющегося, в себя углубляющегося и из самого себя развивающегося мышления»¹, так что процесс изложения категорий превращался им в процесс «возникновения самого конкретного». С другой стороны, Маркс принимает ту чрезвычайно важную мысль гегелевской «Логики», что категории должны быть *выведены* одна из другой; «последний метод, — говорит Маркс, — очевидно, является правильным в научном отношении». Правда, в результате этого «на первый взгляд может показаться, что пред нами априорная конструкция»². Однако все дело в том, чтобы «жизнь материала получила (здесь) свое идеальное отражение» и было «надлежащим образом изложено действительное движение». Таким образом, *суть* дела, по Марксу, заключается вовсе не в том, чтобы дать некоторую беспорядочную, хаотическую систему категорий, а в том, чтобы показать их реальную связь и взаимозависимость. Это, конечно, неслыханно усложняет и изложение системы и ее восприятие. Это имеет, однако, как показывает Марксов «Капитал», то неоспоримое преимущество, что создает цельную, внутренне законченную систему, каждый элемент которой поставлен на свое, присущее ему по объективному положению место. Обо всем этом говорит и Ленин в фрагменте «К вопросу о диалектике»: «Таков же должен быть метод изложения (resp. изучения) диалектики вообще (ибо диалектика «Капитала» у Маркса есть лишь частный случай диалектики)».

Однако, беря Марксов «Капитал» за образец развития системы категорий с марксистской точки зрения, нельзя упускать из виду тех различий, которые по необходимости существуют между системой общедиалектических категорий и ее конкретизацией в экономической области. Способ развертывания экономических категорий, идущий от простого к сложному, от абстрактного к конкретному, соответствует историческому процессу возникновения и развития новых качеств и закономерностей. Это коренным образом отличается от системы общеметодологических категорий. Здесь дело идет о наиболее общих закономерностях и качествах мира в целом, и считать, что сначала существует бытие вне сущности и явления, вне качества и количества, вне становления и т. д., и т. п. — значит хотя и отрицать гегелевское начало «чистого бытия» по форме, но в то же время придерживаться его по существу. Все эти и им подобные категории свойственны материальному миру не на отдельных ступенях его развития, а с «начала» его существования и по сие время. Поэтому развернуть систему такого рода категорий по принципу «от абстрактного к конкретному» нельзя, ибо это означало бы для марксиста, что и мир, выраженный в подобной системе, развивается от простого бытия к бытию наполненному, что вначале он абсолютно бесформенен и только потом приобретает эти формы. Тут

¹ «К критике политической экономии», русск. изд. 1922 г., стр. 21.

² «Капитал», т. I. Предисловие ко II изд., стр. 28, русск. изд. 1909 г.

³ И других, охватывающих частные области. Ср. замечание Маркса о правдивости того, что Гегель начинает свою «Философию права» с категории «владения» (Введение к критике пол. экономии).

нужно, конечно, иметь в виду, что наибольшее богатство форм мир имеет на высших стадиях своего развития, так что гегелевская схема имеет известный смысл. Однако ведь методологические категории имеют своим предметом не частные формы, а всеобщие, универсальные.

Таково в общих чертах соотношение между материалистической диалектикой Маркса и идеалистической—Гегеля. Знаменитое «переворачивание» гегелевской философии «с головы на ноги» конкретно означает, что ряд категорий в новом, материалистическом истолковании входит в марксизм, становясь руководством для действия, а система и связь этих категорий перерабатываются в полном соответствии с объективным положением вещей.

Наиболее выпукло показать методологическое значение категорий гегелевской диалектики для марксизма можно на рассмотрении их по отдельности. При этом для большей рельефности интереснее всего взять те категории, кои возбуждают обычно справедливые, в общем, нападки на идеализм и схематизм Гегеля. Подвергнув анализу их практически-методологическое значение для марксизма, мы увидим, что даже в своих идеализмом обусловленных «вывертах» и «загибах» Гегель бесконечно «умнее»¹ плоского и вульгарного механического (или механистического) материализма.

В качестве именно таких проблем мы выбираем из гегелевской «Науки Логики» «чистое ничто», «триаду» и переход к «основанию».

О гегелевской «триаде» можно с полным правом сказать, что она всегда представляла собою главную мишень для нападок. Положение усугубляется тем, что эти нападки имеют под собой вполне реальную почву, поскольку триада навязывается Гегелем действительности, хочет она того или нет. И все-таки старик Гегель был прав! Это блестяще доказано не кем иным, как самим основоположником марксизма, К. Марксом.

Не часто отдают себе у нас отчет в том, что весь «Капитал» построен Марксом по принципу триады. Эта последняя категория, согласно Гегелю, означает, что нечто, развиваясь, приходит к самоотрицанию с тем, чтобы, выходя из этого своего инобытия, соединиться с прежним в некотором высшем единстве. Применяя эту категорию к исследованию капиталистического общества, сам Маркс с полной ясностью показывает, что принцип триады применен им вполне сознательно, как некоторое не вызывающее спора методологическое положение. Обозревая соотношение ступеней своего анализа в каждом томе, он говорит: «В первой книге были исследованы те явления, которые представляет капиталистический процесс производства, взятый сам по себе, как непосредственный процесс производства, при чем оставались в стороне все вторичные воздействия чуждых ему обстоятельств. Но этим непосредственным процессом производства еще не исчерпывается жизненный путь капитала. В действительном мире он дополняется

¹ Ленин: «Умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм» (ст. Вл. Сорокина).

процессом обращения, который составил предмет исследования второй книги. Там—именно в третьем отделе, при рассмотрении процесса обращения как посредствующего звена в процессе общественного воспроизводства—оказалось, что процесс капиталистического производства, рассматриваемый в целом, представляет единство процесса производства и обращения... Здесь (в третьем томе. К. М.) необходимо найти и описать те конкретные формы, которые возникают из *рассматриваемого, как целое, процесса движения капитала*¹. Итак, гегелевское «нечто»—это «процесс производства капитала», его «инобытие», «самоотрицание»—«процесс обращения капитала», синтез того и другого на высшей ступени—«процесс капиталистического производства, взятый в целом». Но Маркс отнюдь не ограничился таким общим использованием триады. Как показывает анализ отдельных экономических категорий, триада широко используется Марксом для «нахождения новых результатов» и при решении более частных проблем. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть², как развертывает Маркс понятие товара и переход стоимости в ее денежную форму, как анализ производства абсолютной и относительной прибавочной стоимости переходит в анализ нормы прибавочной стоимости и т. д., и т. п. на всем пути марксова исследования.

Но Маркс подошел к гегелевским категориям не как простой ученик, а «двинул сие ценное вперед». Также обошелся он и с категорией триады. В гегелевском освещении последней осталась известная неясность, давшая основание русскому гегельянцу Б. Чичерину превратить трихотомическое деление в четырехчленное. Дело в том, что синтетический момент в триадическом движении является, по Гегелю, моментом, завязывающим некоторый определенный узел; этот последний, завершая данную стадию процесса, служит в то же время исходной точкой нового триадического движения и т. д. Неясность здесь заключалась в недостаточной подчеркнутости своеобразия перехода от одного узла к другому, от одной триады к другой. С одной стороны, процесс относительно *заканчивается* на данной стадии, с другой—именно отсюда растут *новые* противоречия и *новое* движение: таким образом, проблема специфической формы, соединяющей обе стадии процесса, Гегелем не была достаточно подчеркнута, что и дает основание говорить о надуманности переходов. Марксом же, двигающим теорию диалектики вперед, она, напротив, поставлена со всей необходимой остротой и разрешена. Развертывая свою теорию стоимости, Маркс пользуется основными положениями Гегеля, когда он восходит от «простой, единичной или случайной формы стоимости» через «полную или развернутую» ко «всеобщей». Но это не дает еще возникновения новой категории—«капитал», доставляя в то же время необходимые для этого предпосылки. Подлинный переход осуществляется только через деньги. При этом Маркс со всей настойчивостью подчеркивает (гл. I,

¹ «Капитал», т. III, ч. I, стр. 1, русск. изд. 1907 года. Курсив автора.

² Автор настоящей статьи надеется, что в ближайшее время ему удастся показать все это в более развернутом виде в его работе «Диалектика Маркса в «Капитале».

С. § 3, Д), что денежная форма стоимости ничем принципиально не отличается от всеобщей: первая есть лишь *спецификация* второй. Но именно эта специфичность является исходным пунктом дальнейшего развития товарных форм к капиталу. Таким образом, если у Гегеля осталась известная неясность в смысле особенностей перехода от одной категории к другой, то Маркс, отнюдь не связанный какой бы то ни было схемой и исследовавший реальные переходы, вскрывает действительно существующую закономерность. Триаδικое завершение процесса путем спецификации той или иной особенности, ее выделения и обособления, открывает путь для нового развития. Только таким образом «снимается» в действительности прежний процесс, — снимается, т.-е. уничтожается, сохраняется и переводится на высшую ступень. Тут нет триады в собственном смысле слова, но нет также и четырехчленного деления: эти противоположности совпадают здесь друг с другом в неразрывном единстве, устанавливая непрерывность в скачке и прерывистость в непрерывности.

Не трудно понять, что как и вся диалектика, это положение Маркса имеет универсальное значение. Так, например, совершенно нельзя понять известное «родословное дерево организмов» Геккеля¹, если не отдать себе отчета в роли и значении спецификации достигнутой формы для прогресса организмов. По Гегелю, дело рисовалось бы так, что раз известная форма дала начало новой, сама она должна отмереть, как некоторое качество, не способное развиваться дальше. С точки зрения диалектики Маркса это не так: каждая реальная форма, дающая начало новой, настолько богата содержанием, настолько многостороння, что возможных путей ее развития, теоретически говоря, бесконечно много. Исторической случайностью является создание условий для той или иной спецификации (Дарвин говорит: «отбор *подхватывает*» развившиеся особенности). Однако, раз последняя имеет место, она служит исходным пунктом для нового ответвления в развитии. При этом старая форма может не умирать, а, наоборот, развиваясь дальше, дать основу для дальнейших спецификаций. Так, из первичной органической формы постепенно развиваются путем усложнения (спецификации) роды, виды и классы животных. И если, по Гегелю, развитие категорий, а, следовательно, и развитие отраженного в них об'ективного мира заранее предустановлено и вытянуто в одну линию, хотя и с большим числом всякого рода заворотов, возвратов назад и т. д., то марксистская диалектика действительно учитывает об'ективную случайность и воспринимает развитие — мы говорим об организмах — скорее, в форме пирамиды, поставленной вверх основанием.

Отнюдь не отвергал триады и Ленин. Так, например, всегда, когда ему приходилось оценивать путь развития партии в целом, он обращал серьезное внимание на триадичность этого развития.

В связи с оценкой триады можно поставить более частный вопрос — значение гегелевских замечаний в том отделе, где он говорит

¹ См. его брошюру «Борьба за идею развития», а также «Антропогению».

о переходе от противоречий к основанию. Как известно, Ф. Энгельс именно об этом переходе дал весьма «нелестный отзыв, сказав, что «раздумывать об этом много — это значит просто терять время». Но нельзя забывать, что тот же Энгельс писал: «Вы не должны читать Гегеля... для того, чтобы открывать в нем паралогизмы и передержки, которые ему служили рычагом для построений. Эта работа школьника. Гораздо важнее отыскать под неправильной формой и в искусственной связи справедливое и гениальное»¹. И вот нам кажется, хотя это противоречит букве Энгельса, что и в игре словами: противоречия «zugrunde gehen» (уничтожаются), и мы приходим поэтому к основанию (der Grund²), Гегель «гениально угадал» некоторый весьма важный факт. Рассмотрите с этой точки зрения место пролетарской революции в истории развития общества, и вы поймете, что если в отвлеченной гегелевской форме переход от противоречий к основанию возможен только на немецком языке, то в своем рациональном значении — это живой факт жизни, уже совершившийся на русской почве. Классовая борьба развивается от различий через противоположности к противоречиям. Тогда «противоречия разрешаются, — учит Гегель, — и противоположность не только уничтожается в основании, но возвращается в свое основание»³. В этом отношении чрезвычайно интересны два места из «Развития социализма от утопии к науке» Энгельса. Говоря о присущей капиталистическим общественным отношениям диалектике, Энгельс пишет: «Сами производительные силы с возрастающей силой стремятся к уничтожению... противоречия, к освобождению себя от своих капиталистических свойств, к фактическому признанию их характера: характера общественных производительных сил»⁴. Тут совершенно ясно проводится та же мысль, что и у Гегеля, — мысль, которая в качестве известной методологической категории дала Энгельсу возможность предугадать направление процесса. Общественные производительные силы при капитализме рожают ту специфическую обстановку, когда они сами приобретают свойство не быть общественными производительными силами. Вырастающие на этой почве противоречия капитализма своим обострением ставят вопрос об освобождении производительных сил от этого противоречия, — вопрос о переходе к «фактическому признанию их общественного характера», т.-е. того основания, на котором вырастают все противоречия и к которому, уничтожившись, они должны возвратиться. Вот почему в другом месте той же брошюры Энгельс говорит уж совсем «гегелевским» языком: «Революция пролетариата. Разрешение противоречия: пролетариат овладевает общественной властью и обращает с помощью этой власти отнятые у буржуазии общественные средства производства в общественную собственность. Этим он освобождает производительные силы от их современного капиталистического

¹ См. Письмо Ф. Энгельса к К. Шмидту, от 1/XI 1891 г.

² См. Encyclopädie, § 120 и «Наука Логики», ч. I, кн. II, стр. 36 и сл.

³ «Наука Логики», там же, стр. 37. Курсив автора.

⁴ Энгельс, «Развитие социализма от утопии к науке». Библиотека марксиста. ГИЗ, 1926 г., вып. II, стр. 70—71. Курсив автора.

свойства и дает полную свободу развития их общественному характеру»¹. Так материалистически перерабатывается марксизмом диалектика Гегеля, так переходит она сама к своему материальн. «основанию».

Гегелевские категории «чистое бытие» и «чистое ничто» кажутся на первый взгляд весьма надуманными, тем более, что последняя им использована в качестве «аргумента» против материализма с его утверждением: «ex nihilo nihil fit» (из ничего ничего не возникает). Конечно, если эти категории рассматривать с точки зрения абсолютной, то вряд ли может быть два мнения об отсутствии на их стороне хотя бы тени правоты. Но ведь Гегель учит нас на все смотреть с точки зрения диалектики, при одном прикосновении которой абсолюты испаряются, как дым. Так и в данном вопросе. И здесь оказывается, что Гегель не был уже так неправ, как может показаться, когда мы насмеемся над «чистой» его «бытия» и «ничто» и не вдумаемся в реальное содержание этих понятий. Не останавливаясь подробно на том, какое громадное значение для философии имеет гегелевское начало «Логики» с бытия, мы обратим внимание на несколько специальный вопрос. В гегелевском «чистом бытии» нетрудно узнать субстанцию Спинозовской «Этики», которая, будучи рассмотрена абстрактно, есть также «чистое бытие». Этим Гегель смыкается с лучшими традициями материализма, никогда не сомневавшегося в об'ективном бытии субстанции. Но таким своим утверждением Гегель обращен не только назад, но и вперед,—к диалектическому материализму. Классические определения материи марксистами (Плеханов, Ленин) подчеркивают, что она есть реальность, т.-е. бытие. Бытие,—а так думал и Гегель,—существующее независимо от какого бы то ни было познающего или непознающего суб'екта. В то же время Ленин считал необходимым строго отделять философское определение материи от физического. Этим самым Ленин как бы подчеркивал, что и здесь марксизм идет вслед за Гегелем. Конечно, материя не есть «чистое бытие» в том смысле, что ей свойственно только одно—быть: эта, как сказал бы Гегель, определенность в себе и равнодушная к иному, отвергается марксизмом даже в самом философском определении материи, поскольку подчеркивается воздействие материи на наши органы чувств. Но материя выступает в этом философском определении марксизма как «чистое бытие», ибо такое определение указывает только на об'ективную реальность, а вовсе не на конкретные свойства материи: последнее есть дело истории науки, которая не в силах изменить что-либо в этом диалектически-абсолютном, «чистом» определении.

Гегелевское «бытие» и «ничто» в нашей популярной литературе истолковываются обычно, как «да-нет», «нет-да» в приложении к движению. Такое истолкование, полезное для популяризации, превращает, однако, мысль Гегеля в нечто совершенно ложное. Согласно ему, бытие и ничто не суть наши суб'ективные определения существующего, а, напротив, имманентные об'екту свойства. И истина их—

¹ Энгельс, «Развитие социализма от утопии к науке» Библ. марксиста. ГИЗ. 1926 г.

отнодь не в простом движении, а в становлении, как более содержательной категории, где оба они играют роль преходящих и взаимообусловленных моментов.

«Чистое ничто» так же реально не существует, как и «чистое бытие». Но это отнодь не значит, что категория «ничто» не имеет никакого методологического значения для марксизма. В обычном своем виде она известна как «возникновение» или «уничтожение». И действительно, когда какая-нибудь вещь возникает, она, можно сказать, из «ничто» переходит в «бытие», при чем. правильное понимание этого перехода достигается лишь тогда, когда мы отдаем себе отчет, что здесь налицо одна из конкретизаций диалектического учения о случайном и необходимом, или общем и частном. Гегель, конечно, не прав, утверждая возможность возникновения чего-нибудь из абсолютного «ничто»: тут даже метафизический материализм стоит неизмеримо выше его. Но относительное «ничто», т.-е. случайное, частное может развиваться в нечто или, наоборот, что-нибудь существенное, становясь несущественным, необходимое—случайным, деградировать до «ничто». Так всегда происходит возникновение и уничтожение, имеем ли мы в виду развитие из зародыша животного, из протиста—*homo sapiens* или из групповых различий ожесточенной и уничтожающей борьбы классов. Вне перехода в «ничто» не может быть никакого развития, хотя, правду говоря, сущность последнего раскрывается в других диалектических категориях (борьба и синтез противоположностей). Чтобы понять, какое значение придавали Маркс и Энгельс интересующим нас сейчас категориям, очень полезно после изучения Гегеля внимательно вчитаться в такие, ставшие ныне элементарными, работы, как, напр., «Коммунистический Манифест». Если взять суть этого произведения с методологической стороны, то необходимо сказать, что она заключается в применении к капитализму в целом категории становления с ее моментами—«бытие» и «ничто». Буржуазия есть «бытие» капиталистического общества, пролетариат—его «ничто»: «жизненные условия старого общества (т.-е. капитализма. К. М.) уже уничтожены в жизненных условиях пролетариата». Но «кто был ничем, тот станет всем»: «первым шагом рабочей революции должно быть возвышение пролетариата на степенъ господствующего класса, завоевание демократии». Так «бытие» переходит в «ничто» и «ничто»—в «бытие». А весь этот процесс есть становление к социализму...

«Материалистическое понимание истории и его специальное приложение к современной классовой борьбе между пролетариатом и буржуазией было возможно только при помощи диалектики. И если учителя немецкой буржуазии (не только они! К. М.) потопили всякое воспоминание о великих немецких философах и созданной ими диалектике в болоте безотрадного эклектизма... то мы... гордимся тем, что ведем свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля» (Энгельс).

К. Милонов.

ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ТЕОРИИ МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА

I

До последнего времени как-то мало внимания уделялось в литературе вопросу о производительных силах. Мы имеем специальное освещение целого ряда отдельных проблем теоретической экономики и исторического материализма. Проявляется интерес к изучению и освещению, например, таких проблем, как проблема времени, пространства и т. д., а проблема производительных сил, несмотря на колоссальную свою важность, несмотря на то, что является в буквальном смысле рычагом общественного развития, осталась в тени. О производительных силах приходится говорить всем постольку, поскольку они движут общественное развитие. Но об этом говорится между прочим, попутно, в предположении, что эта проблема проста, ясна и не требует специального изучения. Последние статьи тт. Бернштейна и Ефимова и ряд весьма кратких толкований этой проблемы в учебниках по историческому материализму показывают, что это далеко не так, что в понимании производительных сил имеется порядочный разноречивый и что над этой проблемой следует специально поразмыслить.

В настоящей статье мы не беремся за отсутствием времени исчерпать полностью все вопросы, связанные с освещением проблемы производительных сил¹. Мы попытались дать только основную установку Марксо-Энгельсовского понимания категории производительных сил в нашем понимании.

* * *

Производительные силы—одна из основных проблем исторического материализма, это—исходный путь социологического анализа в теории Маркса-Энгельса.

В ряде учебников и статей мы встречаем своеобразную трактовку этого понятия. Утверждают, например, что у Маркса понятие производительных сил полностью сложилось только в «Капитале», а в осталь-

¹ Нами не затронут, например, вопрос о том, почему предмет труда не может быть отнесен к производительным силам, затем,—какова роль природы в развитии производительных сил и др.

ных «ранних» его произведениях оно не ясно, не «сконструировалось» полностью, не имеет совершенной трактовки в смысле своей общественной значимости, касается только индивидуального рабочего или в лучшем случае рабочего класса, но не всего общества. Получается такая картина, что Маркс в целом ряде своих произведений исходил от индивидуума, от класса, а не от общества, рассматривал не социальный организм. Этот упрек Марксу, нам думается, является следствием непродуманности проблемы. Такова установка у тов. Ефимова¹. Между прочим, тов. Ефимов, в увлечении подобной постановкой, причислил к «ранним» произведениям Маркса также и III том «Теорий прибавочной стоимости».

Доказывают также, что Маркс различно толковал этот термин, в зависимости от того, о чем идет речь, или, что Маркс воспринял этот термин от предшественников и потому было бы, мол, необходимо, для правильного уяснения установки Маркса, выяснить, что понимали под производительными силами предшественники Маркса. Часто ссылаются также на то, что неясность проблемы связана с тем, что Маркс и Энгельс употребляют термин «производительные силы» при упоминании различных, подчас даже несовместимых понятий. Последнее положение, очевидно, многих заставляет предполагать, что вопрос о производительных силах в трудах Маркса отличается неясностью своей постановки, небрежностью, так сказать, в его употреблении; что эта проблема в теоретической экономике и социологии требует особого углубления и освещения. Маркс-де проблему поставил, но она все-таки не ясна, имеется некоторая разноречивость.

Исходя из такой установки, пытаются применить выборочный метод, беря отдельные определения у Маркса, а не всю его теоретическую концепцию в целом. Результат от этого получается, по нашему мнению, плачевный, не отражающий теории Маркса. Так, в понятие производительных сил укладывают психическое, или энергетическое понимание, или «совокупность способностей» (Ефимов), или наметилась, например, такая вариация: *отбрасывают* рабочую силу, подменив производительные силы «методами и способами общественного производства» (тов. Бернштейн) и т. д., и т. п.

Теория Маркса-Энгельса представляет необыкновенную цельность, монолитность. Любая проблема из их богатого теоретического наследия выставлена необыкновенно выпукло, ясно, освещена всесторонне. Производительные же силы представляют основную, кардинальную проблему социологического анализа. Думать, что у Маркса этот вопрос недостаточно освещен, что эта проблема требует уточнения, углубления, значит просто не понять Маркса, это значит обвинить его в том, что самую главную проблему он не уточнил, не вложил в нее определенное, ясное, конкретное понятие, содержание. Такого вывода, пожалуй, никто не захочет сделать. В таком случае само собой должна отпасть и постановка о неясности и разноречивости этого понятия в произведениях основоположников марксизма.

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 22 за 1927 г.

В виду именно различного употребления Марксом термина «производительные силы»¹, требуется большая осторожность при анализе этого понятия. Тут, нам думается, не столько придется обрубиваться на переводчиков и разбирать самые подлинники, что, конечно, представляет благодарную задачу и еще более может помочь делу, сколько умело уложить диалектический метод в понятие производительных сил.

Кроме того, очень часто ошибочное понимание Маркса основано на простом терминологическом объяснении понятия производительных сил, в то время, как правильное понимание этой категории может быть достигнуто путем уяснения общей концепции Маркса и путем понимания производительных сил в их общей постановке.

Еще один вопрос, который следует затронуть,—это вопрос о том, принесло ли бы пользу, раскрыли ли бы свою «гвинтовую сущность» производительные силы, если бы мы в наше исследование по данному вопросу привлекли предшественников Маркса? Рассеялся ли бы благодаря этому туман, который создан вокруг понятия производительных сил? Нам думается, что он был бы еще более гущен. Нет никакого смысла пытаться дать терминологическое и просто логическое развитие понятия производительных сил в историческом аспекте. Сожалеть об этом не следует. Между тем, нотки сожаления видны в статьях тов. Бернштейна и тов. Ефимова².

Факт сожаления может навеять на ту мысль, что Маркс, касаясь той или иной проблемы, пересаживает ее готовую механически со всем содержимым этого понятия из предшествующей науки и что, в частности, проблема производительных сил в понимании Маркса тесно связана с пониманием этого термина у его предшественников. Конечно, это не так! Маркс пользуется определенной формой выражения, данной ему в готовом виде предшествующей историей, но он вкладывает в нее иное содержание. И нас в данном случае интересует как самое содержание понятия, так и то место, какое занимают в теории Маркса производительные силы. Маркс сам сплошь и рядом освещает точку зрения предшественников при анализе различных экономических категорий, но это делается им с той целью, чтобы резче, яснее оттенить то новое, что он вносит, то важное, чего не могли уловить близорукие буржуазные теоретики. Самую проблему производительных сил Маркс рассматривает, как движение противоречий, и устанавливает вместе с тем тесную, непосредственную связь их с общественными производственными отношениями. Такой анализ, конечно, не в состоянии дать ни один буржуазный теоретик ни до ни после Маркса.

Ведь не говорит буквально ничего ни уму ни сердцу, если мы, подобно тов. Ефимову³, скажем, например, что Ф. Лист под про-

¹ Например, Маркс упоминает об «индивидуальных производительных силах», об «общественных производительных силах», о «промышленных производительных силах», о «земледельцах, как о производительных силах», о «материальных производительных силах», о «науке, как производительной силе», и т. д., и т. п.

² «Вестник Комм. Академии», кн. 21 и 22 за 1927 г.

³ «Вестник Комм. Академии», кн. 22 за 1927 г., стр. 146.

изводительными силами понимал «нравственность, религиозность, облагораживание человеческого духа» и т. д. К марксовскому пониманию таким манером мы ничуть не приблизимся, если не попытаемся прежде и раньше всего, уяснив сущность диалектического метода и вооружившись им, разобрать эту основную проблему исторического материализма—производительные силы.

* * *

В чем важность проблемы? Если приглядеться даже поверхностно к теории Маркса-Энгельса, и тогда станет очевидным, что вся их теория—как в области экономики, так и социологии—зидается на изучении диалектического развития производительных сил, на уяснении тех противоречий, которые являются двигающими, подталкивающими производительные силы в различные периоды общественного развития и специально в период капитализма. Понять в общем концепцию Маркса, это значит вместе с тем и усвоить себе не только то, что вкладывал Маркс в понятие производительных сил, но, главным образом, и то,—путем каких противоречий, в связи с какими факторами эти производительные силы развивались известным образом в определенном конкретном сочетании своих составных элементов.

Освещение отдельных вопросов марксизма требует сугубо внимательного изучения всей концепции Маркса, ибо любая категория в его теории представляет необыкновенное богатство содержания и тесно переплетается с целым рядом разных других факторов, без освещения и уяснения которых основная, интересующая нас проблема будет бледно, односторонне освещена и не даст в основном концепции Маркса.

При изложении проблемы производительных сил, нам думается, необходимо прежде и раньше всего отметить те элементы, из которых складывается понятие производительных сил, дать сначала, так сказать, абстракцию понятия (что мною делается в III—VI разделах настоящей работы), а потом уже обогащать это абстрактное конкретным, включить это понятие, например, в систему капитализма (см. VII—VIII разделы), и показать своеобразие и пути его развития в этой системе. Так делает Маркс. Попытаемся под этим углом зрения осветить самую проблему.

Необходимо, дав пояснение термина, взять ту многообразную сумму причин и следствий, которые (причины) дают толчок и обуславливают развитие производительных сил. Многие, собственно почти все, за исключением тов. Бухарина, касаясь вопроса производительных сил, пытаются дать понятие самого термина, пытаются отметить, что под этим понимал Маркс, и почти не уделяют внимания другой стороне вопроса, как Маркс мыслил это развитие. Между тем, вторая постановка вопроса,—именно как развиваются производительные силы,—чрезвычайно важна и в значительной степени, нам думается, должна помочь уяснению того, что вкладывал в это понятие Маркс, поможет осветить самую проблему.

II

Природа является первым условием существования общества, она же и определяет возможность его развития. Развитие общества, в конечном счете, есть развитие его власти над природой, есть развитие его производительных сил. Та или иная степень этой власти, степень использования законов природы в своих интересах, характеризует ту или иную степень развития техники и является показателем прогресса, цивилизации. Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивают разницу между обществом людей и животными.

«Первым историческим актом индивидов, которым они обособляются от животных, является не то, что они мыслят, а то, что они производят—средства для своего существования»¹.

Вот другое замечательное место из «Диалектики природы», где Энгельс характеризует промышленность, как деятельность, как особую форму движения, не встречающуюся в окружающей природе и свойственную только человеческому обществу.

«Первое, что нам бросается в глаза,—говорит Энгельс,—при рассмотрении движущейся материи,—это взаимная связь отдельных движений, отдельных тел между собой, их обусловленность друг другом. Но мы находим не только то, что за известным движением следует другое движение, мы находим также, что мы в состоянии воспроизвести определенное движение, создав условия, при которых оно происходит в природе; мы находим даже, что мы в состоянии вызвать движения, которые вовсе не встречаются в природе (промышленность), по крайней мере не встречаются именно в таком виде, и что мы можем придать этому движению определенные заранее направление и размеры»².

Основой различия человеческого общества от животных является сознательный акт производства материальной жизни, а вместе с тем и жизни общественной. Человеческая деятельность тем отличается от деятельности в животном мире, что она по заранее намеченной цели изменяет природу таким образом, что «в конце процесса труда,—говорит Маркс,—получается тот результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т.-е. в представлении работника. Он не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет в то же самое время и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинить свою волю»³.

Или в другом месте мы читаем: «Чем более, однако, люди удаляются от животных, тем более принимает их процесс воздействия на природу характер преднамеренных, планомерных, направленных к определенным, заранее намеченным, целям действий»⁴.

¹ Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 214.

² Энгельс, «Диалектика и естествознание». Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 23.

³ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 149.

⁴ Маркс, «Труд, как фактор эволюции в процессе развития от обезьяны к человеку». См. в сборнике, составл. Адоратским, стр. 422.

Между обществом и природой существует процесс взаимодействия, но в отличие от прочих животных человек наложил на природу печать своей воли благодаря умению правильно постигать и применять ее законы, часть которой он сам представляет.

«От природы Германии, какой она была в эпоху переселения в нее германцев,—пишет Энгельс,—чортovski мало осталось. Поверхность земли, климат, растительность, животный мир, даже сам человек бесконечно изменились с тех пор, и все это благодаря человеческой деятельности, между тем, как изменения, происшедшие за это время в природе Германии без человеческого содействия, ничтожно малы»¹.

Скрепляющим звеном взаимодействия между человеком и природой является труд. Но процесс труда «вообще» нас не интересует, да к тому же это завело бы нас в излишнюю абстракцию. Процесс труда, как таковой, свойственен всем общественным формациям и представляет собой «общее условие обмена между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни» (Маркс). Нас интересует не труд вообще, а общественный труд, начиная с определенной ступени развития техники, когда труд становится трудом производительным, когда становится возможным накопление, прогресс².

«Развитие человеческого общества после завершения стадии животной дикости,—пишет Энгельс,—началось с того момента, когда труд семьи стал создавать более продуктов, чем было необходимо для его поддержания; с того дня, когда часть труда могла затрачиваться на производство уже не только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками содержания труда и, как результат этого, образование и увеличение общественного производственного резервного фонда стали основой всякого общественного, политического и интеллектуального процесса»³.

Труд становится производительным потому, что по сравнению с прежним периодом полудикого состояния общество производит на основе развития техники больше продукта, т.-е. увеличивает производительность труда.

Прежде чем приступить к анализу производительных сил, мы считаем необходимым в настоящем разделе дать наше понимание в теории Маркса терминов—«производительность труда» и «производительная сила труда», которые очень часто упоминаются Марксом, когда он касается производительных сил.

Производительность труда зависит от субъективных и объективных факторов,—это функция обоих переменных: интенсивности труда

¹ Энгельс, «Диалектика природы». Архив Маркса-Энгельса, т. II, стр. 25.

² Под производительным трудом мы понимаем совокупный общественный труд, покрывающий с избытком непосредственное содержание труда. В капиталистическом обществе под производительным трудом Марксом понимается труд, дающий прибавочную стоимость.

³ Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Моск. Рабоч.», 1924 г., стр. 173.

(суб'ективный фактор) и производительной силы труда (об'ективный фактор). К об'ективным факторам производительности труда относятся: 1) качество средств производства, 2) общая установка производства и 3) природные условия. Внешние природные условия Маркс разбивает на 2 класса: «1) естественное богатство средств существования (плодородие почвы, обилие рыб в воде и т. д.) и 2) естественное богатство средств труда (падающие водопады, судоходные реки, дерево, металл, уголь и др.)», и при этом Маркс добавляет: «На низшей ступени культуры первый род, на высших ступенях второй род естественных богатств имеют решающее значение»¹.

Анализу производительности труда Маркс уделяет большое внимание. Производительность труда может расти, т.-е. выразиться в большем количестве в единицу времени продуктов, чем раньше, если растет интенсивность труда (т.-е. если труд конденсирован), и, с другой стороны, производительность труда может расти, если растет производительная сила труда, т.-е. если изменились орудия труда, если введены всякого рода усовершенствования, если повысилось качество рабочей силы, квалификация рабочего, если введены новые методы производства и др. Говоря о производительности труда, Маркс упоминает выражение «производительная сила труда». Таким образом, мы впервые тут сталкиваемся с понятием «производительная сила», но не в общем его выражении, а сказанным *в связи с производительностью труда*. Надо, нам думается, твердо установить, что понятия «производительная сила труда» и «производительные силы» далеко не равнозначные категории, между ними дистанция огромных размеров. В значительной степени неправильное толкование Маркса у тов. Ефимова основано на отождествлении этих двух понятий. Для того, чтобы оправдать свое понимание, тов. Ефимов взял на себя тяжелый труд проследить, как конструировалась мысль Маркса в его теории в вопросе производительных сил. Желая обосновать свое исследование, тов. Ефимов приводит те места из «Теории прибавочной стоимости», где Маркс, соглашаясь с Р. Джонсом, говорит как раз о «производительной силе труда», а не о «производительной силе». Что пишет Маркс и как следует понять те цитаты, которые привел тов. Ефимов? Маркс говорит: «Если достигнуто *постоянство труда*, тогда действие этого изменения на производительность труда громадно. Можно считать, что сила удвоена. Двое рабочих, которые *непрерывно* работают сплошь целый год с утра до вечера, вероятно, произведут больше, чем четверо рабочих, *которые прыгают от одной работы к другой* (курсив всюду наш. Е. К.) и теряют время на то, чтобы найти заказчиков и снова получить непостоянные работы»². Или в другом месте, которое также приводит тов. Ефимов, Маркс говорит: «Ошибочно увеличение самого труда, вследствие продолжительности и *отсутствия перерывов*, называть увеличением производительности или

силы труда. Последнее получается лишь постольку, поскольку *непрерывный труд увеличивает личное искусство рабочего; под силой труда мы понимаем*—говорит Маркс,—*большую производительную силу, с какой применяется данное количество труда, а не изменение в количестве примененного труда*»¹. Маркс тут очень ясно дает понять, что *непрерывность, постоянство* работы, повышает *качество* рабочей силы, специализирует рабочего, благодаря чему становится возможным больше производить, поднимается производительность труда. Во второй цитате, приведенной тов. Ефимовым, Маркс, говоря о производительной силе, определенно подразумевает производительную силу труда, предполагая под последним исключительно *качество* рабочей силы в связи с той или иной формой труда. Из хода мыслей тут вполне ясно, что речь идет о «производительной силе труда», а не о «производительной силе» вообще. Абсолютно непонятно: каким образом тов. Ефимов вывел отсюда «несовершенство тракторки» у Маркса? Ведь тут даже не упоминается понятие производительных сил!

Становится очевидным только одно, что понятие «производительная сила труда» должно быть уточнено, чтобы раз и навсегда избежать возможной путаницы и отождествления этого понятия с понятием «производительных сил».

Приведенная нами цитата из «Теории прибавочной стоимости» дает один пример повышения производительной силы труда—вследствие лучшей организации самого труда, *при неизменности техники*. В других местах своих произведений Маркс, главным образом, выводит повышение производительной силы труда из условий *новой техники* производства, когда «количество рук по отношению к машинам уменьшилось, когда паровые машины, вследствие экономии в силе и других улучшений, приводят в движение машины большего веса и когда увеличение количества продуктов достигается усовершенствованием рабочих орудий, изменений способов фабрикации, увеличением быстроты машин и многими другими средствами»².

Или в другом месте Маркс пишет: «Относительные величины цены рабочей силы и прибавочной стоимости определяются тремя обстоятельствами: 1) длиной рабочего дня—экстенсивной величиной труда; 2) нормальной интенсивностью труда или его интенсивной величиной, указывающей то количество труда, которое затрачивается в течение данного времени, и 3), наконец, *производительной силой труда—тем, что в зависимости от степени развития условий производства данное количество труда в течение данного времени может дать большее или меньшее количество продукта*» (курсив наш. Е. К.)³.

Тут еще более становится ясным, что количество труда не меняется, оно остается без изменения, но, благодаря целому ряду изменений в об'ективных факторах производства, производительная сила труда повышается, повышается качество рабочей силы и вместе с тем

¹ Маркс, «Теория прибавочной стоимости», т. III, изд. «Прибой», 1924 г., стр. 339.

² Маркс, «Капитал», ГИЗ, т. I, стр. 289.

³ Там же, стр. 499—500.

¹ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 493.

² Маркс, «Теория прибавочной стоимости», т. III, изд. «Прибой», 1924 г., стр. 338.

получается больший производственный эффект, т.е. поднимается производительность труда.

Таким образом, в понимании Маркса вопрос о производительной силе труда есть вопрос о *качественной* стороне рабочей силы, в то время как интенсивность труда представляет *количественное* понятие труда, как функции рабочей силы. Новая техника, введение новой машины высшей конструкции, меняет качественно рабочую силу и в продолжение определенного отрезка времени заставляет рабочего перераспределить свою силу и направить ее из области мускульной в нервно-мозговую область. Главным толчком в развитии производительной силы труда является не столько общая организация труда или предприятия, что, конечно, тоже играет большую роль для поднятия производительности труда, сколько техника производства.

«Машины представляют собой наиболее могущественнейшее средство увеличения производительности труда, т.е. средство сокращения рабочего времени, необходимого для производства какого-либо товара»¹.

Таким образом, производительность труда повышается, главным образом, вследствие повышения производительной силы труда в результате улучшений, произведенных в технике производства.

Обратимся теперь к понятию производительности труда. Производительная сила труда представляет один из элементов, звеньев в понятии *производительности труда*. Маркс, говоря о повышении производительности труда, подразумевает, что это понятие представляет возрастание *количества* продуктов в определенный отрезок времени.

Производительность труда может быть определена отношением массы произведенных продуктов ко времени их производства. Если массу произведенных продуктов мы обозначим буквой «М», а время, в течение которого они произведены,—буквой «В», то производительность труда: $P = \frac{M}{B}$. Такое обозначение чрезвычайно облегчает

определить динамику производительности труда в различные отрезки времени путем сравнения каждый раз величины «P», учитывая при этом массу продуктов и время их производства.

Понятие производительности труда особенно помогает выводить динамику производительных сил. Понятие производительности труда представляет только *результативную* величину и выражается всегда в том или ином *количестве* продуктов индивидуальной или общественной трудовой деятельности. Таким образом, Маркс определяет трудовую деятельность по полученным результатам ее. Казалось бы, правильное будет, если при изучении производительности труда будем измерять самый труд, нежели его результат. Однако это становится, как известно, совершенно невозможным. По этому поводу мы находим у Энгельса интересное место. «С физиологической точки зрения человеческое тело содержит в себе все органы,—пишет Энгельс,—которые можно рассматривать в их совокупности—с одной стороны, как термодинамическую машину, которая получает теплоту и переводит ее

¹ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 280.

в движение. Но, предположив неизменные условия для остальных органов тела, спрашивается: можно ли исчерпывающим образом выразить произведенную физиологическую работу, даже работу поднимания, просто в килограммометрах? Ведь в теле одновременно совершается внутренняя работа, которая не проявляется во внешнем результате, ведь тело не просто паровая машина, испытывающая только трение и изнашивание. Физиологическая работа возможна только при наличии постоянных химических превращений в самом теле, и она зависит также от процесса дыхания и от работы сердца. При каждом сокращении и ослаблении мускула в нервах и мускулах происходят химические превращения, которые нельзя отождествлять с превращением угля в паровой машине. Конечно, можно сравнивать между собой две физиологических работы, происходящие при прочих равных условиях, но нельзя измерять физической работы человека по работе какой-нибудь паровой машины и т. д.; *можно сравнивать их внешние результаты, но не самые процессы* (курсив наш. Е. К.), если не сделать при этом серьезных оговорок»¹.

Маркс почти с самого же начала своей теории² говорит о производительной силе труда и о производительности труда.

В понятии «производительная сила труда» и в понятии «производительность труда» нет еще той полноты и определенности, из которой можно было бы вывести характер общественной формации.

Говоря о производительной силе труда, Маркс не включает в это понятие средства производства, хотя каждый раз предполагается, что изменения в производительной силе труда произошли благодаря, главным образом, средствам труда.

Как увидим дальше, совсем другое Маркс-Энгельс вкладывают в понятие «производительных сил».

Маркс очень часто употребляет выражение—не просто «производительная сила труда», а «производительная сила *общественного* труда». И это вполне понятно, так как он рассматривает не индивидуальное, а общественное производство, социальный организм.

Производительность труда растет в обществе с его развитием; растет интенсивность труда и в еще большей степени растет производительная сила общественного труда.

В условиях капиталистического хозяйства мы имеем рост обоих моментов, ибо с ростом производительной силы труда на базе новой техники рабочий день не сокращается или сокращается ничтожно мало³.

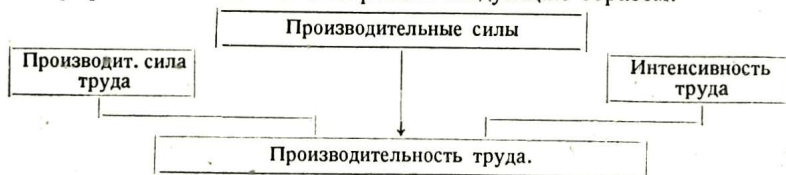
¹ Энгельс, «Диалектика природы». Архив Маркса-Энгельса, т. II, стр. 68—69.

² «Капитал», т. I, стр. 8—10.

³ У нас, в нашей социалистической промышленности, мы имеем другую картину: мы ставим перед собой проблему поднятия производительной силы труда и снижения трудового дня. Мы ставим ставку на поднятие производительности труда за счет поднятия квалификации рабочего, поднятия культурного уровня его за счет рационализации трудовых процессов и всего аппарата производства. Это качественно повышает рабочую силу, и на основе новой техники мы получаем и при уменьшающемся рабочем дне значительный производственный эффект.

Производительность труда есть функция производительной силы труда и интенсивности труда, вместе с тем производительность труда есть функция производительных сил.

Графически это можно изобразить следующим образом:



Попробуем кратко сформулировать настоящий раздел: У Маркса мы встречаем выражения, которые при беглом чтении не обнаруживают как будто резкой разницы между собой. Таковы, например, выражения: «производительность труда», «производительная сила труда», «общественные производительные силы», или, что то же, просто «производительные силы». Необходимо разграничивать эти понятия, ибо в каждом из них вложено особое содержание.

Производительность труда—это функция двух факторов: интенсивности труда и производительной силы труда. Понятие производительности труда выражается в определенной *результативной* величине материальных благ, полученных, главным образом, вследствие развития производительной силы труда в связи с развитием средств производства. Производительность труда—яркий показатель степени победы общества над природой.

Производительная сила общественного труда выражает собой один из факторов производительности труда, это—его элемент, который связан, главным образом, с развитием техники и с усовершенствованием методов и способов труда. Производительная сила труда не может мыслиться вне рамок понятия производительности труда, но, находясь в нем, она представляет собой главное звено для понимания другого, более широкого понятия: «общественных производительных сил». В понятие «производительная сила труда» материальные факторы производства не входят,—они являются лишь *условием*, определяющим силу труда. Производительная сила труда—это простая категория, которая доводит нас до разившейся своей конкретности—до производительных сил. С одной стороны, понятие «производительная сила труда» определяет собой производительность труда, с другой стороны, непосредственно выводится, исходит из состояния производительных сил. Это понятие характеризует качественную сторону рабочей силы, силы труда. А поскольку рабочая сила, как нам думается, представляет далеко не второстепенный элемент производительных сил, то понятие «производительная сила труда» является очень важным понятием при анализе проблемы производительных сил. Вместе с тем проблема производительных сил не будет уяснена, если мы отождествим понятие «производительной силы труда» с «производительными силами». Вот почему мы считали необходимым остановиться на разграничении этих понятий.

III

Теперь необходимо перейти к понятию «производительных сил», установить, что разумел Маркс под этим понятием и каков путь развития этого понятия. В нашем понимании теории Маркса-Энгельса, под производительными силами следует понимать средства производства и рабочую силу, как правильно выражается тов. Бухарин, «вещественные» и «личные» элементы производства.

Подобную терминологию мы встречаем у Маркса, когда, например, он противопоставляет «вещественные» и «личные» условия производства. «Капиталистический способ производства зиждется на том, что *вещественные* условия производства находятся в руках не рабочих, тогда как масса является собственником только *личного* условия производства—рабочей силы»¹.

Так же выражается Энгельс, когда говорит о «соединении вещественных и личных двигателей производства»².

Остановимся сначала на первом элементе производительных сил—на средствах производства. (Тут необходимо оговориться. В общем понимании теории Маркса термин «средства производства» представляет более широкое понятие, нежели только орудия или средства труда. Под средствами производства у Маркса понимаются не только средство труда, машина, нр и сырье и вспомогательный материал и т. д. Это ясно видно в I томе «Капитала», особенно на стр. 152 и 549. Вместе с тем не редки случаи, когда, говоря о машинах, о средствах труда, Маркс и Энгельс называют их средствами производства. В настоящей статье всюду средства производства употребляются нами только в последнем их значении—как орудия или средства труда).

Проводником воздействия человека на внешний предмет являются орудия труда, т.-е. тот комплекс предметов, которые помещает он каждый раз между собой и природой, которые присоединяет к органам своего тела, «удлиняя, таким образом, вопреки библии, естественные размеры последнего»³.

Средства труда являются главным, исходным пунктом анализа у Маркса, им он придает большую важность. Средства труда, средства производства—не столько как причина, сколько как могучий экономический фактор общественного развития.

«Дарвин направил интерес,—говорит Маркс,—на историю естественной технологии, т.-е. на образование растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных. Не заслуживает ли такого же внимания история образования производительных органов общественного человека, история этого материального базиса каждой особой общественной организации?.. Технология раскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а, следова-

¹ Маркс, «Критика готской программы». См. сборник из произведений Маркса-Энгельса, составленный Адоратским, стр. 255.

² Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Моск. Рабочий», 1924 г., стр. 312.

³ Маркс, «Капитал», т. I, стр. 150.

тельно, и общественных отношений его жизни и вытекающих из них духовных представлений¹. Или в другом месте Маркс говорит: «Такую же важность, как строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций»².

Касаясь средств труда, Маркс не абстрагирует это понятие, а отмечает каждый раз особенности этих орудий. Он отмечает, например, что в период низко развитой техники, в период мануфактуры, средство труда является только лишь орудием труда, а не машиной. В связи с этим характером орудия труда мы имеем в тот период не приспособление рабочей силы к орудию труда, а, наоборот, в значительной степени приспособление орудия труда к рабочему, к его квалификации. «В мануфактуре,—пишет Маркс,—рабочие отдельные или соединенные в группы должны выполнять каждый отдельный частичный процесс при помощи своих ручных орудий. Если рабочий и приурочивается здесь к процессу, то и процесс в свою очередь уже раньше приспособлен к рабочему; при машинном производстве этот субъективный принцип разделения труда отпадает. Весь процесс разлагается здесь объективно, в зависимости от его собственного характера, на свои составные фазы, и проблема выполнения каждого частичного процесса и соединения различных частичных процессов разрешается посредством приложения механики, химии и т. д.»³.

Маркс расчленяет машину на следующие различные по своему характеру части: 1) на двигательный механизм, 2) на передаточный механизм—трансмиссию и 3) на исполнительный механизм, т.-е. рабочую машину. И двигательный и передаточный механизмы существуют только для того, чтобы привести в движение исполнительный механизм. Первоначально механизм был построен в расчете исключительно на человеческую двигательную силу. «Поэтому промышленная революция исходит как раз,—пишет Маркс,—от этой части машины, от исполнительного механизма. И теперь он снова и снова является исходным пунктом переворотов во всех случаях, когда ремесленное или мануфактурное производство превращается в машинное»⁴.

В дальнейший период крупной машинной промышленности мы видим обратное явление: «Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего только одним орудием, таким механизмом, который разом оперирует массой одинаковых или однородных орудий и приводится в действие одной двигательной силой, какова бы ни была форма последней»⁵.

Двигательная часть машины на низкой ступени технического развития сопряжена с человеческой силой, «после же того, как орудия превратились из орудий человеческого организма в орудия ме-

¹ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 349, примечание.

² Там же, стр. 150.

³ Там же, стр. 358.

⁴ Там же, стр. 350.

⁵ Там же, стр. 353.

ханического аппарата—машины, работающей орудиями,—только тогда и двигательная машина приобретает *самостоятельную форму*, совершенно свободную от тех ограничений, которые сопряжены с человеческой силой. С этого времени та отдельная рабочая машина, которую мы рассматриваем до сих пор, низводится до степени простого элемента машинного производства. Один двигательный механизм может теперь приводить в движение много рабочих машин одновременно. С увеличением количества рабочих машин, одновременно приводимых в движение, растет и двигательный механизм, а вместе с тем передаточный механизм разрастается в сложный аппарат»¹.

В дальнейшем Маркс, касаясь периода капитализма, отмечает, какую колоссальную революционизирующую роль в общественном развитии приобретает развитие машин.

Средства производства представляют яркий показатель развития общества; в их форме, в их характере, способе потребления сказывается деятельность человека, общества, сказывается степень использования им законов природы и, наконец, степень развития и форма общественных отношений—социальная структура.

Средства производства представляют по теории Маркса-Энгельса один из главных элементов в понятии производительных сил, они образуют мерило прогресса производительных сил.

Маркс каждый раз изучает характер «костной» системы общества, т.-е. производство, средства производства, и по этой основе пытается понять ту оболочку, которая покрывает эту костную систему, т.-е. социальную структуру.

Так же, как между костной системой любого живого организма и покрывающей его оболочкой (мышцы, хрящи и т. д.) имеется тесная органическая связь, так и между орудиями труда, средствами производства, которые по своей определенной данной им целесообразной форме приобретают общественную функцию, и устанавливаемыми на основе средств производства производственными отношениями имеется тесная связь внутри сложного общественного организма.

IV

Говоря о производительных силах вообще и касаясь особого характера их развития в период капитализма, Маркс всегда подчеркивает, что *рабочая сила—непременный элемент производительных сил*. Воспроизводство производительных сил есть не только воспроизводство средств производства, но и—рабочей силы.

Основным определяющим элементом развития производительных сил являются средства производства, уровень их технического развития. Рабочая сила—непременный, второй фактор, второе условие для общественного воспроизводства.

Тов. Бернштейн под рабочей силой понимает «методы и способы общественного производства», тов. же Ефимов понимает «энергию», или «способность» человека к действию.

¹ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 355.

Нам думается, что более всего будет соответствовать Марксо-Энгельсовскому пониманию, если категория «сила», которую они употребляют, как было нами отмечено в первом разделе, по отношению к разным понятиям (и к промышленности, и к земледелию, и к науке, и т. д.), мыслилась бы не как «энергия», или «способность», а как *форма движения*. На этот счет мы имеем ряд указаний со стороны Маркса-Энгельса. «Если какое-нибудь движение,—пишет Энгельс,—переносится с одного тела на другое, то, *поскольку это движение переносится* активно, его можно считать причиной движения, *поскольку же оно перенесено* (курсив Энгельса) пассивно,—результатом в таком случае эта причина, это активное движение является силой, а пассивное движение—проявлением силы»¹.

Если рассматривать рабочую силу, термин «сила» в теории Маркса с этой стороны, то станет понятным, когда Маркс, говоря о «вполне развитой машине», к которой причисляет и рабочую силу, называет последнюю «исполнительным» механизмом, или рабочей машиной.

В I разделе настоящей статьи мы привели утверждение Энгельса, где он всю промышленность рассматривает, как определенную форму движения, встречающуюся только в человеческом обществе. Касаясь категории «силы», Энгельс всюду говорит о движении, о «переносе движения». Непонятным становится, почему тов. Ефимов настаивает на замене понятия «сила»—«способностью».

«Перенос движения,—читаем мы у Энгельса,—совершается, разумеется, лишь тогда, когда имеются налицо все различные соответствующие условия, часто очень многочисленные и сложные, в особенности в машинах (паровая машина, ружье с замком, собачкой, капсулей и порохом). Если нехватает одного условия, то переноса движения не происходит, пока это условие не осуществится. Это можно представить себе таким образом, будто силу приходится лишь возбудить при помощи этого условия, как если бы она в скрытом виде заключалась в каком-нибудь теле, так называемом носителе силы (порох, уголь); в действительности же налицо должно быть не только одно это тело, но и все прочие условия, чтобы мог произойти этот специальный перенос движения. Представление о движении возникает само собою в нас благодаря тому, что в своем собственном теле мы обладаем средствами переносить движение. Средства эти могут, в известных границах, быть приведены в деятельность нашей волей; *в особенности это относится к мускулам рук* (курсив всюду наш. Е. К.), с помощью которых мы производим механические перемещения, движения других тел, поднимаем, кидаем, ударяем и т. д., получая благодаря этому определенный полезный эффект. Кажется, что движение здесь порождается, а не переносится, и это вызывает представление, будто сила вообще порождает движение. Только теперь физиологически доказано, что *мускульная сила тоже является лишь переносом движения*»².

¹ Энгельс, «Диалектика и естествознание». Архив Маркса-Энгельса, т. II, стр. 19.

² Энгельс, «Диалектика природы». Архив Маркса-Энгельса, т. II, стр. 21—23.

«Все существующее, все живущее на земле или в воде,—говорит Маркс,—существует и живет лишь в силу известного движения. Итак, историческое движение создает общественные отношения, *промышленное движение* дает нам промышленные продукты»¹.

В I томе «Капитала» в разделе «Машины и крупная промышленность» Маркс проводит ту же мысль. Приведем яркую картину *движения* капиталистического производства. Маркс пишет: «В расчлененной системе рабочих машин, получающих свое движение посредством передаточного механизма лишь от одного центрального автомата, машинное производство приобретает наиболее развитую форму. На место отдельной машины выступает здесь механическое чудовище, тело которого занимает целые фабричные здания и демоническая сила которого, сначала почти замаскированная торжественно-размеренным *движением* его исполнителей членов, прорывается в лихорадочно-бешеной пляске его бесчисленных *рабочих органов* в собственном смысле этого слова»².

Маркс-Энгельс в своей теории показывают, что перенос движения и самое движение в капиталистическом обществе могут совершаться не только тогда, когда технические условия для процесса производства все налицо и когда не имеется дефектов в средствах производства, а, помимо этого, и тогда, когда средства производства, благодаря установившейся частной собственности на них, отчуждаются от рабочей силы, и благодаря этому создается определенная фетишизация средств производства, создается представление, что машины представляют как бы «самостоятельную» производительную силу.

Касаясь рабочей силы, Маркс неоднократно отмечает особенность, отличие этого элемента производительных сил от средств производства в условиях антагонизма классов, противопоставляет живой действительный труд—труду мертвому, овеществленному в средствах производства, отмечает различную роль, какую играла рабочая сила в различные периоды в развитии производительных сил.

Так, например, в мануфактурный период активную роль в развитии производительных сил играет рабочая сила, с появлением же машинного производства рабочая сила низводится до степени простого исполнительного механизма, становится простым придатком к машине. Поэтому исходным пунктом переворота является в первом случае рабочая сила, во втором—средства производства. Такая постановка анализа Маркса должна убедить в том, что содержанием понятия производительных сил он, во-первых, устанавливает средства производства и рабочую силу и, во-вторых, устанавливает степень различия и взаимозависимость между этими элементами.

Мы утверждаем, что замена тов. Бернштейном рабочей силы «методами и способами производства» не дает возможности установить такое разграничение между элементами производительных сил. Подробно вопроса о методах и способах производства мы коснемся в сле-

¹ Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 90.

² Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 359.

дующем разделе, теперь же следует коротко отметить, что с такой концепцией тов. Бернштейна невозможно согласиться, так как Маркс под методами и способами труда рассматривает *форму сочетания рабочей силы и средств производства* (следовательно, эта форма обнимает собой оба элемента производительных сил) и своим анализом показывает, что эта форма каждый раз обуславливается содержанием производительных сил, главным образом, характером средств производства, но нередко и характером рабочей силы. Положение Маркса, например, о том, что «в мануфактуре исходной точкой переворота в *способе производства* (курсив наш. Е. К.) *служит рабочая сила*»¹, нам думается, особенно опровергает постановку тов. Бернштейна, показывает ошибочность отождествления у него понятия «рабочей силы» с понятием «методов и способов производства». Эта неосторожная замена, как увидим далее, привела тов. Бернштейна к явно ошибочным выводам.

Маркс, анализируя непосредственный процесс производства, рассматривает рабочую силу как часть производства, как рабочую машину. Рабочие тут—это «пространственное скопление однородных и одновременно действующих рабочих машин»².

Но, как известно, Маркс писал не законы технологии, а анализировал сложный социальный организм. В своем анализе он поэтому не ограничивается такой характеристикой рабочей силы, играющей роль сначала двигательного, а потом исполнительного механизма. Каждый раз, говоря о труде, о той или иной форме «целесообразной деятельности», Маркс предполагает, что *труд есть функция рабочей силы*, а последняя представляет действенный и революционный элемент внутри производительных сил.

Рабочая сила тем отличается от средств производства, что *может возмущаться* против способов и методов труда, а, следовательно, против социальной структуры. В своей теории Маркс неоднократно указывает на такую особенность рабочей силы. Заменяя же методы и способы труда рабочей силой, становится, безусловно, затруднительным понять революционную роль класса, возмущение этого класса.

Маркс нередко употребляет выражения: «индивидуальная производительная сила» и противопоставляет этому «массовую производительную силу», когда, например, говорит он о форме кооперативного труда. Тут Маркс отмечает важность этой «массовой» силы не только в том смысле, что изменяется качество рабочей силы—производительная сила труда—и в связи с этим поднимается производительность труда. Маркс указывает и на то, главным образом на то, что в условиях антагонизма классов «при тех же самых отношениях, при которых совершается развитие производительных сил, развивается также и сила угнетения»³, что вследствие кооперативной формы труда заряд возмущения рабочей силы в своей социальной форме,

¹ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 348.

² Там же, стр. 356.

³ Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 102.

как класса, *аккумулируется* и принимает определенные организационные формы для борьбы с социальной структурой и взрыва ее.

Маркс причисляет к производительным силам не только рабочий класс, но и земледельцев, как определенную форму и выражение рабочей силы. Так, во 2-м черновике письма Маркса к Засулич мы читаем: «Можно с первого же взгляда оценить значение этого ряда враждебных влияний (влияний капитализма. Е. К.), облегчающих и ускоряющих эксплуатацию земледельцев—*той наиболее производительной силы России*» (курсив наш. Е. К.)¹.

Таким образом, Маркс всюду, касаясь рабочей силы, связывает и включает это понятие в производительные силы. Такая постановка вопроса у Маркса для тов. Бернштейна не доказательна. И когда Маркс говорит в «Ницете философии», что революционный класс является активным выразителем «возмущения производительных сил против производственных отношений», что «из всех орудий производства наибольшую производительную силу представляет сам революционный класс»², тов. Бернштейн тонко подготавливает к своему выводу, к «особому» пониманию Маркса. Тут тов. Бернштейн пытается подойти с терминологической стороны трактовки Маркса. Он доказывает, что выражение Маркса о том, что «рабочий класс представляет революционный элемент производительных сил», употреблено Марксом в заключительной части («Ницеты философии». Е. К.), *смысл которой* (курсив всюду наш. Е. К.),—пишет тов. Бернштейн,— в провозглашении социальной революции. Революционный класс, как активный выразитель этого возмущения производительных сил против производственных отношений, в *таком контексте* (! Е. К.) мог быть сам назван производительной силой *только фигурально* (! Е. К.)³.

Мы нарочно привели всю эту часть трактовки тов. Бернштейна, чтобы подчеркнуть своеобразную, выражаясь мягко, трактовку им Маркса. Маркс тут, видите ли, в связи с данным контекстом говорит о революционном классе, как активном элементе производительных сил; это ему нужно было сказать потому, что таков был характер *заключительной* части книги, где ставился вопрос о социальной революции. Но ведь это далеко не так! Ведь, по тов. Бернштейну, получается, что для Маркса нет увязки между частями всей его теории, что в *конце* книги (а это равносильно также концу, заключительной части общей его концепции), когда требуется сделать вывод, Маркс, так сказать, слишком сильно надавил педаль, дал яркие краски, выразился «фигурально», назвав рабочий класс «активным выразителем возмущения производительных сил», а вообще это не так, вообще у Маркса рабочая сила в своей социальной форме, как рабочий класс,—не элемент производительных сил.

¹ Маркс, «Письмо к Засулич». Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 274.

² Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1925 г., стр. 135.

³ См. статью Бернштейна в «Вестнике Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 210.

Нам думается, что это большой поклеп на Маркса. На подобную мысль набрел тов. Бернштейн потому, что отбросил из понятия производительных сил рабочую силу и подменил это понятие понятием «методы и способы труда». Тов. Бернштейн утверждает определенно, что если и вводить новый элемент в понятие производительных сил, кроме средств производства, то «это именно способ совместной деятельности, приемы и методы труда. Только в этом смысле, только этой своей стороной входит у Маркса «рабочая сила», «человек», «люди», «класс» в понятие производительных сил»¹.

Если человек, люди, класс, которые тов. Бернштейном рассматриваются только в кавычках, понимаются только, как «методы и способы труда», то, конечно, чрезвычайно трудно понять возмущение производительных сил со стороны «человека», «людей», «класса», против социальной структуры. Есть методы и способы труда, и отпадает тем самым вопрос о рабочей силе, и Маркс в данном случае, как говорит тов. Бернштейн, просто выразился «фигурально», так как этого коснулся он в конце спора с Прудоном, когда хотел убедить последнего в необходимости социальной революции. Удивительно все-таки, каким образом самая яркая, особенная от буржуазной теории, постановка Маркса нашла у тов. Бернштейна такое об'яснение, что, касаясь проблемы производительных сил и заменив рабочую силу методами и способами производства, тов. Бернштейн нигде не упоминает рабочую силу, когда касается столкновения производительных сил с производственными отношениями! Хотя это общеизвестно, но в данной связи следует отметить, что теория Маркса отличается необыкновенной монолитностью, в ней отдельные ее части, и в особенности заключительные части, где он делает выводы, говорят о социальной революции и ее неизбежности, тесно и неразрывно связаны между собой, представляют образец гениальной завершенности логической мысли. Во всей концепции Маркса необыкновенно четко отделяется особенность рабочей силы, как элемента производительных сил. Маркс неоднократно подчеркивает, что противоречия капитализма коренятся прежде всего и главным образом в самом материальном производстве. Внешним же наиболее рельефным выражением этих противоречий является возмущение рабочей силы в той или иной ее социальной форме. Не «методы и способы труда» возмущаются против существующих производственных отношений, а рабочая сила—сначала в одиночку или частями, а потом во всей своей массе—как класс.

Понять теорию Маркса-Энгельса значит представить ясно возмущение производительных сил против производственных отношений. Если же подменить рабочую силу методами и способами производства, то совершенно непонятно, как выражается это возмущение, этот конфликт. Получается искусственное и совершенно ничтожное, вредное завуалирование революционной теории Маркса. Становится совершенно непонятным, почему тов. Бернштейн не затронул конкретно противоречивого развития производительных сил

¹ См. ст. Бернштейна в «Вестнике Комм. Академии», кн. 21, за 1927 г., стр. 212.

и производственных отношений. Ведь совершенно недопустимо ограничиться только тем, что производственные отношения меняются потому, что меняется техника производства, меняется «общественная организация труда», как отмечает тов. Бернштейн¹. Или, например, в другом месте, когда он выводит самый конфликт между производительными силами и производственными отношениями из качественного изменения в технике производства. («По мере того, как новая производительная сила «плодит» себе подобных,—читаем мы у тов. Бернштейна,—по мере того, как ее качество все усиливается и все явственнее проявляется в процессе этого количественного размножения, по мере этого *слой за слоем изменяются* (курсив наш. Е. К.) прежние общественные отношения... Наконец, в процессе своего роста новые производительные силы сталкиваются с наиболее консервативной и наиболее стесняющей их рост *частью* (! Е. К.) производственных отношений, с теми производственными отношениями, юридической формой выражения которых являются производственные отношения»².

Таких мест у тов. Бернштейна несколько, и везде, надо сказать, постановка вопроса чрезвычайно общая. Везде производительные силы сталкиваются с производственными отношениями. А почему происходит это столкновение и почему оно должно произойти, тов. Бернштейн нигде не говорит.

Между тем, Маркс-Энгельс поставили себе целью и доказали неизбежность этого столкновения вследствие противоречия, создающегося *внутри* производительных сил на известной ступени их развития. Нам думается, что, касаясь диалектики развития производительных сил, следовало бы заострить внимание именно на тех противоречиях, которые двигают, развивают, поднимают на следующую высшую ступень производительные силы. Ни у тов. Бернштейна, ни у тов. Ефимова мы этого не находим. Это в значительной степени об'ясняется тем, что у тов. Бернштейна рабочая сила заменена «методами» производства, а у тов. Ефимова производительные силы—это «способ воздействия людей на природу», «способность человеческого общества к той или иной производительности».

Интересно обратить внимание, например, как гладко и мирно всюду в статье тов. Бернштейна происходит переход к новым производственным отношениям! Изменились средства производства и изменились вместе с тем «слой за слоем прежние общественные отношения». При чем совершенно непонятно, почему, например, у тов. Бернштейна производительные силы сталкиваются с «частью» производственных отношений; а не вообще с производственными отношениями, не с социальной структурой? Этого тов. Бернштейн не раз'ясняет.

Говоря о столкновении производительных сил с производственными отношениями, тов. Бернштейн не упоминает совершенно о рабочей силе, о революционном классе. Не упоминает он также о методах и способах производства, которые заменяют, по его мнению, понятие ра-

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 213.

² Там же, стр. 225.

бочей силы. Приходится теряться в догадках, каким образом происходит и должно происходить столкновение между производительными силами и производственными отношениями. Одно только ясно, что, заменив рабочую силу «методами и способами производства», тов. Бернштейн преподнес основную проблему исторического материализма—производительные силы—выхолощенную, подстриженную под аккуратную гребенку, как некую теоретическую абстракцию, а не живой, действенный фактор общественного развития.

Выражение Маркса о революционном классе, как основном факторе возмущения производительных сил против производственных отношений, является не простым терминологическим оборотом, является не «фигуральным» выражением, а представляет собой прямой, непосредственный и ясный вывод из всей концепции Маркса. Такой вывод Маркс делает потому, что он включает рабочую силу в понятие производительных сил.

V

Установив, из каких элементов слагаются производительные силы, теперь обратимся к вопросу о «методах и способах производства».

В теории Маркса-Энгельса способы и методы производства играют очень видную роль. Касаясь производительных сил и производственных отношений, Маркс-Энгельс вводят еще понятие методов и способов производства. Все три понятия органически тесно сращены друг с другом, представляют единство, но Маркс показывает, что развитие этого единства происходит вследствие противоречий внутри его, между отдельными этими понятиями. Ни тов. Бернштейн, ни тов. Ефимов ¹ не выделяют понятия методов и способов, а заменяют понятие производительных сил понятием—«способы производства». В дальнейшем мы попытаемся показать, насколько замена производительных сил «способами производства» искажает понимание Маркса и не позволяет вывести диалектику развития производительных сил и производственных отношений.

Обратимся прежде всего к толкованию проблемы производительных сил у тов. Ефимова.

В первой своей статье ² тов. Ефимов, определяя производительные силы, говорит, что это—«не реальная совокупность средств производства и рабочей силы, а теоретическая абстракция, один из элементов производства, искусственно в процессе рассуждения обособленный (курсив всюду наш. Е. К.) от реальных условий его существования, с целью установить измерение хозяйственной мощности данного общества» ³.

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 21 и кн. 22 за 1927 г.

² «Вестник Комм. Академии», кн. 13 за 1925 г.

³ Там же, стр. 125.

Маркс утверждает, что для производства необходимы материальные (машины) и личные (рабочая сила) условия производства. Для Маркса категория производительных сил представляет наиконкретнейшую категорию, находящуюся в сфере непосредственно-материального. Для тов. Ефимова—это «продукт рассуждения», «теоретическая абстракция». Энергетическое толкование тов. Ефимова в 1-й его статье, конечно, не выдерживает никакой критики. «Производительные силы» у т. Ефимова—это «сумма сил, имеющихся в распоряжении общества», но не всяких сил, а только тех, которыми можно производить, т. е. человеческих сил. «Природные силы сами не производят,—говорит тов. Ефимов,—а являются придатком к силе рабочего». Но тут же он сам себя опровергает, говоря, что «производительные силы капиталистического общества—это его действующие в производстве рабочие силы, так как в это определение входит и участие в производстве сил природы, приданных к силе рабочих, и создание прибавочной стоимости» ¹.

Таким образом, в понятие производительных сил при капитализме у тов. Ефимова входит «человеческая сила», которая включает в себя и силы природы, и создание прибавочной стоимости. А вот в коммунистическом обществе «производительными силами,—говорит тов. Ефимов,—будут силы природы (! Е. К.), целесообразно использованные обществом, в капиталистическом же обществе не всякая сила природы, утилизируемая обществом, будет производительной» ².

Таких положений, явно неверных, безусловно немарксистских, у тов. Ефимова в 1-й статье порядочно.

Можно только приветствовать, что тов. Ефимов сам во 2-й статье по тому же вопросу о производительных силах ³ отвергает энергетическое толкование и, признавая свою ошибку, пытается правильно истолковать проблему. Но нас новая постановка и разрешение проблемы производительных сил у тов. Ефимова удовлетворить не может. Мы намеренно привели некоторые неверные положения из 1-й статьи тов. Ефимова, чтобы показать, что хотя после 2-летнего перерыва тов. Ефимову удалось найти новый материал по этой проблеме, но некоторые основные положения остались все те же.

Отрекаясь от энергетического толкования производительных сил, от сравнения рабочей силы с определенной формой энергии, тов. Ефимов во 2-й статье ухватился за новый термин—«способность». «Производительные силы—это производительная способность одного рабочего или целой отрасли производства»... «это общественный труд (! Е. К.), взятый, как качество, общественная трудовая способность» ⁴.

«Производительные силы—это способ воздействия людей на природу со всеми его элементами, как отношение общества к природе,

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 13 за 1925 г., стр. 126.

² Там же, стр. 126.

³ «Вестник Комм. Академии», кн. 22 за 1927 г.

⁴ Там же, стр. 171.

как способность человеческого общества к большей или меньшей производительности»¹.

Так же, как в 1-й статье мы имели под производительными силами «сумму сил, имеющихся в распоряжении общества»², так и теперь у тов. Ефимова производительные силы—это *сумма способностей общества*. Тов. Ефимов говорит, что рабочая сила есть «совокупность физических и духовных способностей», и если утверждают, что вторым элементом производительных сил являются средства производства, машины, то, следовательно, производительные силы есть сумма средств производства и рабочей силы, а сумма может получиться тогда лишь, если в наличии имеются однородные слагаемые, т.-е. если и средства производства и машины также будут представлять собой «способность».

Тов. Ефимов недоумевает: «Как же можно присоединить к физическим и духовным способностям человека средства производства, машины, эксплуатируемые нефтяные залежи и т. д.», и отвечает: «Очевидно, тоже только как способности»³. Или такая, например, трактовка Маркса: «Говоря о производительных силах как совокупности способностей,—пишет тов. Ефимов,—Маркс имеет в виду не врожденные способности, а рабочую силу в действии, рабочую силу (а рабочую силу, как мы знаем, Маркс определяет как совокупность физических и духовных способностей), соединенную со средствами производства»⁴.

Прекрасно! Мы имеем соединение рабочей силы со средствами производства, а где их динамика, каковы эти элементы, эти «способности» в условиях капитализма, почему и каким образом неизбежно столкновение производительных сил с производственными отношениями? Напрасно надеяться получить ответ на эти вопросы от тов. Ефимова. Такая установка у него вовсе отсутствует.

Итак, тут мы имеем тот же трафарет, что и в 1-й статье: ничто не изменилось, вместо «энергии» взята «способность». В этом положении тов. Ефимова, нам думается, заложено ошибочное понимание проблемы производительных сил. Тов. Ефимов еще раз впал в абстракцию, но теперь помимо своего желания.

Определив производительные силы как «способность общества» или как «способ воздействия на природу», тов. Ефимову, конечно, трудно вывести, как и почему происходит возмущение производительных сил, т.-е., по его трактовке, возмущение «способностей» или же «способов» против производственных отношений. Тов. Ефимов ставит перед собой две задачи—показать: 1) какое общественное свойство делает средства производства—вещи—производительными силами (тут незаметно, как видим, рабочая сила исчезла с горизонта. Е. К.) и 2) в чем конфликт между производительными силами и «специфиче-

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 22 за 1927 г., стр. 153.

² «Вестник Комм. Академии», кн. 13 за 1925 г., стр. 126.

³ Там же, стр. 163.

⁴ Там же, стр. 148.

скими (I E. K.) общественными отношениями производства»¹. Мы полагаем, что тов. Ефимову не удалось разрешить обе эти задачи. И это объясняется тем, что он в своем изложении совершенно игнорирует рабочую силу. В тех же местах, где касается столкновения производительных сил с производственными отношениями, он не отмечает, какие противоречия двигают производительные силы и почему происходит столкновение их с социальной оболочкой. Проблема взята им в общем в статике с привнесением многих затемняющих вопросов.

* * *

Каково же понимание проблемы производительных сил у тов. Бернштейна? Во многом ценная статья тов. Бернштейна², нам думается, очень проигрывает тем, что тов. Бернштейн включил в понятие производительных сил «методы и способы производства», а не рассматривает эту категорию отдельно, как это он делает по отношению к общественным производственным отношениям. Маркс берет общество, социальный организм как целое, как единство, берет процесс воспроизводства, но, анализируя общественное воспроизводство, Маркс расчленяет понятия: 1) производительные силы, 2) методы и способы производства и 3) понятие производственных отношений. Тов. же Бернштейн, вместо производительных сил, берет методы и способы производства, берет разделение труда, кооперацию и заявляет, что это есть главный и непрменный элемент производительных сил. На такой грех совелкло тов. Бернштейна понятие «рабочей силы», которое находит часто психологическое, энергетическое и т. п. толкования. Тов. Бернштейн—очевидно, из опасения впасть тоже в противоречие с Марксом—твердо и непоколебимо решил заменить «рабочую силу»—«методами и способами труда».

Нам думается, что эта «осторожность» привела его к тому, что он проблему производительных сил полностью не сумел разрешить, и, отказавшись признать рабочую силу за элемент производительных сил, он так же, как и тов. Ефимов, не показал необходимости конфликта производительных сил с производственными отношениями. Для ясности приведем несколько положений тов. Бернштейна.

Тов. Бернштейн утверждает, что «как изучение Маркса, так и простой анализ показывает, что производительной силой в качестве основы исторического развития могут являться только приемы и методы общественного труда»³. Или в другом месте: «Производительные

¹ Совершенно непонятно, почему столкновения происходят у тов. Ефимова с «специфическими» общественными отношениями производства. Очевидно, тут речь идет об общественных производственных отношениях. Но почему происходит столкновение с «специфическими» отношениями, уму непостижимо! Такая установка сильно роднит тов. Ефимова с тов. Бернштейном, который, как отмечалось выше, также признает столкновение производительных сил с «частью» производственных отношений. Нам трудно понять и конкретно представить подобную «новую» терминологию, искажающую Марксо-Энгельсовскую установку.

² «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г.

³ Там же, стр. 213.

силы есть тот способ воздействия людей на внешнюю природу (курсив всюду наш. Е. К.), который определяет отношения между действующими людьми»¹, «это—известный прием, метод общественно-трудового процесса»².

С последним положением в полном согласии, как отмечалось выше, находится тов. Ефимов, который отмечает, что производительные силы—это «способ воздействия общества на природу». Из этих положений тов. Бернштейна должно следовать то, что методы и способы труда заменяет полностью понятие производительных сил. Однако это не совсем так. В другом месте оказывается, что под способом производства, под способом труда, следует понимать рабочую силу.

«Совершенно ясно,—говорит по этому поводу тов. Бернштейн,—что если из всего приведенного вводить в понятие производительных сил новый элемент, то это именно—способ совместной деятельности, приемы и методы труда (курсив автора). Только в этом именно смысле, только этой своей стороной входят у Маркса «рабочая сила» «человек», «люди», «класс» в понятие производительных сил»³.

Чрезмерная осторожность тов. Бернштейна привела к тому, что он совершенно ликвидировал понятие рабочей силы и заменил его понятием «методов и способов производства».

Выше мы отметили, насколько эта замена допустима и отражает концепцию Маркса-Энгельса. В дальнейшем попытаемся показать в разделе динамики производительных сил в период капитализма, к чему приводит такая замена. Теперь же мы ограничены разбором методов и способов производства.

Еще одна неясность у тов. Бернштейна: касаясь методов и способов производства, он утверждает, что это—производительные силы, то же самое повторяет он, когда говорит о средствах производства. После того, как он вполне правильно указывает на значение средств производства в ходе общественного развития, он утверждает: «Итак, производительные силы—это средства производства»⁴. Таким образом, в одной и той же главе (12) мы находим два определения: в одном случае производительные силы—это «методы и способы труда», а в другом случае—это «средства производства».

Становится совершенно непонятным, что же представляют собой производительные силы? Средства производства, или методы и способы труда, или и то и другое? Очевидно, надо думать, что в понимании тов. Бернштейна элементами производительных сил являются средства производства и методы и способы труда, которые заменяют у него рабочую силу.

Итак, методы и способы труда включаются тов. Бернштейном в понятие производительных сил. Как покажем далее, у Маркса методы и способы производства представляют собой понятие, лежащее вне

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 203.

² Там же, стр. 210.

³ Там же, стр. 212.

⁴ Там же, стр. 205.

производительных сил, хотя непосредственно с ним сросшееся, как и понятие общественных производственных отношений.

Методы и способы производства и производительные силы представляют единство, но такое единство, в котором, с одной стороны, мы имеем форму, а с другой—содержание этого единства. При чем внутри этого единства протекает противоречивый процесс развития. На каждой ступени исторического развития та или иная форма производительных сил, т.-е. методы и способы производства, определяют характер и особые закономерности социальной структуры.

Между прочим, тов. Бернштейн противоречит своей основной установке. Гони, говорят, природу в дверь, она влезет в окно. У тов. Бернштейна, как крепко ни привязаны и ни идентичны методы и способы труда с производительными силами, они у него выскочили из производительных сил и оказали влияние на производительные силы.

У тов. Бернштейна совершенно неожиданно раз'яснено, что «только приемы и методы общественного труда... в своих изменениях и развитии создают изменение и развитие производительных сил (курсив наш. Е. К.) как основы социологического анализа»¹.

Таким образом, получается, что одновременно способы и методы производства есть производительные силы, и вместе с тем они «создают изменение и развитие»... самих себя, т.-е. производительных сил. Тут что-то неладное, не по Марксу получается. Тов. Бернштейн в данном случае счел нужным методы и способы производства рассмотреть отдельно, вне производительных сил, но такое рассмотрение возможно лишь тогда, если в понятие производительных сил будет включена рабочая сила. Этого не делает тов. Бернштейн, и потому вышеприведенное положение его представляет одно из противоречий его установки. Подобных противоречий мы находим у него достаточно.

Производительные силы, по тов. Бернштейну,—«это известный способ организации труда, переходящий от поколения к поколению, от страны к стране, способ, который может быть «унаследован» и, будучи унаследован, необходимо влечет за собой известные производственные отношения в данном обществе, точно так же, как и машина, унаследованная данным поколением, влечет за собой определенные производственные отношения унаследовавших ее людей»².

В данном положении тов. Бернштейна мы усматриваем две неточности. Во-1-х, от поколения к поколению передаются средства производства, которые обуславливают те или иные методы производства. У тов. Бернштейна получается, что не техническая конструкция определяет способ труда, а последний каким-то чудесным образом самостоятельно, независимо от средств производства и на подобие средств производства—передается из поколения в поколение и является стержнем истории.

Во-вторых, эта обособленность методов и способов труда от средств производства у тов. Бернштейна еще более резко заметна дальше,

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 214.

² Там же, стр. 218.

когда он утверждает, что методы и способы унаследованы так же, как «унаследованные средства производства влекут определенные производственные отношения». Производительные силы у тов. Бернштейна— это средства производства и методы и способы труда, и каждый из этих элементов (элементами называем их мы, у тов. Бернштейна каждое из этих определений идентично понятию производительных сил) влечет, вызывает определенные производственные отношения. Но в основной установке «методы и способы труда» всецело заслонили у тов. Бернштейна средства производства, и он утверждает, что «методы и способы труда, с одной стороны,—производительная сила, с другой стороны,—это производственное отношение»¹. Становится совершенно непонятным: если на подобие средств производства методы и способы труда *вызывают* производственные отношения, то каким образом они *представляют* одновременно производственные отношения?

Тов. Бернштейн, таким образом, включил себя в орбиту закодированного круга, из которого не сумел выбраться, создал себе запутанный клубок противоречий благодаря замене рабочей силы методами и способами труда.

Такая установка тов. Бернштейна, нам думается, не разрешила проблемы производительных сил, а, наоборот, затемнила ее, поставила ее сразу же на неправильные рельсы и потому не отразила концепции Маркса.

Посмотрим, что говорят по этому поводу Маркс-Энгельс, главным образом, по поводу методов и способов труда.

* * *

Средства труда служат основой для развития рабочей силы, для определения ее качества.

Примитивные средства труда дают значительно меньший производственный эффект, нежели, например, усовершенствованные технические орудия. Это, во-первых, с точки зрения той или иной эффективности рабочей силы, измерения производительной силы труда. Но вместе с тем ставится и второй вопрос,—скорее всего он должен быть даже поставлен первым,—это вопрос о том, что определенные орудия труда требуют определенного разделения труда. Всем, например, известно то место из «Ницеты философии», где Маркс говорит, что «ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая». Определяющим моментом у Маркса служит производство, характер последнего; тут определенные средства труда дают иную расстановку людей, а не наоборот. «Начать с разделения труда вообще, чтобы дойти до специального орудия производства, до машины,—говорит Маркс,—это значит стучаться лбом в историю»².

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 218.

² Маркс, «Ницета философии», гл. II, ГИЗ, 1920 г.

При каждом изменении самих орудий производства изменяется соответственно характер и способ соединения рабочих со средствами производства.

*Рабочие и средства производства представляют независимо от общественной формации постоянные факторы общественного производства, но тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи социальной структуры»*¹.

В другом месте мы встречаем у Маркса такое положение: «Эта концепция истории,—говорит Маркс,—основывается на том, чтобы, исходя из материального производства непосредственной жизни, развить действительный процесс производства и рассматривать связанную с этим способом производства и порождаемую им форму сношения, т.-е. гражданское общество»².

Как видно из вышесказанного, Маркс считает определяющим характер самого производства, характер средств производства, устанавливает и признает примат производства, средств производства, затем, *в зависимости от них, берет характер и способ соединения рабочей силы со средствами производства* и, наконец, из последнего (т.-е. из способа производства) выводит характер общественной формации. Каждая ступень в развитии техники, имея соответственно особый характер связи, сочетания живого и мертвого труда, создает особую социальную оболочку. Это то же самое, как если бы мы представили себе живое тщедушное существо, допустим зяблика, у которого внешняя его надкостная оболочка организована соответственно его костному строению и занимает определенные пределы и формы, и взяли бы костную систему, например, мамонта. Конечно, тут самые размеры и конструкция костной системы требуют иной формы, иной внешней оболочки. И там и тут мы имеем во внешней оболочке мышечную систему, но в каждом отдельном случае она различным образом организована.

Касаясь разделения труда и кооперации, нельзя не отметить ту роль, которую играли они в развитии производительных сил и в развитии общества. Говорить о разделении труда и кооперации «вообще», это значит ничего не сказать, а дать только абстракцию, это значит становиться на точку зрения Прудона, против которого Маркс писал: «Разделение труда есть, по мнению Прудона, вечный закон, простая и абстрактная категория. Он должен, следовательно, найти в абстракции, в идее, в слове достаточное об'яснение разделения труда в различные эпохи истории. Касты, цехи, мануфактура и крупная промышленность должны быть об'яснены одним словом—разделение»³.

¹ Маркс, «Капитал», т. II, гл. I, ГИЗ.

² Архив Маркса-Энгельса, т. I, ст. 277. «Маркс и Энгельс о Л. Фейербахе». Нужно заметить, что в этой ранней рукописи хотя мы у Маркса и встречаем всюду, вместо окончательно сконструированного выражения «производственные отношения», выражение—«форма сношения», но оба эти выражения при сопоставлении их друг с другом совершенно не расходятся в смысле своего содержания.

³ Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 105.

Об этом же говорит Маркс и в письме к Анненкову, когда утверждает, что «разделение труда для Прудона—вещь совершенно простая. Но кастовый строй разве не был тоже определенным разделением труда? Разве цеховой строй не был другим разделением труда? А разделение труда мануфактурного строя... разве не отличается самым решительным образом от разделения труда в современной крупной промышленности»? ¹

Таким образом, мы видим, что Маркс, касаясь той или иной социальной структуры, связывает ее характер с различной формой труда, с *различным* разделением труда. О том, что разделение труда, кооперация, есть форма труда, а не сама рабочая сила, об этом ясно говорит Маркс, когда, например, определяет кооперацию. «*Та форма труда* (курсив всюду наш. Е. К.),—пишет Маркс,—при которой много лиц планомерно и совместно участвуют в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собою, *процессах труда*, называется кооперацией» ².

Отсюда следует, что, помимо того, что ошибочно отождествлять разделение труда, как форму труда, с рабочей силой, понятие «разделения труда», «кооперация», есть *форма труда*, *различная* в различные периоды общественного развития в зависимости от степени развития техники производства.

Маркс всюду, говоря о методах и способах труда, о той или иной определенной *форме труда*, рассматривает этот вопрос с двух точек зрения.

Во-первых, методы и способы труда, как результат определенной технической конструкции производства: «Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая» ³, или в другом месте: «Кооперативный характер процесса труда,—говорит Маркс,—становится здесь технической необходимостью, *диктуемой природою самого средства труда*» ⁴.

Во-вторых, методы и способы труда представляют у Маркса *причину* и вместе с тем следствие определенных общественных производственных отношений. «Из первого крупного общественного разделения труда,—говорит Энгельс,—*возникло* и первое крупное разделение общества на два класса—господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых» ⁵. В другом месте, там же, мы читаем: «Родовое устройство отжило. Оно было разрушено разделением труда и его последствием—разделением общества на классы. Его заменило государство». Или в письме к Анненкову Маркс говорит: «С приобретением новых производительных сил люди меняют свой способ производства, а со способом производства они меняют все экономические отношения, *являющиеся всего лишь необходимыми отношениями данного определенного способа*

¹ Маркс. Письмо к Анненкову. Сборник писем Маркса-Энгельса, составленный Адоратским, изд. «Моск. Рабочий», 1923 г., стр. 10.

² Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 303.

³ Маркс, «Нищета философии».

⁴ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 364.

⁵ Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

производства» ¹. Маркс нигде не дает повода и даже намека на то, что методы и способы производства, т.-е. форму труда, нужно включить как элемент в понятие производительных сил. Что такое труд? *Труд представляет собой функцию рабочей силы*, труд—это процесс взаимодействия между человеком и природой. Маркс неоднократно подчеркивает при изложении проблемы заработной платы, что рабочая сила и труд при капитализме не равнозначные понятия.

Дальше, в развитии своей теории он показывает, что не труд через свою форму—разделение труда, кооперацию и т. д.—возмущается против общественных производственных отношений, а *рабочая сила*, в той или иной социальной своей форме, как действенный революционный элемент производительных сил, восстает, *возмущается против тех методов и способов труда, которые облакают ее—рабочую силу—вместе со средствами производства, т.-е. облакают производительные силы*, но вместе с тем восстает и против социальной структуры.

Необходимо установить некоторое разграничение между методами и способами производства и производительными силами, хотя это чрезвычайно трудно, так же, как и трудно установить разграничение между производительными силами и производственными отношениями.

Машина вызывает тот или иной способ производства в связи со своей технической конструкцией, но способ пользоваться машиной неразрывно связан ведь с самой машиной. Маркс разграничивает, казалось бы, самые тесно, органически, так сказать, сращенные понятия.

Марксу необходимо было это разграничение провести, чтобы показать взаимодействие между производительными силами и методами и способами производства, а также и между последними и общественными производственными отношениями, хотя между всеми этими понятиями в действительности существует самая тесная, неразрывная связь. Такое разграничение возможно делать, конечно, только в абстракции, так же, как, касаясь производительных сил, мы уже тем самым допускаем абстракцию, ибо никогда и нигде производительные силы не существуют вне тех или иных методов производства и вне социальной структуры. Методы и способы производства представляют форму производительных сил, и хотя форма никогда и нигде не может быть мыслима без содержания, хотя методы и способы производства немыслимы без производительных сил, но Маркс сплошь и рядом при анализе расчленяет эти понятия, отмечая их взаимозависимость, их единство и вместе с тем процесс противоречия и развития внутри этого единства. Производительные силы обуславливают определенные методы и способы производства, в свою очередь методы и способы производства вызывают и развивают производительные силы. Улучшения в общественных производительных силах вызываются, наряду с разными причинами, как-то: расширением производства, концентрацией капиталов, введением машин, применением химических и других сил, сокращением времени и про-

¹ Письмо к Анненкову. Сборник писем Маркса-Энгельса, составл. Адоратским, изд. «Моск. Рабочий», 1923 г., стр. 9.

странства при помощи средств сообщения и транспорта, «а также разделением труда, улучшением методов и всеми особенными приспособлениями, посредством которых наука заставляет силы природы служить труду и при помощи которых общественный или кооперативный характер труда достигает своего полного развития»¹.

Такую же мысль высказывает Маркс в другом месте, когда говорит, что «производительные силы, возникающие из разделения труда и кооперации, ничего не стоят капиталу. Это естественные силы общественного труда»². Или, например, Маркс нередко утверждает, что кооперативная форма труда не только развивает, но и создает производительные силы.

В кооперации, говорит Маркс, дело идет «не только о повышении индивидуальной производительной силы путем кооперации, но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила»³.

Тут и в ряде других мест в произведениях Маркса мы видим, что разделение труда, методы и способы труда оказываются одним из многих факторов, влияющих и даже создающих производительные силы. Из подобной установки Маркса нельзя понять, что методы и способы производства есть элемент производительных сил, включаются в понятие производительных сил, как предполагает тов. Бернштейн. Методы и способы производства *воздействуют* на производительные силы, следовательно, они где-то вне понятия производительных сил находятся, хотя и связаны с этим понятием.

«Степень развития производительных сил какого-нибудь народа лучше всего показывается степенью развития у него разделения труда. Всякая новая производительная сила... имеет своим следствием дальнейшее развитие разделения труда»⁴.

Значит, методы и способы производства, в свою очередь, *выводятся* из развития производительных сил.

Следовательно, понятие «методы и способы производства» не может быть идентично понятию производительных сил.

Это—два понятия, взаимно друг друга обуславливающих и тесно между собой связанных, так же, как имеется тесная, неразрывная связь между производительными силами и общественными производственными отношениями. Но эта неотделимость, неразрывность не останавливает ведь от необходимости разграничения этих понятий! Правда, такое отделение представляет форму абстракции, но благодаря этой абстракции удается установить законы диалектического развития производительных сил и производственных отношений.

Известно, какое большое значение имеет в теории Маркса абстрактный метод при выведении сложных законов капиталистического хозяйства. Маркс говорит, например, о «производстве вообще», но

тут же прибавляет, что это—абстракция. Однако, говоря это, Маркс считает чрезвычайно необходимым вводить подобную абстракцию в свою теорию.

«Всем эпохам,—пишет Маркс,—свойственны некоторые общие признаки, общие определения. Производство вообще есть абстракция, но абстракция понятная, поскольку она действительно выдвигает общее, фиксирует его и тем самым избавляет нас от повторений»¹.

Ту же мысль высказывает и Энгельс, когда упрекает Грове в том, что, рассматривая явление, он привлекает категорию взаимодействия. «Чтобы понять отдельные явления, мы должны *вырвать их из общей связи* (курсив наш. Е. К.) и рассматривать их изолированным образом»².

Маркс считает необходимым давать подобные абстракции, ибо «метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его конкретно. Однако это отнюдь не есть процесс возникновения самого конкретного»³.

Или, например, касаясь проблемы воспроизводства, Маркс определенно указывает на необходимость абстрагирования, отвлечения от всех привходящих затемняющих моментов, и только благодаря этому Марксу удается установить самую проблему общественного воспроизводства, а потом уже, на основе этого, он дает картину капиталистического воспроизводства со всеми присущими ему противоречиями, которые представляют одно из непреходящих условий этого воспроизводства.

Такой же метод следует применить при анализе проблемы производительных сил. Надо взять и зафиксировать то общее, благодаря чему категория производительных сил становится свойственной всем общественным формациям. В чем же суть этого «неизменного», «общего», благодаря чему один и тот же термин—«производительные силы» мы приклеиваем ко всем буквально общественным формациям: и к натуральному, и к товарно-меновому, и, наконец, к социалистическому хозяйству? Это «неизменное», «общее» есть средства производства и рабочая сила. Тут рабочая сила и средства производства берутся, как постоянные факторы производства. Рассматривая производительные силы только как рабочую силу и средства производства, мы тем самым, безусловно, создаем абстракцию. И каждый раз *только форма* сочетания рабочей силы со средствами производства, или, что то же, те или иные методы и способы труда, сигнализируют нам ту или иную социальную структуру, общественную формацию. Или, наоборот, называя или анализируя ту или иную общественную формацию, мы тем самым уже ясно представляем себе те особые методы и способы производства, которые свойственны данной общественной

¹ Маркс, «К критике полит. экономии», стр. 10.

² Энгельс, «Диалектика и естествознание». Архив Маркса-Энгельса, т. II, стр. 27.

³ Маркс, «К критике полит. экономии», стр. 25.

¹ Маркс, «Зарплата, цена и прибыль», изд. ВЦИК, 1918 г., стр. 27.

² Маркс, «Капитал», т. I, стр. 338, изд. 1898 г.

³ Маркс, «Капитал», т. I, стр. 303, ГИЗ, 1925 г.

⁴ «Маркс и Энгельс о Л. Фейербахе». Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 254.

формации. Рабочая сила, средства производства и способ производства представляют единство, но в этом единстве рабочая сила и средства производства представляют *содержание* производительных сил, а методы и способы труда представляют их *форму*, которая охватывает *все* содержание, т.-е. и рабочую силу и средства производства¹.

Выше нами указывалось, что Маркс-Энгельс неоднократно отмечают, что содержание производительных сил обуславливает их форму и, наоборот,—форма (т.-е. методы и способы производства) обуславливают их содержание. Между двумя этими сторонами есть тождество и неразрывность. Энгельс отмечает, например, что «вся органическая природа является одним сплошным доказательством тождества и неразрывности формы и содержания. Морфологические и физиологические явления, форма и функция обуславливают взаимно друг друга»².

Еще старик Гегель говорил, что «бесформенное содержание не существует точно так же, как не существует бесформенная материя» и что «содержание истинно и совершенно тогда, когда оно тождественно с формой»³. Или страницей выше мы читаем такое положение Гегеля, которое Маркс и Энгельс прекрасно показали при анализе производительных сил и производственных отношений. Гегель говорит: «В противоположности формы и содержания очень важно понять то, что содержание не лишено формы, но что, будучи внешне форме, оно тем не менее содержит ее. Форма представляется в двояком виде. Когда она соотносится к самой себе, она образует содержание; когда она не соотносится к самой себе, она есть существование, чуждое содержанию и равнодушное ему. Здесь, собственно, уже имеется первый начаток абсолютного отношения формы и содержания и их переход друг в друга, так что содержание есть не что другое, как форма, изменяющаяся в содержание, и форма—не что другое, как содержание, изменяющееся в форму»⁴.

Если взять производительные силы, как единство, то в этом единстве содержанием будет рабочая сила и средства производства, формой—методы и способы труда. Если же взять *общество*, как единство, то общественные производственные отношения будут содержанием, а производительные силы, со стороны, главным образом, своей формы, т.-е. методов и способов труда, как результата определенной ступени технического развития средств производства, будут формой.

Во всех случаях мы имеем тесную связь и взаимообусловленность формы и содержания, вместе с тем имеем *две* стороны единства.

Касаемся ли мы производительных сил, нам необходимо первоначально разграничить эти две стороны единства и показать путь

¹ Подобная установка лишней раз показывает мое несогласие с постановкой тов. Берштейна, который не рассматривает методы и способы производства как форму производительных сил, а включает их в понятие производительных сил на место рабочей силы. Благодаря этому не удается ему установить динамику производительных сил.

² Энгельс, «Диалектика природы». Архив Маркса-Энгельса, т. II, стр. 35.

³ Гегель, «Малая Логика», изд. 1861 г., стр. 236—237.

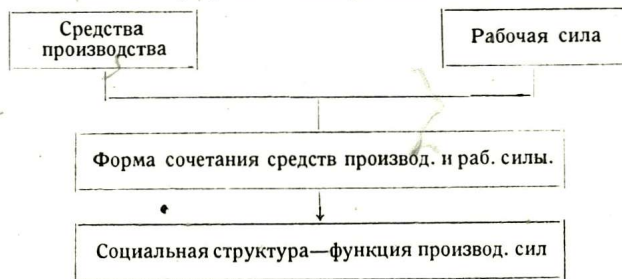
⁴ Там же, стр. 235.

развития этого единства, путь противоречий между двумя его сторонами. Касаемся ли всего общества, всей общественной формации, следует расчленил опять-таки две стороны единства—производительные силы и производственные отношения и показать противоречивый путь их развития.

На этой основе, нам думается, построена вся концепция Маркса-Энгельса.

Содержанием своим, со стороны характера средств производства главным образом (хотя на низкой ступени развития рабочая сила в основном определяла методы производства), определяется форма производительных сил, т.-е. методы и способы труда; в свою очередь, *эта форма* определяет содержание общества, т.-е. его социальную структуру.

Это могло бы быть графически изображено, например, в таком виде:



VI

Теперь необходимо установить, к каким категориям Маркс относит содержание производительных сил, т.-е. рабочую силу и средства производства, и к каким—форму их, т.-е. методы и способы труда—разделение труда, кооперацию.

Как известно, тов. Бухарин неоднократно подчеркивает, что производительные силы, рассматриваемые как совокупность рабочей силы и средств производства, представляют техническую категорию¹.

Нам думается, что эта трактовка единственно правильная. Своим содержанием производительные силы представляют безусловно техническую категорию. Методы же производства,—разделение труда, кооперация—представляют экономическую категорию.

По этому поводу мы находим у Маркса следующие разъяснения, которые он делает Прудону:

«Машины так же мало составляют экономическую категорию, как и быки, которые тащут плуг,—пишет Маркс. Это—производительные силы, не более. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическое».

¹ Бухарин, «Исторический материализм», стр. 132, или: «Экономика переходного периода», стр. 88.

ческая категория»¹. Или в другом месте Маркс более ясно отмечает, что «он (Прудон. *Е. К.*) воображает, что *разделение труда, кредит, кооперация, словом, все экономические отношения* (курсив наш. *Е. К.*) были изобретены лишь для того, чтобы послужить на пользу равенства»... и т. д.².

Делясь своим мнением о Прудоне, Маркс пишет Анненкову: «Бесмысленно делать из машины экономическую категорию *наравне с разделением труда, конкуренцией, кредитом*. Машина так же мало является экономической категорией, как и бык, который тащит плуг. Современное *применение машин* (т.-е. способы и методы. *Е. К.*) есть одно из общественных отношений нашего экономического строя, но *способ пользования машинами совершенно не то, что сами машины*» (курсив всюду наш. *Е. К.*)³.

Такая постановка вопроса у Маркса должна еще лишний раз убедить в том, что способ производства обязательно следует рассматривать отдельно от производительных сил, ибо в то время как производительные силы представляют категорию технического порядка, *способ производства*, наравне с кредитом, конкуренцией, представляет экономическую категорию, есть производственное отношение, и между двумя этими понятиями происходит процесс взаимодействия.

Тов. Бернштейн, как было отмечено выше, не разграничивает понятия способов труда от производительных сил, а включает первое понятие во второе или очень часто ставит между ними знак равенства. Благодаря этому создается мешанина, бесформенность в понимании производительных сил. Нежелание разграничить эти понятия приводит к тому, что производительные силы у тов. Бернштейна, как он отмечает в одном случае, не являются экономической категорией, но он и не говорит тут о том, что это техническая категория. А в другом случае разделение труда выступает в роли спасительной двуликой Янусы и является одновременно и технической и экономической категорией, одновременно и производительной силой и производственным отношением. Чтобы не быть голословным, предоставим слово тов. Бернштейну. «Производительные силы, как исходный пункт социологического анализа,—говорит он,—*ни в какой степени не являются экономической категорией* (курсив наш. *Е. К.*). Мы знаем,—продолжает он,—что производительные силы, как исходный пункт социологического анализа,—это для тов. Бухарина прежде всего вещи, «вещественный аппарат» общества, хотя вещи особого характера: общественные вещи. Их развитие состоит прежде всего—в качественных изменениях; «новые» орудия труда вызывают «новое» строение людских отношений и т. д. В этом отношении мы в общем примыкаем к тов. Бухарину»⁴.

¹ Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 108.

² Там же, стр. 99.

³ Письма Маркса-Энгельса в сборнике, составл. Адоратским, изд. «Моск. Рабочий», 1923 г., стр. 11.

⁴ См. ст. Бернштейна, «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 194. Выше нами отмечалось, что точка зрения тов. Бухарина в основном сводится к тому, что он, рассматривая производительные силы как вещественные личные элементы, относит их к технической категории.

Тов. Бернштейн в данном случае формально только соглашается с постановкой тов. Бухарина, говоря, что «производительные силы не есть экономическая категория»—и только!—и не отмечает, как это делает тов. Бухарин, что это—техническая категория. Возникает невольный вопрос при чтении этих положений тов. Берштейна: как мыслить он понятие производительных сил, к чему он их относить? Что это: техническая или экономическая категория?

Ответа мы нигде у него не находим. Наоборот, в дальнейшем изложении мы видим еще большее смешение. Выше мы отмечали, что методы и способы труда по его трактовке есть производительные силы. А теперь оказывается, что способ труда есть одновременно и производительные силы и производственные отношения. «*Разделение труда*,—утверждает тов. Бернштейн,—*есть с одной стороны производительная сила, с другой* (курсив всюду наш. *Е. К.*) *стороны—производственное отношение между людьми*... Несмотря на *тождественность термина* (! *Е. К.*), это для Маркса совершенно разные вещи... Разделение труда, как производительная сила,—это известный прием, метод общественного трудового процесса; ...а разделение труда, как производственное отношение—это те отношения между людьми, которые необходимо возникают на основе применения данного способа разделения труда»¹.

Нам думается, что непродуманно будет, если утверждать, что для Маркса понятие «разделения труда» идентично понятию производительных сил и вместе с тем под ним понимается, «несмотря на тождественность термина», также и производственное отношение. Терминология Маркса отличается особенной четкостью и ясностью; кроме того, если бы Маркс понимал под понятием разделения труда одновременно и производительные силы и производственные отношения, то как бы ему удалось так блестяще и гениально показать и доказать процесс противоречия между ними?

Наконец, где у нас основание предполагать, что Маркс в одно и то же понятие включает «совершенно различные вещи», как утверждает тов. Бернштейн? Даже неразвившийся, бедный язык диких племен не допускает, насколько нам известно, таких смешений, когда одним словом выражают совершенно несходные понятия, тем более этого нельзя сказать про чрезвычайно точный и гибкий немецкий язык, каким пользовался Маркс при изложении своей теории.

Для чего понадобилась такая «своеобразная» трактовка Маркса? Тов. Бернштейн дошел «до жизни такой» только потому, что ему требовалось доказать, что вместо рабочей силы следует взять элемент производительных сил—методы и способы труда, и, когда дело дошло до уяснения того, какую же категорию представляют производительные силы, тут он неудачно прикрылся вначале авторитетом тов. Бухарина (хотя с ним не согласен и нигде не отмечает, что производительные силы—техническая категория) и еще неудачнее—авторитетом Маркса, подменив точку зрения Маркса своей трактовкой. Бла-

¹ См. ст. Бернштейна, «Вестник Комм. Академии», кн. 21 за 1927 г., стр. 218.

годаря этому тов. Бернштейн не сумел показать динамики производительных сил, диалектики развития их с производственными отношениями. Не может быть выведена диалектика потому, что он подменил сначала понятие рабочей силы, а потом и самые производительные силы—способом труда, разделением труда.

Понимая под разделением труда одновременно и производительные силы и производственные отношения, мы окончательно попадаем в лабиринт метафизической фантастики, из которого никак уж невозможно выбраться даже при помощи каких бы то ни было логических ухищрений.

Процесс общественного развития, который представляет каждый раз синтез противоречий между производительными силами и производственными отношениями, тов. Бернштейном не дан.

Какую же трактовку мы имеем у тов. Бухарина? Соглашаясь в основном с его постановкой, что производительные силы, рассматриваемые как «вещественные» и «личные» элементы производства, есть категория технического порядка, мы не согласны с одним, как бы случайно вырвавшимся положением тов. Бухарина, где он утверждает, что производительные силы это есть нечто среднее между техникой и экономикой, есть «пограничное» понятие. Может быть, когда-нибудь тов. Бухарин разъяснит, что он понимал под этим «пограничным», средним? В настоящее же время, нам думается, такое утверждение затрудняет понимание проблемы производительных сил, вводит в нее неясность.

Везде тов. Бухарин ясно, черным по белому выводит, что производительные силы—техническая категория. Но как только он коснулся понятия «производительности труда», производительные силы передвинулись в понятие, «пограничное» между техникой и экономикой. На одной и той же странице мы имеем два утверждения. «В одном случае,—говорит тов. Бухарин,—Маркс понимает, очевидно, вещественные и личные элементы производства, и, сообразно с этим, категория производительных сил является *категорией не экономической, а технической*», а в другом случае, когда Маркс говорит о *производительности труда*... «в этой постановке вопроса,—говорит тов. Бухарин,—довольно ясно видна причина «неопределенности» понятия производительных сил: дело в том, что это *есть пограничное понятие* (курсив всюду наш. Е. К.), стоящее на рубеже техники и экономики. Экономически важно понятие производительности общественного труда, технически важен материальный эквивалент этой производительности общественного труда, т.-е. наличная совокупность средств производства и рабочей силы»¹.

Как отмечалось нами выше (во II разделе), производительность труда представляет собой функцию производительных сил и выражается всегда в том или ином количестве материальных благ. В этом пункте трудно согласиться с тов. Бухариным, что понятие «производительности труда» вносит «неопределенность» у Маркса в понимание

производительных сил. «Экономически важно,—говорит тов. Бухарин,—понятие производительности труда». С этим утверждением, конечно, нельзя не согласиться, ибо очень важен для общества каждый раз размер этой *результативной* величины, т.-е. производительность труда. Но важность производительности труда для экономики, т.-е., очевидно, для хозяйственной стороны общественной жизни, не дает ведь никакого основания относить производительные силы в какую-то абстракцию, в нечто среднее, «пограничное» между техникой и экономикой! Понимая производительность труда, как *результативную величину*, как *функцию производительных сил*, нам трудно согласиться с данным, повидимому, случайно вырвавшимся утверждением тов. Бухарина.

VII

Каждая экономическая эпоха социальной структуры отличается от другой тем особым характером и способом, каким соединяются факторы общественного производства, т.-е. рабочая сила и средства производства. Перевороты в отношениях между рабочей силой и средствами производства являются основными вехами в общественном развитии. Разделение труда, методы и способы производства, как отмечалось выше, меняют свой характер в зависимости от изменений в отношениях между рабочей силой и средствами производства.

«Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение (т.-е. соединение рабочей силы со средствами производства. Е. К.), различает,—говорит Маркс,—отдельные экономические эпохи социальной структуры»¹.

Или в другом месте Маркс говорит: «Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют и свои способы производства, а изменяя свои способы производства..., они изменяют и свои общественные отношения. Ручная мельница порождает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница—общество промышленных капиталистов»².

Люди становятся в процессе общественного производства в известные отношения друг к другу, которые определяются не тем, *что* производится, а тем, *как* ведется производство.

Рабочая сила, как отмечалось выше, составляет наравне со средствами производства непрременный элемент производительных сил, но вместе с тем рабочий, как *зоон politikon*, становится в известные отношения к другим людям. Эти отношения складываются как внутри отдельного предприятия (технические производственные отношения), так и внутри всего социального организма (общественные производственные отношения). Производственные отношения органически сращиваются и вырастают из производительных сил. Скрепляющим звеном между производительными силами и производственными отноше-

¹ Бухарин, «Экономика переходного периода», стр. 88.

¹ Маркс, «Капитал», т. II, гл. I.

² Маркс, «Нищета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 92.

ниями является рабочая сила. Так же, как рабочую силу нельзя оторвать от самого рабочего, так и производственные отношения могут быть отделены от производительных сил только мысленно. Маркс отмечает трудность разграничения этих понятий. «Диалектика понятий, производительные силы и производственные отношения,—говорит Маркс,—диалектика, границы которой подлежат определению и которая не уничтожает реального различия»¹.

Необыкновенно тесная связь между ними, но вместе с тем и большое различие.

В то время, как средства производства и рабочая сила находятся в области непосредственно материального, конкретного, осязаемого, производственные отношения представляют хотя также определенную конкретность, но, по сравнению с первыми, они носят своего рода надстроечный характер, или, как очень часто говорит Маркс, представляют «оболочку», которую взрывают, должны взорвать производительные силы.

Интересно, например, проследить мысль Маркса-Энгельса в рукописи о Л. Фейербахе, где они определяют отношение людей между собой в обществе, как «сознание». «Мое отношение к моей среде есть мое сознание»,—читаем мы². Но когда из этого понимания производственных отношений, обусловленных производительными силами, Маркс выводит разные идеологические надстройки, то он рассматривает три момента, между которыми наблюдается процесс противоречивого развития, таковы: 1) производительные силы, 2) общественные отношения (т.-е. общественные производственные отношения) и 3) общественное сознание (т.-е. идеология)³.

Производственные отношения занимают как бы оболочку над производительными силами. Внутри этой оболочки скрепляющим звеном является рабочая сила, которая благодаря своей активной революционной роли возмущается против существующих производственных отношений.

Положение Маркса о том, что разделение труда, порожденное развитием техники производства и все время меняющее свою форму в связи с этим развитием, послужило причиной появления и противоречивого развития общества, не затронуто тов. Бернштейном. Маркс говорит, что «вместе с разделением труда делается возможным и даже происходит в действительности то, что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов; отсутствие между ними противоречий возможно лишь при том условии, что снова уничтожается разделение труда»⁴. Эта мысль проводится Марксом и в «Капитале».

По Марксу, тот или иной характер производства вызывает определенные методы и способы, а последние определяют социальную структуру.

¹ Маркс, «К критике полит. экономии», стр. 32.

² Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 220.

³ Там же, стр. 221.

⁴ Там же, т. I, стр. 221.

Разделение труда вклинивается между производительными силами и производственными отношениями и создает противоречия как внутри каждого из крайних понятий, так и в совместном развитии этих понятий (т.-е. производительных сил и производственных отношений).

Содержание (т.-е. рабочая сила и средства производства) должно быть тесно связано с формой (т.-е. со способом производства), представлять единство, но на известной ступени это единство расчленяется, внутри этого единства возникают противоречия, которые колоссально развивают самое содержание—технический базис общества прежде всего. Но форма развивается мало, не в соответствии с содержанием, остается дегенеративной. Все явления общественной жизни принимают поэтому характер выявившихся противоречий, которые, в свою очередь, все больше суживают форму для бешено развивающихся производительных сил, т.-е. содержания. Ясно, конечно, что такое развитие закономерностей не нормально, не соответствует законам природы, и потому должен произойти насильственный разрыв оболочки, т.-е. социальной структуры. При чем причины взрыва не где-то вне этого единства обретаются, а в нем самом.

VIII

Обратимся теперь к динамике производительных сил в период капитализма.

Говоря о производительных силах, Маркс доказывает, что «до наших дней производительные силы развивались благодаря господству классовой противоположности»¹. Поэтому он ставит перед собой задачу показать, «как производительные силы развивались одновременно с антагонизмом классов»². Маркс берется это показать не на любой общественной формации, где имелось уже социальное неравенство, а на буржуазном обществе, которое представляет «наиболее развитую и многостороннюю историческую организацию производства»³. Маркс берет предмет своего исследования капиталистическое общество, где производительные силы в своем развитии особенно ярко и полно проявляют, вызывают те противоречия, которые подталкивают самые производительные силы вперед и, наконец, ставят их неизбежно перед социальным конфликтом. «С одной стороны,—читаем у Маркса,—капиталистическое производство чудесным образом развило общественные производительные силы, но, с другой стороны, оно обманулось в своих собственных расчетах на те самые силы, которые оно порождает. Его история есть отныне лишь история антагонизмов, кризисов, конфликтов, бедствий. В конце концов оно показало всем, за исключением слепых по расчету, свой чисто преходящий характер»⁴.

¹ Маркс, «Нищета философии», стр. 38.

² Там же, стр. 108.

³ Маркс, «К критике полит. экономии», стр. 28.

⁴ Маркс, «Письмо к Засулич», 2-й черновик. Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 280.

Маркс тут, как и всюду, касаясь производительных сил в капиталистическом обществе, показывает, как растут эти производительные силы, путем каких противоречий они развиваются.

Как осуществляется в капиталистическом обществе динамика развития производительных сил? Касаясь этого вопроса, необходимо отметить как динамику развития средств производства, так и рабочей силы.

Динамика развития средств производства или, как говорит Маркс, материальных производительных сил заключается в том, что данная качественная определенность средств производства, находя свое количественное развитие, переходит в новое качество, в средства производства высшей конструкции на основе закона конкуренции, этого основного рычага капитализма. Не ставя перед собой непосредственную цель—развить производительные силы, а желая получить прибыль, выжать прибавочную стоимость, капитализм достигает развития техники, развития производительных сил. Двигает это развитие механизм конкуренции; тут следует, конечно, мельком указать, что самый механизм конкуренции, взятый в связи с анархией капиталистического производства, порождает массу противоречий, коренящихся в самом материальном производстве, как, например, падение нормы прибыли, моральный износ средств производства и т. д.

Динамику развития другого элемента производительных сил—рабочей силы—вывести труднее. Прежде всего развитие материального производства вызывает количественное развитие рабочей силы на основе общего роста народонаселения. Качественная сторона рабочей силы, ее квалификация, уже не играет в период машинизма той большой роли, какая наблюдалась, например, в период мануфактуры. Наоборот, развитие техники, появление паровых машин, электричества, радио и т. д., низводят рабочую силу до роли простого исполнительного механизма производства. В период машинизма средства производства приобращаются как бы самостоятельное существование, так как институтом частной собственности они отчуждаются от рабочей силы¹. Рабочая сила входит в производственный контакт только тогда и постольку, когда и поскольку это совпадает с интересами частной собственности, с интересами класса капиталистов—собственников средств производства. Закон тенденции нормы прибыли к падению, гениально выведенный Марксом, отражает в себе то противоречие, которое имеется внутри производительных сил капитализма, когда, ставя перед собой задачу получения прибыли, возможно большего выжимания прибавочной стоимости, капиталист сокращает рабочую силу благодаря возрастанию органического строения капитала, вследствие роста техники.

¹ Частная собственность на средства труда появилась, конечно, очень давно, но в период машинизма средства производства окончательно оторвались от рабочей силы, которая выступает на рынке как товар. «Капиталистический процесс производства,—пишет Маркс,—самим своим ходом воспроизводит отделение рабочей силы от условий труда». («Капитал», т. I, стр. 561).

«Когда машина возмещает труд,—говорит Маркс,—она во всяком случае создает меньше нового труда в своем собственном производстве, чем сколько она возмещает. Возможно, что старому труду дается только новое направление. Во всяком случае, освобождается труд, который после более или менее долгих, горьких скитаний может быть применен в другом направлении. Таким образом, создается человеческий материал для новой области производства»¹.

Специфическая особенность капитализма состоит в том, говорит в другом месте Маркс, «чтобы использовать имеющуюся капитальную стоимость как средство для возможно большего увеличения этой стоимости. Методы, которыми он этого достигает, ведут к уменьшению нормы прибыли, к обесценению имеющегося капитала и развитию производительной силы труда за счет уже произведенных производительных сил»².

Материальная база для восстановления рабочей силы при капитализме суживается.

В то время, как социальная структура капитализма по сравнению с феодальным строем является прогрессивным фактором для развития техники общественного производства, по отношению к рабочей силе капитализм представляет строй высшего угнетения, закабаления, нищеты, создания и роста безработицы и т. д. Благодаря этой особенности динамики рабочей силы внутри производительных сил при капитализме, мы имеем одну из причин ярко выраженных возмущений, революций именно со стороны рабочей силы, в ее определенной социальной форме—как класса. Это возмущение усиливается еще тем, что рабочая сила служит для капиталиста товаром, но таким товаром, который разнится от средств производства. В то время, как капиталист всячески старается сохранить средства производства и терпит ущерб, например, при моральном изнашивании машин и т. д., в сохранении и восстановлении рабочей силы он участия не принимает, восстановление рабочей силы ему ничего не стоит. Отсюда относительно падение доли рабочего класса в общем национальном доходе, рост безработицы и т. д., и т. п. «При помощи машин, химических процессов и других способов,—пишет Энгельс,—она (промышленность. Е. К.) вместе с технической основой производства постоянно революционизирует также функции рабочих и общественные комбинации процесса труда. Таким путем она постоянно революционизирует также разделение труда внутри общества и беспрестанно перебрасывает массы капиталов и рабочих из одной отрасли производства в другую. Самый характер крупной промышленности обуславливает поэтому смену работ, текучесть функции, всестороннюю подвижность рабочего. Мы уже видели, как это абсолютное противоречие... бурно разрешается непрерывным заклинанием в жертву рабочего класса, безмерным расточением рабочих сил (курсив наш. Е. К.), опустошениями, сопровождающими общественную анархию»³.

¹ Маркс, «Теория прибавочной ценности», т. III, изд. «Прибой», 1924 г., стр. 345.

² Маркс, «Капитал», ГИЗ, т. III, ч. I, гл. 15.

³ Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Моск. Рабочий», 1924 г., стр. 332.

Все это революционизирует рабочую силу. Центром, осуществляющим это возмущение, является сознание рабочего. Если это сознание еще недостаточно развито с точки зрения понимания своих классовых интересов, то возмущение выливается против средств труда, против второго элемента производительных сил. Такое явление мы наблюдаем, например, на заре капитализма, когда рост техники настолько революционно протекает, что огромными массами выталкивает из сферы производства рабочую массу, понижает зарплату, заменяет рабочую силу менее квалифицированной ее частью. Мы имеем в тот период факт возмущения рабочей силы, но возмущение направляется против улучшенных средств производства, рабочие разрушают эти средства производства. Таково, например, движение чартизма в Англии и т. п. «После каждой сколько-нибудь значительной стачки,—говорит Маркс,—появляется новая машина. Рабочий же не только не видел в машине своей реабилитации, или своей реставрации, но в XVIII веке долго боролся с зарождающимся господством автоматической силы»¹.

Тут нет еще классовой сознательности в точном смысле этого слова, господствует в теории утопический социализм, как отражение неосознанного еще бытия. Рабочая сила уже приняла определенную социальную форму—рабочего класса, но это еще «класс в себе». Сужение материальной базы для восстановления рабочей силы вызывает возмущение, но это возмущение направляется не по адресу, направляется против средств производства, а не против буржуазии. Высшая стадия сознательности и социальной оформленности направляет далее возмущение рабочей силы уже против производственных отношений, путем определенной классовой организованности и создания последовательно выдержанной классовой теории.

* * *

Рассматривая производительные силы капиталистического общества, Маркс не отмахивается от тех противоречий, которые сопровождают, двигают производительные силы, а, наоборот, всегда подчеркивает эти противоречия. Проблема производительных сил включается Марксом в проблему общественного воспроизводства, в котором тесно срачиваются производительные силы с производственными отношениями. Производительные силы находятся в необыкновенно сложном органическом целом, каким является капиталистическое общество. Тут мы имеем определенную расстановку людей и вещей в процессе производства, определенные правовые нормы, определенную социальную структуру; имеются свои особые законы развития общественного производства, как, например, анархия производства; конкуренция, проблема рынков—все это подгоняет, по сравнению с предшествующими общественными формациями, производительные силы вверх с такой силой, с какой «сила пара является, поистине,

¹ Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 113.

детской забавой» (Энгельс): «Улучшение современных машин превращается вследствие анархии производства в принудительный закон для отдельного промышленного капиталиста, требующий от него постоянного улучшения машин, постоянного улучшения их производительных сил»¹.

В чем специфическая особенность развития производительных сил при капитализме? Производительные силы, говорит Маркс, «оказываются совершенно независимыми и оторванными от индивидов в виде какого-то особенного мира на ряду с индивидами; причиной этого является то, что индивиды, силами которых они являются, существуют в раздробленном виде и в противоположность друг к другу, между тем, как эти силы, с своей стороны, являются действительно силами лишь в сношениях, в связи с этими индивидами. Таким образом, на одной стороне имеется некоторая совокупность производительных сил, которые приняты как бы вещественный вид и являются для самих индивидов уже не силами этих индивидов, а силами частной собственности и, следовательно, силами индивидов лишь постольку, поскольку последние оказываются частными собственниками. На другой стороне этим производительным силам противостоит большинство индивидов, от которых *оторвались* (курсив всюду наш. Е. К.) эти силы и которые поэтому лишены всякого реального жизненного содержания, *стали абстрактными индивидами*, но которые поэтому же впервые оказываются в состоянии вступить друг с другом в соединение в качестве индивидов. *Единственная* оставшаяся *связь* их еще с производительными силами и с их общественным существованием—*труд*—потеряла у них всякую тень самостоятельности и сохраняет их жизнь тем, что калечит ее»².

Такой постановкой вопроса Маркс сигнализирует глубокие противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Маркс отмечает тут специфическую особенность сочетания элементов производительных сил на основе определенных социально-правовых норм, когда труд для элемента производительных сил—для рабочей силы—«потерял всякую тень самостоятельности».

Между средствами производства и рабочей силой вклинивается капиталист, который «препятствует свободному соединению вещественных и личных элементов производства, ... не дает средствам производства функционировать, а рабочим работать и жить»³.

Каковы бы ни были формы производства, рабочие и средства производства всегда остаются его факторами, но с появлением классов, социального антагонизма, появилась возможность отделения этих факторов друг от друга. На заре исторического развития рабочая сила непосредственно и тесно срачивается со средствами производства, вернее, с орудиями труда постольку, поскольку труд представляет необходимый процесс жизни общества. В дальнейшем развитии производительных сил,

¹ Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Моск. Рабочий», 1924 г., стр. 310.

² Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 250.

³ Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Московск. Рабочий», 1924 г., стр. 312.

вместе с развитием разделения труда, в общественные отношения вклинивается частная собственность. В период рабства право собственности распространяется на производительные силы в целом. Рабовладелец господствует и над средствами производства и над рабочей силой, он принимает участие и заботится о восстановлении обоих этих факторов производства. Недостаточно рабовладельцу быть собственником орудий труда, но необходимо было ему иметь и достаточно средств питания для поддержания и воспроизводства рабочей силы. Система сочетания связи рабочей силы со средствами производства при рабском строе состояла в том, что рабочая сила предлагалась рабовладельцу непрерывно, без всякого ограничения времени, и «такая продажа рабочей силы, — говорит Маркс, — охватывала всю жизнь рабского»¹.

В период капитализма мы имеем нечто иное. Тут развитие техники приводит к тому, что машина становится активным фактором производства, отрывается от рабочего и приобретает как бы самостоятельное существование. Тут право собственности сохранено за одним фактором производства, за главным его элементом, за средствами производства. Капиталист заботится о восстановлении только средств производства и не принимает никакого участия в восстановлении рабочей силы. Рабочая сила предоставляется в распоряжение капиталиста не непрерывно, а время от времени. Маркс отмечает, например, что «по континентальным законам установлен максимальный срок времени, на который каждое лицо может продать рабочую силу»².

Самый факт отчуждения рабочей силы от средств производства представляет в капиталистическом обществе основное противоречие в развитии производительных сил и вместе с тем в развитии всего общества.

Институт частной собственности разрывает связь между элементами производительных сил и дает им одностороннее развитие. При капитализме крупная промышленность, пишет Маркс, «породила массу производительных сил, для которых частная собственность является такими же оковами, какими цеховой строй был для мануфактуры, а мелкое деревенское производство — для развивающегося ремесла. При господстве частной собственности эти производительные силы получают лишь одностороннее развитие, становясь для большинства разрушительными силами, и множество подобных производительных сил не находят вовсе приложения при режиме частной собственности»³.

Таким образом, «отделение собственности от труда (в период капитализма. Е. К.) становится необходимым последствием того закона, исходным пунктом которого послужило, повидимому, их тождество»⁴.

¹ Маркс, «Зарплата, цена и прибыль», изд. ВЦИК, 1918 г., стр. 30.

² Там же, стр. 30.

³ Маркс и Энгельс о Л. Фейербахе». Архив Маркса-Энгельса, т. I, стр. 241.

⁴ Маркс, «Капитал», т. I, ГИЗ, стр. 568.

* * *

Маркс отмечает факт разрушения производительных сил в период кризисов. Многие марксисты берут просто механически эту мысль Маркса и отсюда делают ошибочные выводы, говоря, что, касаясь производительных сил, следует каждый раз иметь в виду только фактически действующие элементы производительных сил. Безработица или, например, машина бездействующая, стоящая в складе или в мастерской вследствие неполной нагрузки предприятия, не есть производительная сила.

Посмотрим, так ли это?

Если возьмем данный конкретный момент, определенный отрезок времени внутри определенной социальной структуры, то, конечно, следует признать, что бездействующие и средства производства и рабочая сила должны быть выключены из понятия производительных сил. Было бы наивно, например, во время кризисов включить в производительные силы безработных или стоящие в бездействии средства производства. Но Маркс ведь, описывая период кризиса или период угнетения, под'ема, оживления, берет один только момент, одну из кон'юнктурных форм в общей динамике капиталистической формации. Целью же Маркса, как известно, было дать общие законы динамики всего капитализма, всего общественного воспроизводства в целом. Маркс, касаясь отдельных этапов капиталистического воспроизводства, дает каждый раз картину развития производительных сил и противоречия, породившие эти этапы.

В период кризисов, говорит Маркс, «обнаруживаются» имманентные капитализму противоречия. Где же Маркс ищет и находит эти противоречия? Прежде всего в самом материальном производстве. Так, Маркс отмечает определенную форму распределения средств производства, закон падения нормы прибыли, моральный износ средств производства, закон перенаселения и т. д.

В общем же понимании всей концепции Маркса производительные силы рассматриваются не в рамках небольшого кон'юнктурного отрезка времени, а в той или иной взятой в целом общественной формации. Маркс, говоря о производительных силах, обязательно связывает их с социальной структурой и на основе этого дает динамику их развития. Товарищи, ограничивающие свое понятие производительных сил выключением из них безработных или бездействующих средств производства, вольно или невольно, скатываются в лоно статик и метафизики, так как замыкаются в рамках одного лишь из моментов воспроизводства, например, — периода кризиса.

Что происходит с производительными силами, когда при режиме частной собственности они сплошь и рядом не находят применения и даже частично уничтожаются? В них появляется и накапливается революционный заряд, который, аккумулируясь, сметает, в конечном счете, все предшествующие капитализму общественные формации и неизбежно сметет и капитализм. Производительные силы в капиталистическом обществе можно уподобить большому непрерывному волнению

в океане, где высокая волна захватывает максимум средств производства и рабочей силы, а падение волны в своем основании суживает до возможного производительные силы, выбрасывая из сферы непосредственно действующего в тот период общественного воспроизводства часть средств производства и рабочей силы. Но ведь известно, что основа волны таит в себе возможность появления новой волны, и только на этом законе мы получаем явление, которое именуется бурей, получаем особую форму движения. Маркс говорит «о водовороте постоянного движения, сопровождающего нарастание производительных сил»¹. Этот водоворот при капитализме приобретает грандиозные формы. Маркс в своей теории ставит перед собой задачу—не изучение производительных сил в отдельные конъюнктурные периоды хозяйственной жизни (чем занимается статистика), а выяснение тех противоречий, которые окружают, сопровождают самое движение производительных сил, с одной стороны, и которые имманентны им, с другой. Каждый конъюнктурный период есть определенный синтез имманентных капитализму противоречий, но наибольшее внимание должны привлекать моменты падения волн, моменты кризисов, которые представляют периодические взрывы этих противоречий, все учащающиеся припадки большого социального организма. С этой точки зрения бездействующие средства производства и рабочая сила являются одним из значительных противоречий внутри производительных сил капиталистического общества. Противоречия составляют часть динамики производительных сил, они—необходимое звено их развития, часть целого. Часть же может быть рассматриваема от целого только в абстракции, при чем она (часть) не отразит полностью целого, а главное даст только статику, а не динамику.

Противоречия создаются, нарастают и разрешаются внутри производительных сил. Энгельс по этому поводу, например, пишет следующее: «Только крупная промышленность развивает, с одной стороны, конфликты, которые делают повелительной необходимостью переворот в способах производства, конфликты не только между созданными ею производительными силами и формами обмена,—и только она, с другой стороны, развивает именно в этих гигантских производительных силах также и средства для разрешения этих конфликтов» (курсив наш. Е. К.)².

Отбросить часть производительных сил капиталистического общества, как безработица и временно бездействующие средства производства, из понятия производительных сил, значит мыслить их где-то вне производительных сил. Интересно было бы знать, в чем же обретаются эти противоречия, если не в производительных силах? Уже не в производственных ли отношениях? Наверное, с этим никто не согласится. Следовательно, вывод один, единственный: их надо включить в понятие производительных сил, как *потенциальные производительные силы*, иначе они беспомощно повиснут в воздухе, и мы не получим ни в коем

¹ Маркс, «Ницета философии», ГИЗ, 1920 г., стр. 94.

² Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Московский Рабочий», 1924 г., стр. 291.

случае динамики развития производительных сил, возмущения производительных сил.

Безработица или бездействующая, вследствие неблагоприятной конъюнктуры, машина временно не находит себе применения. Противоречие между производством и обменом (проблема рынков) в капиталистическом обществе приводит часто к неполной нагрузке производственного аппарата. Но поскольку средства производства представляют еще общественную ценность, поскольку они не изнасились и из средств труда не обратились в предмет труда, который надо, например, переплавить в новое средство труда или просто выбросить, как ненужный хлам; или поскольку машина не потерпела моральный износ, она есть еще средство производства и потому представляет *потенциальную* производительную силу, которая дает производственный эффект в следующий за кризисом и угнетением период хозяйственной жизни.

Если рабочий—не инвалид труда и если он выбрасывается за борт общественного производства и становится безработным, его рабочая сила хотя в некоторых случаях и истощается, гибнет вследствие голода и всяких лишений, но в общей массе не уничтожается. Фактом своего существования она (рабочая сила) пред'являет требование на общественную ценность и представляет таковую. Между работниками и орудиями труда существовала тесная и неразрывная связь. Уже факт первоначального накопления, говорит Маркс, есть «ряд исторических процессов, результатом которых было уничтожение этой связи... Но раз произошло такое отделение рабочего от орудий его труда, то это положение вещей должно само собой поддерживаться и возобновляться в постоянно возрастающих размерах, пока новый и коренной переворот в способе производства не уничтожит его и не восстановит первоначальной связи в исторически новой форме»¹.

Вслед за Марксом и Энгельс показывает возмущение производительных сил против способов производства.

Будучи по своей сущности активной, рабочая сила в эти периоды становится особенно революционной. Во время кризисов, говорит Энгельс, «*производительные силы восстают против способов производства, который они переросли...*» требуют с все возрастающей энергией устранения противоречий... Весь механизм капиталистического производства отказывается служить под тяжестью им же самим порожденных производительных сил»².

Рабочая сила, оторванная от средств производства институтом частной собственности, борется в стремлении соединиться со средствами производства, стремится обобществить их так же, как обобщест-

¹ Маркс, «Зарплата, цена и прибыль», изд. ВЦИК, 1918 г., стр. 31. Прим.: Интересно знать, как может уложиться это положение Маркса с пониманием производительных сил тов. Бернштейном? Ведь тут получается, что противоречия внутри производительных сил устраняются благодаря изменению способов производства; это еще лишний раз доказывает необходимость отдельного рассмотрения методов и способов производства от средств производства и рабочей силы.

² Энгельс, «Анти-Дюринг», изд. «Моск. Рабочий», 1904 г., стр. 311—312.

ствилась она сама, и в этой борьбе загорается и в отдельных своих частях погибает. Маркс говорит, что рабочие и средства производства, «находясь в состоянии отделения одних от других, и те и другие являются его (т.-е. производства. Е. К.) факторами лишь в возможности».

Следовательно, находясь в состоянии отделения друг от друга, и рабочая сила и средства производства все же не теряют свойства быть факторами общественного производства.

Можем ли мы то же самое утверждать вместе с Марксом, если вычеркнем одним махом, не задумываясь, безработицу и временно бездействующую машину из понятия производительных сил капиталистического общества? Конечно, нет! Не включив эти моменты в понятие производительных сил, нельзя утверждать, что они—факторы производства. Временный упадок производительных сил таит в себе возможность нового под'ема путем своеобразно вновь построенного комплекса вещественных и личных элементов производства. Этим самым положением рамки самого понятия производительных сил расширяются, и они принимают, как неоднократно упоминает Маркс в «Капитале», характер «общественных» производительных сил, при чем сил не маленького отрезка времени, а значительно большего, когда возможно не только фиксировать тот или иной факт, а уловить тенденцию, закономерность развития взятой в целом общественной формации.

Вывод из всего вышеизложенного тот, что проблема производительных сил рассматривается Марксом обязательно в пределах всего общественного воспроизводства. Если расширенное воспроизводство капитализма есть вместе с тем и расширенное воспроизводство его противоречий, то корень этих противоречий таится именно в материальном производстве, в производительных силах. Поэтому необходимо рассматривать проблему производительных сил в динамике всего общественного процесса, а это обязывает включить в них (в производительные силы) не только отдельные факторы, из которых складывается это понятие, но и противоречия, им имманентные, противоречия, которые динамируют их.

Чрезвычайная подвижность производительных сил и рост противоречий внутри производительных сил вызывают и углубляют противоречия их с общественными производственными отношениями.

Капитализм на высшей фазе своего развития создает «обширное, продолжительное и сложное движение... великое историческое движение, рождающееся из столкновения между производительными силами и производственными отношениями» (письмо к Анненкову).

Тенденции этого движения таковы, что в конечном счете производительные силы перерастают буржуазную форму их использования. Конфликт, заключенный между производительными силами и способом производства, разрывает, взрывает оболочку производительных сил, т.-е. социальную структуру капитализма.

Е. Кафафова.

От редакции: Статья печатается в порядке обсуждения.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СССР В ОСВЕЩЕНИИ «СОВЕТСКОЙ» БУРЖУАЗИИ¹

«Но когда гг. профессора берутся опровергать социализм, не знаешь, чему больше удивляться, их тупости, или их невежеству, или их недобросовестности...».

(Ленин, собр. соч., т. XII, гл. 2, стр. 401).

1. Буржуазный «интернационал» в политической экономии

Группой иностранных экономистов предпринято издание четырехтомного сборника, освещающего современное состояние теоретической экономики во всем мире. В своем предисловии Ганс Майер, играющий роль главного редактора, жалуется на то, что теоретическая работа ограничена национальными рамками и что очень часто приходится узнавать о теоретических достижениях в других странах из вторых и третьих рук и то по недоброкачественным и случайным источникам. Рекомендуя читателю выпускаемый сборник, Ганс Майер уверяет, что потребитель его продукции получит изложение самой «об'ективной» и самой «чистой» науки из рук ее настоящих творцов.

Где же находится об'ективная наука? Кто ее представляет?

Ганс Майер знает «секрет об'ективной науки» и посвящает поэтому сборник памяти представителя австрийской буржуазной школы—Визера. Уже одним этим редакция недвусмысленно определяет *направление* своей об'ективности и сверхклассовой беспристрастности. Все же Ганс Майер уверяет нас в том, что в его издании мы найдем собранных со всех концов света «представителей современного политико-экономического исследования». Формально редакция выполнила или почти выполнила свое обещание: в сборнике имеются статьи ученых не только Англии, С.-А. С. Ш., Германии, но даже Швеции, Греции, Италии, хотя нет, например, Китая. Но Китай и подобные страны для буржуазной науки не существуют: находящиеся на службе мирового империализма ученые уподобляются тому крыловскому животному,

¹ О статье проф. В. Я. Железнова «Россия» в сборнике «Современная теория народного хозяйства». Вена, 1927 г., т. I. (Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, W. J. Gelesnov «Russland», Wien, 1927 г., Band I.).

которое лежит под дубом и даже не интересуется происхождением жолудей, то-бишь сверхприбыли, при помощи которой буржуазный ученый мир привязывается к империализму и им откармливается.

По существу же редакция взяла на себя слишком смелое задание, обещав продемонстрировать представителей *современной* теоретической мысли отдельных стран.

Посмотрим, как выполнено это обещание по отношению к СССР?

Представителем современной экономической мысли в СССР выступает проф. Железнов.

Нельзя сказать, чтобы за проф. Железновым числились какие-нибудь вклады в науку, совсем наоборот. Несмотря на всю его масти-тость и многолетнюю работу, он ничего примечательного и оригинального в политическую экономию не внес.

Однако еще больше изумления вызывает другое обстоятельство.

Как это ни странно, но работникам в области советской экономики приходится из немецкого источника узнавать, что Железнов является *представителем современной экономической теории СССР*.

Это тем более странно, что Железнов к современной экономической мысли СССР не имеет никакого отношения.

Над чем упорно и мучительно работает экономико-теоретическая мысль в СССР? В чем заключается то *специфическое*, наиболее *характерное*, чем заняты современные теоретики СССР? Имеется одна центральная группа вопросов, которая властно поставлена перед нашими экономистами всем существом того переходного периода, который мы переживаем. Это — проблема переходной экономики СССР, находящейся на длинном историческом перевале от капитализма к социализму.

Ни по тем работам, которыми вообще известен проф. Железнов, ни даже по тем своим работам, на которые ссылается профессор Железнов в своей статье, нельзя сказать, что он занимается исследованием *хотя бы одной из основных проблем советской экономики*. Занимается ли он теорией переходного периода в целом, разрабатывает ли он отдельные проблемы: проблему индустриализации, проблему трансформации капиталистических и полукapиталистических хозяйств в социалистические, проблему планирования и аналогичные проблемы, действительно имеющие отношение к тому, чем занята теоретическая мысль СССР в настоящее время?

Но экономисты СССР занимаются также вопросами мирового хозяйства, общими вопросами теории капитализма и т. д. Эти вопросы разрабатываются у нас преимущественно *под марксистским углом зрения*. Является ли Железнов в этом смысле (т.-е. «как марксист») представителем СССР?

Достаточно только поставить эти вопросы, чтобы понять, что проф. Железнов представляет на мировой арене «современную Россию» (речь идет, ведь, о настоящем, реально существующем СССР, а не о России № 2) вовсе не потому, что он является «центральной фигурой» нашей современной теоретической работы. Ведь Железнов выступил в таком концерте, перефразируя известное выражение Маркса, где господствуют Ганс Майер, Фридрих Визер, Иосиф Шумпетер (один из

важнейших соавторов сборника) и... капитал. На такой арене может выступать человек только *определенного* теоретического направления.

Экономист, выступающий в буржуазно-теоретическом интернационале, должен твердо помнить, что всеобщим и непререкаемым условием «объективной» науки является вражда к марксизму. Этого условия наш профессор не забывает: в симпатиях к марксизму его статьи заподозрить нельзя.

Необходимо в связи с этим рассеять одно недоразумение, что, между прочим, и даст нам возможность судить о том, насколько правильно проф. Железнов освещает теоретическую работу в нашей стране. Как проф. Железнов интерпретирует «объективную» работу наиболее близкого к нему экономиста, т.-е. самого себя?

В одном месте своей статьи (стр. 161—2) он, ничтоже сумняшеся, причисляет себя к марксистам, ссылаясь на первое издание своей книги «Очерки политической экономии»¹. Мы не имеем под рукой *первого* издания железнновских «очерков» и потому не станем оспаривать его утверждения. Но уже в одном из последующих изданий «очерков» читаем буквально следующее: «Мы можем теперь подвести итоги результатам работы двух охарактеризованных нами главных направлений в теории ценности (теория трудовой стоимости и теория предельной полезности. Р. В.)... при *беспристрастном рассмотрении нельзя не видеть, что по существу они не враждебны, а дополняют друг друга*»². Теория предельной полезности обратила главное внимание на процесс оценки хозяйственных благ независимо от условий их происхождения; трудовая (?) теория, напротив, исследовала по преимуществу значение для установления ценности трудового происхождения хозяйственных благ. Поэтому при известных предположениях *возможен синтез обеих теорий*»³.

Таким образом, Железнов, если он даже «примыкал» когда-нибудь с одного конца к марксизму, успел уже давным-давно скатиться на путь эклектики, на путь примирения двух непримиримых в политической экономии школ.

Впрочем, уже в предисловии к 7-му изданию «очерков», написанному автором в конце 1911 г., он заявляет, что «самым крупным явлением в движении экономической мысли за последние годы был теперь уже вполне отчетливо наметившийся поворот к *чисто теоретической работе*, целью которой все более и более становится *синтез основных положений, установленных классической школой и ее продолжателями и школой предельной полезности*»⁴.

Не вдаваясь в мало интересный вопрос о том, поворачивал ли проф. Железнов свои теоретические воззрения вместе с «движением экономи-

¹ «In derselben Zeit versuchte der Verfasser dieser Zeilen eine systematische Bearbeitung der Hauptgrundsätze der Nationalökonomie, die der allgemeinen marxistischen Bewegung entsprach: «Umrissen der politischen Oeconomie—Otscherki polit. Ekonomii» (S. 161—162).

² Курсив везде наш. Р. В.

³ В. Я. Железнов, «Очерки политической экономии». Изд. 8, стр. 426—427.

⁴ Там же, стр. 9.

ческой мысли», или он вовсе не имел надобности «переворужаться» и отходить от марксизма, мы отметим только следующее. Как показывают все последние работы Железнова, в том числе и разбираемая нами статья его в сборнике Майера, он с марксизмом ничего общего не имеет. Почему же Железнов столь невыгодно клеветает на себя и свои «очерки», говоря, что он причастен к марксизму, и нигде, в дальнейшем изложении, не упоминает о своем разрыве с марксизмом? Объявляется это *двойственным положением* буржуазного профессора, работающего в стране пролетарской диктатуры, где марксизм господствует идеологически (и не только идеологически). Брошенная мимоходом «марксистская» тень на самого себя является как бы мелкой монетой, которую буржуазный профессор платит пролетарской общественности в связи с экспортом своих идей в капиталистические страны. Но эта «мелочь» сторицей окупается тем выводом из статьи, который действительности не соответствует, но которым Железнов весьма утешает себя. Вывод этот заключается в том, что в настоящее время в СССР, на заре второго десятилетия пролетарской диктатуры, политическая экономия *сохраняет строгость и чистоту методов и приближается, таким образом, к общепризнанным во всем мире тенденциям развития научной экономической мысли*¹.

Мы увидим в дальнейшем, что под этим невинно вегетарианским выводом кроется слишком знакомая буржуазная фальшь и не знающая границ ловкость рук. Здесь несобходимо отметить только, что если «во всем мире» и устанавливается общность теоретического познания, то это имеет место на *буржуазной* основе. Однако никакого «всего мира» нет, а есть (говоря о *господствующих тенденциях*) две части: СССР и капиталистические страны. Не может быть двух мнений, что Железнов под «всем миром» понимает именно вторую часть. Таким образом, выступая по самодельному паспорту от имени СССР, он взял на себя нелегкую задачу: *доказать, что в стране советов господствуют буржуазные (или близкие к ним) теоретические течения.*

2. Ничтожная роль Плеханова и великое историческое значение... Дмитриева и Литовченко

Для того, чтобы выполнить эту весьма нелегкую задачу и доказать недоказуемое, наш профессор, исходя из «строгости и чистоты методов», прибегает к способу, в «чистоте» которого позволено усомниться. Он молчаливо объявляет *несуществующими* всех марксистов СССР. Более того, он таким же «чистым» способом ликвидирует и все научные учреждения, ведущие теоретическую работу (например, Коммунистическую Академию).

Из всей сети научных экономических лабораторий, которыми по праву гордится СССР, остался один только ФЭБ НКФина СССР с... «самим» Железновым и группой близких к нему людей.

¹ «...und dabei die Strenge und Reinheit der Methoden zu wahren; dadurch nähert sie sich der allgemeinen Entwicklungstendenz der Wirtschaftswissenschaft der ganzen Welt» (S. 181).

Излагая *современные* теоретические воззрения СССР, проф. Железнов не находит ничего лучшего, как сослаться на текущую работу, ведущуюся под его руководством в НКФине СССР, и на работу примыкающих к нему буржуазных профессоров (Новожилова, Силина, Шапошникова, Каценеленбаума и др.).

Кто это? Марксисты? Железнов чистосердечно заявляет, что все они вместе с ним являются в вопросах денежного обращения *сторонниками психологического направления количественной школы*¹.

В качестве вклада в современную науку Железнов отмечает и собственную статью «К вопросу о натуральном и ценностном аспектах экономических явлений» в сборнике «Вопросы конъюнктуры» (1925 г., т. I, изд. НКФина СССР).

О теоретическом эклектизме и о социально-политических истоках этой статьи мы имели уже случай высказываться². Ни сам автор, ни какой-нибудь мало-мальски разбирающийся читатель не могут на основании этой статьи заподозрить проф. Железнова, что в теоретическом отношении он расходится с «общепризнанными во всем мире тенденциями развития». В этой статье, которая является одним из новейших теоретических выступлений автора, Железнов беспомощно цепляется в вопросах стоимости то за одну школу, то за другую, но с марксизмом целиком и безоговорочно покончил. В той же статье «К вопросу о натуральном и ценностном аспектах» Железнов высказывает о производительном и непроизводительном труде такие взгляды, которые во многом совпадают с неправильной трактовкой той же темы тов. Базаровым в брошюре³, вышедшей еще в конце прошлого столетия. Однако ни в «вопросах конъюнктуры», ни в рецензируемой нами немецкой статье Железнов о своем родстве даже с неправильными взглядами Базарова не упоминает. Не объясняется ли это «неудобством» теоретического общения с марксистами, если они даже высказывают далекие от марксизма взгляды, следует ли искать других объяснений?

Начиная историю экономических идей со времени Александра I, Железнов «на самом интересном месте» делает крутой поворот, отказываясь излагать марксистские идеи, начиная с периода 1900-х годов. Свой отказ Железнов мотивирует появлением ревизионизма в германской социал-демократии и образованием различных течений в русском марксизме. Далее он ссылается, во-первых, на недостаток места в рамках статьи и, во-вторых, — на то обстоятельство, что этому вопросу

¹ In allgemeinen ist das theoretische Denken auf diesem Gebiete von dieser oder jener Variante der Quantitätstheorie beherrscht, gewöhnlich mit vorbehalten verschiedener Art, sei es durch die Anerkennung der grossen Bedeutung der psychologischen Faktoren (Schaposchnikow, Nowoschilow, Kazenelenbaum, Silin, Jurowski und auch der Autor dieser Zeilen), sei es durch Erwägung über die grosse Kompliziertheit der wirklichen Erscheinungen des Geldumlaufes, denen die Quantitätstheorie nicht gewachsen wäre (Sokolow) (S. 180).

² См. журнал «Плановое Хозяйство» за 1926 г., № 12, заметку под названием «Таинственные сумерки жизни».

³ В. Базаров, «Труд производительный и труд, производящий ценности». СПб., 1899 г.

в сборнике будет посвящена особая статья¹. Внимания заслуживает только второе обстоятельство. Но что же в таком случае получается? Получается то, что в изложении Железнова «вылетает» за борт целиком и полностью период теоретической работы марксистов в подпольи и— что особенно важно—целое десятилетие советской власти, т.-е. как раз современная теоретическая работа марксистов. Сказать, что можно дать хотя бы самую общую и беглую характеристику *современной теоретической работы СССР* (а ведь в этом *основная* задача статьи Железнова для немецкого сборника), минуя марксистов, вряд ли решится даже сам Железнов. *Он этого не говорит, но делает.*

Получается, таким образом, *полное извращение действительности*. Железнов пишет, например, о теоретической работе Кондратьева в области исследования конъюнктуры, но не упоминает о марксистской антикритике этого исследования.

Кондратьевщина, которая представляет собою в наших условиях наиболее ярко выраженное *буржуазное* течение, оказывается, по Железнову, *безраздельно* господствующей в *пролетарской* стране. Что же это такое: сознательное жульничество или простота душевная? И то и другое с ролью добросовестного историка резко расходится.

Перечисляя всех мало-мальски известных в старой России и в СССР представителей австрийской и математической школы, «объективный историк современности» даже ни одним словом не обмолвился о существовании книги Бухарина «Политическая экономия рантье», выступающей против австрийского «учения».

В качестве «теоретической» работы проф. Железнов не преминул упомянуть *брошюру* Литошенко «Национальный доход СССР». Получается так, что в СССР, на десятый год пролетарской революции, *после* коммунистов, ни внепартийных марксистов, которые этим вопросом занимаются.

Говоря о брошюре Литошенко, не мешает вспомнить, что сей профессор советской страны рассматривает «суммы отдельных отраслей производства», как «псевдохозяйственные величины»².

Так как в брошюре о национальном доходе Литошенко исходит из того ложного положения, что человеческого общества в действительности не существует, а имеется только множественность отдельных хозяйств, то мнимая «современная теория СССР» в образе Литошенко впадает в вопиющее противоречие со всем нашим социалистическим строительством, исходящим из принципа примата общества и коллектива над индивидуумом.

¹ «...es entstand und verbreitete sich rasch die sogenannte revisionistische Strömung in der deutschen Sozialdemokratie und teils unter deren Einfluss, teils durch selbstständiges Studium der philosophischen und methodologischen Fragen spaltete sich der junge russische Marxismus in einige Richtungen, deren Entwicklung wir hier einerseits aus Platzmangel, andererseits und hauptsächlich aber deshalb nicht verfolgen können, weil im Programm dieses Sammelwerkes den neuesten russischen sozialistischen Theorien ein spezielles Kapitel zugewiesen werden ist» (S. 162).

² Проф. Л. Н. Литошенко, «Национальный доход СССР», М., 1925 г., стр. 7.

Но что можно сказать о художнике, который, имея задание нарисовать коня, ограничился бы тем, что разрисовал бы один только хвост и притом во всех нужных и ненужных деталях? А таким художником, к сожалению, выступает перед всем миром проф. Железнов, игнорируя роль марксизма в СССР.

Можно было бы привести ряд аналогичных примеров, свидетельствующих о том, что в изложении Железнова получаются своеобразные ножицы между действительностью и «современной экономической теорией».

Мы видели выше, что Железнов, уклоняясь от изучения роли марксизма в русской экономической мысли, нашел для страусовой головы приют под крылышком *многообразия* марксистских течений со времени появления ревизионизма на Западе. Но был период и до «ревизионизма», когда марксизм уже влиял на русских экономистов. Как Железнов с этим периодом справляется?

Укажем один только штрих. Излагая хронологию «теорий» (до ревизионизма), Железнов натолкнулся на Плеханова. Как быть? Объявить Плеханова человеком, не имеющим отношения к экономике, неудобно. Ведь до того Железнов рассказывает, например, о Герцене, который тоже не был экономистом *par excellence*. Далее, если даже не останавливаться специально на экономических работах Плеханова (заслуживающих, по крайней мере, не меньше внимания, чем работы Литошенко, Поплавского и др. «корифеев» науки), то следует все же поставить вопрос о том, как влияли философские работы Плеханова на русскую экономическую мысль. Железнов дает лаконический ответ: *никак*. Почему? Наш профессор, повидимому, лишенный чувства смешного, дает следующее обяснение: «Так как Плеханов, будучи эмигрантом, мало выступал в русской легальной печати, то он на русское общественное мнение имел мало влияния» (стр. 161)¹.

Ясно, что речь идет о русском *буржуазном* общественном мнении, на которое Плеханов, действительно, не имел научно-теоретического влияния или имел чрезвычайно слабое влияние. Во всяком случае запомним, что, в силу «сенатского разяснения» Железнова, в историю русской экономической мысли могут войти только люди, имевшие влияние на буржуазную науку, не являющиеся эмигрантами и вообще известные «общественности». Заручившись этим «незыблемым» критерием Железнова, последуем за его изложением дальше. Ровно через 10 страниц (стр. 171) начинается воскуривание фимиама экономисту Дмитриеву. Памятүя критерий Железнова, примененный по отношению к Плеханову, мы обращаемся с естественным вопросом: в какой степени Дмитриев был признан буржуазным общественным мнением? Вот авторитетное свидетельство проф. Железнова: «Работы Дмитриева, которые *обратили на себя мало внимания*, имели большое влияние на теорию стоимости и распределения» (стр. 171)².

¹ «Da er (Plechanow) aber als politischer Emigrant wenig in der legalen russischen Presse auftrat, hatte er wenig Einfluss auf die russische Gemeinschaftsidee» (S. 161).

² «Die Arbeiten von Dmitriew, die in die Öffentlichkeit wenig Beachtung finden, übten einen grossen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Wert- und Verteilungstheorie aus» (S. 171).

Оказывается, что Дмитриев, так же, как и Плеханов, не пользовался вниманием буржуазной общественности. Почему же, однако, значение Дмитриева столь огромно? На этот вопрос Железнов отвечает несколькими строками выше. Дмитриев выступил с рецензией против Туган-Барановского в то время, когда последний еще грешил марксистскими увлечениями, и—что для Железнова наиболее важно—Дмитриев «не был марксистом». В своих первых теоретических работах он об'явил себя решительным сторонником математического направления» (стр. 171)¹.

Понятно, что «какой-нибудь» Плеханов или «какой-нибудь» Ленин не могут тягаться с Дмитриевым, ибо последний... сторонник математической школы. Ленину же Железнов уделил 2—3 строчки, не упомянув даже о его «Развитии капитализма в России». Чего стоит такой «об'ективизм» железновской теории? Пусть судят об этом добросовестные не-марксисты, но имеющие представление о колоссальном непревзойденном влиянии Плеханова и Ленина на русскую общественную мысль. Хотя Железнов старается не говорить о марксистах после раскола между ортодоксами и ревизионистами, однако, он уделяет много внимания более поздним работам quasi-марксиста Туган-Барановского. Почему? Да потому, что «среди марксистов М. И. Туган-Барановский был с самого начала *единственным и решительным сторонником теории предельной полезности*» (стр. 170)².

Весь подбор материалов и авторов выдает симпатии Железнова к австрийцам и математикам. Мы ни на йоту не покушаемся на личные симпатии Железнова. Но почему же Ганс Майер дурачит публику, уверяя, что весь сборник и статья Железнова, в том числе, гарантируют от случайного и недоброкачественного освещения экономической теории?

3. Струве и марксисты

Кто, по Железнову, наиболее выделяющийся теоретик? Оказывается Струве, который является «самым значительным теоретиком из марксистского лагеря девяностых годов» (стр. 167)... В этих словах Железнов раскрыл свой секрет *формального замалчивания* роли ортодоксальных марксистов. Возводя Струве в ранг «критически-мыслящих» марксистов, Железнов не забывает упомянуть о лозунге Струве «на выучку к капитализму»—лозунге, имеющем весьма отдаленное отношение к «чистой» науке.

Если сопоставить отношение к Струве со стороны Железнова в разбираемой нами статье и в другой его статье, в «Вопросах кон'юнктуры», написанной два года тому назад, то можно заметить существенную разницу. Первая по времени статья, предназначенная для советского читателя, испытывает на себе давление советской общественности.

¹ Dmitriew «war kein Marxist. In seiner ersten theoretischen Arbeiten erklärte er sich als entschiedener Anhänger der mathematischen Richtung» (S. 171).

² «Unter den Marxisten war gleich am Anfang M. I. Tugan-Baranowski der einzige und entschiedene Anhänger der Grenznutzentheorie».

В этой статье Железнов не солидаризируется со Струве открыто и непосредственно, а протягивает ему руку, опираясь на чрезвычайно путаную книжку Юровского «Очерки по теории цены» (1919 г.), отражающую на себе весь тот теоретический сумбур и сумятицу, которую Октябрьская революция внесла в умы буржуазной интеллигенции.

В немецкой же статье отношение Железнова к Струве совсем иное. Он считает его величайшим из марксистов. Критиковал ли кто-нибудь Струве? Выступал ли кто-нибудь против него? По «авторитетному» свидетельству Железнова, никто, кроме Чупрова, против Струве не выступал. По крайней мере, на других критиках Струве Железнов не останавливается. Обо всем том резком и сокрушительном отпоре, который струвианское учение получило со стороны ортодоксальных марксистов, железновская история с железным упорством умалчивает.

В своих теоретических построениях Струве потерял всякое представление о теории стоимости и докатился до самой вульгарной замены теоретической экономии статистикой. Выступали ли марксисты против Струве? Напомним проф. Железнову лишь одни заключительные слова бухаринской статьи «Фокус-покусы господина Струве»: «Уничтожив», Струве «строит». Ценность, по его мнению, может иметь только один смысл: это некая статистическая средняя («типическая ценность»). Но как строятся отдельные меновые пропорции,— это *questio facti* (вопрос факта; 96).

«Вот жалкий результат пятнадцатилетнего труда!».

«Его теория ценности не есть теория ценности, а выводы статистических средних, составление преискуранта; его теории цены тоже не существует, ибо образование цен — *questio facti*. Что же остается? Остается одно пустое место и одно (тоже пустое) обещание г. Струве... Таков трагический финал комического зрелища».

Согласен ли проф. Железнов с тов. Бухариным или нет—это вопрос особый. Но молчаливое утверждение, *будто только* Чупров выступал против Струве—это как прикажете называть?

У Железнова есть, однако, одно смягчающее вину обстоятельство, правда, крайне слабое. Дело в том, что статья т. Бухарина была напечатана в журнале «Просвещение» лишь в 1913 году, т.-е. в такое время, когда не только теоретический, но и политический раскол между русскими марксистами давным-давно был уже налицо, что, в свою очередь, якобы освобождает Железнова от необходимости останавливаться на марксистских работах.

Правда, только с этого времени начинается вполне развернутая борьба марксистов против теории ценности Струве, ибо только тогда Струве выступил во всей своей теоретической «красе». Ведь и «сам» Железнов, излагая теорию политической экономии, ссылается на работы Струве в период 1912—1916 гг. Если бы мы спросили Железнова, почему он проявляет явную непоследовательность и излагает «марксиста» Струве, не противопоставляя ему никакой марксистской антикритики, он мог бы справедливо ответить, что Струве—этот «самый значительный теоретик из всех марксистов»—вовсе не «марксист» и не социалист. С таким возражением нетрудно было бы согла-

ситься. В пользу этого говорит не только теоретическая, но и политическая «эволюция» Струве. Как известно, Петр Бернгардович Струве, который был социал-демократом и даже автором «Манифеста» РСДРП (на I Съезде), откатился затем к земцам-конституционалистам и к кадетам и черносотенцам, дошел впоследствии («до жизни такой»), что удостоился портфеля в правительстве Врангеля, и находится в настоящее время на правом фланге нашей белогвардейской эмиграции.

Есть, однако, одно марксистское произведение против Струве, которое Железнов *удостаивает упоминания*. Это—работа К. Тулина (В. И. Ленина) «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве», 1894 г.

Железнов останавливается на содержании книги Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», но ни слова не говорит о содержании упомянутой статьи Ленина против книги Струве. *Такое замалчивание*, вернее, загушевание, Ленина в такой связи уже ничем оправдать и объяснить нельзя.

Замалчивание этой статьи Ленина мы считаем недопустимым даже при учете той формальной отписки, по которой Железнов не обязан писать о марксистах после появления ревизионистов в германской с.-демократии. Начало немецкого ревизионизма связано с именем Эдуарда Бернштейна, который выступил против марксизма по всем вопросам. Особенно активная ревизионистская работа Бернштейна начинается с 1901 г. в журнале «Socialistische Monatshefte» («Социалистический ежемесячник»), а его влияние на мелкобуржуазную часть русского рабочего движения сказывалось еще позже. Если даже отнестись запретную дату Железнова писать о марксистах к 1899 г., когда Бернштейн выступил со своей брошюрой «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии», или к 1898 году, когда Бернштейн обратился со своим пресловутым письмом к Штуттгартскому партийному немецкой социал-демократии, или, наконец, ко времени обращения Бернштейна с письмом к Энгельсу по поводу III тома «Капитала», то *все эти даты относятся к периоду после 1894 года*, т. е. после решительной схватки между Лениным и Струве¹.

Факт замалчивания Железновым борьбы Ленина против Струве в начале 90-х годов, при одновременном пропагандировании в своей статье взглядов Струве и струвистов, не является со стороны нашего почтенного профессора случайной ошибкой. Мы позволим себе остановиться на утаенной Железновым статье Ленина, так как эта статья не только указывает Струве его настоящее место в истории русской экономической мысли, но поможет нам понять и скрытую железновскую философию. Мы идем навстречу Железнову и ссылаемся не на

¹ Мы имеем в виду теоретическую работу ревизионистов, а не трактовку практических вопросов в *реформистском* духе, начатую, например, Фольмаром в 1890-х гг. Железнов пишет о *теоретическом* влиянии немецкого ревизионизма на русскую социал-демократию. Поэтому мы и говорим о теоретической работе, которую возглавлял Бернштейн. Наиболее сильные бои между ортодоксами и ревизионистами происходили в печати и на партийтагах уже в течение *двадцатого* столетия.

марксистские работы вообще, а только на того автора (Ленина) и на ту статью его, которую сам Железнов упоминает. Железнов украл у иностранного читателя только содержание статьи Ленина, но не ее название. И на том спасибо!

4. Струвианский «об'ективизм» и научная «самостоятельность» Железнова

Упомянутая Железновым статья Ленина «Экономическое содержание народничества» тем более интересна, что, во-первых, Ленин и Струве выступали тогда против общего противника—«народников», и, во-вторых, Струве считался тогда марксистом, и Ленин, во многом соглашаясь с ним, выставлял в сравнении с более поздними дискуссиями только «минимум» разногласий. Но, что наиболее важно, так это то, что *в этом минимуме разногласий* ясно выступают почти все основные водоразделы, по которым ортодоксальным марксистам приходилось впоследствии бороться против струвианского мракобесия.

Уже в то время основное расхождение между марксистом Лениным и «марксистом» Струве заключалось в том, что последний, выражаясь его собственными словами, примыкал «по некоторым основным вопросам к совершенно определенным взглядам в литературе, «нисколько не считал себя связанным буквой и кодексом какой-нибудь доктрины» и «*ортодоксией не был заражен*». Эта характеристика, данная самому себе со стороны Струве, открывает многое, если не все. Ленин же считал себя *ортодоксальным марксистом без всяких оговорок*. Ленин критиковал Струве, как марксиста, и показал, что среди многих прочих вещей Струве скатывается к мальтузианству, не понимает капиталистического характера аграрного перенаселения России и т. д. Не останавливаясь на всех этих вопросах, отметим только вскрытый Лениным своеобразный «об'ективизм» Струве, имеющий, кстати сказать, прямое отношение к железновской братии.

В этом «об'ективизме» по существу кроются корни позднейшего отказа Струве от теории Маркса и его ренегатства в политических вопросах. В чем разница между «об'ективизмом», с одной стороны, и материализмом и марксизмом—с другой?

«Между этими понятиями,—говорит Ленин (системами воззрений),—есть разница, на которой следует остановиться, так как неполное уяснение этой разницы принадлежит к основному недостатку книги г. Струве, проявляясь в большинстве его рассуждений».

«Об'ективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Об'ективист говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист говорит о том классе, который «заведует» данным экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия других классов. Таким образом, *материалист, с одной стороны, последовательнее об'ективиста и глубже, полнее проводит свой об'ективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту*

необходимость»¹. И далее: ... «узкий об'ективизм автора крайне опасен, так как доходит до забвения граней между старыми, так вкоренившимися в нашей литературе, профессорскими рассуждениями о путях и судьбах отечества, — и точной характеристикой действительного процесса,двигаемого такими-то классами. *Этот узкий об'ективизм, эта невыдержанность марксизма — основной недостаток книги г. Струве, и на нем необходимо особенно подробно остановиться, чтобы показать, что он вытекает именно не из марксизма, а из недостаточного проведения его*².

Знает ли уважаемый профессор Железнов, против кого направлены эти сокрытые им от иностранного читателя слова Ленина? Если он думает, что только против Струве, то глубоко ошибается.

Они попадают не в бровь, а в глаз Железнову, статья которого вся, от первой до последней строчки, построена по методу струвианского «об'ективизма», совершенно игнорируя социально-классовую сущность трактуемых проблем. Железнов обогатил струвианский методологический арсенал весьма немногим. Принимая рецепты Струве, он модифицирует их тем, что Ленин, например, исчезает там, где он должен быть, а какой-нибудь Силин появляется там, где он мог бы не быть. Его «история» превращается, таким образом, в сплошную клевету на современную политико-экономическую мысль СССР.

Быть может, проф. Железнов попытается найти ширму под тем предлогом, что рассуждения Ленина о марксизме и об'ективизме слишком далеки от «чистой» экономической теории, как-то: теории стоимости, социальной природы «блага», теории денег и... транспортной статистики, о которой проф. Железнов не забыл упомянуть на последней странице своей статьи. Мы считаем безнадежным и праздным занятием убеждать струвистов разных мастей в том, что вопрос о классах имеет отношение к политической экономии. Мы апеллируем только к «последовательности» нашего профессора и настаиваем на том, что вопрос о «классах» и разнице между «об'ективизмом» и «материализмом» в ленинском понимании имеет же меньшее отношение к предмету, о котором взялся писать Железнов, чем философия Бергсона о «психических факторах», о «чистом качестве» и о «качественной множественности»³. Железнову Бергсон понадобился для того, чтобы обосновать теорию Юровского. Для нас остается неясным только один вопрос: неужели для современной политической экономии, господствующей в СССР, разрабатываемой в наших научных учреждениях, преподаваемой в вузах, неужели для действительной экономической мысли во всех ее проявлениях более важен экономист Юровский, чем экономист Бухарин, и имеет большее значение философ Бергсон, чем тот же философ Плеханов? Иль «об'ективизм» Струве и Железнова представляет собой тайну за семью печатями?

¹ Ленин, т. II, изд. 1923 г., стр. 64—65.

² Там же, стр. 95.

³ «Die psychische Faktoren an und für sich eine reine Qualität oder eine qualitative Mannigfaltigkeit bilden» (S. 174).

При всем своем подобострастном отношении к Струве, проф. Железнов не доволен той чрезмерной абстрактностью, которая замечается у Струве в теоретической работе «Хозяйство и цена»; он даже сравнивает его с Булгаковым. «Основная мысль этого произведения, — говорит Железнов, — теряет в своей ценности благодаря столь изысканному теоретическому радикализму, как приведенные выше взгляды С. Булгакова, хотя Струве не столь наивен в вопросах методологии»¹.

В этом вопросе Железнов безусловно прав. В отличие от абстрактно-аналитического метода Маркса, Струве настолько местами абстрагирует вопрос, что существо данной проблемы либо исчезает вовсе, либо предстает в извращенном виде. На такой основе можно построить какие угодно произвольные выводы.

Является ли, однако, чем-то новым такая черта у Струве? Проявилась ли она только при написании им «Хозяйства и цены»?

Уже в 1894 г. Ленин подметил эту черту у Струве. Достаточно просмотреть только ту работу Ленина против Струве, содержание которой проф. Железнов скрыл, чтобы в этом убедиться.

Ленин открыл у Струве чрезмерную, доходящую до бессодержательности «абстракцию» уже в характеристике социальных корней народничества. Говоря о том, что Струве в качестве источников народничества отмечает их взгляд на роль личности в истории и на роль самобытности русского народа, Ленин замечает следующее: «Такая характеристика сущности народничества требует, мне кажется, некоторого исправления. Она слишком абстрактна, идеалистична, указывая господствующие теоретические идеи народничества, но не указывая ни его «сущности», ни его «источника»². Или: «Основная ошибка г. Михайловского именно и состоит в абстрактном догматизме его рассуждений, пытающихся обнять «прогресс» вообще вместо изучения конкретного «прогресса» какой-нибудь конкретной общественной формации. Когда г. Струве выставляет против г. Михайловского свои общие положения (вышеописанные), он повторяет его ошибку, отходя от изображения и выяснения конкретного процесса в область туманных и голословных догм»³.

Тот же «недуг» отмечает Ленин у Струве и при анализе вопросов не социологии, но конкретной действительности русской экономики. Таких мест можно отметить в ленинской критике струвизма огромное количество. И ни одного из них бедный Железнов не замечал в упомянутой им статье Ленина, хотя он сам не прочь слегка пожурить Струве за тот же «грешок».

Это получается у нашего профессора некругло уж со всех точек зрения.

¹ «Der Grundgedanke dieses Werkes von Struve verliert aber an Wert durch einen ebenso ausgeprägten theoretischen Radikalismus, wie die oben erwähnten Ansichten von S. Bulgakow, obwohl Struve in methodologischen Hinsicht nicht so naiv ist» (S. 165).

² Ленин, т. II, стр. 60.

³ Там же, стр. 75.

Ленина интересует «абстрактность» Струве не только с точки зрения «чистой» методологии, но, что не менее важно, с точки зрения *социально-политической*. Если туманная абстрактность и голый схематизм означали в построениях народников прикрытие их мелкобуржуазной наивности, то в рассуждениях Струве сия методология представляет собою походную маскировку для отступления с позиций пролетариата на позиции буржуазии. Немудрено поэтому, что Ленин, которого всегда интересовал вопрос о том, куда, кто и что «растет», именно на этом участке фронта преследует Струве по пятам. Насколько тесна связь между «абстракцией» Струве и его политическим ренегатством, видно из следующих слов Ленина из той же статьи:

«Это покушение подняться выше классов приводит к крайней туманности положений автора (Струве), туманности, доходящей до того, что из них могут быть сделаны буржуазные выводы. Против неоспоримо верного положения, что капитализм в земледелии (как и капитализм в индустрии) ухудшает положение производителя,—он выдвигает положение о «выгодности» этих изменений вообще. Это все равно, как если бы кто-нибудь, рассуждая о машинах в буржуазном обществе, стал опровергать теорию экономиста-романтика, что они ухудшают положение трудящихся, доказательствами «выгодности благотворности» процесса вообще»¹.

Наши современные «советские» струвисты держатся этого метода твердо (если они даже расходятся с самим Струве в других вопросах). Одним из многих образцов такой «сверхабстрактной объективности» является немецкая статья Железнова, о которой у нас идет речь. Она построена таким образом, что совершенно не учитывает ни классовых противоречий, ни связи их с определенными теоретическими течениями. Такое построение гармонирует не только с поведением наших отечественных струвистов, но и со всем хором иностранных буржуазных экономистов. Достаточно указать на то, что в томе, посвященном общей характеристике состояния экономической науки в разных странах, почти не встречаются такие понятия, как «империализм», «колония» и т. п. Они для буржуазных ученых XX столетия не существуют вовсе (а в этом сборнике представлены и «Англия» и «Индия»).

Говоря о связи между классовыми интересами и теоретическими течениями, необходимо остановиться на одном тезисе Железнова. Он повествует о том, что марксизм теория стоимости с самого своего появления была почти безо всякой критики принята в России. Против этого утверждения, как против неправильной характеристики Чернышевского и еще много крайне неверного, написанного Железновым в отношении истории экономической мысли в России, мы не будем здесь спорить. Допустим, как утверждает Железнов, что в 1890-х годах прошлого столетия в России все, за исключением маловлиятельных представителей либеральной школы, были «*ортодоксальными марксистами*» в вопросах теории стоимости. Все обстояло хорошо. И вдруг—

¹ Ленин, т. II, стр. 128.

начался резкий поворот в сторону теории предельной полезности. Чем это объясняется? На этот вопрос проф. Железнов дает совершенно недвусмысленный и по существу недалекий от истины ответ: *«Лишь тогда, когда новейший марксизм превратился в сильное общественное движение, стали критически относиться к марксовой теории стоимости»¹* (стр. 168).

Оказывается, теория марксовой стоимости—область «чистой» науки—должна быть в спешном порядке заменена другой теорией. По поводу причин этого загадочного явления Железнов отмалчивается. Этой сомнительной добродетелью наш дипломат злоупотребляет сверх всякой меры. Необходимо за него ответить. «Чистая» теория Маркса сделалась орудием активной политики пролетариата: народилась промышленная буржуазия, для которой «чистая» теория Маркса смертельно опасна и которая должна либо приручать на социальной цепочке «доморощенных марксистов» (à la Струве), либо искать «чистую» теорию в более передовых странах.

Если нашим скрытым и открытым «струвистам» не понятна связь между «высокой» теорией и будничными классовыми интересами, пусть они вдумаются в заявление Железнова о том, что «поворот против марксовой теории стоимости» начался именно тогда, когда марксизм «превратился в сильное общественное движение». Что общего между «надклассовой», бесстрастной теорией стоимости и неизменным «общественным движением»? Бывает и на старуху поруха: Железнов, умеющий молчать, когда ему это выгодно, в данном случае проболтался.

А ведь он мог бы еще не мало написать в таком же духе, ибо он долгие годы наблюдал социально-политический и связанный с ним теоретический kaleidoscope нашей страны. Он этого не сделал по причинам, по которым буржуазный профессор, вообще, а «советский» буржуазный профессор, в частности, делает вид, будто он ничего, кроме крайне абстрактных категорий, в общественной жизни не замечает. Им это *классово-невыгодно*.

5. Заключение

Мы далеко не исчерпали всех перлов железновского выступления. Но сказанного достаточно для того, чтобы понять, как пишется об «объективная история».

Из статьи Железнова можно узнать, какие существовали экономисты, начиная от Шторха и Струве и кончая Залесским и Балугьянским. Он освещает экономические течения без надлежащей системы и связи. Методология изложения истории экономической мысли выражается у Железнова *в отсутствии всякой методологии*. Почему, например, в течение одного периода на русскую теоретическую мысль влияли Бентам и Сэй, в течение другого—Маркс, третьего—Бем-Баверк и т. д.? Ответов на эти вопросы у Железнова получить нельзя.

¹ «Erst mit der Entwicklung des neueren Marxismus als einer grossen sozialen Bewegung geht man daran die marxistische Werttheorie zu untersuchen. Da erst entsteht ein erhöhtes und ernstes Interesse für die Grenznutzentheorie» (S. 168).

«Сверхоб'ективный» профессор Железнов рассматривает теорию политической экономии, как какую-то «само-развивающуюся» идею, независимую ни от каких внешних влияний. Поэтому появляется на сцене то Шторх, то Герцен, то Плеханов и Чернышевский, то вдруг сам Железнов с Макаровым, Каценеленбаумом и Новожиловым. Но какие же исторические причины вызвали появление той или иной школы? С какими общественными классами связано появление того или иного течения? Чьи взгляды, чьи классовые интересы отражает на себе та или иная «независимая теория».

Не ищите у Железнова никаких ответов на эти вопросы. Он такими вопросами даже не задается. А между тем, вопросы эти нужно было сделать центром всего исследования.

Выхолостив классовую сущность из основных теоретических течений, оторвав каждое из них от своей социально-классовой пуповины, Железнову в конечном счете не удалось осветить ни истории экономической мысли, ни современного состояния ее в СССР. Он дал только обрывки верных и неверных сведений и обрек на неудачу попытку законченного научного исследования.

Укрываясь под формальными предлогами, Железнов фальсифицирует историю и состояние экономической науки в СССР. Поборник строгих методов спрятал господствующий в СССР марксизм и ленинизм под спудом и непропорционально выпятил струвианцев, математиков, коллечественников и прочие обломки истории.

Эти люди думают, что говорят внеклассовой поэзией, а на деле выражают мешанскую прозу и отображают буржуазную гниль. В этом смысле Железнов не совсем одинок: имеются у него единомышленники. Через их «об'ективную науку», которая местами процветает еще на Советской земле, проглядывает ослиное ушко той части буржуазии, которая сохранилась в стране. Наиболее благоприятной формой по существу и по историческим связям является для наших буржуазных теоретиков «струвизм» в самых разнообразных очертаниях. Своеобразие железнковского струвизма заключается в том, что с надклассовых небес, освященных ренегатством «легального марксизма», он временами срывается, по неосторожности наталкивается на классовые проблемы и, спохватившись, быстро шарахается назад.

В сладких грезах о былом величии буржуазной науки в России все эти Железновы, Кондратьевы, Силины и прочие готовы протянуть руку любой западно-европейской и американской доктрине, не замечая того, что в СССР они откинута далеко на задние позиции теоретической работы. И, копаясь в архивах истории, «железновцы» не замечают самого важного: того богатого научно-теоретического арсенала марксизма и ленинизма, который подготовил их ликвидацию.

Они не знают или делают вид, будто не знают о том, что представляемый ими общественный класс обречен на гибель во всех областях жизни и что в стране пролетарской диктатуры он в предсмертных судорогах цепляется за некоторые «командные высоты», спекулируя дефицитными товарами, отыгрываясь фальшивками не только в области валюты, но и в области науки.

Одно утешение осталось для них: их удельный вес в научно-теоретической области действительно немного выше, чем удельный вес тех классов и групп, взгляды которых они выражают. Но делать на основе этого вывод о том, будто в теории они господствуют, было бы столь же смешно, как утверждать, например, что в СССР господствует не пролетариат, а буржуазия.

Диспропорция между господством марксизма и ленинизма в области политики и экономики, с одной стороны, и в области научной работы—с другой, еще имеется. Но господам профессора не мешает твердо запомнить, что это—диспропорция временная, переходящая и что на такой диспропорции ничего им построить не удастся.

Железновское выступление в области истории и «теории» представляет собою продолжение повседневных выступлений других его собратьев в области экономической политики. Смысл этих выступлений один: скрытая, но беспощадная борьба против коммунизма, против пролетариата и в теории и на практике. Но плацдарм для их деятельности в СССР все больше и больше суживается. Ряды представителей социально-классовой «старинны» редуют. Коммунистическая партия и рабочий класс выдвигают свои собственные научные кадры. Более того, к ним из года в год примыкают новые кадры действительно советских и действительно марксистских работников из рядов беспартийной интеллигенции.

При таком положении вещей инвалиды от политики и науки, не гнушаясь никакими методами, стараются удержаться на поверхности. Временами они делают вылазку на «европейский материк» и попадают в роль «Дуньки» из пьесы «Любовь Яровая». «Пусти Дуньку в Европу»—и пустили ее вместе со всеми «теориями» и «историями». Получилась же из этого очень конфузная история.

Р. Вайсберг.

К ВОПРОСУ МАРКСИСТСКОЙ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ

I

В ряде тех вышедших за последние годы книг по вопросам искусства, авторы которых пользуются социологическим, или марксистским, методом, начинает нарастать число работ, образующих особую категорию или, может быть, даже особую школу социологического искусствознания. Теорию одного из представителей этой школы мы в свое время назвали «сверхматериалистической». Тогда еще о «школе» нельзя было говорить, но в настоящее время мы уже имеем несколько, сходящихся в своем сверхматериалистическом, т. е. более или менее а-диалектическом, схематически-материалистическом и однобоком понимании искусства, исследований, и мы можем говорить о сверхматериалистической школе искусствознания или по крайней мере о зародышевых формах ее. Лю Мэртен («Сущность и изменения форм»), Адольф Бене (его теория «картины, как категорического императива»), Арватов («Искусство и классы»), некоторые теоретики архитекторов-конструктивистов (напр., у нас Гинсбург) являются наиболее характерными представителями этого нового направления. Поскольку «школа» еще не оформилась, условно здесь же можно напомнить, с одной стороны, Жанаре и Озанфана («Современная живопись»), а с другой, по некоторым признакам, — Ф. Шмита. К этому списку присоединяется вышедшая недавно книжка И. Иоффе («Культура и стиль», между прочим, очень интересная и богатая по содержанию).

Такой факт распространения сверхматериалистического понимания искусства в социологической литературе заставляет нас несколько подробнее остановиться на некоторых принципиальных вопросах понимания искусства и в особенности истории искусств, как истории художественных стилей. Но прежде чем перейти к основному вопросу, несколько слов о природе «сверхматериализма».

Наша марксистская теория искусства рождается в борьбе. В борьбе, с одной стороны, против идеализма, против суб'ективизма, а с другой, — на почве борьбы миропониманий разных слоев современного общества, отражающих разные психо-идеологические отношения к общественной действительности: на Западе — к капиталистическому индустриализму, у нас — к развивающемуся индустриализму периода социа-

листического строительства. Мелкобуржуазные психо-идеологические отношения к окружающей действительности, на Западе, порождают в искусствознании чистейший, ничем не замаскированный идеализм и суб'ективизм; у нас, где умы направляются иным сочетанием иных фактов в сторону признания метода диалектического материализма, порождается эклектизм в форме согласования принципов «западных школ» искусствознания с принципами социологическими. Психо-идеологические отношения к действительности технической интеллигенции, выросшей, благодаря сильному развитию индустриализма, в значительную общественную категорию, показывают другие тенденции в оформлении взглядов на искусство. В художественной практике эти тенденции на наших же глазах сформировались в конструктивизм, в конструктивно-функционалистическую архитектуру, в производственный роман, в симультанистически-урбанистическую поэзию и в «музыку машины». В теорию искусств эти же тенденции начали проникать через оставшиеся незамеченными учеными-искусствоведами статьи, умозаключения и лозунги Глеза, Озанфана, Леже, Шербарта, через небольшие книжечки А. Бене, а у нас — через работы «лефов», пока они, наконец, более или менее оформились в сверхматериалистической теории искусств. Основным признаком сверхматериализма уже в этих, иногда даже с социологизмом ничего общего не имеющих, работах довольно четко выявился. Этот признак — в то же время основная черта психо-идеологии технической интеллигенции — начинал выявлять себя в форме резкого анти-суб'ективизма и в форме «рационализации» психического аппарата человека. При условиях капиталистического индустриализма на Западе представители «рационализации» искусства и художественной мысли, в большинстве, остались при своем, биологизмом украшенном, материализме или полу-материализме. Только некоторые — как А. Бене и Лю Мэртен — подошли ближе к социологии, или к марксизму. У нас, в СССР, тенденции материализации искусства почти у всех представителей их связывались с марксизмом, из чего и выросли попытки однобокой расшифровки законов исторического материализма в истории и практике искусства.

Эта однобокость заключается в том, что исторический материализм понимается, главным образом, как материализм, берет материалистическое понимание общественных явлений вне их диалектической связи, или, точнее, диалектика применяется в упрощенно-вульгарном виде ее, как механическое повторение тезиса, антитезиса и синтезиса. Это — первый признак сверхматериализма, как методологии в искусствознании.

Как мироотношение, он отличается в первую очередь своим анти-психологизмом, а именно анти-психологизмом не в марксистском смысле, а вообще. Сверхматериалисты отрицают психические факторы или значение их, а не, как бы следовало, объясняют их. Они отрицают содержание художественного произведения (Лю Мэртен) или сводят его к био-механическим законам (А. Бене), или допускают суб'ективное содержание в форме наших отношений к вещам, но отрицают возможность об'ективного содержания (Иоффе), или, как содержание, при-

знают только узко-утилитарные функции вещи и материалов (конструктивисты). Но все они сходятся в том, что смотрят на художественное произведение, как на «вещь», ничем не отличающуюся от вещей быта, и, следовательно, смотрят на искусство, как на производство вещей.

Понимая искусство и его произведения так, сверхматериалисты должны притти к форме, как к единственному или по крайней мере основному фактору искусства и вместе с тем к более (Бене, Шмит) или менее (Лю Мэртен, Иоффе) яркому подчеркиванию биологических элементов в процессах художественной деятельности. Форма—это сама вещь; вещь—это материя; говорить о форме-вещи-материи, не впадая в «идеалистические» уклоны, которыми грозит «психологизм» и разделение культуры на материальную и идейную, а говорить о законах материи, о биологических предпосылках, о рефлексологии—это чистейший, бесспорнейший «материализм». Так можно было бы—доведя грубо до конца—сформулировать логику сверхматериализма. Нечего уже говорить, что сверхматериализм, об'ясняя явления художественной действительности, об'ясняет «вещи» искусства на основе «ортодоксального экономизма», не принимая во внимание, кроме производственной и экономической структуры общества, никаких факторов, не видит в людях, их психики, их сложных общественных функций, связанных с экономическими факторами через длинный ряд посредствующих звеньев, или принимает их только условно, чересчур условно. Сверхматериалист связывает искусство непосредственно с экономическим базисом, а если ему, под давлением конкретных фактов, приходится считаться с дифференцирующим эту связь звеном, он сводит эти последние факторы к схематизированным категориям, имеющим третьестепенную, чересчур третьестепенную роль.

Со всем этим связывается третий признак сверхматериализма—его схематизм. Мы охотно признаем, что всякая начинающая наука, когда она еще только складывается, естественным образом должна прибегать к схемам, к типизирующим обобщениям иногда и там, где надо было бы дифференцировать, различать. Это—общая «детская болезнь» и нашей марксистской науки об искусстве. Но тогда как марксистская методология изживает свой схематизм, сверхматериализм строит всю свою концепцию на схематизме. Дать три, или пять, или шесть формул, под которые подходит как-будто все—вол страстное желание сверхматериализма. Такой схематизм вполне связывается с одним из признаков психо-идеологии технической интеллигенции—с стремлением к рационализации, доведенной иногда до иррациональной крайности.

Сюда же примыкает четвертый—последний из более важных—признак сверхматериализма. Поскольку психике технической интеллигенции, воспитанной в условиях рационализированного индустриализма, чужды все явления, не имеющие непосредственной связи с процессами его профессиональных отношений,—он смотрит на «далекие» ему явления отрицательно или, по крайней мере, подозрительно. Он—сторонник наполненных аэропланами амгаров, а не музеев, при чем одно

исключает другое; он любитель живых фактов, а не книг «бесполезных», и т. д.; он настроен враждебно по отношению к истории. В этом отношении сверхматериалисту как-будто идет навстречу и марксизм, отрицающий всякие «науки для наук», всякое, на самом деле бесполезное, знаточество. Протест сверхматериалистов против пассивизма надо, конечно, приветствовать. Но в то же время мы должны понять, что практическая польза, утилитарное значение истории и исторических дисциплин для нас шире, гораздо шире понятия непосредственной утилитарности, должны иметь в виду, что наша действительность строится элементами, гораздо более богатыми по количеству, нежели любой из исторических периодов. Если, напр., средневековые обошлось—и обошлось по-своему прекрасно—без знаний, накопленных в демократической Греции, идеологических богатств, или если современный нам крупный капиталист, со своей узко-классовой замкнутостью, может проходить совершенно равнодушно мимо памятников чужих ему культур,—то нам нельзя позволить себе такую «проскошь», нам нельзя обойтись без уроков прошлого. Строящий социализм пролетариат эксплуатирует все, что имело значение в развитии человеческого общества, потому что он, в своей исторической роли, подводит итоги всему, дает синтез всего прошлого. А для этого нужна история, нужно знание фактов. Нужна история и тех времен, разбор которых не дает никакой непосредственной пользы, потому что он может дать пользу посредственную, через длинный ряд пониманий. А что касается исторических фактов, не дающих решительно никакой пользы (возможны и такие), то их нечего бояться, потому что, поскольку с ними не может быть никакой действительной связи, они само собою перестают и быть. Иоффе совершенно прав, когда он говорит, что нам нужен «практический историзм», но этот практицизм надо понимать широко, диалектично.

Кроме этих четырех основных признаков, о которых мы еще будем говорить подробнее, конечно, имеются у сверхматериалистов и совершенно приемлемые, совершенно правильные элементы подхода к искусству. В их ряду нужно отметить в первую очередь анти-суб'ективизм в принципиальном понимании искусства. (Мы подчеркиваем, что в общем, принципиальном понимании, потому что в оценке отдельных фактов встречается у них немало суб'ективизма). Они разрушают идеалистические взгляды на искусство, подчеркивая служебную роль искусства, его классовую обусловленность. Как положительную черту, нужно отметить, дальше, тот факт, что представители данной «школы» очень близко подходят к правильному выявлению исторической оценки художественных явлений индустриальной эпохи; они, так сказать, имеют «чувство» к этим явлениям, хотя иногда и суб'ективное (Бене—в утверждении конструктивизма, Иоффе—в оценке его). Третий положительный мотив—это синтетический подход большинства их к теоретическим проблемам искусства. Лю Мэртен, Иоффе, отчасти Шмит и некоторые из «левых» не ограничиваются одним или двумя видами искусства, а захватывают всю область искусств. Такой широкий подход, обязательный для теоретика-марксиста, не только

дает возможность более близко подходить к обще-теоретическим вопросам искусства, но и является единственным способом для того, чтобы правильно понять как социальные функции отдельных видов искусства, так и сущность их.

В общем самая значительная заслуга представителей этой группы— это подчеркивание материалистического понимания общественных явлений. Правда, их материализм сверхматериалистичен, а не диалектичен; они в разгаре борьбы против идеализма пересаливают в материалистическом понимании, но они все же несравнимо ближе к марксизму, чем все «уклонисты», дают много ценного материала для искусства введения, и спорить с ними—значит заниматься «делом» полезным и плодотворным.

Мы ставили вопрос широко, принципиально, но по поводу книги И. Иоффе. Это обязует нас к оговорке—в дальнейшем нам придется говорить и о таких вопросах, которые у Иоффе не выдвинуты или поставлены правильно, и, таким образом, может показаться, что мы говорим «не по адресу». Так как нельзя «адресовать» каждое замечание, оговоримся вперед, что там, где не будет ссылки на Иоффе, вопрос ставится в общем, принципиальном разрезе.

II

Начнем с рассмотрения лежащего в основе всех наших дальнейших рассуждений вопроса о том, как мы должны понимать наш предмет, как понимать искусство.

Искусство—это форма, развитие которой есть «развитие от содержания изолированное, формальное, техническое, производственное»,— говорит Лю Мэртен. «Всякое произведение искусства есть осуществление организационного принципа» в пользу такого порядка материалов, который (порядок) «по своей природе является математическим»,— заявляет Адольф Бене. Конструктивисты признают искусством функциональное соответствие оформления вещей. Шмит полагает, что искусство—это «и базис и надстройка». То же самое у Иоффе, который, возражая против деления культуры на материальную и духовную и утверждая, что «надстройка—не только мироотношение, но и материальная конструкция» (что в общем правильно), приходит к умозаключению, что «нет ни одного специфического об'ективного признака, который отделил бы вещи искусства от вещей быта и об'единил бы в себе все произведения мирового искусства». Произведение искусства—«вещь культуры», а «культура—это вещи и человеческие действия».

Что во всех этих тезисах определения искусства для нас важно— это их сходство в том, что произведение искусства понимается, как вещь, а искусство—как деятельность, как производительный процесс, как «вещь» плюс «человеческое действие».

И. Иоффе, выработывая для себя такой взгляд на искусство, повидимому, исходил из некоторых положений тезисов Маркса о Фейербахе (хотя он и не ссылается на них). Там говорится: «Главный недостаток материализма—до фейербаховского включительно—состоял до

сих пор в том, что он рассматривал действительность, предметный, воспринимаемый внешними чувствами мир лишь в форме об'екта, или в форме созерцания, а не в форме конкретной человеческой деятельности, не в форме практики, не субъективно» (1-й тезис). И дальше: «Общественная жизнь есть жизнь практическая по существу. Все таинственное, все то, что велет теорию к мистицизму, находит рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практики» (8-й тезис). Из этого марксовского положения для социолога искусства совершенно очевидно вытекает, что искусство должно быть рассмотрено не в оторванных от действительности памятниках, как таковых, не в их искусственно отвлеченных формальных и идейных качествах, а в их конкретно-живой социальной обстановке, в живом процессе, т.-е. как деятельность, как процесс. Такой вывод имеется как у Иоффе, так и у Лю Мэртен, у Шмита, и надо признать, что вывод этот, в общем,—правильный. Искусство на самом деле есть деятельность. Дело только в том, что в человеческом обществе деятельность бывают разные. Разные по своей социальной значимости.

Но мы этот вопрос пока оставим в стороне и временно, условно согласимся с нашими авторами, что произведение искусства,—поскольку оно является результатом воздействия человека на материальную вещь и поскольку оно—«не только мироотношение, но и материальная конструкция» (Иоффе),—есть «вещь». Согласившись с этим положением, мы должны дальше, так же временно и условно, согласиться и с тем, что мы, будто бы, не имеем права разделять культуру (совокупность процессов производства «вещей») на «материальную» и «духовную».

Но что же из всего этого получается? Что нам это даст? Получается в первую очередь грубое противоречие по отношению к основному, марксовскому тезису. Мы рассматриваем человеческую деятельность «в форме практики», но не разобрались в сущности этой практики, не разобрались в отношениях человека к «вещи», которая есть вещь не вообще, а вещь конкретная. А вместо этого, видим, с одной стороны, только материальный результат этой деятельности в виде появляющейся новой «вещи» (художественное произведение), а с другой—обобщаем, схематизируем самую деятельность, признавая в ней только материальный и материально-практический процесс, без социального содержания его. Выражаясь кратко,—не дифференцируем социальную значимость данной области деятельности и данного продукта этой деятельности. «Сверхматериализуем» и без этого материальную деятельность и его продукт.

Ибо в чем здесь дело?

Человек, под влиянием разных и разным образом действующих на него факторов окружающей действительности и своего организма, осознает потребность в чем-то и с помощью представленных ему материальных возможностей (условия, движение) и средств (орудие), как и с помощью психических возможностей (опыт, рассудок), добивается удовлетворения возникшей потребности. Начинается деятельность, и получается «вещь». Эта вещь, конечно, имеет свою материальную форму, но имеет она и содержание, заключающееся в социальной

значимости ее. Если данный человек создал «вещь», которая дает ему желаемый результат *непосредственно* через ее функции,—то мы имеем дело с «вещью» в обыкновенном смысле этого слова, или с продуктом материальной культуры (о терминологии—далее). Напр., «вещь»—каменный топор; непосредственный результат его функций—убитый зверь, срубленное дерево и т. д. Или: «вещь»—автомобиль; непосредственный результат его функций—достижение желаемой цели в пространстве и т. д. Перед нами следующие два фазиса процесса, тесно связанные друг с другом: 1. Процесс добывания средств (орудий): внешний мир в его воздействии на человека вызывает потребность (материя+материя=идея); осознанная потребность, как психический процесс, пробуждает деятельность и с помощью материальных и психических возможностей создает «вещь» (психический процесс+материальная деятельность+психическая деятельность=материя). 2. Процесс удовлетворения потребности: «вещь» в ее функциях дает результат, который дает удовлетворение потребности (материя+деятельность=материя+идея). В этом, последнем, фазисе этого сложного (а не, как представляется сверхматериалистам, простого) процесса мы имеем следующую формулу хода:

вещь — функция — *результат* — сознание,

т. е. непосредственность появления результата из функции.

Но тот же человек имеет потребности и другого характера, когда его внешние условия принуждают его добиваться не узко-практических «вещей» (орудий, пищи и т. д.), а «вещей», практичность которых более широкого порядка; он должен закреплять свое положение, свою власть над вещами, свои отношения к другим людям, или он должен, в целях облегчения своей практической деятельности, создавать системы полученных в последней опытов и т. д. В этом случае он тоже создает (потребность+возможность+действие) «вещи», тоже имеющие свои функции,—но в результате этих функций не получается непосредственное удовлетворение потребности, а получается оно только через посредство психического воздействия или на того же человека, или (чаще) на окружающую его социальную среду. Мы здесь имеем существенно иную картину процесса, чем имели выше. Если формула того процесса была: вещь — функция — результат — сознание, то здесь, во втором случае, картина такова:

«вещь» — функция — *сознание* — результат.

Но если все это так, то сейчас же возникает вопрос: можем ли мы назвать и ту и другую «вещь» *вещью*, можем ли мы утверждать, что не имеем права разделять «культуру на материальную и духовную», и можем ли говорить о том, что «нет ни одного специфического об'ективного признака, который отделял бы вещи искусства от вещей быта»?

Ответ должен быть ясен.

Когда общественный человек создает «вещь», от функций которой непосредственно получает результат, он создал одно, он создал предмет материальной культуры, имеющий свою социальную значимость

в непосредственном удовлетворении актуальных потребностей, и который, по марксистской терминологии, называется не «вещью», а *орудием* в широком смысле этого слова. Но когда он создает «вещь», результат функций которой получается только через посредство воздействия на сознание, он сделал другое, сделал предмет идейной культуры, имеющий свою социальную значимость в посредственном удовлетворении актуальных потребностей, и который, по марксистской фразеологии, называется надстройкой—государством, правом, религией, философией, искусством. Конечно, и этот последний продукт деятельности возник путем воздействия на материю, и он имеет свою «материальную конструкцию», но у него другое *содержание* (социальная значимость), о чем последовательно забывают сверхматериалисты. И это содержание есть то об'ективное содержание, которое отрицается сверхматериалистами.

Таким образом, мы можем не беспокоиться, разделяя культуру на материальную и идейную, потому что для этого имеется об'ективное основание, можем не называть произведение искусства *вещью* и не можем говорить об искусстве как о деятельности вообще, а как о деятельности преимущественно идеологической.

Ясно, что связь идеологической деятельности и ее продуктов с экономическим базисом гораздо сложнее, чем связь продуктов материальной культуры. И ясно, что задачей социолога является раскрыть эту—как говорит Энгельс—«затемненную промежуточными звеньями» связь, чтобы иметь возможность дать научное об'яснение данной надстройки. Но как не значит впасть в идеализм, признавая сложность, затемненность связи, так и не значит быть «настоящим» материалистом, если только свести продукты идейной культуры—на основании материального характера выявления их—к «вещи», хотя такой способ может показаться и более легким методом об'яснения сложных общественных явлений.

III

По выяснении взглядов наших авторов-сверхматериалистов на искусство, перед нами встает вопрос: откуда же взялась такая путаница?

Мы здесь, к сожалению, не можем развить всю сложную генетику сверхматериализма, только напомним еще раз, что она коренится в психо-идеологии технической интеллигенции, и что некоторые моменты ее могут быть об'яснены преувеличением «рационализации» в разгаре борьбы против идеализма. Ярко выявленный практический эмпиризм их миропонимания выливается, в общем, в правильный анти-суб'ективизм, но беда в том, что этот последний нередко становится догматическим. Конечно, стопроцентного отрицания личности или роли личности у них нет и не может быть, но, рассматривая процесс «деятельности» и «вещь», они забывают о человеке, который становится у них чем-то вроде условного знака. На место обусловленности выплывает условность. Человек—это узко-экономическая единица, которая только производит и потребляет. Произведение искусства—продукт деятельности и предмет потребления. Поэтому «впа-

дают в идеализм те из марксистов, которые рассматривают произведение как явление содержания, смысла, как сгустки психологии и т. д., а не как систему приемов выражения, материальных форм, имеющих определенное применение. Произведения дифференцированных искусств не содержат в себе ни жизни, ни быта, ни людей, ни психологии» (Иоффе, стр. 65).

Совершенно бесспорно, что человек производит и потребляет, правильно и то, что произведение искусства является и результатом деятельности и предметом потребления. Это было установлено как раз марксизмом. Но дело в том, что марксизм рассматривает искусство не только как систему приемов выражения, материальных форм, имеющих определенное применение, как это делает сверхматериализм, но и как содержание, и как—если угодно—«сгустки психологии», потому что он понимает производственный процесс и результаты его не в схематически-механизированном и не в обособленном от человека виде, а как диалектический процесс. Марксизм знает то, чего не хочет знать сверхматериализм, что принимающие участие в производственном процессе люди имеют и психо-идеологические отношения как к самому производственному процессу, так и к результатам его, и сверх этого и ко всей окружающей действительности, с которой они имеют не только непосредственные, практические, но и посредственные связи. Человек не только «действует» и «подвергается воздействию», но и «познает»—«познает в той мере, в какой он действует и в какой он подвергается сам воздействию внешнего мира» (Деборин). Он накапливает эмпирический опыт, систематизирует его и пользуется им не только в узко-практических, но во всех действиях, при чем чем более дифференцированное действие, тем более сложная система психо-идеологических отношений к нему. Эту сложность имеет в виду Маркс, когда он говорит, что «следует всегда иметь в виду разницу между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно определить с естественно-научной точностью, и юридическими, политическими, религиозными, художественными или философскими, словом, идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт» («К критике политической экономии»).

Таким образом, мы должны подчеркнуть, что, рассматривая надстройки, и в частности искусство, как деятельность, не можем видеть в ней деятельность ни самостоятельную, ни экономическую, а деятельность, отвечающую какой-то социальной потребности. Специфические потребности порождают более специфическую деятельность в форме надстроек, как право, специфические науки, а более общие потребности—более широкую деятельность в форме надстроек, как религия, мораль, философия и искусство.

Надстройки этой последней категории соответствуют потребности в выработке определенного («подвижного») равновесия в психо-идеологических отношениях общественного человека к окружающему миру в целом. Человек систематизирует, организует не только свое производство, свою экономику, свой быт,—но и мысли о них и свои

чувства к ним, при чем, не организуя, не систематизируя последних, он не может усовершенствовать, организовать и первых. И в этом заключается утилитарность, практическая социальная значимость этих надстроек.

Что касается искусства, художественной деятельности, то мы должны иметь в виду прежде всего, что оно захватывает наиболее широкую область психо-идеологических отношений к действительности,— оно организует и систематизирует не только сознательные, но и подсознательные отношения. Практической задачей его является восстановление «подвижного равновесия» между идеологическими и психо-идеологическими элементами психо-идеологических отношений (т.-е. психики в целом), с одной стороны, и между осознанными и подсознательными—с другой. Прибавляя к этому, что восстановление равновесия совершается путем эмоционально акцентированных образов, или путем эмоционально акцентированной организации материалов,—мы получим *спецификум* искусства. Тот спецификум, который сверхматериалист никак не может увидеть,—не может, потому что в своей неспособности к диалектическому рассуждению боится «впасть в идеализм», признать психо-идеологические отношения человека к окружающей действительности и важность их роли в деятельности общественного человека.

Установив, таким образом, существенную разницу между «вещами» и произведениями искусства, между идейной и материальной культурой, с одной стороны, и установив спецификум искусства—не отрицая его материальных качеств—с другой, мы должны из всего этого сделать методологические выводы. Как мы должны об'яснить отдельные явления, отдельные этапы всего хода развития искусств и как можем об'яснить весь ход развития? Можем ли мы свести весь этот вопрос к схеме, соответствующей общей схеме производственного и экономического развития человеческого общества? Можем ли мы об'яснить формы хозяйства—и только ими—все возникающие перед нами вопросы развития искусств? Как нам поступать, напр., в таком случае, когда мы имеем факт возвращения не только к формам, но и (закономерно) к основным мотивам миропонимания искусства первобытных или более культурных, но так же живущих в условиях натурального хозяйства общественных групп—со стороны класса, живущего в условиях развитого, капиталистического индустриализма? Как нам справиться с тенденциями, выявляющимися в экспрессионизме, нео-примитивизме? Конечно, никакой схематизм—как бы он ни был сверхматериалистичен—здесь не поможет. «Живая жизнь,—говорит Деборин,—богаче и разнообразнее мертвых логических схем и формул, в которые она не укладывается и которыми она не поглощается. Абстрактное мышление схематизирует, «идеализирует» действительность; диалектическое—стремится охватить все конкретное содержание действительности—жизни и истории» («Введение в философию диалектического материализма»).

И вот без этого *всего* «конкретного содержания» нам никак не обойтись. Те же самые формы хозяйства, те же самые—по существу—формы

производственных отношений создают в разных условиях разные конфликты в психо-идеологических отношениях людей к этой действительности и требуют разных решений этих конфликтов, разных методов восстановления психо-идеологического равновесия, разных материалов, разных сочетаний (конструкций, композиций) их и разных акцентирований более или менее разных образов, в которых получается художественное оформление найденного решения конфликтов. Но выявить эту разнообразность, выяснить причины ее можно только конкретно, на конкретных явлениях, методом диалектического материализма. Только так можем мы понять сущность диалектики общественных явлений и, в частности, искусства во всей своей конкретной сложности, только таким образом может становиться диалектика понятий о явлениях искусства «лишь сознательным отражением диалектического движения внешнего мира», и наши понятия—конкретными и верными «снимками с действительных вещей» (Энгельс «О Фейербахе»). Но понимая диалектику так, мы должны будем отказаться от того, чтобы—ради простоты или упрощенства—*подвести* конкретные явления под общую формулу тезиса—антитезиса—синтезиса,—а будем принуждены *отыскать* ход диалектики в каждом конкретном явлении. По отношению к искусству и к истории искусства мы не можем категорически утверждать, как это делает, напр., Иоффе, исходя из правильно установленного факта «существования» стилей, что каждая экономическая формация имеет три (и только три) типа культур, что «каждый исторический момент содержит три члена диалектической триады» (подчеркнуто мной)—и только. Конкретные факты опровергают такую схему и говорят о том, что историческое развитие идет не по гениальным схемам, а по конкретным законам, созданным самими историческими событиями. Они, эти конкретные факты, говорят нам, напр., о том, что чем более дифференцировано общественное отношение классовых сил, тем более дифференцированным путем идет развитие и искусства, тем больше стилей «существуют» в той же самой эпохе. Напр., в империалистическом периоде капитализма мы имеем не три (восходящий, господствующий и упадочный, по схеме Иоффе), а четыре главные линии или основные русла развития искусств, внутри которых «существует» (по-нашему—ведет борьбу) целый ряд стилей. Две из этих главных линий—упадочные, одна—завершающаяся, а третья—восходящая. Одна линия—это линия переживающего свои последние судороги «академического» искусства, перетавившего в эпоху промышленного капитализма художественные традиции прошлого, отражающие психо-идеологические отношения к действительности землевладельческой, торговой и бюрократической знати, путем искусственного (насильственного) приспособления этих отношений к новой, изменившейся действительности. Вторая линия—это прямое продолжение развития буржуазного искусства, идущего от буржуазного бытового жанра через французских романтиков и реалистов, через английских пленэристов к импрессионизму, как к завершению буржуазного искусства в искусстве средней и мелкой бур-

жуазии, и пришедшего к полному упадку в экспрессионизме и дадаизме. Классицизм еще социально жив, искусство средней буржуазии торжествует в импрессионизме, когда ясно выявляется уже третья линия развития, начавшая борьбу с противоположными импрессионистическому сенсуализму тенденциями интеллектуализма в искусстве (Сезан, Гоген, Маттис, «дикие» и т. д.), отражающими психо-идеологические отношения экономически прогрессирующей буржуазии и интеллигенции ее к крупнокапиталистической, индустриальной действительности. Последний пункт этой линии в настоящее время—конструктивизм. Наконец, четвертая линия—это начало развития пролетарского искусства, которое начало складываться в формах отражения психо-идеологических отношений к действительности пролетаризирующейся революционной интеллигенции. Таким образом, перед нами четыре (а не три) социологически установленные линии, содержащие *несколько* стилей и даже—к ужасу всякого схематизма—переплетающиеся между собой. И все это—на фоне той же самой экономической формации, только экономической формации не в отвлеченном и стабилизированном виде, а в своей действительной подвижности, в своей действительной (не «триадической») диалектике.

Мы здесь ограничиваемся этим, одним, примером, хотя можно было бы поговорить еще и об эпохе торгового капитализма, где политическая дифференциация (абсолютная монархия, конституционная монархия и торговая республика) привела также к дифференцированию психо-идеологических отношений и в области искусства вылилась в «существование» ряда стилей. (В порядке вопросов терминологии—которая у сверхматериалистов вызывает особую критику—еще раз подчеркнем, что такое «существование» представляется нами только в форме борьбы, и поэтому оно должно быть названо не «существованием», а борьбой стилей).

Подытоживая все до сих пор сказанное, мы должны сделать и один практико-методологический вывод в форме ответа на тот стоящий у сверхматериалистов остро вопрос, нужна ли нам история искусства или нет.

Мы полагаем, что по этому поводу нет смысла особо распространяться. Поскольку диалектический материализм обязывает нас рассматривать не схематические формулы развития искусств, а конкретные факты, конкретные явления, история искусств, марксистская история искусств, нам не только нужна, но и обязательна. Но, дальше, поскольку мы правильно понимаем исторический материализм, нечего и говорить о том, что эта, нам нужная, история ничего общего с пассеизмом не может иметь, она не может быть ни каталогом памятников, ни историей личностей, ни хронологическим собиранием фактов. *Единая приемлемая для нас форма истории искусств—это построенная по методу исторического материализма история развития (Entwicklungsgeschichte)*, или—согласимся с Иоффе—история развития стилей, поскольку, в свою очередь, он согласится с нами понимать стиль не как схематизированную абстракцию, а как живую, диалектическую совокупность определенного сочетания элементов не

только материи и технической организации ее, но и мироотношений, определенной систематизации и акцентирования их¹.

В последующем мы и переходим к рассмотрению того вопроса, как должна быть построена марксистская история развития искусств. Но мы уже заранее оговоримся, что, рассматривая этот вопрос, никакой схемы дать не можем и не будем, а попытаемся наметить основные вехи *системы* истории искусств в их диалектическом развитии.

IV

Ф. Шмит, которого мы брали условно в группу сверхматериалистов, разделяет развитие искусств по формально-стилистическим признакам на шесть «диалектических циклов», соответствующих шести историческим циклам человеческого развития. Арватов признает только три «основных группы». Лю Мэотен устанавливает четыре этапа развития формы, как искусства: 1. Первоначальная (естественная) форма, возникшая в процессе исканий трудовых средств (орудий). 2. Форма принудительно-коллективного труда (рабства). 3. Форма ремесленного труда. 4. Форма машинного (фабричного) производства. Все промежуточные этапы развития искусства-формы представляют собою «искусственные формы».

Иоффе суживает еще больше эти схематические разделы и устанавливает только «три системы, три типа культуры: натуральное хозяйство, товарно-денежное и индустриальное». При чем «каждая из этих культур имеет три основные социальные группы—низовую, господствующую и упадочную—и три стили, как оформление отношения к миру». Таким образом, его схема составляет три системы хозяйства и девять стилей, хотя и «почти не существующие в чистом виде». Оправдывая свою схему тем, что диалектика его (Иоффе) не «однопланная» (?), а двух- или даже «многопланная» (?), он рассматривает экономические формации («культуры») не в их конкретно-историческом разрезе (такой подход для него кажется «пассеизмом»), а как-будто бы конкретные, одновременно действующие силы «современности». «Каждый исторический момент содержит три члена диалектической триады одновременно не только как тенденции и пережитки развития, но как реальные и конкретные, целые слои культуры и быта». «Произведения Пушкина и Маяковского современны, так как теперь читаются». «В условиях натурального хозяйства остается почти все крестьянство. Обычай, верования, искусство натурального хозяйства продолжают окружать индустриальную культуру»—и т. д. Мы уже не будем говорить о том, что для нас «современности» вообще не существует, а есть современность крупнокапиталистическая, империалистическая, капитали-

¹ Определение стиля мы формулируем следующим образом: стиль есть *система акцентов* функции всех живых (положительных и отрицательных) *факторов сущности и форм* художественного выявления организации психо-идеологических отношений определенного класса на определенном этапе его исторического развития.

стическая и т. д. Не будем говорить ни о том, что какое там натуральное хозяйство, где крестьянин продает свой хлеб, свой хлопок за деньги, покупает за эти деньги машины, кладет их в сберкассу и получает на них проценты—и т. д. Неверность подобных положений для всякого марксиста совершенно очевидна. Но так как Иоффе строит *всю* свою схему и всю свою концепцию на подобном толковании «существования» экономических форм и культур, позволим себе привести еще одну цитату Маркса: «Не только торговля,—говорит Маркс в «Капитале» (т. III),—но и торговый капитал старше капиталистического способа производства и в действительности представляет исторически древнейшую свободную форму существования капитала». Если это так, почему все-таки Маркс не называет феодальные формации, в которых «сосуществовал» торговый капитал, капиталистическими. На этот вопрос находим четко сформулированный ответ у Кушнера («Очерк развития общественных форм»), говорящего, что «эпохой торгового капитала мы называем только те периоды истории человечества, когда торговый капитал оказывается *гегемоном всей экономической жизни*, а не те периоды, когда он еще только зарождается», и мы можем прибавить: так же и не те периоды, когда его гегемония уже вытеснена силами новой экономической формации. Таким образом, «пережитки» старых экономических форм нам придется понимать именно как «пережитки», как элементы продолжающейся *борьбы*, а не как, будто бы, равноправные элементы «существования». И таким образом—дальше—можно заявить, что диалектика есть только одна—действительная, диалектика самой истории, а не диалектика «однопланная» и «многопланная», приводящая Иоффе к такому чудовищному схематизму, где пляска бушменов, стихи Веды, картины Рафаэля, оперы Моцарта, поэмы Пушкина, романы Андрея Белого, стихи Блока и сонаты Скрябина (и неизвестно какие произведения отсутствующей во всей книге архитектуры) появляются на той же экономической базе (извиняемся за не-сверхматериалистический термин)—на базе натурального хозяйства. Действительная диалектика, диалектика самого исторического развития, отвергает всякие подобные схемы и позволяет только соответствующую самой исторической действительности систематизацию вопросов.

В заключение мы попробуем сформулировать эту систематизацию, как она нам представляется, с оговоркой, что она не претендует ни на полность, ни на совершенную безошибочность, хотя бы только и по тем причинам, что, особенно по «восточным» странам, нет почти никаких совершенно достоверных материалов экономической истории их.

Начнем без особых комментариев:

1. В первую группу включается искусство самых низовых по экономическому развитию общественных формаций. Труд—сбориание естественных продуктов, как более индивидуальная форма хозяйствования, и охота (включая рыболовов), как более коллективная форма. Отношение людей к действительности—узко-эмпирическое, узко-практическое, трудовое, но не только—биологическое, как у сверхматериалистов; жизнь воспринимается как конкретная динамика, движение.

«Идея», представление о вещах и фактах, и самые вещи и факты тождественны. Искусство этих формаций еще на самом деле только практическое действие. Стиль—*физиологический натурализм*. К этому периоду принадлежит почти вся «ново-палеолитическая» эпоха (так наз. ориньякская, солютерская культуры) и ряд современных охотничьих племен, как охотники внутренней Австралии, ботокуды и бороро на Огненной Земле, обитатели Центральной Калифорнии, пигмейские племена в центральной Африке, ведда на Цейлоне, минкопи на Андаманских островах, кубу на Суматре и азта на Филиппинских островах. Большинство исследователей в эту же группу включает все «охотничьи племена» и все так наз. «физиопластическое» искусство. Мы считаем необходимым и эту группу разделить и выделить из нее вторую группу по соображениям, которые ниже станут ясными.

2. Соотношение форм хозяйствования меняется. Охота закрепляется, как господствующая форма хозяйства, собирание остается второстепенным фактором, и к нему присоединяются примитивные формы скотоводства. Отношение людей к действительности дифференцируется в сторону выработки первоначальных систем; явления жизни разделяются на конкретно-динамичные и обобщенно-динамичные, в соответствии тому, воздействует ли человек на «природу» непосредственно или посредством магических действий. Выражение этих отношений получает некоторую систематизацию, с одной стороны, в опыте, а с другой—в магических представлениях. Стиль искусства тоже меняется и должен быть назван *магическим натурализмом*. В искусстве этого периода мы имеем уже не только знаки *конкретных* фактов и событий, но и знаки обобщенных фактов и событий и отражение уравниваемости психических и психологических элементов. В этот период включаем продолжение ново-палеолита (так наз. мадленскую и азильскую культуры), «арктическую культуру» (неолит в Швеции), из современных—охотников-бушменов, обитателей островов Пасхи, эскимосов, чукчов и сию-индейцев.

3. Следующий период показывает дальнейшее развитие экономики. Господствующая форма—земледелие, подсобные формы—охота и скотоводство. Обобщение и расширение форм зависимости экономики от природы (т.-е. удача или неудача относится уже не к конкретному факту, а к длительному процессу) приводят к дальнейшей дифференциации психических отношений. Растет, по количеству и качеству, систематизация опытов, закрепляются традиции, выявляется систематическая необходимость в об'яснении «необ'яснимых» явлений и их причинной связи,—складывается идеология в форме анимизма и занимает место магических действий. В основе этой идеологии лежит символизм, как метод. Такому мироотношению, сложившемуся на основе данных экономических отношений, соответствует *искусство символистическое*. Знак обобщенных фактов и событий превращается в традиционный памятник символов фактов и событий, в—соответствующем обобщении—стилизованном оформлении. Группу составляют исторические периоды, как неолит (так наз. скандинавская

культурная провинция, область свайных построек в Швейцарии, «Среднеевропейская зона»), история современных племен Камерума, Английской Нигерии, кафры, племя варуа в бельгийском Конго, жители острова Фиджи, Новой Гвинеи, Новой Зеландии, Саломони, Гебридов, Явы, северо-американские племена, как гайда-индейцы, вакаши, чимчианы и т. д.

Все эти три экономические и культурные группы являются разными фазами развития первой большой эпохи человеческого общества, которую принято называть эпохой первобытного коммунизма. Между этой эпохой и последующей эпохой рабовладельческих государств лежит очень значительный по своему об'ему и по своим культурным достижениям *переходный* период к государству. Экономическая основа качественно не меняется, но налицо изменение экономических отношений людей.

4. Господствующая форма хозяйствования—земледелие, но земля, которая была раньше собственностью рода, клана и т. д., переходит в собственность экономически и социально более сильных единиц. Рабовладительство становится системой. Союз племен превратился в военно-иерархические формации с «королем» (бывший старшина или военноподначальник) и кастами (бывшие военные, жрецы). Число идеологических надстроек увеличилось,—мы имеем государство (хотя в зародышевой форме), религию, мораль и искусство. Человек имеет психо-идеологические отношения не только к материальному миру, к производственным процессам, к анимистическим символам-традициям, но и к этим новым формам идеологии. Систематизация этих отношений схематизируется с одной и—ради замаскирования деспотии—идеализируется с другой стороны. Искусство этого периода—*схематический идеализм*, с сознательными уже тенденциями эстетизма. Схематизм выливается в оттеснении первоначального смысла форм памятника-знака и в появлении вторичного смысла (памятник уже не знак фактов или событий, не знак символических представлений о них, а выражение идеи об идеях). Сильно влияет в сторону схематизации художественных форм и развитие меновых отношений, благодаря которым произведения некоторых областей искусства (так наз. художественная промышленность, керамика, предметы украшения, мелкая пластика) становятся предметами меновых операций. Сюда относится Египет в периоде «царства слугителей города», до первой династии, шумерское искусство, так наз. архаический период греческого искусства, древние государства Перу и Мексики (инки, ацтеки, мая, толтекеты), Индия до буддизма, Китай до начала господства династии Шанг (VI в.), Япония и Корея до VII столетия (первый микадо в VII, «корейские погромы» в VIII в.). В этом периоде уже с относительной верностью можно установить господствующий вид искусств. Если, напр., в отношении к первому периоду мы можем только полагать—по имеющимся данным о жизни современных «дикарей»,—что господствующим видом искусства можно признать танец, то здесь уже можем утверждать, что в этом переходном периоде выдвигается на первое место литература. На это указывают такие круп-

ные сочинения, как Илиада, Одиссея, индийские Ведды, Магабарата, Рамаяна и т. д., как и наличие выработанных литературных традиций в последующем периоде Китая и т. д.

По пути дальнейшего развития эти переходные формы территориального государства, в зависимости от общих условий, превращаются в странах, по природе более богатых (Египет, Вавилония, Индия и т. д.), в бюрократическую деспотию на основе или централизованно-барщинного или феодального землевладения, а в странах, где нехватало земли для обработки (Греция, Финикия, позже Римская империя),—в сильно милитаризованные рабовладельческие торговые государства. Дифференциация в этих периодах уже настолько велика, вопросы экономической истории стран первой группы еще настолько запутаны, что мы должны оговорить условность этой группы в нашей системе (немецкие ученые, напр., все еще ведут спор о том, назвать ли древнее и среднее царство Египта феодальным государством или бюрократическим барщинным государством. Так же не ясна форма древнего Вавилона. Экономическая история Индии не проанализирована и т. д.).

Основной причиной дифференцированного выявления искусств дальнейших эпох является классовая дифференциация общества. Если в первых трех группах мы имеем не-классовое общество и искусство, а в четвертой—переход через касты к классовому государству, в искусстве которого еще значительную роль играют родовые, коллективистические традиции, то в последующих периодах перед нами—чисто-классовое искусство. Но так как отношение классовых сил количественно меняется и в той же самой экономической формации (класс—победитель, класс—строитель, класс—распадающийся), то меняются и формы его психо-идеологических отношений к действительности, и, следовательно, меняется и стиль искусства его.

5. Следующий этап развития общественных формаций—деспотически-бюрократическое государство. Основная форма хозяйства—земледелие, подсобные формы—меновые сношения (экспедиции) и военно-организованный грабеж. Искусство уже отражает не общие психические отношения масс к действительности, а отношения, которые выгодны или не противоречат интересам господствующего класса; оно дает общую формулу равновесия элементов психо-идеологии на основе того факта, что равновесие нарушается не «естественным» образом (совместная борьба за существование), а самым грубым образом насилия со стороны господствующего класса. Насилие, существующее в отношениях людей, должно быть оправдано чем-то «вечным», чем-то поразительно великим, над«естественным». Представитель этого «могущественного» на земле—царь, фараон, со своими вице-представителями в лице жрецов, номархов, местных правителей и бюрократов. Это—первый этап данного периода. Искусство его—*монументально-схематический идеализм*. Господствующий вид искусства—архитектура, как синтез остальных видов. Сюда относится искусство древнего царства Египта, до 2000 г. (хронология по Мейеру), Ассирия с господства Сальмансаре (860 г.),

Персия эпохи Дария, Индия с 250 до «брахманской реакции», Китай с династии Шанга (IV в.) до династии Тангов IX в., Япония VIII—XII веков.

Но дальше, в силу экономического укрепления областных правителей, меняются отношения классовых сил, вследствие чего появляются децентралистические тенденции. Выступает (или закрепляется) новый непосредственно господствующий класс в лице феодальной аристократии. Меняются социальные функции и искусство, меняется и его стиль. Оно выделяет из себя две категории—«религиозно-государственное» и, более узкое, придворно-аристократическое искусство. В первой категории продолжается во вторично-традиционных, ограниченных формах монументально-схематический идеализм, а во второй категории складывается новый стиль—*декоративный эклектицизм*, в котором смешиваются реализм и идеализм в декоративно-стилизированных формах. Выдвигается на первое место декоративная живопись, мастерство золотых дел, мелкая пластика. Здесь можно упомянуть Египет среднего и нового царства (с его переходными этапами), ново-вавилонское искусство с 600 г., Персию эпохи Ксеркса, «ново-брахманское искусство» Индии и Китай с царствования Тангов до Мингов (XIV в.).

Мы намечали до сих пор все еще только общественные формации, построенные на базе натурального хозяйства, которые Иоффе свалил в одну «низовую» подгруппу культуры натурального хозяйства и искусство которых свел к одному стилю—к стилю «натуралистического реализма». Мы наметили пять этапов развития общественных формаций и шесть основных стилей. Развитие в дальнейшем еще более дифференцируется, и одна формация дает несколько стилей. В виду того, что мы здесь не можем себе позволить итти и дальше в подобном плане развертывания нашей системы, а с другой стороны, принимая во внимание, что последующие эпохи и более известны и более разработаны в марксистской литературе,—в дальнейшем считаем возможным давать уже не тезисы нашей системы истории развития искусств, а только тезисы тезисов.

6. Вторая линия развития переходного государства ведет к рабовладельческому торговому государству, как Греция, Рим, Финикия. Развитие искусства идет через *патетический идеализм* (пластика) и через *патетический реализм* (трагедия, пластика) к *эстетизирующему иллюзионизму*.

7. Разруха римской империи совершается одновременно с экономическим укреплением живущих на ее территории «варварских» племен, которые через кризисы эпохи «переселения народов» складываются в феодальные государства. Это—Европа до половины XIV в., Россия до XV в., Япония до XV в. Но если феодализм на Востоке идет от централистической деспотии к децентрализации, в Европе его децентрализм показывает сильные централистические устремления. Поэтому (отчасти) и другая картина развития стилия. Европейский феодализм имеет три основных стилия—*мистический схематизм* («византийский стиль»), *эстетизиру-*

щий схематизм («романский») и лирико-суб'ективистический мистицизм («готика»).

8а. Эпоха торгового капитализма начинается переходным периодом его, представляющим собою период значительного усиления торговых отношений и самой торговой буржуазии. Искусство этого периода связано, с одной стороны, с готикой, а с другой—с *эпически-схематизированным реализмом* так наз. «раннего ренессанса» в Италии и эпохи разгара классовой борьбы в «северных странах» (XV—XVI вв. в Германии и Нидерландах).

8б. Зрелый период эпохи торгового капитализма, как мы уже упомянули, имеет три основные формы государственного устройства—торговую республику, конституционную монархию и абсолютную монархию. Торговая республика, в своей более примитивной форме (в городах Италии), показывает иные психо-идеологические отношения его господствующего класса, нежели в ее экономически, политически и культурно более развитой форме (в Голландии). Отсюда разница в развитии стиля искусства той и другой формации. В Италии «эпохи возрождения» мы имеем *аналитический идеализм*, а в Голландии XVII в. аналитический идеализм смешивается с *психологически акцентированным аналитическим реализмом*. Конституционная монархия в своем искусстве дала *эклетицизм*, а абсолютная монархия—*патетический идеализм*. Господствующая форма искусств—живопись.

9. Следующая эпоха—эпоха промышленного и финансового капитализма—в своем развитии идет еще больше дифференцированным путем,—дифференцируется внутри себя и сам господствующий класс, буржуазия. Кроме этого, новый класс, в создании своего искусства, может пользоваться прошлым—по некоторым основным признакам—родственных ему эпох в гораздо большем количестве, нежели, напр., торговая буржуазия. Развитие стилей усложняется как в первом периоде этой эпохи—в периоде промышленного капитализма,—так и, еще больше, во втором—в периоде империализма. Мы выше уже говорили о четырех главных линиях развития искусств этой эпохи, но эти линии и внутри себя имеют ряд стилей. По первой линии намечаются основные стили—*патетический реализм* (бытовой реализм), *патетический идеализм* (классицизм), *романтизм*, *иллюзионистический реализм* (натурализм), *сенсуалистический суб'ективизм* (импрессионизм, нео-импрессионизм) и *суб'ективистический пассивизм* (экспрессионизм, нео-примитивизм, дадаизм). По второй линии идут—*интеллектуалистический суб'ективизм* (от Сезанна до Дерэна), *об'ективизирующий интеллектуализм* (футуризм, кубизм, кубофутуризм, симультанизм, супрематизм) и, наконец, выявляющийся впервые в архитектуре *конструктивизм*. Третья линия дает *нео-классицизм* и *эклетицизм*. Четвертая, начинающаяся линия развития, которая переходит в следующую эпоху, в эпоху революционного строительства социализма, своего стиля еще не имеет, но обнаруживает тенденции к *синтетическому реализму*.

Расшифровку этих основных стилей, дифференцирующихся внутри себя на первичное и вторичное выявления их, как и расшифровку всей

системы истории искусств, мы здесь не дали и не могли дать,—эту задачу мы оставляем за собой. Нам хотелось только показать на фактическом материале, насколько не правы те сверхматериалисты, которые стараются свести историю стилей к узко-ограниченной схеме, построенной на весьма суб'ективных началах и на весьма не-конкретном отношении к конкретным явлениям истории, а в частности,—показать, насколько не выдерживает серьезной критики схема И. Иоффе, который делит всю историю человеческого общества на три «культуры» и всю историю искусств—на девять стилей.

И. Маца.

II.—СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДОВ, ЧИТАЕМЫХ В КОММ. АКАДЕМИИ

ДИАЛЕКТИКА В СИСТЕМЕ ДЕКАРТА

(Доклад В. Ф. Асмуса)¹

Товарищи! В своем «Анти-Дюринге» Энгельс назвал Декарта—на ряду со Спинозой—*блестящим представителем* диалектики в XVII веке. При этом Энгельс *противопоставил* Декарта и Спинозу общей — *метафизической* — тенденции в философии этого столетия. В отличие от философии античной, которая была по природе диалектичной, «философия нового времени,—говорит Энгельс,—*хотя и в ней диалектика имела своих блестящих представителей (например, Декарта и Спинозу), все более и более утверждалась (благодаря особенно английскому влиянию) в так называемом метафизическом образе мышления, который также почти исключительно царил и среди французов XVIII века, по крайней мере, в их специальных философских трудах*»².

Данная здесь Энгельсом характеристика Декарта и Спинозы выдвигает интереснейшую тему историко-философского порядка: исследование *диалектики Спинозы и диалектики Декарта*—в их *противоположности* метафизике XVII, а также, в значительной мере, и XVIII века.

По отношению к Спинозе марксистская философская мысль *уже* приступила к такому изучению. Диалектический смысл онтологии и методологии Спинозы раскрыт А. М. Дебориным в юбилейном докладе о Спинозе. Есть и моя работа—о диалектике необходимости и свободы у Спинозы. Напротив, диалектика Декарта представляет еще для нас проблему.

Предлагаемый доклад есть посильная попытка анализа этой проблемы. Нужно сказать, что анализ этот представляет огромные трудности. Во-первых, по этому вопросу почти нет исследовательской литературы. Есть материалы, но под *таким* углом зрения они не обрабатывались.

Во-вторых, изучение диалектики Декарта разделяет общую судьбу большинства таких исследований: его нельзя оторвать от анализа системы в целом. Нельзя «выхватывать» крупинки диалектики из цельного учения, а затем строить из них «диалектическое мировоззрение». Но раз так, то трудно провести черту между общей историко-философской характеристикой системы и её специально-диалектической интерпретацией. В интересах экономии приходится брать из всей системы только те учения, которые, так или иначе, связаны с диалектикой,

¹ Прочитан на заседании Философской секции Комм. Академии 8 декабря 1927 г.

² Фр. Энгельс. «Философия, политическая экономия, социализм» (русск. пер. Ю. Цедербаума, 3-е изд., СПб., 1906, стр. 5; курсив мой. В. А.).

к ней ведут, являются почвой, на которой она вырастает. Напротив, в интересах корректной, не односторонне-извращенной интерпретации самой диалектики следует иметь в виду *связь всех частей* системы. Выполнить оба эти требования на практике, особенно в пределах одной статьи или доклада—очень трудно. Слушателю постоянно будет казаться, что предложенное его вниманию есть скорее общая историко-философская характеристика. Если этот слушатель—историк философии, то он найдет изложение недостаточным, неполным. Если же его интересует только диалектика Декарта—изложение покажется ему загроможденным общими историко-философскими подробностями. Я опасаясь, что именно таково будет впечатление и от моего доклада. Поэтому, во избежание недоразумений, считаю своим долгом предупредить: в предварительном, прелиминарном освещении диалектики Декарта я считал необходимым прежде всего представить материалы по диалектике Декарта. Мой доклад ни в малейшей мере не есть историко-философская характеристика. Из системы Декарта я сознательно выделил только те моменты, которые, в конечном счете, ведут к диалектике. В этом смысле мой доклад—заведомо фрагментарный и прелиминарный. Это—первая ступень работы.

Наконец, третья—и самая значительная—трудность, подстерегающая исследователя диалектики Декарта, коренится в особенностях самого учения Декарта. Дело в том, что *исходные точки системы Декарта, сами по себе, не только не способствовали развитию диалектических воззрений Декарта, но им препятствовали*. Эти исходные точки—«*cogito*» и интуитивизм Декарта. Учение Декарта о *cogito*, о преимуществе имманентного опыта над опытом трансцендентным напоминает идеи современных феноменологов: Гуссерля и других. Было бы очень интересно показать это в специальной работе. Но феноменология Гуссерля—*антидиалектична, враждебна диалектике*. То же справедливо и относительно Декарта. Устои его методологии не вели Декарта к диалектике. Диалектиком Декарт был не в этих своих исходных пунктах, но, так сказать, *несмотря* на них. Однако—для понимания системы Декарта—мне придется начать именно с них.

I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ДЕКАРТА

То, что в античном материализме было синтезом, результатом долгого и плодотворного развития, стало—для новой европейской философии—*исходной точкой*, началом ее движения. Здесь не место поднимать вопрос о возможности и о границах прямого генетического влияния Демокрита на Декарта. Как бы ни решало этот вопрос специальное историко-философское исследование, не подлежит сомнению, что на пути своего теоретического развития Декарт должен был пройти—пусть в своеобразных условиях своей эпохи—основные этапы, в которых некогда концентрировались результаты античного материализма. Путь познания определяется природой познаваемого объекта, и путь материалистической космологии не может не быть единым для действительного познания. Пресекование плодотворной традиции античного материализма в середине века вызвало к жизни своеобразный ренессанс материализма, как только успехи точных наук, опиравшиеся на развитие техники и в частности на развитие эксперимента, сделали возможной и необходимой

постановку космологических вопросов. Космологическая проблема—центральная у Декарта. Успехи физики, механики, теоретической и наблюдательной астрономии требовали об'единения всех достигнутых результатов. Таким об'единяющим вопросом, предполагающим значительную высоту математических, физических и астрономических познаний, был вопрос о происхождении и физическом механизме вселенной. Открытия Галилея, грандиозные теоретические исследования Кеплера, споры по поводу гипотезы Коперника волновали умы. Обыватели видели в них только разрушительную силу, подрывавшую положительный устоявшийся мироззрения. Напротив, творческие умы находили в них стимул для синтетических исследований и построений. Таким синтетическим гением был Декарт. Космология Декарта была первым—весьма широким и значительным—синтезом, об'единившим данные развития реальных наук с XVI по XVII век.

Космологические построения Декарта опирались на тщательно разработанную *методологию*. Интерес к методологии—характерная черта новой философии. В XVII веке эмпирики интересовались вопросами метода не менее чем рационалисты. Из страсти к методологическим исследованиям рождается «Новый Орган» Бэкона—величайшее произведение английского материализма и одно из крупнейших философских произведений XVII века. Но наивысшего напряжения эта страсть достигает в деятельности Декарта.

Методологическим трактатом начинается философская деятельность Декарта, и на всем ее дальнейшем протяжении проблемы метода неуклонно стоят в центре его внимания. Интерес к методу, конечно, не только индивидуальная особенность Декарта. Как и у Бэкона, интерес этот отражает глубочайшее соотношение между ростом в XVII веке положительных наук и ростом философского мышления. Интерес этот *об'ективно* навязывался философскому мышлению, навязывался вопиющим несоответствием между успехами математики и математического естествознания и плачевным состоянием логики, неспособной охватить, обобщить и привести к единству многообразие стихийно создававшихся новых приемов исследования. В отличие от позднейшего упадочного периода буржуазной философии, когда усердно мусируемый методологизм маскирует творческое бесплодие мысли, ее отрыв от положительного знания, от реальной базы—научной работы,—в учении Декарта методологизм был продуктом и доказательством тесной жизненной связи между положительной наукой и философией.

Исходный пункт в учении Декарта образует знаменитое требование *радикального сомнения*. В ряде аргументов Декарт доказывает, что во всем составе знания, доставляемого нам ощущениями и мышлением, нет ни одного положения заведомо истинного, в справедливости которого нельзя бы было усомниться. Во всем следует сомневаться. «Из всего, принимавшегося мною некогда за истину,—говорит Декарт,—не найдется ничего, в чем бы я не мог усомниться каким бы то ни было образом»¹. «И это,—добавляет он,—отнюдь не вследствие легкомыслия или неосмотрительности, но по весьма основательным и зрело обдуманым причинам»².

¹ Декарт, *Метафизические размышления*, пер. В. М. Невежиной, СПб. 1901, стр. 23.

² Там же, стр. 23.

К необходимости радикального сомнения нас ведет анализ *источников* познания. Знание возникает из *чувства* или *ощущений*. Вместе с Демокритом и вместе со всем материализмом Декарт выводит познание из ощущений. «Все, что до сих пор принималось мною за истинное и обоснованное,—писал Декарт в «Метафизических размышлениях»,—узано из чувств или посредством чувств»¹. Но чувства, как об этом свидетельствует опыт, иногда оказываются обманчивыми. И хотя люди обычно полагают, что чувства обманывают нас только относительно вещей, мало осязаемых и чересчур отдаленных, в остальных же случаях—вполне достоверны, однако Декарт это возражение отклоняет, указывая на отсутствие признаков, посредством которых можно было бы отличать бодрствование от сна.

Но не только анализ чувств приводит нас ко всеобщему сомнению. Анализируя даже простейшие и наиболее общие представления простейших элементов окружающего нас мира, каковы, напр., *протяженность, фигура, величина, число, место, время* и т. д., мы легко убеждаемся, что и они, несмотря на всю кажущуюся ясность и очевидность, не могут быть заведомо достоверным устоем знания. Ибо как знать: «не устроил ли бог так, что в действительности не существует никакой земли, никакого неба, никакого протяженного тела, никакой фигуры, никакой величины, никакого места, а я, тем не менее, воспринимаю все эти вещи и они кажутся мне существующими точно такими, как я их воспринимаю?»². Не может здесь помочь и обычная ссылка на *благость* бога, с которой будто бы был бы несовместим подобный обман, ибо с божьей *благостью* одинаково несовместимы и те обманы чувств, в которые мы нередко впадаем и в существовании которых не приходится сомневаться.

Итак, ни данные чувства, ни содержание представлений—простых или сложных—не могут избежать сомнения в их достоверности. Сомнение Декарта охватывает весь мир эмпирического и рационального знания. Единственное средство избавиться от заблуждения состоит «в твердом намерении никогда не высказывать суждения о вещах, истинность которых не известна мне с очевидностью»³.

Нельзя отрицать, что все эти аргументы Декарта имеют известное сходство с аргументами скептицизма. Подобно скепсису, Декарт начинает с *критики ощущений*; раскрыв противоречивость их показаний, обращается к критике сложных и простых рациональных представлений и завершает характерным для скепсиса призывом к *воздержанию* от суждений.

Однако связь Декарта со скептицизмом—чисто внешняя. В этом пункте Декарт поразительно близок к Демокриту и к Бэкону. Как и у Демокрита, в учении Декарта «скептические» аргументы—только *методологический прием*, а не последнее слово гносеологического убеждения. Цель Декарта—не в том, чтобы уничтожить доверие к знанию, а в том, чтобы очистить знание от всех сомнительных и недостоверных элементов. Скептическая критика Декарта—не более, чем прием радикального очищения. Молчаливую аксиому, на которой строится вся скептическая аргументация Декарта, образует твердое и непоколебимое убеждение Декарта в том, что истинное знание, адекватное своему

¹ Декарт, *Метафизические размышления*, стр. 20.

² Там же, стр. 22.

³ Там же.

предмету, существует и что оно, хоть и трудно, но всё же достижимо. В системе Декарта радикальное сомнение не играет самодовлеющей роли. Значение его — чисто служебное, вспомогательное, методологическое. Последовательно очищая все содержание знания, отбрасывая все, на что может пасть хоть малейшая тень сомнения, мы можем, по Декарту, дойти до абсолютно-достоверных начал или устоев, на которых можно уже спокойно строить все здание науки.

Энергия, с какой Декарт требует радикального очищения знания от всех предрассудков, объединяет его с Бэконом. Вместе с Бэконом, предваряя Локка, Декарт требует, чтобы ум человека стал подобен чистой, неисписанной доске, свободной от всех обманчивых начертаний опыта и традиционных представлений. В философском диалоге «Разыскание истины посредством естественного света» Эпистемон сравнивает сознание ребенка «с чистой досочкой, где должны размещаться наши идеи, которые подобны портретам с натуры, получаемым от каждой вещи»¹. Другой участник диалога, Эвдокс, выражающий мнения самого Декарта, указывает и путь, ведущий к такому очищению: «Кто, думается мне,—говорит Эвдокс,—как ваш художник примется за возобновление картины, тот скорее сперва пройдет губкой, чтобы стереть все нанесенные черты, нежели станет терять время за их исправлением: подобным образом,—продолжает Эвдокс,—каждому человеку, лишь он достигнет известного предела, называемого возрастом знания, должно решиться в добрый час изгнать из своего воображения все несовершенные идеи, какие в нем начертаны были доселе, и начать серьезно формулировать новые, хорошо пользуясь работой своего рассудка»². Но всего яснее *методологический* смысл философского скепсиса выражен в «Началах философии». «Дабы методически философствовать и достичь *истинного понимания* всех познаваемых вещей,—говорит Декарт,—должно прежде всего отбросить все предрассудки, или тщательно остерегаться от доверия к каким-либо из мнений, нами некогда полученных, раньше нежели признаем их истинность, подвергнув их новой проверке»³.

Однако соприкосновение Декарта с Демокритом не исчерпывается учением методологического скепсиса и очищения. Как и Демокриту, Декарту пришлось поставить вопрос о сравнительной ценности *чувственного* и *рационального* знания. Подобно Демокриту, Декарт прекрасно понимает значение чувственного опыта. Из чувств возникает все, что мы почитаем за истину, опыт же есть проба и свидетельство истинности наших представлений. Так, по мысли Декарта, материальные частицы, из которых складывается мир, могли быть установлены богом в каком угодно порядке, «бесчисленно различными способами», но «те, какие из всех последних избираются, мы можем изучить лишь путем опыта. Нам предоставлено,—утверждает Декарт,—принять любые из них, лишь бы все, вытекающее отсюда, согласовалось с опытом»⁴. Воздавая должное опыту, Декарт высоко ценит и искусственные, технические средства, доставляемые экспериментом. Он прямо сознается, что в размышлениях относительно возможного порядка, в котором были первоначально расположены материальные частицы, ему «много помогли вещи, созданные искусственным

¹ Декарт, Сочинения, т. I, пер. Н. Сретенского, Казань, 1914, стр. 110.

² Там же, стр. 110—111.

³ Там же, стр. 38; курсив мой. В. А.

⁴ Там же, стр. 72.

путем: между ними и природными телами,—говорит Декарт,—я нашел только ту разницу, что действия механизмов производятся в большинстве случаев столь значительными по величине инструментами, что легко могут быть восприняты чувством: необходимо, чтобы такие вещи могли быть изготовляемы людьми. Напротив, действия природных вещей почти всегда зависят от известных органов, столь малых, что они ускользают от всякого чувства»¹.

Но, отдавая должное чувственному опыту и его высшему завершению — техническому эксперименту, Декарт не в опыте видит достоверное начало познания. То, что чувства раскрывают нам в вещах, имеет, по Декарту, несомненную, *практическую*, жизненную ценность, но недостаточно для их *теоретического* познания. Знание, доставляемое нашими ощущениями, показывает нам не то, каковы вещи сами по себе, но скорее ту роль, какую они могут сыграть в нашей практической ориентации. «В действительности,—утверждает Декарт,—никакой вещи в *ее сущности* мы не воспринимаем одним только чувством»²; «восприятия чувств относятся только к... союзу человеческого тела с душой и *хотя они обычно сообщают нам, в чем могут быть вредны или полезны для этого союза внешние тела, однако только иногда и случайно учат, каковы тела сами по себе*»³.

Неспособность чувственного опыта стать базой истинного познания явствует, по Декарту, из того, что многие вещи и отношения, раскрываемые рациональным анализом, вовсе не могут быть удостоверены нашими ощущениями. Здесь Декарт в точности воспроизводит известную аргументацию Демокрита. «В отдельных телах,—утверждает Декарт,—есть частички, не воспринимаемые никаким чувством»⁴. Что же касается тех, кто «считает свои чувства за меру познаваемого», то им Декарт возражает, указывая на *явления роста*. «Но кто в состоянии усомниться, будто многие из тел столь малы, что не схватываются нашими чувствами, тому стоит только подумать, что в медленно растущем теле прибавляется за отдельные часы или что отвлекается от медленно уменьшающегося тела. Дерево растет всякий день и оно не может стать большим, прежде чем не присоединится к нему некоторое тело. Но кто воспринимает эти тельца, вступающие в дерево ежедневно? По крайней мере те, кто принимают бесконечную делимость массы, должны сознаться, что частицы могут быть малы настолько, чтобы не восприниматься никаким чувством»⁵.

Итак, критерий адекватного познания не может заключаться в данных чувства; его следует искать *только* в рациональном усмотрении. Подобно Демокриту, Декарт полагает, что мышление в самом себе содержит и находит принцип собственной достоверности, и при этом даже тогда, когда мышление направлено на познание *чувственных* объектов. «Тела, собственно говоря,—утверждает Декарт,—не познаются чувствами или способностью представления, но одним *только разумом*... они становятся известными не благодаря тому, что их видят или осязают, но благодаря тому, что их разумеют мыслью»⁶. «Мое понимание,—читаем мы в другом месте,—отнюдь не составляет ни зрения,

¹ Декарт, Сочинения, т. I, стр. 100.

² Там же, стр. 37; курсив мой. В. А.

³ Там же, стр. 41; курсив мой. В. А.

⁴ Декарт, Начала философии. Сочинения, I, стр. 98.

⁵ Там же, стр. 98.

⁶ Декарт, Метафизические размышления, стр. 36; курсив мой. В. А.

ни осознания, ни представления и никогда не составляло их, хотя это и казалось прежде; но оно составляет *только усмотрение умом*¹... Уразумеваемое содержание может быть несовершенным, смутным и может быть ясным и отчетливым. Только ясное и отчетливое усмотрение приводит, по Декарту, к истинному познанию. Критерию ясности и отчетливости принадлежит громадная роль в методологии Декарта. «Достоверно,—утверждает Декарт,—что мы никогда не примем за правильное чего-либо ложного, если станем утверждать только то, что ясно и отчетливо воспринимаем»². «И это,—думает Декарт,—никакими рассуждениями не проверяется: так уж от природы запечатлено в душах, что всякий раз, как мы что-нибудь ясно воспринимаем, мы добровольно это утверждаем; и мы никоим образом не можем сомневаться, верно ли это»³. *Ясным* Декарт называет «то восприятие, которое дано налицо и открыто для наблюдающей души»⁴. *Отчетливым* же он называет «восприятие, которое, будучи ясным, от всего остального так отделено и отсечено, что содержит в себе только ясное»⁵.

В этих аргументах Декарта сформулирован тезис рационализма, который можно считать классическим. Рационализм отнюдь не может быть сведен к простому отрицанию чувственного происхождения, чувственных источников знания. Распространенное мнение, утверждающее, будто демаркационную линию между эмпиризмом и рационализмом образует признание или отрицание за ощущениями их права почитаться *генетическими* источниками знания, основано на дурном схематизме популяризирующих учебников. Мнение это не отражает действительной сложности развития философии. *Действительный* рационализм—вразрез с этим пониманием—в полной мере признаёт роль ощущений в генезисе знания. Существо рационализма—не в том способе, каким рационализм разрешает *генетические* проблемы знания, но в тех *новых проблемах*, которые он ставит и которые *принципиально нейтральны* по отношению к вопросам генетического порядка. Существо рационализма—в утверждении, что—независимо от той роли, которую ощущения выполняют в генезисе знания,—то, что мы называем *знанием, пониманием*, не может быть сведено к генетической истории ощущений и есть *разумное усмотрение, уразумение истины наших понятий в их предметном значении*.

Итак, бесспорную, достоверную основу знания Декарт нашел в *ясных и отчетливых* восприятиях. Но ясность и отчетливость составляют всего лишь *формально-онтологическую* приметку знания. Остается вопрос о том, какие конкретные истины обладают признаком ясности и отчетливости и потому могут быть положены в основу науки, как ее безусловно достоверное и надежное начало. Такую конкретную основу образует, по Декарту, убеждение в том, что—как мыслящее существо—я существую. Мы уже знаем, что радикальное сомнение распространяется на все возможные мыслимые объекты: можно—и, следовательно, должно—сомневаться в достоверности *всех* показаний внешних чувств; можно сомневаться в бытии внешнего мира и даже в существовании собственного тела; можно, наконец, думать, что бог, по неизяснимому

¹ Декарт, Метафизические размышления, стр. 34; курсив мой. В. А.

² Декарт, Начала философии, стр. 26.

³ Там же, стр. 26.

⁴ Там же, стр. 26.

⁵ Там же, стр. 27.

произволу, наводит на людей обман и показывает им несуществующие вещи в качестве существующих. Однако как бы далеко ни зашло мое сомнение, существует один пункт, на который оно не в силах распространиться. Я не знаю, существуют или не существуют предметы моего восприятия, но я твердо знаю, что во всяком случае само мое *сомнение* существует. Пусть не существуют ни внешний мир, ни мое тело, но тот факт, что я *сомневаюсь* в их существовании, никем не может быть отрицаем. Факт *сомнения* существует. Но *сомнение* есть один из актов *мышления*. Я *сомневаюсь*, поскольку *мыслю*. И если сомнение достоверно существует, то оно существует постольку, поскольку существует мышление. «Я мыслю,—следовательно, существую».

Итак, достоверная конкретная опора знания найдена. На подпочве всеобщего сомнения возвышается прочный фундамент достоверной истины. Фундамент этот состоит в убеждении, что предметная истина бытия впервые раскрывается и удостоверяется фактом самосознания. Самосознание, рефлексия мысли на самое мышление—надежнейшее начало и основа достоверного знания.

Из сказанного явствует, что, как и принцип всеобщего сомнения, декартовское *cogito* имеет прежде всего *методологическое* значение. Провозглашая *cogito*, Декарт ни в малейшей степени не имел в виду насаждение философского метафизического идеализма. Могучий об'ективизм и онтологизм Декарта в корне враждебны всякой метафизической теории, выводящей бытие из сознания. Идея онтологического примата сознания, составляющая центральное учение последующего идеализма, чужда Декарту. Декартовское «*cogito ergo sum*» означает, что в *порядке познания* мышление, сознание есть наиболее достоверный непосредственно данный теоретическому усмотрению объект, а потому и наиболее достоверное начало науки. О первенстве сознания Декарт учит не в порядке *бытия*, но только в порядке его *познания*. Для человека, приступающего к познанию, впервые направляющего свой взор на окружающий его мир, в котором всё течет, движется, меняется, ускользает, наиболее «близким», всегда налицо данным, и данным так, как он есть, является самый акт сознания, направленного на предмет. Тот «примат» сознания, о котором здесь идет речь, не есть ни примат порождающего мир божественного духа, ни примат «обуславливающего» природу своими формами и категориями «гносеологического субъекта». В декартовом *cogito* «примат» самосознания имеет только тот смысл, что среди возможных объектов познания *сознание* есть *особый объект*: это—*первый объект, который дается нам так, как он есть, не требуя в этой своей данности никакого «об'яснения», никакого репрезентанта*. Если уж говорить об «идеализме» Декарта, то «идеализм» этот следует называть не онтологическим и не гносеологическим, но именно *методологическим*. И если последующая традиция идеализма не раз пыталась провозгласить Декарта отцом всего новейшего идеализма, а *cogito* истолковать как тезу, утверждающую онтологическое первенство сознания над бытием, то сам Декарт тут решительно не при чем.

Другой устоя методологии Декарта составляет его убеждение в *системном* характере науки, иными словами, мысль о том, что все знания, в которых уразумевается связь вещей, образуют не бессвязную и случайную группу фактов, но *стройную* систему понятий, в которой каждая истина логически связана со всеми остальными, занимает определенное место в космосе науки и находится в определенной зависимости от всех прочих знаний. С этой замечательной идеей декартовой методологии мы впервые вступаем в область *диалектической*

достижений Декарта. Идея *логической системности науки* впоследствии стала одной из важнейших идей диалектического воззрения. Так как в науке нам открываются объективные связи бытия и так как в бытии—природном и общественном—все явления существуют не изолированно, но связаны между собой цепью взаимодействия, то наука возможна только как *система, как связь истин, соответствующая предметным связям вещей*.

У Декарта мы находим уже ясное сознание *системной* природы знания. «Все истины,—говорит Декарт,—следуют одна за другой и связаны между собой единою связью. Весь секрет состоит в том, чтобы начать с простейших из них и так подниматься мало-по-малу и как бы по ступеням до истин наиболее далеких и сложных»¹.

Как и следовало ожидать, эта первая диалектическая мысль декартовой методологии не была продуктом отвлеченного умозрения. Она выросла из *специальных научных исследований* Декарта, как их логическое осознание и завершение. Идея логической связности и системности знания сложилась у Декарта в процессе его *математических работ*. Сравнительное изучение логической структуры *алгебры и геометрии* привело Декарта к открытию общего математического метода или Универсальной Науки (Mathesis Universalis). С этого момента геометрия и алгебра из самостоятельно и сепаратно развивающихся ветвей математики превращаются в звенья единой математической науки. С другой стороны, глубокое и основательное изучение механики, астрономии, оптики и акустики навело Декарта на мысль, что Универсальная Наука или Mathesis Universalis распространяется не только на алгебру и геометрию, но также и на все вообще науки, имеющие своими объектами *меру и порядок*. «Я нашел,—говорит Декарт,—что все науки, занимающиеся изучением *порядка и меры*, относятся к математике, независимо от того, находят ли они эту меру в числах, фигурах, звездах, звуках или совершенно иных предметах, и что поэтому должна существовать Универсальная Наука, которая изучала бы, независимо от каждого отдельного ее применения, все, что имеет отношение к порядку и мере»².

Но и на этой ступени Декарт не остановился. Продолжая обобщение математического метода, он пришел к мысли, что все объекты достоверного знания образуют единую логическую систему, в которой каждое отдельное звено усматривается в своей истинности благодаря другому звену, это последнее—в свою очередь благодаря какому-нибудь другому звену, вся же цепь истин получает основание от такого положения, которое достоверно само по себе, непосредственно, не нуждается в выведении ниоткуда и в силу этого может стать началом или основанием для его ряда»³.

Обобщенный до такой степени метод, в сущности, не мог уже оставаться тождественным математическому методу в его *специальном*—хотя бы и весьма широком—смысле. Философский—диалектический—гений Декарта сказался в том, что, исходя из *специальной и частной* (хотя и весьма общей по логическому содержанию своего предмета) науки, именно *математики*, Декарт счастливо избежал опасностей одностороннего специализма и свою методологию в математике не растворил. Декарт сам раз'яснял, что в числе научных понятий, которые

¹ Декарт, Разыскание истины посредством естественного света, I, стр. 125—126; курсив мой. В. А.

² Декарт, XI, стр. 222—223 и сл.

³ Декарт II, стр. 12.

должны быть охвачены методологией, имеются и такие, которые при помощи математических фигур и знаков представлены быть не могут¹. Поэтому, сохраняя математический метод, как базу для методологии, Декарт исключает из него начертание и анализ фигур и знаков и, таким образом, приводит его к наиболее общему виду. Освобожденный от ограниченности специализма, метод Декарта рассматривается им как метод не только математического знания, но и *всякого достоверного знания вообще*. Именно в этом содержании—наиболее общем и потому применимом ко всякому частному виду знания—излагает Декарт свой метод в четырех знаменитых правилах, составляющих центральное ядро «Рассуждения о методе».

Вдумываясь в только-что изложенное, нетрудно заметить, что Декарт в поисках достоверной истины нашел *два вида* бесспорного знания. Это, во-первых, ясные и отчетливые *аксиомы* или положения, достоверные сами по себе, ниоткуда не выводимые; истинность их открывается не в доказательствах и не в выводах, но в простой интуиции. Во-вторых, достоверным знанием оказываются, по Декарту, все те положения, которые сами по себе не очевидны, но истина которых удостоверяется тем, что они суть *вывод* из других, доказанных уже ранее или непосредственно усмотренных истин.

Что касается аксиом, то к их числу прежде всего принадлежит аксиома cogito. Следует отметить, что cogito Декарта излагается им не как *вывод*, но как *начало* знания, и притом начало, постигаемое в простой и ясной интуиции.

Cogito есть первая и основная аксиома Декарта, но не единственная. Впрочем, учение Декарта об аксиомах слабо разработано². Декарт не дал ни классификации своих аксиом, ни подробной их логической характеристики. Характерным для аксиом он считает их интуитивный характер. Под интуицией Декарт понимает, как видно из собственного его определения, не измемчивое свидетельство чувств и не обманчивое суждение воображения, по природе беспорядочного, но непосредственную концепцию ума здорового и внимательного, концепцию «столь отчетливую и ясную, что не остается места никакому сомнению относительно понимания, или—что то же—очевидную концепцию здорового и внимательного ума, рождающуюся из одного только света разума»³.

Аксиомы Декарта могут быть разбиты на две группы: *материальные и формальные*. Материальные аксиомы имеют своим содержанием *предметные истины*,

¹ См., напр., письмо Декарта к Mersenne, июнь 1641 г.: «je n'appelle pas simplement du nom d'idée les images qui sont peintes en la fantaisie; au contraire, je ne les appelle point de ce nom, en tant qu'elles sont dans la fantaisie corporelle; mais j'appelle généralement du nom d'idée tout ce qui est dans nostre esprit, lors que nous concevons une chose, de quelque manière que nous la concevions». (Descartes, Correspondance, Tome III, Léopold Cerf, 1899, стр. 392—393). Ср. еще возражения Декарта одному из корреспондентов Mersenne'я: «Si donc il veut prendre le mot d'idée en la façon que j'ay dit tres-expressément que je le prenois, sans s'arrester à l'équivoque de ceux qui le restraignent aux seules images des choses matérielles qui se forment dans l'imagination, il lui sera facile de reconnaître que... и т. д. (Descartes, Correspondance, Tome III, стр. 393).

² В литературе о Декарте содержательную характеристику излагаемого учения Декарта об аксиомах дает В. Серебряников в книге «Учение Локка о природных началах знания и деятельности». СПб, 1891, особенно стр. 91—98.

³ Descartes, Oeuvres, изд. В. Кузена, т. XI: Règles pour la direction de l'esprit, стр. 212.

это—положения, в которых высказываются бесспорно истинные связи вещей. Примеры *материальных* аксиом: «я мыслю, следовательно существую», «треугольник ограничен тремя линиями», «в круге только одна поверхность» и т. д.

Формальные аксиомы предметного знания не дают. В них формулируются чисто-формальные принципы, по которым следует производить *дедукцию*, т. е. вывод одних истин из других.

Рассматривая формальные аксиомы Декарта, нетрудно убедиться, что в них Декарт *еще целиком стоит на точке зрения формально-метафизической логики*. Диалектическая критика еще не успела коснуться логических предпосылок учения Декарта. Устой, на котором прочно покоится логика Декарта, образует *закон противоречия*, притом выраженный категорически, без всяких ограничений и оговорок. Что дело обстоит именно так, явствует уже из формулировок декартовых аксиом. Вот наиболее типичные из них: «невозможно, чтобы одно и то же вместе и было и не было»; «сделанное не может быть не сделанным»; «в производящей причине должно быть столько реальности, сколько ее находится в производимом действии»; «из менее совершенного не происходит более совершенного» и т. д.

Во всех этих тезах очень мало диалектики. Напротив, все эти аксиомы предполагают абсолютную достоверность и непоколебимую истинность формально-метафизического воззрения. Традиция схоластической логики слишком еще сильно тяготеет над Декартом.

Поэтому, кто хочет проследить пути, по которым совершалось развитие диалектических воззрений Декарта, тот должен оставить чистую логику и обратиться к конкретному содержанию гносеологии и онтологии Декарта. Именно здесь следует искать брешь, пробитую Декартом в традиционных формально-метафизических представлениях.

Здесь прежде всего следует отметить учение Декарта об *интуитивных* устоях знания. Мы только что видели, с какой энергией отстаивает Декарт существование *интуитивного* рода знания, помимо знания *дискурсивного*, т. е. осуществляющегося в выводах и рассуждениях. *Подчеркивая наличие интуитивных начал знания, Декарт тем самым ограничивал сферу компетенции схоластической формальной логики, с ее знаменитыми учениями о дедукции и силлогизме*. В эпоху Декарта для официального мировоззрения задачи философии представлялись еще чисто-служебными. Истина была наперед дана и известна—в учении церкви,—и поскольку философия допускалась и терпелась, задача ее сводилась к подробной и тщательной разработке разумных рациональных доказательств сверхразумных, богооткровенных истин. В такой философии особое значение должны были получить формально-логические операции: выводы, умозаключения, подчинения, сопоставления и определения понятий. Энергия исследовательской мысли была направлена не на разыскание нового предметного знания, а на согласование наличных предметных истин с наперед данными истинами церковной традиции. При таком понимании задач науки и философии формально-логическая техника мышления должна была изощряться до виртуозности. Однако это изощрение покупалось ценой крайнего сужения логики, которая исчерпывалась весьма узкой областью правил силлогизма и формального учения о понятии. Предметное содержание знания, предметная основа логических форм, понятий и актов оставались в полном пренебрежении. Все внимание было

направлено на то, чтобы решить, правильно ли связаны между собой в выводе понятия и суждения. Вопрос же о том, истинны ли сами эти понятия и суждения, и не поднимался, а если и возникал относительно какого-нибудь понятия, то разрешался чисто формально—путем указания ближайшего высшего, т. е. более широкого по объему, класса предметов («рода») и существенного видового отличия.

В такой обстановке учение Декарта об интуитивных началах знания означало известную революцию. Не подрываясь под истинность аксиом формальной логики, учение Декарта об интуитивных истинах заметно ограничивало, сужало сферу ее прав. Как бы ни была совершенна логическая дедукция, как бы точно мы ни соблюдали формальные правила силлогизма, субординации, дефиниции и т. д., одной точностью их соблюдения не может быть гарантирована истинность результатов нашего мышления. Мало того, что весь ряд формально-логических операций построен безупречно. Необходимо еще, чтобы у нас были твердые гарантии, что исходная точка всего ряда выбрана и установлена нами правильно. Но эта гарантия достижима только в том случае, когда истина исходной тезы не нуждается в оправдании или выведении еще откуда-либо, иными словами, только в том случае, когда она в себе самой несет свидетельство своей достоверности. Такая истина не есть уже результат вывода. Она непосредственно усматривается разумом в истине своего предметного содержания. Она самоочевидна, и единственное условие обладания ею состоит в ясности направленного на нее интеллектуального созерцания.

Именно такой смысл имеет учение Декарта об интуиции. Чем энергичнее отстаивал Декарт права интуитивного знания, тем сильнее сужалось поле формальной логики, которая из универсального по захвату схоластического *ars inveniendi* превращалась в то, чем она должна быть: в учение о правилах связи мышления, направленного на предметное знание в его различных видах.

Декарт сам прекрасно понимал, что его учение об интуиции органически связано с критикой школьной формальной логики. Ветвь может, всего яснее выступает эта связь в его диалоге «Разыскание истины». Доказательство существования интуитивных истин идет здесь рука об руку с критикой школьной логики. «Не станете,—вопрошает Декарт устами Эвдокса,—не станете же вы воображать, будто для приобретения... предварительных понятий необходимо принуждать и мучить наш ум, чтобы находить ближайший род и существенное различие вещей и из этих элементов составлять истинное определение. Оставим это тому, кто хочет быть профессором или вести школьные диспуты»¹. Существуют истины,—утверждает Декарт,—которые для своего уразумения не нуждаются в знании формально-логических различий. И эти истины не второстепенны. Напротив, они-то и составляют фундамент всей науки. По отношению к ним всякое дальнейшее знание будет уже производным, вторичным. И эти истины не только не уступают в достоверности вывода истинам дедуктивным, но, напротив, сами представляют их опору, основание и начало. «Кто желает,—говорит Декарт,—испытывать вещи сами по себе и судить о них согласно тому, что он о них знает, тот не может быть столь ограниченным, чтобы, всякий раз как он внимательно обратится к вещам, не познавать, что такое сомнение, мысль,

¹ Декарт, Разыскание истины и т. д., I, стр. 123.

существование, и чтобы ему была необходимость изучать логические различия»¹.

Существует предел, за которым формально-логические различия и определения теряют свою силу. Этот предел лежит в *самоочевидности*, в бесспорной и непосредственной достоверности интуитивных истин. Формально-логические определения бессильны повысить достоверность интуитивного знания. Более того. Всякая попытка использовать формально-логические различия и дефиниции для обоснования интуитивных истин не только не увеличивает их достоверность, но, напротив, затемняет и спутывает присущую им по природе ясность и самоочевидность. «Есть много вещей,—утверждает Декарт,—которые мы делаем более темными, желая их определить, ибо вследствие их чрезвычайной простоты и ясности нам невозможно постигать их лучше чем самих по себе»². «К числу величайших ошибок,—читаем мы ниже,—какие можно допустить в науках, следует причислить, быть может, ошибку тех, кто хочет определять то, что должно только просто знать, и кто не может ни отличить ясного от темного, ни того, что в целях познания требует и заслуживает определения, от того, что отлично может быть познано само по себе»³. «Как было бы бесполезно определять, что такое белизна, чтобы сделать ее понятной слепому, тогда как для познания ее нам достаточно открыть глаза и увидеть белое, так же точно, чтобы знать, что такое сомнение и мышление, достаточно сомневаться и мыслить. Это научает нас всему, что мы можем знать в этом отношении, и даже говорит нам больше, чем наиболее тонкие определения»⁴. «Подобным образом и с существованием. Должно только знать, что разумеют под этим словом,—и вместе мы узнаем, что это за вещь и насколько ее можно познавать, и для этого нет необходимости в определениях: они скорее затемняют вещь, нежели освещают ее»⁵.

Итак, с одной стороны, самоочевидность интуитивного знания свидетельствует, по Декарту, о том, что в известном смысле знание не зависит от формально-логических правил и форм дедукции. Открытие интуитивного характера некоторых истин означало начало наступления на позиции формальной логики. Формальная логика существенно ограничивалась в своих правах. Огромный разряд истин выводился из подчинения ее правилам и концептивным схемам. С другой стороны, истины, которые Декарт выводил из-под начала формальной логики, по самому своему роду имели огромное значение в системе знания. Непосредственная достоверность интуитивных истин заставляла видеть в них устой, начало и опору всего знания. Достаточно привести взгляд Декарта на значение аксиомы *cogito*. Аксиоме этой он придавал такое значение, что добытые с ее помощью истины казались ему несравненно более ценными, чем все те, которые могут быть добыты на основании формально-логического закона противоречия. «Вы необходимо должны видеть,—разъяснял Декарт в том же диалоге,—что, пользуясь надлежащим образом своим сомнением, можно извлечь из него очень достоверные истины, даже наиболее достоверные и полезные, чем все те, какие мы обычно основываем на великом принципе, который мы делаем началом

¹ Декарт, Разыскание истины и т. д., стр. 123.

² Там же, стр. 123.

³ Там же, стр. 123.

⁴ Там же, стр. 123.

⁵ Там же, стр. 124.

всех знаний и центром, вокруг коего они возводятся и смыкаются: невозможно, чтобы одна и та же вещь вместе была и не была»¹.

Учение Декарта об интуиции оказалось плодотворным для развития диалектики не только потому, что оно вводило известные ограничения в безраздельные права формально-метафизической логики. Разработка теории интуиции стоит у Декарта в прямой связи с его теорией первичных и вторичных качеств, а эта последняя непосредственно связывает Декарта с традицией античного материализма.

Из определения интуиции, данного самим Декартом, видно, что под интуицией Декарт разумел познание *чисто-интеллектуальное*, не заключающее в себе чувственных элементов. Интуиция Декарта насквозь *рациональна*. Она не есть ни деятельность воображения или симпатизирующей фантазии, ни функция представления. Она есть интеллектуальное усмотрение и ничего больше.

Рационалистический характер декартовой теории интуиции давал возможность воспользоваться им в трудной проблеме *разграничения качеств*. Проблема разделения первичных и вторичных качеств приобретает в методологии Декарта значение и остроту, не виданные со времен Демокрита. Верное чутье гениального методолога неотразимо влекло Декарта к тому самому вопросу, который—две тысячи лет до него—стоял в центре внимания величайшего античного диалектика-материалиста.

Перед Декартом стояла задача—объяснить происхождение и строение мира из простейших составляющих его элементов. Задача эта предполагала высокое развитие точных наук, которые единственно были способны наметить пути и правила для разложения, для *анализа* весьма сложного тела вселенной на составные части. Геометрия, анализ, механика, физика, оптика представляли достаточно данных, на основе которых искомый анализ мог быть произведен. Однако все успехи этих наук оставляли совершенно неразрешимым, более того—нетронутым—другой вопрос, без решения которого казалось невозможным даже приступить к разработке основной задачи. С помощью математики и математического естествознания можно было свести огромный механизм вселенной к сумме простейших качеств или элементов, но точные науки не могли представить никаких ручательств, что найденные путем рационального анализа элементы действительно соответствовали об'ективной структуре и об'ективной генерации мира. Сводя сложные восприятия к простым, нетрудно было убедиться, что имеется великое множество самых различных качеств различного рода, которые, повидимому, с равным правом могут быть приняты нами за элементы, т. е. об'ективно существующие простейшие составные части мира. Так, тела обладают, как нам кажется, величиной, фигурой, занимают определенный об'ем, занимают определенное положение относительно других тел, имеют тяжесть, плотность, цвет, блеск, запах, вкус и т. д. С другой стороны, опыт показывает, что часто там, где чувства показывают нам существование определенного качества, контроль разума, напротив, убеждает нас в его отсутствии. Так, палка, опущенная в воду, кажется нам преломленной. Однако дальнейший опыт—изъятие ее из воды—доказывает, что предыдущее восприятие было обманчиво.

¹ Декарт, Разыскание истины, стр. 121. Хотя Декарт говорит здесь о сомнении, однако из контекста целого абзаца видно, что речь идет именно о *cogito*.

Подобные заблуждения весьма часты. Опыт неоднократно удостоверяет нас в том, что качества, которые—с величайшей убедительностью—представляются нам, как объективно существующие в самих вещах, на самом деле часто им вовсе не принадлежат, но привносятся в наши представления и восприятия обманчивой деятельностью чувств. Но раз так, то для методологии, которая стремится постичь строение и развитие мира из его действительных элементов, вырастает новая громадная по своему значению задача—найти и указать твердый критерий, который безошибочно бы определял нам, какие из находимых нашими восприятиями в вещах качеств действительно принадлежат самим вещам и какие им не принадлежат, но только кажутся принадлежащими вследствие обманчивой деятельности ощущений.

Задача эта становится центральной задачей методологии Декарта. С огромным напряжением мысли стремится Декарт найти такие качества бытия, которые могут быть признаны действительно первичными элементами, т. е. объективно существующими, не зависящими от состояния воспринимающих органов. Могучая тенденция объективизма, проходящая через всю методологию и философию Декарта, с полным правом может быть названа *материалистической*, ибо что мы называем материализмом как не учение, утверждающее, что бытие существует до сознания, вне сознания и независимо от сознания? Но именно к этому и клонится все учение Декарта о качествах! С беспримерной настойчивостью стремится Декарт устранить, исключить из наших восприятий и представлений все те качества, которые на самом деле бытию не принадлежат и которые появляются в поле нашего восприятия либо вследствие особого состояния воспринимающих органов, либо в силу ошибок, допущенных нами в наших умозаключениях по поводу воспринятого.

В тесной связи с общим характером методологических тенденций эпохи метод, посредством которого Декарт устанавливает объективность качеств, состоит в *критике ощущений*. В сущности это—тот же метод *радикального очищения*, который, как мы уже видели, был провозглашен Декартом как начало всякого философствования, всякой науки и который объединяет рационалистическую гносеологию Декарта с критической методологией Вэкона.

Ход мыслей Декарта начинается критикой обычного воззрения, не затронутого методическим сомнением. «Всякий из нас,—указывает Декарт,—с юности полагает, что ощущаемые нами вещи существуют вне нашего сознания и вполне подобны нашим чувствам, т. е. восприятиям, получаемым нами от этих вещей; так, видя, например, цвет, мы думаем, что видим вещь, находящуюся как бы вне нас и совершенно подобную той идее цвета, которую мы испытывали в себе»¹. «И совершенно то же,—продолжает Декарт,—должно сказать обо всем остальном, что воспринимается, и о физическом раздражении (*tillatio*) и о боли. Хотя мы и не думаем, что боль существует вне нас, однако мы предполагаем ее обычно не только в одной душе, т. е. в нашем восприятии, но и в руке, в ноге или в какой-нибудь иной части тела»².

Это наивное воззрение возникает, по Декарту, не случайно, но вполне естественно, как необходимое условие нашего развития: «в раннем детстве,—разъясняет Декарт,—душа наша была столь тесно связана с телом, что давала место

¹ Декарт, Начала философии (I, стр. 34).

² Там же, стр. 34.

только тем идеям, через посредство которых чувствовала все то, чем возбуждалось тело»¹. Позднее же, когда механизм тела в своих произвольных движениях стремился к приятным для тела впечатлениям и избегал неприятных, в душе сложилось убеждение, будто преследуемые или избегаемые таким образом впечатления существуют вне души, и притом не только величина тел, их фигура и движение, но также цвета, вкусы, запахи и остальное, что, как она замечала, возбуждает чувство»².

Но как бы ни было естественно это воззрение—оно, по Декарту, неправильно. Ошибочность его обнаруживается методической критикой и анализом наших впечатлений. В «Началах философии» Декарт—в качестве примера—подвергает критике понятие *тела*, в «Метафизических размышлениях» рассматривает более конкретный объект—кусок воска.

Перечислив все качества, которые обычно, т. е. невооруженное средствами рациональной критики, восприятие находит в своем предмете и которое оно ему доверчиво приписывает, рассматривая их, как объективные признаки предмета, Декарт затем последовательно исключает все те из них, которые, при более тщательном анализе, оказываются не объективными определениями самого предмета, но всего лишь проекциями наших чувств и представлений.

Так, хотя обычное представление приписывает *материи*—в качестве ее объективных свойств—твердость, тяжесть, цвет и т. д., однако, «отбросив предвзятости чувств», мы, по словам Декарта, «убедемся, что природа материи, т. е. тела, рассматриваемого вообще, состоит не в том, что тело—вещь твердая, весомая, окрашенная или как-либо иначе возбуждающая чувство, но лишь в том, что оно—вещь протяженная в длину, ширину и глубину»³.

Всматриваясь в анализ Декарта, нетрудно понять, по какому принципу происходит у него отбор первичных качеств. *Первичными* Декарт считает те качества вещи, которые можно найти в ней *налицо при любых изменениях, какие она только способна претерпеть, оставаясь сама собою*. Так, твердость, цвет и т. д. исключаются из состава первичных качеств, ибо «о твердости чувство оповещает нас лишь тем, что частицы твердых тел сопротивляются движению наших рук, наталкивающихся на тело; если бы, с приближением наших рук к телу, частицы последнего отступали назад с присущей им скоростью, то мы никогда не ощущали бы твердости. И, однако,—продолжает Декарт,—нельзя себе представить, будто тела, отодвигающиеся подобным образом, лишены того, что составляет природу тела; следовательно, эта природа не состоит в твердости»⁴. «На том же основании,—заключает Декарт,—можно показать, что и цвет, и все подобного рода качества, ощущаемые в телесной материи, могут быть изъяты из последней, в то время как она остается в целости»⁵.

Итак, первичными Декарт считает все те признаки, из которых каждый в отдельности необходим, а все вместе взятые достаточны для того, чтобы вещь, несмотря на все свои изменения, могла почитаться тем, что она есть. *Объективизм* Декарта имеет еще *метафизический* характер. Понятие *объективности* совпадает у Декарта с представлением о *неизменном, постоянном, устойчивом* ядре

¹ Декарт, Начала философии, стр. 36.

² Там же, стр. 36.

³ Там же, стр. 41.

⁴ Там же, стр. 41.

⁵ Там же, стр. 41.

или форме вещи, образующей ее сущность. В «Метафизических размышлениях» связь Декарта с традиционной метафизикой выступает еще яснее, чем в «Началах философии».

Здесь анализируется не понятие тела вообще, но понятие о конкретном теле, данном в наглядном представлении. «Рассмотрим же теперь вещи,—говорит Декарт,—которые обыкновенно считают самыми легкими для познания и потому известными лучше других, именно тела, которые мы видим и осязаем, но не тела вообще, ибо такие общие понятия обыкновенно немного смутны, а какое-нибудь единичное тело. Возьмем, например, этот кусок воска. Он только-что вынут из улья и еще не потерял сладости находившегося в нем меда; он еще сохранил кое-что от запаха цветов, с которых был собран; его цвет, его форма, его величина ясно видны; он тверд, холоден, гибок, и если вы по нему ударите, он издаст звук. Наконец, в нем встречаются все признаки, по которым можно наверное узнать тело»¹. Как и в предыдущем примере, вслед за перечислением всех признаков, найденных восприятием в предмете, следует исключение тех, которые могут быть отброшены без того, чтобы предмет перестал быть самим собой: «Но вот,—рассуждает Декарт,—пока я говорю это, его приближают к огню: вкус, оставшийся в нем, исчезает; запах испаряется; цвет меняется; форма утрачивается; величина вырастает; он становится жидким, нагревается, его едва можно схватить; и он не издаст никакого звука, сколько бы по нему ни ударили.—Остается ли у меня после этого тот же самый воск? Надо признаться, что остается; никто в этом не сомневается, никто не судит иначе. Но что же с такой точностью было известно в этом куске воска? Конечно, это не могло быть что-нибудь из подмеченного в нем посредством чувств, потому что все, доступное в нем зрению, слуху, осязанию, обонянию и вкусу, оказалось изменившимся, в то время как воск продолжает быть тем же самым»². «Рассмотрим внимательно, что останется, если мы отбросим все, не принадлежащее воску. Конечно, останется только нечто протяженное, гибкое, изменчивое»³.

Из обоих этих примеров Декарта видно, что критерием об'ективности в его глазах служило неизменное наличие данного качества или свойства во всех состояниях и при всех возможных изменениях предмета. Но как устанавливается неотъемлемость данного качества, какими органами познания она удостоверяется?

Таким органом во всяком случае не может быть, по Декарту, ощущение. Если бы контроль над качествами принадлежал ощущениям, то мы не могли бы установить, какие качества являются первичными, ибо в материале ощущений все изменчиво, лишено устойчивости и постоянства. Но и *наглядное представление* не в силах производить отбор первичных качеств, ибо изменчивость качеств превосходит все, что может быть охвачено даже самым деятельным представлением. «Нужно согласиться,—говорит Декарт,—что я не могу постичь представлением, что такое этот кусок воска, и что только мой разум постигает это... надо тщательно отметить, что мое понимание отнюдь не составляет ни зрения, ни осязания, ни представления и никогда не составляло их, хотя это и казалось прежде; но оно составляет только усмотрение умом»⁴...

¹ Декарт, Метафизические размышления, стр. 32—33.

² Там же, стр. 33.

³ Там же, стр. 33.

⁴ Там же, стр. 34.

Итак, ни ощущения, ни деятельность наглядного представления не могут открыть нам, какие качества должны быть признаны первичными, присущими самим вещам, и какие—вторичными, имеющими источник не в вещах, но в деятельности наших чувств и представлений. *Об'ективная ценность знания гарантируется только деятельностью разума, рационалистической критикой, интеллектуальной интуицией.* Проблема разграничения первичных и вторичных качеств—таков вывод Декарта—разрешима только на путях *рационализма*. Диалектика истории диалектики в XVII веке выразилась в том, что к материализму и к диалектическому методу философская мысль должна была прийти через рационалистический интуитивизм и рационалистическую теорию первичных качеств.

II. ДИАЛЕКТИКА В КОСМОЛОГИИ ДЕКАРТА

Учение Декарта о первичных качествах вводит нас в центр его *космологии*. Только в свете этого учения становится ясной декартова *теория материи*. То, что в этой теории казалось впоследствии столь парадоксальным—отождествление *материальности с протяженностью*,—представляет только последовательный вывод из методологических тенденций всей системы.

Гносеологический и методологический об'ективизм является поистине жизненным центром учения Декарта. Вместе с тем нигде он не выступает как изолированная, отвлеченная гносеологическая доктрина. Повсюду изложение его вытекает из связи конкретных космологических проблем.

Тенденция об'ективизма ярко выражена в самом определении материи у Декарта. По мысли Декарта, радикальное сомнение, необходимое как начало или исходная точка в познании, не может—в своих результатах—поколебать наше убеждение в *об'ективности* материи, в *об'ективной* природе источника наших ощущений. «Все, что мы ощущаем,—утверждает Декарт,—несомненно является у нас от какой-то вещи, отличной от нашей души»¹. Об'ективность существования материи доказывается самим порядком наших ощущений, которые возникают у нас не по нашей воле, но определяются необходимым и независимым от нашего сознания порядком вещей. «Не в нашей власти,—говорит Декарт,—сделать так, чтобы одно ощущать предпочтительно перед другим; это всецело зависит от вещи, возбуждающей наши чувства»². «Мы ощущаем или, вернее, будучи побуждаемы чувством, ясно и отчетливо воспринимаем некоторую протяженную в длину, ширину и глубину материю, различные части которой, будучи наделены известными фигурами, различным образом движутся и даже вызывают у нас различные ощущения цветов, запахов, боли и т. п.»³. По Декарту, «идея материи приходит в нас от вещей внешнего мира, которым эта идея вполне подобна»⁴. Отсюда Декарт последовательно извлекает заключение, что «существует некоторая вещь, протяженная в длину, ширину и глубину и имеющая все свойства, какие мы ясно воспринимаем, как присущие протяженной вещи. Вот это-то,—говорит Декарт,—и есть вещь протяженная, которую мы называем телом или материей»⁵.

¹ Декарт, Начала философии, ч. 2-я, стр. 40.

² Там же, стр. 40.

³ Там же, стр. 40.

⁴ Там же, стр. 40.

⁵ Там же, стр. 40.

Материя есть общий источник всех наших восприятий или ощущений. «Восприятия, относимые нами к вещам вне нас,—разъяснял Декарт в «Страстях души»,—к объектам наших чувств... причинаются этими объектами, которые, производя определенные движения в органах внешних чувств, возбуждают также движения в мозгу при посредстве нервов; последние делают так, что душа чувствует»¹.

Итак, материя—вполне объективна; ее действия на наши чувства не зависят от нашего сознания. Однако в своей характеристике материи Декарт не ограничивается указанием на всего лишь один *формально-онтологический* признак ее—объективность. В своем *физическом* существе материя есть, по Декарту, не что иное, как *протяженность*: «природа материи, т. е. тела, рассматриваемого вообще², состоит не в том, что тело—вещь твердая, весомая, окрашенная или как-либо иначе возбуждающая чувство, но лишь в том, что оно—вещь протяженная в длину, ширину и глубину»³. Иными словами, это значит, что *телесность* есть то же, что *пространственность*: «Пространство или внутреннее место,—полагает Декарт,—отличается от телесной субстанции, заключенной в пространстве, не реально, но лишь по способу, каким обычно постигается нами»⁴. В порядке бытия материя и пространство—одна и та же вещь и различаются они только в порядке постижения.

В свете современных понятий декартово определение материи может показаться странным и односторонним: отнять от вещественного, телесного мира все телесные свойства, свести их к одному чистому протяжению, поставить знак равенства между материей и пустым пространством—все это кажется нам необычайным преувеличением, которое можно объяснить разве лишь пристрастием и увлечением геометра. В декартовой теории материи естественно видеть детище изобретателя аналитической геометрии.

Как ни естественно напрашивается это объяснение, оно, конечно, недостаточно. Основной мотив, который привел Декарта к столь узкому определению материи, далеко выходил из круга специальных увлечений. Декартово понятие материи было продуктом *двух* тенденций, характерных для Декарта: тенденции *объективизма* и *метафизической* тенденции. Первая заставляла Декарта отбросить все те определения и признаки материи, которые не принадлежали ей существенно, т. е. не были обусловлены необходимым и независимым от нашего сознания характером ее субстанции. Вторая—метафизическая—требовала от него, чтобы из всех определений материи, претендующих быть выражением ее действительной природы, были оставлены только те, которые—по свидетельству разума—остаются всегда неизменными среди всех метаморфоз, каким непрерывно подвержены все доступные нашему наблюдению и опыту тела. Теория материи Декарта есть дитя могучей тяги—через объективизм к материализму, но к материализму в значительной мере еще *метафизическому*, ищущему в бытии его *неизменяющую, пребывающую, тождественную* основу.

И тем не менее так велика связь между материализмом и диалектикой, что даже наполовину метафизическая, овеянная духом аристотелизма концепция материи, выработанная Декартом, как синтез философского и научного дви-

¹ Декарт, Страсти души, 1, стр. 138.

² Эту цитату мы приводили уже выше—в другой связи.

³ Декарт, Начала философии, I, стр. 41.

⁴ Там же, стр. 43.

жения XVI и первой половины XVII века, если не сама по себе, то в своих выводах и следствиях неотразимо вела к диалектическим представлениям.

Отожествление материи с протяженностью или, что то же, с пространством влекло за собою ряд важных выводов в *физике* и в *космологии*. Прежде всего оно вело к идее о *бесконечности* вселенной в пространстве. «После того,—говорит Декарт,—как мы... заметили, что природа телесной субстанции состоит лишь в том, что она—вещь протяженная, что ее протяжение не отличается от протяжения, приписываемого обычно сколь угодно пустому пространству...», «мы узнаем, что *этот мир или совокупность телесной субстанции не имеет никаких пределов для своего протяжения*. Ведь, даже придумав, что существуют где-либо его границы, мы не только можем вообразить неопределенно протяженные пространства за этими границами, но и воспринимаем их воображимыми, т. е. реально существующими: отсюда и воображаем их содержащими неопределенно протяженную субстанцию»¹. Замечательно, что сам Декарт подчеркнул, что тезис о бесконечности мира есть прямое следствие основного тезиса о тождестве материи и протяженности. «Ведь, как уже подробно показано,—добавляет Декарт к только-что сказанному,—идея того протяжения, которое мы воспринимаем в каком-либо пространстве, совершенно тождественна с идеей телесной субстанции»².

Читателю нашего времени не легко составить понятие о том, какую революцию в научных представлениях эпохи знаменовало это учение. Для нас идея бесконечности мира—почти хрестоматийное представление. Она становится достоянием нашей мысли чуть ли не с первых шагов нашего школьного развития. Но не так было в XVII веке. В эпоху Декарта в представлении громадного большинства ученых мир, в котором мы живем, был величинной хотя и весьма большой, но все же конечной. Философские традиции Аристотеля сочетались с космографической теорией Птолемея. Эмпирией начинался за сферой «неподвижных» звезд, и таким образом, диаметр мира был—по крайней мере принципиально—измерим, являясь величиной вполне конечной. Это воззрение имело своей предпосылкой мысль о том, что пространство, в котором мир помещается, и материя, из которой он построен, представляют собою различные вещи, имеют различную природу. И вот это-то воззрение, замыкавшее наш мир в огромную, но все же конечную, твердую, определенную хрустальную сферу, было в корне преобразовано, вернее—отменено Декартом. Поставив знак равенства между материей и пространством, Декарт как бы мгновенно раздвинул пределы мира, расширил его в бесконечность. Отныне пределами мира могли почитаться только пределы пространства. А так как пространство—беспредельно, то, следовательно, беспредельна и материальная вселенная, в которой мы живем. В средневековом мировоззрении была пробита огромная брешь, которая отныне уже не могла быть замурована. Последующему развитию предстояло ее только расширить.

И здесь не имеет значения, что сам Декарт вводил это новое понятие очень робко и осторожно. Строго говоря, Декарт учил не о *бесконечности* вселенной, но лишь об ее *неопределенной протяженности*. Понятию *конечного, определенного* (défini) он противопоставил понятие *неопределенного* (indéfini). Но как бы ни был сдержан Декарт в формулировке нового учения, тенденция, в этом учении

¹ Декарт, Начала философии, 1, стр. 47 и 48; курсив мой. В. А.

² Там же, стр. 48.

выраженная, должна была мощно влиять на дальнейшую эволюцию космогонических представлений. Хрустальная звездная сфера, разбитая Декартом, никогда уже не смогла вновь сомкнуться вокруг земли.

Вторым важным выводом, необходимо вытекающим из тождества материи и пространства, была идея *материальной однородности вселенной*. Диалектический смысл этого учения лучше всего выясняется из сопоставления с господствовавшим воззрением, которое новая доктрина Декарта должна была вытеснить и заменить.

Одна из характернейших мыслей средневековья—убеждение в *качественной иерархичности*, качественной разнородности материального мира. Слабое развитие производительных сил, скудость, узость и односторонность технического опыта, разрозненность и методологическая бессвязность не только целых областей науки, но и отдельных знаний внутри каждой науки не составляли тех условий, которые необходимы, чтобы идея единства материи и ее сил могла быть не то, чтобы доказана, но хотя бы даже предугадана, восчувствована. С другой стороны, наблюдения над социальным строем средневековья—с характерной для него *иерархией* феодальных классов, а также с иерархией чинов внутри феодального государства—легко склоняли мысль к поискам подобной иерархии и над миром—в царстве или граде божием—и в самом мире—в законах его физического естества. Так слагались *теологические и космологические* представления средневековья. Они тесно переплетались между собой, взаимно друг друга обуславливая, имея под собой общую базу—в идеологии, отвечающей социальной структуре феодального общества. Основной дуализм христианского теологического воззрения выразился в космологии в виде убеждения в том, что вселенная построена из материальных элементов различного качества и различной ценности. Мир горний и мир дольний—в корне противоположны. Они не могут состоять из одинакового вещества. Иерархии небесных духовных сил соответствует иерархия физических элементов мира. Наш дольний мир—мир греха и скверны—состоит из элементов темных, грубых, тяжелых и несовершенных. Чем выше станем мы подниматься над ним—к миру горнему, к царству божией благодати, тем легче, светлее, чище и совершенней становятся элементы, из которых построены—в восходящей последовательности—сферы луны, солнца, планеты и светлая, твердая хрустальная сфера звезд. Физически и химически мир разнороден. И эта разнородность есть нечто большее, чем простая качественная дифференцированность единой материи. Различные сферы мира разнородны по существу, радикально, глубоким образом. Физическая иерархия мира ступенчата, прерывиста. Взаимная связь, взаимодействие физических элементов вселенной осуществляется более через волю создателя и вседержителя, нежели через сродство и качественную однородность физического состава мира.

И вот этому-то воззрению, играющему чрезвычайно большую роль в идеологии средневековья, Декарт наносит сокрушающий удар. Декарт выдвигает и обосновывает тезис *единства материи*, качественной однородности вещества. Этот тезис—как и предыдущий—представляет логический вывод или следствие из основного учения о тождестве материи и пространства. Если материя сводится к протяженности, то материя должна быть единой, ибо пространство всюду одно и то же, со своим протяжением в длину, ширину и глубину. Падает старинное, любезное теологии противопоставление вещества земли веществу неба и планет. «*Материя неба*,—заявляет Декарт,—*не разнится от материи земли*.

И вообще, если бы миры были бесконечны (по числу. В. А.), то они необходимо состояли бы из одной и той же материи, и, следовательно; не многие миры, а один только может существовать, ибо мы ясно понимаем, что материя, природа которой состоит лишь в ее протяженности, воображимой во всяких вообще пространствах, где те иные миры должны быть даны,—такая материя уже использована, а идеи какой-либо иной материи мы у себя не находим»¹. Отсюда Декарт делает вывод, что «*во всем мире существует одна и та же материя*: она познается только через свою протяженность. Все свойства, ясно воспринимаемые в материи, сводятся единственно к тому, что она дробима и подвижна в своих частях»².

Идея единства материи означала в науке революцию, не уступавшую той, которую несла в себе идея бесконечности вселенной. Современников эти идеи ошеломляли, казались им необычайным по дерзости и силе парадоксом. Огненные мироздание лишалось усвоенной ему иерархичности. Оно становилось однородным во всех своих частях. Исчезли верх и низ, мир горний и мир дольний; стерлись границы земли и тверди. Осталось лишь движение земли и других планет в пространстве, всюду однородном, не ведающем различий ценности.

Диалектическое содержание этого учения состояло в том, что оно непосредственно вело к идее *взаимодействия*, *взаимной связи* всех элементов материального мира. Если мир—един и материя, из которой он построен,—всюду едина, то всякое событие, происходящее в какой-либо части мира, не может остаться изолированным, безразличным для всего мира. Всякое *движение* тела необходимо рассматривать как движение *относительное*, предполагающее наличие других тел, по отношению к которым движение происходит, наблюдается и которые на время этого наблюдения принимаются условно за неподвижные. Уже простое определение положения тела предполагает учет его местонахождения относительно других тел: «Чтобы определить это положение,—говорит Декарт,—мы должны обратить внимание именно на эти другие тела, считая их при этом неподвижными»³. Но так как—при определении положения—мы обращаем внимание на разные тела, то, как раз'ясняет Декарт, мы «можем говорить, что одна и та же вещь в одно и то же время и меняет место и не меняет его. Так, когда корабль выходит в море, то сидящий на корме остается на одном месте—если имеются в виду части корабля, между которыми сохраняется одно и то же положение,—и этот же самый субъект все время изменяет место—если иметь в виду берега, ибо корабль, отойдя от одних берегов, беспрерывно приближается к другим»⁴...

Хотя перемещение совершается из соседства не всех каких-угодно соприкасающихся тел, но только из соседства тех, которые рассматриваются как покоящиеся, однако «*само же перемещение взаимно*, и нельзя мыслить тела АВ переходящим из соседства с телом СД, не подразумевая вместе с тем перехода СД из соседства с АВ. *Одни и те же сила и действие*,—утверждает Декарт,—требуются как с той, так и с другой стороны»⁵.

Взаимодействие движений материальных тел проникает настолько глубоко, что для него, в сущности, нет границ. «Хотя каждое тело имеет лишь одно свой-

¹ Декарт, Начала философии, 1, стр. 48; курсив мой. В. А.

² Там же, стр. 49; курсив мой. В. А.

³ Там же, стр. 45.

⁴ Там же, стр. 45.

⁵ Там же, стр. 51; курсив мой. В. А.

ственное ему движение, ибо мы считаем его удаляющимся только от одних соседних с ним и покоящихся тел, однако оно может принимать участие в других бесчисленных движениях, если, конечно, составляет часть иных тел, обладающих другими движениями»¹. «Так, если кто-нибудь, гуляя по кораблю, имеет в кармане часы, то колесики этих часов движутся так, как свойственно только им одним; но они причастны и еще иному движению, поскольку, будучи отнесены к гуляющему человеку, составляют одну с ним материальную массу; причастны они и второму движению, поскольку будут отнесены к плывущему по морю кораблю, и третьему, поскольку будут отнесены к самому морю, и, наконец, к четвертому, поскольку будут отнесены и самой земле, если, конечно, вся земля движется»². И все эти движения будут, по Декарту, вполне реальны: «Всеми этими движениями наши колесики действительно будут обладать; но в виду трудности зараз мыслить столь многочисленные движения и в виду того, что не все из них могут быть познаны, достаточно полагать в теле только одно движение, ближайшим образом ему принадлежащее»³.

Из всех этих примеров видно, что идея взаимодействия рисовалась Декарту в форме взаимодействия преимущественно механического. В центре внимания Декарта стоит взаимодействие движений материальных частиц и тел. Но и в этой форме воззрение Декарта представляло—на фоне общего состояния научной и философской мысли XVII века—значительный шаг в развитии диалектического метода.

Даже парадоксальное учение Декарта о пустоте косвенным образом усиливало и подкрепляло идею физического взаимодействия всех частей и всех событий мира. Декарт решительно отрицал существование пустоты. И действительно: если материя совпадает целиком—как это и было у Декарта—с пространством, то в мире не может быть пустоты, ибо нигде в мире нельзя представить или помыслить место, лишенное пространства. «В обычном пользовании речью»,—говорит Декарт,—словом «пустота» мы постоянно обозначаем не то место или пространство, где нет совершенно ничего, но лишь место, в котором нет ни одной из тех вещей, какие, мы думаем, должны бы в нем существовать»⁴. Что же касается пустоты «в философском смысле слова», то, по Декарту, пустого пространства, т. е. «такого пространства, где нет никакой субстанции, не может быть дано; это очевидно из того, что пространство, как внутреннее место, не отличается от протяжения тела... Относительно пространства, предполагаемого пустым, должно заключать то же: именно, когда в нем есть протяжение, то необходимо будет в нем и субстанция»⁵. Итак, все пространство заполнено телами.

Учение это, категорически отрицавшее существование пустоты, подчеркивало еще сильнее идею взаимодействия. Если в мире нет пустоты, если все пространство сплошь заполнено материей, а эта материя—всюду однородна, то отсюда следует, что всякое движение или перемещение тела, как бы оно ни было незначительно, необходимо должно вызвать движение в телах, которые оно вытесняет из занимаемого ими места. А так как перемещение соседних тел в свою

¹ Декарт, Начала философии, стр. 52; курсив мой. В. А.

² Там же, стр. 52. Последняя оговорка (о движении земли) сделана только из страха перед церковью, засудившей Галилея.

³ Там же, стр. 52; курсив мой. В. А.

⁴ Там же, стр. 46.

⁵ Там же, стр. 46.

очередь должно было привести в движение следующие за ними материальные частицы, при чем передача движения очевидно не имела предела, то из теории Декарта следовало, что каждое физическое событие должно было отразиться во всей вселенной.

Как бы смятчая столь широкий, универсальный смысл понятия взаимодействия, Декарт ограничивает его, вводя—не без влияния схоластической традиции—понятие *кругового движения*. «Как замечено выше,—говорит Декарт,—все пространство заполнено телами и количество одних и тех же частиц материи в равных местах всегда равно; отсюда следует,—заключает Декарт,—что ни одно тело не может двигаться иначе, как по кругу, т. е. таким образом, что оно изгоняет какое-либо иное тело с того места, куда вступает, а это второе изгоняет третье, а это—четвертое, и так до последнего тела, вступающего на место, оставленное первым телом, в тот самый момент, когда место оставлено»¹. Но и здесь Декарт расширяет рамки традиционного учения. Хотя это движение—учит Декарт—всего легче мыслить в совершенном круге, однако «то же самое можно мыслить и в несовершенном и сколь угодно неправильном круге, раз замечено, при каких условиях все неровности мест могут возмещаться разницей в скорости движения»².

Мы далеко не исчерпали всех выводов, какие были сделаны Декартом из центрального учения его космологии о тождестве материи и пространства. Одним из важнейших в числе их был вывод, утверждавший *бесконечную делимость материи*. Тесно связанный с отрицанием теории неделимых атомов, тезис этот представляет громадный интерес для историка философии, для историка физики. Напротив, в развитии диалектики его роль была не столь значительной. Следует только иметь в виду; что и этот тезис—подобно всем, проанализированным выше,—был обусловлен неуклонным стремлением Декарта построить такую теорию материи, которая воспроизводила бы одни только *объективные* свойства и признаки материи. Декарт отождествил материю с протяженностью по тому, что—в его глазах—одна лишь протяженность может быть признана за неотъемлемую, всегда данную налицо и необходимую природу материального тела. А отсюда уже следовали—как вывод—все рассмотренные нами учения: о бесконечности мира, о единстве и однородности материи, о сплошной заполненности пространства. В числе их немаловажное место занимал и тезис о бесконечной делимости материи. Если материя есть то же, что пространство, то материя должна быть делима до бесконечности, ибо нет пределов для делимости пространства. Иными словами это значит, что теория атомов, под которыми античная физика и физика, современная Декарту, разумели неделимые по природе элементы мира, должна быть отвергнута. «Мы признаем,—утверждал Декарт,—что невозможно существование каких-либо атомов, т. е. частей материи, неделимых по своей природе. Раз они существуют, то необходимо должны быть протяженны, сколь малыми ни предполагались бы; ни одной из них невозможно мысленно разделить на две или большее число частей, тем самым не приписав им реального деления; и поэтому, если мы судили, что эти первоначальные частицы неделимы, то наше суждение разошлось бы с мышлением»³. «Поэтому,—читаем мы ниже,—абсо-

¹ Декарт, Начала философии, стр. 53; курсив мой. В. А.

² Там же, стр. 53.

³ Там же, стр. 48.

лютно говоря, подобная частица материи остается делимой, ибо она такова по своей природе»¹.

Сам Декарт не скрывал от себя трудностей, которые сопряжены с понятием бесконечной делимости материи. Он сам признавался, что хотя наша душа воспринимает движение всех тел по кругам, как действительно существующее, однако она «не понимает, как оно происходит; это именно деление некоторых частей материи до бесконечности или неопределенное деление, т. е. деление на столько частей, что мы никогда не можем мысленно установить такой малой части, чтобы не понимать, что она делима на иные и того меньше части»². Но хотя мы не можем постичь способ, каким совершается это деление до бесконечности, мы, по Декарту, «не должны, однако, сомневаться, что оно совершается; ибо мы ясно понимаем, что это деление необходимо следует из природы материи, яснейшим образом нами познанной»³. «Движение материи принадлежит к роду вещей, которые нашею конечною душою не могут быть охвачены»⁴.

Впрочем, даже это учение, которое, в сущности, принадлежит истории философии и истории физики, не было лишено известного диалектического результата: отрицание атомов в том понятии, в каком их знала античная традиция, в корне разрушало метафизический предрассудок об абсолютных границах, абсолютном характере строения материи. Там, где традиция видела абсолютную, твердую, безусловную, последнюю границу делимости, воззрение Декарта, несравненно более диалектическое, видело не принципиальный, но всего лишь относительный, фактический, обусловленный уровнем нашей техники и нашего мышления, изменчивый, подвижный предел делимости.

III. ИДЕЯ РАЗВИТИЯ В КОСМОЛОГИИ ДЕКАРТА

Космологическое учение Декарта, разлагавшее мир на объективно существующие, рационально постигаемые элементы, вело в своих выводах и следствиях—к диалектическому воззрению в науке и в философии. Каждый из этих выводов сигнализировал, как мы видели, огромный переворот, вернее—свержение традиционных представлений. Идея бесконечности вселенной, идея однородности вещества, устранявшая антитезу неба и земли, идея сплошной насыщенности пространства материей, в соединении с предыдущей—об однородности материи—прочно обосновали, подготавливали мысль о взаимодействии как реальном и всеобщем отношении всех элементов, событий и явлений мира. Конечно, это взаимодействие—в понимании Декарта—не было взаимодействием динамическим. Космология и физика Декарта—неизменно механистичны. Взаимодействие понимается у Декарта как механическая передача движения от тела к телу через толчок. Но даже крайняя простота механического воззрения была в то время необходимым и важным шагом в подготовке диалектического метода. Космология Декарта на первый план выдвигала понятие движения. Робко, между строк, но с ясным убеждением высказывает Декарт догадку, что движение есть неотъемлемое и всеобщее свойство материи. Все подвижно, нет неподвижных

¹ Декарт, Начала философии, стр. 48.

² Там же, стр. 54.

³ Там же, стр. 54.

⁴ Там же, стр. 54.

точек и всякое движение относительно. «Если, наконец, мы подумаем,—утверждает Декарт,—что в мире не встречается совершенно неподвижных точек, что, как ниже будет указано,—вероятно, то отсюда заключим, что нет никакого постоянного места для вещи, помимо того, которое определяется нашим мышлением»¹.

Как ни велика роль всех этих идей в истории науки, они не могли вести к прямому утверждению диалектического метода. Только в своих выводах, результатах они могли быть обращены в принципиально диалектическое воззрение.

Гораздо ближе к диалектике подошел Декарт в своем учении о развитии. Громадной заслугой Декарта навсегда останется то, что он—первый из крупных мыслителей нового времени—внес в космологию идею развития. Космология Декарта есть в то же время космогония. Ее целевая задача—понять не только строение мира в его настоящем виде, но и его происхождение, развитие из первичных элементов. Задолго до Канта и Лапласа Декарт пришел к мысли, что теория физического строения мира неполна и даже немислима без его истории. Но Декарт не только теоретически сознал необходимость изучения природы с точки зрения развития. Свою мысль он претворил в дело. Он действительно построил—первую в новое время—грандиозную по широте синтетического охвата космогоническую теорию. В этой теории астрономия, математика, физика, механика соединились, чтобы общими усилиями раскрыть тайну развития нашего мира.

В своем замысле Декарт, конечно, был ограничен условиями своего времени. Космогонические идеи в XVII веке были еще слишком скользкой и даже опасной темой для исследования. В эпоху Декарта космогоническая библейская поэма бытия была единственно-возможной, единственно-легальной космогонической теорией. Потрясающая участь Галилея прозвучала для всей Европы, как предупреждение, возвещавшее, что для свободного опубликования космологических исследований время еще не настало.

Сравнительно с Галилеем судьба Декарта складывалась счастливо. В известной мере он сам был творцом своей судьбы. Для своих работ он удалился в Нидерланды—наиболее передовую и либеральную страну современной ему Европы. Здесь он работал, часто переменив место жительства, сносясь только с испытанными друзьями в условиях почти полной конспирации. Нельзя не признать, что для этой сдержанности было много оснований. Поражаемый—в передовых странах—экономически, феодализм почти полностью сохранял свою силу и авторитет в области идеологической. Декарту было чего опасаться. Слишком уж развито было противоречие между библейским учением о сотворении мира и теорией Декарта, задумавшего объяснить генезис вселенной из чисто-механических законов движения первичных однородных частей.

Но если объективная обстановка требовала сдержанности, то природная робость и мнительность Декарта заводила эту сдержанность слишком далеко. Необходимая недоговоренность обращалась в компромисс. В результате раннее космологическое сочинение Декарта вовсе не увидело света, позднее же его изложение в «Началах философии» вышло из-под пера автора в изуродованном виде. Учение Декарта не было изложено здесь en toutes lettres, напрямик, без обиняков, как теория убежденного в своей истине исследователя. Оно было предложено—робко, почти как контрабанда—в виде прагматической гипотезы,

¹ Декарт, Начала философии, ч. 2-я, стр. 45.

отнодю не претендующей на выражение действительной истины. Приступая к изложению своей теории, Декарт спешит оговориться и заверить, что все, что церковь учит о сотворении мира, для него—незыблемая истина. «Несомненно,—говорит Декарт,—что мир изначально создан был во всем всем совершенстве, так что в нем существовали солнце, земля, луна и звезды; на земле имелись не только зародыши растений, но и сами последние; Адам и Ева были созданы не как дети, а как взрослые. В этом,—рассуждает Декарт,—ясно убеждают нас христианская вера и природный разум»¹. С другой стороны, «обращая внимание на неизмеримую мощь бога, мы не можем считать, что бог создал что-либо не во всех отношениях совершенное»².

И тем не менее, воздав должное официальному учению, Декарт тотчас же предлагает совершенно иную теорию, построенную на идее *развития*. Своё оправдание Декарт находит в *прагматическом* характере предлагаемой теории. Декарт делает вид, что его теория вовсе не имеет целью утверждать, будто действительный мир *действительно* произошёл в том порядке и в той последовательности, которые этой теорией устанавливаются. Единственная цель его теории—облегчить *изложение* существующего механизма мира, а единственный критерий, определяющий её ценность, состоит в согласовании теории с данными опыта. В действительности—уверяет Декарт—все возникло не так, как описывается в его теории. Но все же теория развития *практически полезна*, ибо посредством нее устанавливается соответствие между теоретическими представлениями и действительными явлениями природы.

Декарт не пожалел сил, чтобы показать, что в его собственных глазах предложенная им теория развития не имеет никаких особых теоретических преимуществ сравнительно с любой другой теорией, возможной по этому вопросу. Так, обсуждая вопрос о природе первичных материальных частиц, из которых образовалась вселенная, Декарт заявляет, что «нам предоставлено принять любые из них, лишь бы все, вытекающее отсюда, согласовалось с опытом»³. «Все, о чем буду писать далее,—разъясняет Декарт в III части «Начал философии»,—предлагаю лишь как гипотезу. Хотя бы и была она сочтена за ложную, все же, по моему мнению, она окажет достаточно большую услугу, если все выведенное из нее будет согласоваться с опытом; и, таким образом, из нее мы извлечем очень большую пользу для жизни и для познания самой истины»⁴.

Как ни настоятельны все эти заявления Декарта—доверять их буквальному смыслу нет решительно никаких оснований. Рекомендую свою космогонию, как только прагматическую, служебную гипотезу, Декарт только защищал себя от обвинений, которые он заранее предвидел. «Прагматизм» Декарта есть не более как плащ контрабандиста.

На самом деле свою космогоническую теорию Декарт преподавал, как единственно-верное изложение единственно-верной истины. «Прагматическая» окраска вводных замечаний Декарта бесследно ступшевывается, бледнеет в свете его же собственных дальнейших разъяснений. Ничуть не смущаясь остротой собственных противоречий, Декарт, наряду с «прагматической» характеристикой своей теории, дает другую—диаметрально противоположную. «Если мы воспользуемся

¹ Декарт, Начала философии, 1, стр. 71.

² Там же, стр. 71.

³ Там же, стр. 71.

⁴ Там же, стр. 71.

только яснейшими началами,—рассуждает Декарт,—если все выведем из них с математической последовательностью, и если выведенные следствия будут тщательно согласовываться со всеми феноменами природы, то мы увидим, что *нанесли бы богу обиду, предположив ложными причины вещей, таким путем нами найденные*»¹...

Итак, не прагматически-полезную, нейтральную относительно истины конструкцию представляет космогония Декарта, но теоретическое выражение самой истины. В центре этой космогонии стоит идея *развития*. «Чтобы лучше понять природу растений или животных,—утверждает Декарт,—гораздо предпочтительнее рассуждать так, будто они постепенно порождены из семени, а не созданы богом при начале мира. Мы можем при этом открыть известные принципы, просто и легко понятные; из последних, как из зерна, можем показать происхождение звезд, земли и всего постигаемого нами в видимом мире»².

Идею развития Декарт понимал широко. Его космогония должна была дать принципы, с помощью которых можно было бы постигнуть развитие мира, начиная с первичного однородного состояния материи—вплоть до нынешней сложной структуры солнечной системы и земли. «Все частицы материи,—говорит Декарт,—сначала были равны как по величине, так и по движению; и я не допускаю в мире никакого неравенства, кроме того, которое состоит в различии положения неподвижных звезд»³.

Позднее, согласно законам природы, произошло изменение в первоначальном расположении частиц. «С помощью этих законов,—разъясняет Декарт,—материя последовательно принимает все формы, к каким способна, так что, когда мы в порядке рассмотрим эти формы, мы будем в состоянии перейти к форме, свойственной нашему миру»⁴...

Здесь неуместно излагать детали космогонической теории Декарта. В целом она выдержана в духе характерного для Декарта механистического физизма. Основой развития вселенной Декарт объявляет *вытребобразное движение* первоначально однородных, позже—дифференцировавшихся частиц. Из этих трех видов материи образовались все тела видимого мира. Материя первого рода обладала большей силой движения; дробясь при столкновении с другими телами на бесконечно малые части, она приспособляла свои фигуры к заполнению всех тесных промежутков, составленных ими. Из этой материи произошли солнце и неподвижные звезды.

Материя второго рода состояла из весьма малых, хотя и дробимых на дальнейшие частицы шарообразной формы. Из нее возникло небо.

Наконец, материя третьего рода состояла из очень плотных частиц, мало пригодных для движения. Из нее произошла земля⁵.

Вся космогония Декарта построена на чисто-каузальном принципе. Вместе с Законом Декарта категорически отвергает рассмотрение природы по целям. Но словам Декарта, мы немало погрешим, «если выдумаем, что все сотворено (богом)... ради нас одних, или если даже будем полагать, что силою нашего духа могут быть постигнуты цели, предложенные богом самому себе при мироздании»⁶.

¹ Декарт, Начала философии, стр. 70—71; курсив мой. В. А.

² Там же, стр. 71.

³ Там же, стр. 73.

⁴ Там же, стр. 73.

⁵ Там же, стр. 68.

⁶ Там же, стр. 75.

Хотя в этике—замечает Декарт—и говорится, что все сотворено богом ради нас, говорится это с той целью, чтобы мы больше побуждались к благочестивым поступкам и больше любили бога. Декарт даже согласен признать, что телеологическое воззрение «в собственном смысле верно—поскольку, конечно, мы можем пользоваться известным образом всеми вещами, по крайней мере в целях утращения нашей души и ради удивления перед богом при обозрении его дела»¹. «Но тем не менее, — утверждает Декарт, — никоим образом не вероятно, будто все создано ради нас, так что нет иного назначения для созданного». И уж совсем смешно и бесполезно было бы, по Декарту, становиться на телеологическую точку зрения «при обсуждении физических вопросов, так как мы не сомневаемся, что существует или когда-то существовало и уже исчезло многое, что никогда ни одним человеком не было видно или понятно и не доставляло никогда и никому пользы»².

Каузальная по методу, механистическая по руководящему воззрению космология Декарта в то же время диалектична—по той последовательности, с какой в ней проводится точка зрения развития. Опуская все подробности, не представляющие прямого интереса для истории диалектики, отметим, что диалектический принцип применен Декартом не только в общем и абстрактном тезисе о развитии материального мира. Принцип этот весьма обстоятельно проведен через все фазы развития вселенной и через все подробности ее строения. Декарт хотел, чтобы его теория действительно объясняла происхождение всех феноменов материального мира в том виде, в каком он был тогда известен.

Особый интерес представляет разъяснение Декарта, посвященное генезису земли. Вразрез с традиционным взглядом, по которому земля рассматривалась как привилегированное тело и как целевой центр мироздания, Декарт твердо заявляет, что все принципы развития и движения материи, которыми он руководствовался в теории образования звезд и планет, сохраняют всю свою силу и относительно земли: «я должен удерживать ту же гипотезу, — говорит Декарт, — и для объяснения всего видимого на земле; и если я, как надеюсь, ясно покажу, что для всех причин естественных вихрей не может быть иного пути, кроме этого, то отсюда основательно можно будет заключить, что природа этих вещей такова, как если бы они возникли подобным образом»³.

Громадное значение всех этих идей Декарта не могло быть оценено по достоинству его современниками. Целый век должен был пройти, чтобы идея развития вселенной могла вновь стать предметом разработки. Только в кантовой «Всеобщей естественной истории и теории неба» идеи Декарта нашли свое продолжение и дальнейшее развитие. К тому времени теория Декарта стала—в значительной мере—архаической. В течение века, отделяющего Канта от Декарта, поступательное движение точного естествознания совершалось чрезвычайно интенсивно. Между физикой Декарта и космогонией Канта стоит капитальный труд Ньютона. Свою космогонию Кант строил, широко используя «Математические принципы естественной философии» Ньютона, а также гениальную концепцию развития, начертанную Лейбницем. Воздвигнутая на расширенной основе теория Канта, естественно, оказалась гораздо более совершенной, чем космо-

¹ Декарт, Начала философии, стр. 68.

² Там же, стр. 69.

³ Там же, стр. 87.

нии Декарта. Поэтому в истории новой науки учение о развитии вселенной навсегда прочно связалось с именем Канта. И все же было бы несправедливо, если бы высокая историческая актуальность теории Канта бросила тень на заслуги Декарта. Скажем энергичнее: учение Декарта о развитии не получило столь широкой известности именно потому, что оно оказалось *слишком* смелым, *слишком революционным* для своего века. Даже самые передовые умы XVII века не могли оценить по достоинству космогонию Декарта. Когда же в середине XVIII века идея развития вновь стала в центре внимания, Канту пришлось уже опираться не на подлинного автора—Декарта,—но на тех современных физиков, чьи труды отвечали высокому уровню теоретического естествознания.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. В. Ф. АСМУСА

Тов. А. М. Деборин. «Объявляю заседание открытым. У нас сегодня предложение по докладу тов. Асмуса на тему «Диалектика в системе Декарта». Слово для небольшого содоклада имеет тов. Дмитриев.

Тов. Дмитриев. Предупреждаю товарищей, что задачу своего содоклада я вижу не в том, чтобы дать что-либо твердое положительное, которое могло бы полностью осветить поставленный вопрос о диалектике Декарта.

Моя задача преимущественно отрицательного характера и состоит в восстановлении подлинного марксистского толкования философии Декарта, отменяя те искажения, которые сделал тов. Асмус. Это, конечно, не значит, что я не буду давать ничего положительного. Мой содоклад будет покоиться на вполне определенных представлениях о методологии Декарта, характере его системы, его теории познания и пр., на основе чего я и буду критиковать доклад тов. Асмуса.

Прежде всего необходимо установить центр тяжести доклада тов. Асмуса. Какую центральную мысль хотел он провести в своем устном выступлении и в той статье, которую он в прошлый раз зачитывал.

Тов. Асмус: Маленькая фактическая справка: доклад текстуально не совпадает со статьей, доклад гораздо обстоятельнее и подробнее.

Товарищ Асмус в своем устном слове заявил, что основным в характеристике методологии Декарта он считает диалектику. В своей сущности эта методология диалектична, но она проявляется не в соответствующей форме. Только долгое время спустя, когда потом появился Гегель и другие диалектики, тогда уже удалось установить соответствие между сущностью и формой. Но у Декарта этого соответствия еще не было. Хотя сущность его методологии, по мнению тов. Асмуса, диалектична, но это еще не было осознано в полной мере самим Декартом, его логика или, точнее, его учение о логике характеризуется формально-логическими чертами и носит на себе печать современной ему эпохи—влияния схоластической мысли. Такова самая центральная, основная мысль доклада тов. Асмуса.

Если теперь от фонемы, как выразился тов. Асмус в одной из своих статей, мы обратимся к его графеме, к его зачитанной в прошлый раз статье, мы заметим следующее весьма важное обстоятельство. Я пропускаю первую главу статьи—под наименованием «Средневековое мировоззрение», где тов. Асмус «по Спекторскому» характеризует это мировоззрение признаками морализма, иерархизма и телеологизма. Мне думается, что тов. Асмус мог бы дать более содержательную и интересную характеристику, пользуясь марксистским методом. Я про-

пускаю также вторую главу, под названием «Декарт и античная традиция», где тов. Асмус проводит поверхностные аналогии между Демокритом и Декартом, и обращаюсь к третьей главе, которая называется: «Методологические основы системы Декарта». И вот в этой главе, под таким обильным наименованием, мы читаем о декартовском всеобщем сомнении, интуиции, системном характере знания, первичных и вторичных качествах и пр. и пр., но самого существенного, без чего, по моему мнению, не может быть понята ни философия Декарта, ни его методология, без чего нельзя двинуться ни шагу в толковании философа—характеристики его механистических взглядов, мы совершенно не находим. Отсутствие такой характеристики поражает и бьет прямо по глазам. Как будто бы Декарт никоим образом не имел, будто бы это совершенно безразлично для философии Декарта.

В своем устном слове товарищ Асмус даже заявил так: «Пусть Декарт—количественник, как его называет тов. Дмитриев, пусть он отрывает количество от качества—это совершенно другой вопрос». Будто бы это так же безразлично, как вопрос—какой камзол носил в свое время Декарт—малиновый или какой-либо другой?! Сколько я ни прислушивался к словам тов. Асмуса, сколько я ни приглядывался к его статье—я, ни в строках ни между строчек, нигде не нашел ни малейшего упоминания про механистические взгляды Декарта. Даже если подойти к мыслителю с предвзятыми представлениями, как это и делает тов. Асмус, заранее предполагая, что методология Декарта в своей основе диалектична, даже в этом случае следовало немного остановиться на разборе механистических элементов философии мыслителя, хотя бы из тех соображений, что такая характеристика является весьма распространенной.

Вот так ставит проблему характеристики методологии Декарта тов. Асмус! Какова же эта методология в своих основных чертах на самом деле? Посмотрим, как исторически развивалось новое мировоззрение, мировоззрение новой эпохи, в борьбе с каким идеологическим противником оно выросло и закалилось? Какие требования были выдвинуты на смену средневековому схоластическому мировоззрению?

Схоластическое мировоззрение можно характеризовать, в основе своей, как качественное мировоззрение, как мировоззрение некоторых качеств, которые противостоят друг другу, которые разрозненно противостоят друг другу. Это разные потенции и силы, различные вещи тайные и явные, особые сущности, специи и проч. и проч. И этому схоластическому качественному мировоззрению вполне соответствовала определенная логика, аристотелева логика качественного дедуктивного силлогизма. Ни в какую другую эпоху Аристотель не получил такого признания и всеобщего одобрения, как в эпоху средневековья, когда не только все сочинения писались согласно логическим силлогистическим правилам, но даже и все устные выступления тоже придерживались этих же самых правил.

Сначала, когда уже буржуазия начала бороться с феодализмом, с помещичьим классом, то на смену средневековому мировоззрению она выдвинула мировоззрение, которое еще стояло на почве схоластики, которое не сходило еще с почвы религии. Можно указать на реформацию, как на первоначальную форму буржуазного мировоззрения. Идет борьба против религии, но новое мировоззрение еще стоит на почве религии, идет борьба против филологии и словесности, но воюют за филологию и словесность. Это—эпоха гуманизма, эпоха чрезвычайного расцвета филологических и словесных знаний.

В дальнейшем, в XVII столетии, буржуазия находит более точное выражение своего мировоззрения и находит его в науке. С одной стороны, в эмпирической науке это Бэкон и линия английской эмпиризма, с другой—в точной науке, в механике, математике, физике, астрономии, вообще в точной науке. Тов. Асмус делает тоже попытку связать характеристику мировоззрения Декарта с современной ему наукой, но любопытно отметить, что он ни слова не говорит о том, как связана механистичность философии Декарта с расцветом точных наук того времени.

Развитие точного знания и прежде всего механики вызывает, в свою очередь, стремление универсализовать механику, что выражается в стремлении рассматривать все качественное разнообразие мира, все качества вселенной, как проявления механических качеств. Здесь мы имеем дело с тем, что иначе обозначается как принцип отождествления и сведения качеств. Можно указать на Декарта, который ко всему подходил с механической меркой, рассматривая, например, тело человека, как машину, в роде плаката какого-то журнала, который недавно был вывешен на улицах Москвы, где представлены голова и тело человека в виде аппаратов, телефонных будок и пр. Открытие кровообращения Гарвеем дает повод Декарту рассматривать этот процесс механически, в виде механического движения крови по каналам и т. д. Сам человеческий организм напоминает собой, как говорит Декарт, часы, маленькую машину, где все части, колесики прилажены друг к другу, и смерть человека—это как остановка этой самой машины.

Не только биология и жизнь организмов рассматривались механически. Любопытна еще другая тенденция, стремление рассматривать и социальные явления как проявления все тех же механических законов. Общественные науки тоже сделались механическими. Уже Декарт кладет этому начало, пытается через жизненных духов механизировать человеческие страсти и аффекты. Еще далее идут Спиноза и Гоббс: на почве натурфилософии и механических взглядов они строят целую философию политических тел, политических механизмов и т. д.

Вот в этом, в сущности, и заключается универсализация механики, в силу чего эта отдельная наука, изучающая отдельную самостоятельную отрасль действительности, провозглашается наукой всеобщей и философской. Универсализация механики характеризуется тремя основными чертами. Первая черта—это сведение всех качеств к каким-нибудь определенным основным качествам, которые являются самыми общими качествами. К этим наиболее общим качествам сводится все остальное. Таким наиболее общим качеством, фигурирующим в физике Декарта, является протяженность. Декарт говорит, что все физические качества можно отбросить, а протяженность обязательно останется, вот почему это и есть то качество, к которому сводятся все остальные.

Второй признак механистического мировоззрения—отрыв сущности от явления. Это наиболее общее качество, фигурирующее у Декарта в виде протяженности, а у атомистов того или другого демокритовского толка в виде атома, неподвижного в своей качественности, считается существенным основным мировым качеством. Механистическое мировоззрение не может понять диалектического соотношения между явлением и сущностью. Явление растворяется в сущности. Ничего феноменального не существует, говорят механисты, все феноменальное призрачно и сводится к неподвижной в своей качественности сущности, к протя-

женности, как это имеет место у Декарта, или к отдельным атомам, различающимся между собой только механическим движением.

Вот откуда-1, в связи с этим сведением качеств и отрывом сущности от явления, и вытекает теория первичных и вторичных качеств, обыкновенно развиваемая представителями механистического мировоззрения. Мы встречаем эту теорию у Демокрита и древних механистов, широким же распространением она пользуется в особенности в XVII столетии, в эпоху наибольшего расцвета механики. Основоположник современной механики—Галилей—один из первых выставил положение, что наука имеет дело только с первичными качествами, к которым следует причислить величину, фигуру, движение и пр., все же остальные качества должны быть признаны субъективными и не имеющими реального значения. Это же разделение и противопоставление качеств первичных и вторичных, субъективных и объективных мы встречаем у всех механистов XVII ст.—у Декарта, Мальбранша, Гоббса, Спинозы, Локка и многих других. Мерсенн, друг Декарта, пишет, напр., специальное исследование, где доказывает чистую субъективность звуковых качеств, в отличие от объективной порождающей их механической причины. Сам Декарт постоянно подчеркивал, что качества субъективные нужно отличать от объективных. К объективным качествам он относил только протяженность, величину и фигуру, к субъективным: цвет, боль, непроницаемость и пр. Здесь я должен отметить, что тов. Асмус, когда он говорит о первичных и вторичных качествах, не связывает этот вопрос с механистическим принципом сведения, откуда и вытекает это разделение качеств. Он почему-то этот вопрос связывает только с интуицией.

Рассмотрим теперь третий признак механистического мировоззрения, его количественную методологию. Надо отметить, что то изображение дела, которое иногда дается, будто бы механисты совершенно отвергают всякие качества,—неправильно. Они признают некоторые основные механические, наиболее общие качества, носителями которых являются атомы. Важно не то, что они совершенно отвергают качества, а важно то, что все остальные качества они сводят к определенным, основным, единым качествам.

Поскольку все качества уже сведены к некоторым основным качествам,—поскольку различие, существующее между вещами, уже не может быть качественным и, следовательно, это различие только количественное. Вот почему вместе с механистическим мировоззрением, вместе с универсализацией механики мы обыкновенно встречаем, в той или другой степени, попытку универсализации и математики.

Эпоха XVII столетия проходила под этим флагом. Все великие философы того времени—по крайней мере, на континенте Европы—были одновременно и математиками или имели то или другое касательство к математике. Схоластическому качественному силлогистическому методу в это время был противопоставлен количественный математический метод.

Гоббс говорит, что самый процесс нашего мышления—это нечто в роде сложения и вычитания. Мальбранш полагает, что наши рассуждения—это ряд математических уравнений. Вейгель говорит, что даже процесс еды—это своего рода арифметическое действие, когда вычитаются куски из тарелки и складываются в желудке. И Лейбниц в письмах к одной из своих корреспонденток пишет, что и любовь тоже есть вещь в некотором роде математическая. Декарт мечтал создать особую науку «mathesis universalis», в отношении к которой все остальные науки являются частями.

«При внимательном рассмотрении этих вещей я нашел, что все науки, имеющее дело с исследованием порядка и меры, относятся к математике, совершенно безразлично, отыскивают ли они эту меру в числах, фигурах, светилах, типах или в других объектах; что должна поэтому существовать универсальная наука, которая, независимо от всякого особенного применения, обобщивает все, относящееся к порядку и мере, и в силу этого заслуживает, чтобы ее называли ее собственным и благодаря его древности почтенным именем *математика*, так как все остальные науки являются ее частями» (цит. по Куно Фишеру—«Ист. новой философии», т. I, стр. 293—СПБ, 1906).

Тов. Асмус тоже мельком упоминает по это стремление к универсализации математики, свойственное Декарту и другим механистам, но он придает этому обстоятельству совершенно другой смысл. Он увязывает универсализацию математики с системным характером науки, но ни слова не говорит, что она связана прежде всего с универсализацией механики, со сведением качеств и стремлением рассматривать мировое многообразие только как количественное. Вот этой-то характеристике, этим признакам механистического мировоззрения полностью отвечают философия и методология Декарта. Все качества Декарт хотел свести к двум—мышлению и протяжению. Отсюда отнюдь не следует, что ему удалось действительно осуществить этот процесс сведения качеств. Этот процесс вообще не может удасться, по вполне понятным причинам. Вот почему Декарт впадает в формально-логические противоречия, когда пытается это провести в своей философии. Он не может, гаур., свести движение к протяженности, сколько бы он этим ни занимался. Спинозу этот вопрос о сведении движения к протяженности чрезвычайно мучил и в конце концов он признается, в письме к Чиригаузену, что он никак этого не может сделать.

В связи с этой характеристикой методологии механистического мировоззрения нужно рассмотреть теорию познания, развиваемую Декартом.

Поскольку он дуалистически противопоставлял первичные качества вторичным, считая последние только субъективными, постольку у него возникает целый ряд сомнений в отношении наших чувств. Наши чувства, говорит Декарт, нас обманывают, они не дают нам познания истины, познание наше не может корениться в чувствах, оно может корениться только в нашем разуме. Этим, в основном, характеризуется рационалистическая теория познания, свойственная Декарту, Спинозе и их последователям. Она находит свое завершение в философии Лейбница. Только разум, таким образом, раскрывает нам сущность вещей. Но, обращаясь к нему, мы видим ряд логических зависимостей, ряд доказательных положений, вытекающих друг из друга. Так что, если мы будем развешивать этот ряд логических зависимостей, мы придем к некоторым основным положениям, которые уже нельзя доказать, которые уже нельзя свести к другим положениям. Эти-то положения уже сами по себе должны являться самоочевидными и самодокзательными. Они суть первые самые основные начала и принципы всех вещей, не доказанные разумом, а устанавливаемые путем интуиции, самоочевидности, путем прямого констатирования их ясности и отчетливости для нас.

Интуиция у Декарта, таким образом, имеет значение указателя основной исходной точки, основных положений, принятых без доказательства и являющихся исходным пунктом для доказательства других положений. Весь смысл философских размышлений Декарта и состоит в том, чтобы найти эти основ-

ные положения и затем уже из них, пользуясь математическими правилами вывода, вывести все другие истины. Эту задачу ставит перед собой Декарт в «Началах философии», произведении интересном в том отношении, что здесь им сделана попытка последовательного изложения всей системы.

«Для этих начал существуют два требования,—говорит Декарт в предисловии.—Во-первых, они должны быть столь возможно более ясны и очевидны, чтобы при внимательном рассмотрении человеческого ум не мог усомниться в их истинности, во-вторых, познание остального должно зависеть от них так, что хотя «начала» и могли бы быть познаны помимо познания остального, однако, обратно, это последнее не могло бы быть познано без знания начал» («Начала философии»—перевод Н. Сретенского, т. I, стр. 2).

Ту же самую рационалистическую теорию познания развивает Декарт во всех других сочинениях. Особое же значение имеет небольшое его сочинение «Рассуждение о методе», где он дает характеристику своего метода и устанавливает правила, которыми мы должны пользоваться в нашем познании. Таких правил четыре.

Первое правило состоит: «Надо считать истинным лишь то, что с очевидностью познается мною таковым, т.-е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и принимать в свои суждения только то, что представляется моему ум так ясно и отчетливо, что ни в коем случае не возбуждает во мне сомнения» («Рассуждение о методе»—пер. Г. Тымянского, стр. 43).

Первое правило, таким образом, сводится к тому, чтобы найти те основные положения, которые представляются нашему уму совершенно ясно и отчетливо, не нуждаясь в обосновании.

Второе правило гласит так:

Надо «разделить каждое из рассматриваемых мною затруднений на столько частей, на сколько возможно и сколько требуется для лучшего их разрешения».

Второе правило есть правило сведения. Нужно взять всю область фактов, имеющихся перед нами, и так их расчленим, чтобы можно их было свести к некоторым основным положениям.

Следующее третье правило гласит:

Надо «мыслить по порядку, начиная с предметов, наиболее простых и легко познаваемых, и восходить мало-по-малу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые не следуют естественно друг за другом». Если второе правило мы характеризовали как правило сведения, то третье есть правило вывода. Некую область разрозненных фактов мы свели к известным положениям, к известным начальным пунктам и теперь мы можем поставить перед собою другую задачу и заняться выводением, представляя данную область фактов как систему знаний. На этих основных фундаментальных положениях мы можем построить всю систему наук.

Наконец, последнее, четвертое правило имеет только техническое значение. Нам нужно пробегать взглядом и составлять настолько полные перечни и «общие обзоры», чтобы ничего не пропустить ни в отношении сведения, ни в отношении вывода.

Итак, чем же вкратце характеризуется рационалистический метод Декарта, его рационалистическая теория познания? Во-первых, признанием основных положений, устанавливаемых путем интуиции, разумно, без опыта и чувств, к ним сводятся все остальные положения. Из них, во-вторых, выводятся посредством

известных методологических правил все остальные положения и истины науки. Пользуясь этим методом, Декарт строит свои «Начала», свое «Рассуждение о методе» и пр. и пр.

Нетрудно убедиться, что эта рационалистическая теория познания Декарта находится в самой тесной связи с его стремлением универсализировать математику. Декарт сам указывает, прямо говорит нам, что послужило ему образцом для установления четырех нами разобранных правил познания.

Вот что он пишет сейчас же после своих правил в том же «Рассуждении о методе»:

«Те длинные цепи простых и легких рассуждений, которыми обычно пользуются геометры, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне случай представить себе, что все вещи, способные стать предметом знания людей, стоят между собою в такой же последовательности».

Вы видите, он прямо обращает внимание на геометрию и говорит, что последовательность математических рассуждений послужила для него образцом при формулировке его общих правил всякого познания. Далее он еще резче подчеркивает значение математики и математического метода для философии и теории познания:

«Я сообразил, что среди всех, искавших истину в науках, только математикам удалось найти некоторые доказательства, т.-е. некоторые точные и очевидные основания, и не сомневался поэтому, что и мне следовало начать с тех же истин, какие они исследовали».

Такие ссылки на геометрию и математический метод постоянно встречаются в произведениях Декарта. Он не устает подчеркивать, что только математический метод является единственным образцом для сознания истинного философского метода познания. То же самое мы видим у Спинозы. В своей «Этике» он геометрическим путем строит свои доказательства, выводя все свои суждения из некоторых основных положений, которые, в свою очередь, он хотел вывести из одного только определения субстанции. И геометрический метод в философии Спинозы не является только методом изложения, как думают некоторые, а имеет методологическое значение.

После этой характеристики методологии и теории познания Декарта обратимся к тов. Асмусу. Но прежде чем вплотную перейти к нему я хотел бы сказать пару слов о Гуссерле. Этот Гуссерль—*мажорный идеалист*, и его философия представляет собою особый вид интуитивизма. В наше время чрезвычайно много развелось этих интуитивизмов. Философию Гуссерля можно назвать рационалистическим интуитивизмом, употребляя этот несколько неуклюжий термин. Дело обстоит у Гуссерля следующим образом: с одной стороны, имеется мир случайного эмпирического опыта, мир случайных истин, которыми занимаются эмпирические науки. С другой стороны, имея дело с этими эмпирическими науками и случайными знаниями, в нашем уме, поневоле, появляется сознание того, что этой случайности должна противостоять где-то какая-то необходимость. И Гуссерль говорит, что эта необходимость, этот мир необходимых и существенных истин, устанавливается не опытом, так как опыт всегда случаен и изменчив, а интуицией, процессом нашего разумного усмотрения. Гуссерль говорит так:

«Все дело заключается в том, чтобы мы видели и вполне усвоили, что точно так же непосредственно, как можно слышать тон, можно интуитивно видеть некоторую «сущность», сущность «тон», сущность «вещь в явлении», сущность

«видимая вещь», сущность «образное представление», сущность «суждение» или «воля» и т. д.—видеть и в интуитивном видении высказывать эссенциальные (Wesensurteile) суждения» (Гуссерль, цит. по книге Г. Шпетта «Явление и смысл», М., 1914, стр. 21).

Я затрудняюсь, как точнее назвать эти поиски сущности. Кажется, это называется у них интенциональным актом, как будто бы так.

Что же мы имеем? С одной стороны, мир эмпирического опыта, с другой—разумную интуицию, которая устанавливает сущности. Стол, например,—это вещь эмпирическая, но сущность стола существует не в эмпирике, а в нашем разуме. Мы имеем графин—это вещь эмпирическая, но мы имеем разум, благодаря которому мы познаем сущность графина. Поставим теперь вопрос: как же быть дальше с такими сущностями, что же они так и остаются в разбросанном виде или поддаются известной систематической рациональной обработке? Гуссерль отвечает, что эти сущности, добытые нами посредством интуиции, поддаются систематической обработке. Можно установить поэтому систематику наук, можно установить системный характер знаний. Вот что пишет Гуссерль в своих «Логических исследованиях»:

«Реальное средство также не порождает специфического единства в многообразии знания. Группа разобщенных химических знаний, разумеется, не давала бы права говорить о науке химии. Ясно, что требуется нечто большее, а именно систематическая связь в теоретическом смысле, и под этим разумеется обоснование знания и подлежащий порядок и связность в ходе обоснования.

К сущности науки принадлежит, таким образом, единство связи обоснований, систематическое единство, в которое сведены не только отдельные знания, но и сами обоснования, а с ними и высшие комплексы обоснований, называемые теориями. Цель науки не есть знание вообще, а знание в том объеме и той форме, которая наиболее полно соответствует высшим теоретическим задачам.

Если систематическая форма кажется нам наиболее чистым воплощением идеи знания, и мы на практике стремимся к ней, то в этом сказывается не только эстетическая черта нашей природы. Наука не хочет и не должна быть ареной архитеоретической игры. Систематика, присущая науке,—конечно, настоящей, подлинной науке,—есть не наше изображение; она коренится в самых вещах и мы ее просто находим и открываем» («Логические исследования», ч. 1, стр. 11. Изд. «Образование»).

Находим и открываем путем разумного усмотрения, путем интуиции.

Тов. Асмус. Там сказано интуиция?—Там этого не сказано, это вы прибавили.

Тов. Дмитриев. Да, я прибавил. А разве это неправильно?

Тов. Асмус. Да, это неправильно, я потом об этом скажу.

Тов. Дмитриев. Вот что он дальше говорит в этой же книге:

«Систематическое единство идеально замкнутой совокупности законов, покоящейся на одной основной закономерности, как своем первичном основании, и вытекающей из него путем систематической дедукции, есть единство систематически завершенной теории. Основная закономерность состоит при этом либо из одного основного закона, либо из соединения однородных основных законов».

Можно привести еще и другие цитаты, где он постоянно говорит о системном характере наших знаний, о том, что наши знания должны быть рассматриваемы в связи, в порядке, в системе и т. д. и т. д.

Спросим теперь себя, куда мы можем причислить философию Гуссерля, к рационализму или к сенсуалистической, эмпирической философии? Если спросить какого-нибудь гуссерлянца, он затруднился бы, пожалуй, ответить на этот вопрос. С одной стороны, гуссерлянская философия может быть причислена к особому виду рационализма, потому что источник истинности нашего познания заключается здесь не в случайном чувственном опыте, а в разумном усмотрении, в разумной интуиции. В этом отношении Гуссерль выступает против юмизма и чистых эмпириков. С другой стороны, данные опыта тоже не отвергаются, они признаются, мир опытного знания тоже существует и играет определенную роль в нашем познании. Вот почему гуссерлянец затруднился бы ответить на вопрос, к какому виду теории познания нужно отнести философию Гуссерля. Он отверг бы, пожалуй, генетический принцип разделения направлений теории познания—на рационализм и эмпиризм. Кроме этих двух основных направлений он выдвинул бы, пожалуй, третье, которому и отвечает в первую очередь философия Гуссерля. Он сказал бы так: это особый вид рационалистического эмпиризма или особый вид эмпирического рационализма, не похожий на обыденный.

С нашей же диалектико-материалистической точки зрения это учение Гуссерля об интуиции и познании, конечно, не опровергает генетического разделения направлений в теории познания на рационализм и сенсуализм. Если мы не можем причислить полностью учение Гуссерля ни к рационализму, ни к эмпиризму, то это только потому, что основной недостаток его теории познания состоит в дуалистичности. Это обстоятельство красной нитью проходит через всю философию Гуссерля.

Обращаясь к тов. Асмусу, к его толкованию философии Декарта, рационализма и интуиции, системного характера знания,—мы замечаем любопытнейшее сходство, интересный параллельчик между Гуссерлем и нашим докладчиком.

Прежде всего—о рационализме: тов. Асмус борется против школьного генетического понимания рационализма и сенсуализма. Выступая в прошлый раз, он, однако, не сказал, кого он имел в виду, кто заслуживает упрека в этом школьном и вульгарном понимании. Он не сказал, согласен ли он с теми определениями рационализма и эмпиризма, какие имеются в книге Деборина «Введение в философию».

Он собирался ответить на все эти вопросы.

В своем устном слове тов. Асмус определяет рационализм следующим образом:

«В чем заключается сущность рационализма? Во все не в том, допускают или не допускают рационалисты происхождение из чувств нашего знания. Многие рационалисты допускают происхождение нашего знания из чувств, а в том заключается сущность рационализма, что они считают, что единственным критерием, удостоверяющим нас в истинности познанного, мы должны считать не чувствование, а мышление». Вот какое понимание рационализма дает тов. Асмус. И это новое для диалектического материализма понимание рационализма как раз совпадает с гуссерлянским пониманием рационализма, которое нельзя причислить, если стоять на точке зрения этой философии, к обыденному генетическому пониманию рационализма.

Мы не можем согласиться с этим пониманием. Мы должны попрежнему подчеркнуть, что рационализм—это такая теория познания, которая выводит источ-

ник познания из разума, ну, а если источник познания коренится в разуме, то, значит, и истина тоже лежит в разуме. Если же мы источник познания видим в чувствах, то очевидно, что и истина кроется в данных чувственности, данные чувственности, следовательно, не равнодушны к истине. Это генетическое понимание сенсуализма и рационализма, как назвал его тов. Асмус, по-моему,—правильное понимание и соответствует диалектическому материализму. Гуссерльянское же понимание рационализма, выдвигаемое Асмусом, мы должны отбросить.

Перейду теперь к следующей путанице тов. Асмуса—к его гуссерльянскому толкованию декартовской интуиции. Как я показал уже, эта интуиция у Декарта существует для констатирования самых основных аксиоматических положений, чтобы потом из них вывести все остальное. Это характерно не только для Декарта, но также и для Спинозы и других рационалистов. Смысл интуиции состоит в указании и самоочевидном усмотрении фундаментальных основных положений, которые уже не могут быть логически обоснованы. В этом отношении декартовская интуиция не противоречит, а находится в полном согласии с его математическим методом. Как аксиомы имеют полное согласие с математическим методом, потому что они являются исходным пунктом для всякого доказательного рассуждения, так и интуиция находится в полном согласии с этим методом, потому что она как бы объясняет нам происхождение аксиом. Не то мы имеем у тов. Асмуса. Он толкует интуицию Декарта по-гуссерльянски. Эта интуиция существует будто бы только для того, чтобы в данных чувственности производить отбор и отделение первичных качеств от вторичных, чтобы одни истинные объективные качества выделять от других. Тов. Асмус полагает, что все содержание нашего познания, по Декарту, возникает из наших ощущений, коренится в чувственности. В этом отношении будто бы Демокрит и Декарт совпадают в своих взглядах. Это неправильно. Откуда он это взял? Он приводит цитату, при чем эта цитата, по-моему, не только не подтверждает, а прямо опровергает самого тов. Асмуса.

Тов. Асмус. Я в докладе не приводил никаких цитат из Демокрита.

«Все, что до сих пор принималось мною за истинное и обоснованное, узнаю из чувств или посредством чувств» (Декарт, «Метафизические размышления», перев. Введенского, стр. 20).

Исходя из этой цитаты, тов. Асмус строит целую теорию, что Декарт тоже считал, что все наше познание происходит из чувств и что разумная интуиция устанавливает сущности и производит выбор в этих данных чувственности. Ничего подобного на самом деле нет. Надо внимательно установить смысл этой цитаты. Обратите внимание, что говорит Декарт: Все, что до сих пор...

Тов. Асмус. Вы не понимаете цитаты!

Тов. Деборин. Вы будете иметь заключительное слово.

Все, что до сих пор принималось за истину, произошло из чувств, а на самом же деле истина вовсе не устанавливается чувствами. Раньше я и остальные люди думали, что истина коренится в чувствах, на самом же деле истина коренится в разуме. Вот каков настоящий смысл этих слов Декарта. Тов. Асмус желает такую теорию подсушить Декарту, которая совершенно ему не свойственна.

В прямой связи с этим тов. Асмус дает совершенно неправильное толкование роли опыта у Декарта. Тов. Асмус полагает, что опыт у него имеет чрезвычайно большое значение. Опыты, эксперименты как бы доставляют все содержание.

весь материал для мысли и разума. Ничего подобного! Если просмотрите все, написанное Декартом относительно эксперимента и опыта, вы увидите совершенно противоположное. Опыт, наблюдение, эксперименты имеют значение не как материал для мысли, а как орудие контроля мысли и правильности наших рассуждений.

В чем истинный смысл декартовского рационализма? Совершается путь нашего познания, но он идет не впустую, а за ним стоит объективная материальная действительность, которой это познание должно соответствовать. Проверка этого познания, контроль над ним и выполняется опытом. Опыт и эксперименты—это контроль, который свидетельствует, насколько наше познание правильно и соответствует объективной действительности. Но никакого опыта, никакого эксперимента может и не быть, наше же познание все-таки, по Декарту, может остаться правильным и истинным, раз оно следует из правильных и яснейших положений. Спиноза как раз и приводит эту мысль в своем «Трактате об ощущении интеллекта». Я хочу сказать, что если где искать рационализм у Спинозы, то прежде всего в этом трактате. В «Этике» у Спинозы уже сильна эмпирическая тенденция.

Приписав такую совершенно несвойственную Декарту интуицию, тов. Асмус полагает, что это первое диалектическое завоевание философии мыслителя, это «целая революция», «ограничивающая права формальной логики». Даже если согласиться с таким гуссерльянским толкованием интуиции,—я все равно не вижу еще тут диалектики. Может быть, Гуссерль—диалектик?! Я до сих пор что-то не слышал об этом. Не всякое нарушение и ограничение прав формальной логики есть диалектика. Иногда бывают такие нарушения логики, что волосы становятся дыбом. Приведу пример: если на улице играет музыка—это одно нарушение правил общественной благопристойности, но если пьяный хулиганит на улице—это уже совершенно другое нарушение. Так же и тут. Не всякое нарушение правил формальной логики диалектично, если даже принять ваше гуссерльянское толкование интуиции.

Дальше, разберем системный характер науки, второе по Асмусу диалектическое завоевание Декарта. С точки зрения того толкования Декарта, которое я проводил, системный характер науки у Декарта сводится к правилам математического выведения. Поскольку все науки, все качества вселенной сводятся к одному, постольку должна существовать такая единая наука, из основных аксиоматических, самоочевидных положений которой, по известным правилам и ступеням, может быть развита вся остальная цепь научных истин. В этом состоит системный характер науки у Декарта,—потому что все тождественное имеет между собой связь, при чем эта связь вовсе не диалектична, а формально-логична, характеризующаяся принципами математического, систематического выведения. Вы тоже будете утверждать, что это—диалектика? Я не считаю это диалектикой.

Здесь могут возникнуть следующие возражения. Вы говорите, что декартовская методология это количественная математическая методология, но где же у него фактически математика? Он выводит, доказывает, показывает, рассуждает, не прибегая к помощи математических символов, алгебраических и арифметических вычислений. Как ни интересно это возражение, но все же не ограничивает нашего права характеризовать декартовскую методологию, как количественную. Суть—в том, что полное проведение этой методологии, как философской

универсальной методологии, — вещь совершенно невозможная. Формально-логический количественный метод, в этом случае, терпит естественное ограничение потому, что нельзя на деле все качества свести к одному или нескольким простым качествам. Только в том случае, если бы такое сведение действительно удалось, можно было бы построить систему философии, как систему математических уравнений и теорем.

Теперь я остановлюсь на других погрешностях тов. Асмуса, которые я уже не считаю такими основными.

Разберем вопрос о всеобщем сомнении и *cogito* у Декарта. Тов. Асмус считает, что всеобщее сомнение у Декарта имеет чисто методологическое значение. Я просил вас, тов. Асмус, ответить еще в прошлый раз, что обозначает термин «чистая методология»? То же ли это, что и чистая логика Гуссерля? «Чистое познание», «чистая сущность», «чистая методология», «чистая история» — все чистое. Как бы вам не быть тоже чересчур чистым и не перейти в противоположность. Я не понимаю, что обозначает в ша чистая методология?

Если мы посмотрим на всеобщее сомнение Декарта, то это, по-вашему, «чисто методологическое сомнение» оказывается на деле не чистым, оно соприкасается с определенным содержанием и направлением мысли у Декарта. Всеобщее сомнение Декарта существует для его *cogito*: я сомневаюсь во всем, но в том, что я сомневаюсь, что я мыслю и, следовательно, существую, — я никак не могу усомниться. Это сомнение в результате утверждает декартовский идеализм, и чистая методология не оказывается чистенькой, она довольно изрядные пятнышки имеет.

Дальше о его *cogito*. Опять-таки тов. Асмус говорит, что это тоже чистая методология. Давайте разберемся. Есть такие наивные товарищи, которые думают, что *cogito* — это вещь чисто материалистическая.

С места. Такого замечания я не делал. (*Смех.*)

Тов. Дмитриев. Я про вас не говорю. *Cogito*, дескать, вещь тоже материалистическая. Для чего существует *cogito*, спрашивают они? Для того, чтобы на этом *cogito* построить здание науки. А наука материалистична, поэтому и *cogito*, существующее для науки, тоже, следовательно, вещь чисто материалистическая. Вот какая штука получается. Вот как мозги сворачиваются благодаря тов. Асмусу.

Тов. Деборин. Тов. Асмус тут не виноват.

Тов. Дмитриев. Значит, обратное: виноват тот, кто не так понимает, читая тов. Асмуса.

Так вот я спрашиваю, что это за чистая методология, за чистая логика? Существует ли в диалектическом материализме чистая логика? Тов. Асмусу надо было бы это знать. Он в своей книжке «Диалектический материализм и логика» сам же говорит, что метод и известное содержание не противоположны друг другу, что всякий метод, в известном смысле, содержателен и всякое содержание может перейти в метод.

Перейду теперь непосредственно к толкованию декартовского *cogito* тов. Асмусом. Я зачитаю то, что говорит по этому поводу тов. Асмус в своей статье:

«Из сказанного явствует, что, как и принцип всеобщего сомнения, декартовское *cogito* имеет прежде всего методологическое значение. Провозглашая *cogito*, Декарт ни в малейшей степени не имел в виду насаждение философского идеализма. Могучий объективизм и онтологизм Декарта в корне враждебны вся-

кой теории, выводящей бытие из сознания. Идея онтологического примата сознания, составляющая центральное учение последующего идеализма, даже не силась Декарту. Декартовское *cogito ergo sum* означает что, в порядке познания мышление, сознание есть наиболее достоверный факт, а потому наиболее достоверное начало науки. О первенстве сознания Декарт учит не в порядке бытия, но только в порядке его познания. Познание есть деятельность человека, а для человека, приступающего к познанию, наиболее достоверным из всех фактов является, по Декарту, тот факт, что, поскольку человек мыслит, постольку имеет право утверждать — в качестве непререкаемой истины — бытие самого мышления. Если уж говорить об «идеализме» Декарта, то «идеализм» этот следует называть не онтологическим и даже не гносеологическим, но именно условно — *методологическим*. И если последующая традиция идеализма не раз пыталась провозгласить Декарта отцом всего новейшего идеализма (см., напр., Шпенгера: очерк «Введение в философию»). Здесь без обиняков и с большой беззаботностью относительно истории Декарт представляется в качестве родоначальника идеализма), а *cogito* истолковать, как тезу, утверждающую онтологическое первенство сознания над бытием, то сам Декарт тут решительно не при чем. Всякий волен по-своему толковать смысл учения, но единственным, отвечающим подлинному духу автора будет только то толкование, которое согласуется с контекстом, с целевыми задачами целого учения».

Я полностью привел эту выдержку из статьи тов. Асмуса, где он пишет о *cogito*; давайте мы ее теперь разберем. Прежде всего тов. Асмус говорит, что Декарт не имел в виду насаждения идеализма, что этой цели он себе не ставил.

Тов. Асмус. Я не читал в таком виде, в каком вы читаете, тов. Дмитриев. Вообще я считаю непристойным тот факт, что тов. Дмитриев позволил себе читать цитату в неисправленной корректуре. Это неприлично.

Тов. Деборин. Это совершенно неправильно, тов. Асмус. Вы имели возможность не давать, но вы же ему дали. Тов. Асмус, вы заявляете, что неисправленная корректура. Хорошо, это принимается к сведению. Дальнейшая ваша интерпретация, дальнейшие ваши комментарии совершенно излишни, и поэтому будьте добры дать другую формулировку, т.е. такую формулировку, которая была здесь в свое время зачитана.

Тов. Дмитриев. Прежде всего, разберем вопрос, будто бы это *cogito* не связано с последующим развитием и насаждением идеализма. Это утверждение совершенно неправильно! Неужели все утверждения историков философии, все идеалистическое толкование *cogito* неправильны?! По Асмусу получается какая-то бестолковщина, будто бы все, идеалистически толкующие *cogito*, «беззаботны» насчет истории и истинного смысла декартовской философии и, в частности, Шпенгера поступают весьма легкомысленно, когда на нем строят свою систему?!

Cogito, — говорите вы, — не имеет онтологического значения. «Идея онтологического примата сознания, составляющая центральное учение последующего идеализма, даже не силась Декарту». Это тоже совершенно неправильно. Действительно, *cogito* есть теория познавательных требований, теория познавательных истин. Но то же *cogito* у Декарта онтологически есть мыслящая субстанция, которая, когда человек умирает, даже остается бессмертной. Может быть, тов. Асмус отвергает существование мыслящей субстанции в философии Декарта, — тогда дело другое.

Онтологическое нельзя отрывать и противопоставлять гносеологическому. Если продолжить этот принцип рационалистического сведения всех истин к *cogito*, то и онтологически все существующее, все процессы реальной жизни должны быть также сведены к *cogito*.

В самом деле, какой один из самых основных принципов и требований декартовского рационализма? То, что является первичным в ходе мышления, в логическом следовании наших рассуждений, то также является первичным и основным в ходе реальных объективных процессов. Если *cogito* является первичным в мышлении, то, если бы Декарт был последовательным, он должен на нем построить всю свою систему, как это и делают некоторые другие идеалисты. Далее тов. Асмус говорит, что последующий идеализм, главным образом, упирался в онтологическое первенство сознания. Почему? Это тоже неправильно! Онтологическое связывается с гносеологическим. Последующий, последекартовский идеализм, поскольку он был последовательным, из гносеологического первенства сознания выводил онтологическое, и наоборот. В представлении тов. Асмуса это самое гносеологическое *cogito* у Декарта даже не есть идеализм в виде как бы материализм. Вот на чем некоторые товарищи путаются. Нет, это не так. Одно связывается с другим. Если у Декарта гносеологическое с онтологическим не связывалось, то это потому, что он дуалист. Повторю, я не могу понять, что хочет сказать тов. Асмус, когда характеризует декартовское *cogito*, как «идеализм» в кавычках, не в онтологическом смысле и «даже не в гносеологическом», а в каком-то «условно-методологическом»? Это самая чистейшая путаница.

Теперь разберем вкратце другую часть утверждений тов. Асмуса, которая касается Декартовской онтологии. Если где искать элементов диалектики у Декарта, то совсем не там, где ищет тов. Асмус: не в интуиции, не в системном характере знаний, а прежде всего — в физических воззрениях. Недаром Маркс так подчеркивал значение физики Декарта в противоположность метафизике. И тут опять тов. Асмус не понял методологии Декарта, его способа подхода к физической проблеме. Основное кардинальное положение, на котором основывается вся физика Декарта, — это отождествление пространственного протяжения с материей. Этим, правда, он дает нечто новое, что раскрывается полностью только теперь в свете современных физических представлений. Говоря о современных физических представлениях, я разумею принцип относительности. Пространство и время, согласно этому принципу, не самостоятельны, не равнодушны по отношению к материи и физическим предметам, как это полагала старая механика и атомистика демокритовского или ньютоновского толка. Пространство и время сами имеют также физическое значение и зависят от чисто физических величин. Нечто подобное мы имеем также и у Декарта, вместе с его отождествлением пространства и материи. Это обстоятельство придает физике Декарта интересные особенности, по сравнению, н.пр., с демокритовской атомистикой или ньютоновской механикой. Но если ошибка старого атомизма заключалась в противопоставлении пространства, времени и материи, то ошибка Декарта состоит в том, что он подходит как количественник — только с точки зрения отождествления, и это его приводит к многим, утверждениям отвергнутым последующим развитием естествознания. В общем и целом, несмотря на некоторые элементы диалектики в этой физической части философии Декарта, он подходит к решению физи-

ческих проблем как механист, — с точки зрения отождествления и сведения физических качеств.

Подводя итоги всему тому, что тов. Асмус излагал в своей фонеме и графеме, мы должны отметить следующее: мы должны подчеркнуть, что тов. Асмус хотел провести дурной историзм. В историю философии он хотел протаскивать дурную, чуждую нам совершенно современность, пытаясь на почве гуссерльянства объяснить философию Декарта и не замечая настоящей, подлинной истории. Настоящая же история и подлинная характеристика философии и методологии Декарта заключается вовсе не в этой подозрительной гуссерльянской диалектике, которую тов. Асмус протаскивает под видом интуиции и системного характера науки и пр. Это, по Гуссерлю, может быть и «диалектика», но не наша, материалистическая диалектика. Настоящая же сущность декартовской методологии в «основном» состоит в количественном методологическом взгляде на мир. Этот взгляд в свое время имел революционное значение, поскольку он был знаменем, под которым шла буржуазия в борьбе против схоластики. Показать это существенное содержание методологии Декарта и должно быть первой задачей тов. Асмуса, потому что только на почве подобной характеристики можно выявить диалектические элементы декартовской философии.

Но совершенно иначе формулирует задачу своего доклада тов. Асмус:

«Он говорит, что цель его доклада — чисто историческая. Он не оценивает учение Декарта с точки зрения наших современных представлений. Ему важно выяснить, какую роль сыграл Декарт в развитии диалектических представлений на фоне философии XVII века.

Итак, тов. Асмус подходил вне современности, я же действительно, признаюсь, подходил с точки зрения современности, с точки зрения диалектического материализма, современного, самого лучшего, передового метода науки.

В результате действительно получилось, что вы подошли без диалектического материализма, без этой передовой современности. Ваша история, тов. Асмус, чересчур современна, а ваша современность уже исторична потому, что Гуссерль — это уже дело прошлое.

Тов. Асмус ссылается на то, что Энгельс говорил про диалектику Декарта. Да, Энгельс говорил, что Спиноза и Декарт — это блестящие представители диалектики, так и сказано.

Тов. Деборин. Но сказано это не так, сказано: «блестящие образцы».

Тов. Дмитриев. Да, «блестящие образцы диалектики».

Тов. Деборин. Это — разница.

Тов. Дмитриев. Но Маркс говорил о метафизике Декарта, которая противоречит его физике. Я не буду этого зачитывать вам, это достаточно хорошо известно. Маркс говорил, что метафизика Декарта отбрасывалась, и материализм, в частности материализм французский, исходил из физики Декарта. Между словами Энгельса и Маркса не существует противоречия, как мог бы сказать тов. Асмус. Слова Энгельса по существу сводятся к тому, что в произведениях Декарта есть блестящие образцы диалектики, хотя в целом он дуалист и метафизик. Вот ошибка, на которой скрывнулся тов. Асмус.

Еще одно маленькое замечание, маленький дополнительный штришок: о терминологии тов. Асмуса. Я уже говорил о фонеме и графеме — терминах, употребляемых тов. Асмусом. Мы знаем, что эта терминология, эти фонемы и графемы,

все это от Гуссерля, это не наша терминология. Тов. Асмус как-то обвинял Варьяша...

Тов. Асмус. Вы языкования не знаете.

Тов. Дмитриев. ...что он употребляет гуссерлявскую терминологию. Как раз это же самое можно сказать и тов. Асмусу. Все эти подозрительные: «системный характер науки», «предметность», «смысловое содержание», «содержание—смысл»,—все это гуссерлявская терминология. «Чистая методология», «чистая история», так много чистого, только «эйдоса» я еще пока не нашел у тов. Асмуса, может быть, потом найду, если хорошенько поищу. Когда тов. Варьяш встречается на литературном поле с тов. Асмусом, они сейчас же начинают говорить о Гуссерле.

Тов. Деборин. Это не имеет никакого отношения.

Тов. Дмитриев. Нет, это находится в связи с этим вопросом. Они начинают говорить о Гуссерле. Тов. Варьяш пишет историю новой философии и там изрядное место в введении, почему-то, уделяет Гуссерлю. Тов. Асмус пишет рецензию на эту книгу и опять же много внимания уделяет толкованию Гуссерля тов. Варьяшем. Тов. Варьяш пишет ответ и опять фигурирует Гуссерль. Тов. Асмус отвечает и опять большое внимание уделяет Гуссерлю, и т. д., и т. д.

Есть еще один вопрос, который вытекает непосредственно из доклада, но об этом в докладе имеются только две строчки, вопрос, который нам необходимо здесь вообще обсудить. С неправильным пониманием диалектики у тов. Асмуса связано совершенно неправильное понимание и формальной логики. В его книге «Диалектический материализм и логика» особенно вышукло проводится это неправильное понимание. Оно же проскальзывает у тов. Асмуса, когда он, выступая против Богданаго, говорил о силлогистике, о том, что законы формальной логики касаются только мышления, а к действительности никакого отношения не имеют, и др. Но это как-нибудь в другой раз...

На этом я кончаю. Я подвожу итоги и говорю тов. Асмусу: это хорошо, что вы с нами, но для того, чтобы быть с нами, надо от всей этой гуссерлявской путаницы отказаться, а не заматать следы. Своим докладом вы сыграли буферную роль. Вы говорите: «Я не касюсь механистов». Именно нужно касаться механистов—без этого Декарта вы не поймете. Делаете же вы сопоставления с Демокритом,—почему же с механистами вы не хотите делать никакого сопоставления? Вы говорите: «Это меня не интересует». Нет, это должно вас интересовать, если вы хотите служить делу диалектического материализма.

Тов. Вайнштейн. Сегодняшнее выступление тов. Дмитриева находится в органической связи с его предыдущим докладом, что указывает на последовательность его мысли, так что если последовательность есть добродетель философа, то Дмитриев—настоящий философ.

Дмитриев в своем прошлом докладе проводил мысль, что до диалектического материализма вся прежняя история философии является продуктом такой формально-логической пустышки, как закон тождества, что вся прежняя история философии покоится всецело на этом законе, почему ее теоретическая ценность ничтожна. Положение, может быть, оригинальное, но не совсем верное. Известно, например, что Энгельс советует естествоиспытателям учиться диалектической логике именно в истории философии, указывает на последнюю, как на кратчайший путь к достижению естествоиспытателями указанной цели. Ясно, следовательно, что свести всю прежнюю историю философии к формально-логической чепухе,

чтобы на этом основании делать свои оригинальные выводы, является, мягко выражаясь, образцом теоретической нелепости.

Перейдем теперь к Декарту. Относительно Декарта Энгельс заявил, что он блестящий представитель диалектики. Историю философии и ее отдельных представителей следовало бы изучать в направлении, указанном классиками марксизма. Асмус в отношении Декарта пытался следовать по этому пути, пытался найти образцы диалектики в системе Декарта, что не может, конечно, вызывать никаких возражений, ибо авторитет Энгельса, основателя диалектического марксизма, является бесспорным. Начнем с радикального сомнения Декарта. Асмус усматривает в этом сомнении Декарта известный методологический прием. Думается, что такая трактовка декартовского сомнения правильна. Гегель различал два вида скептицизма. Один вид скептицизма он уподобляет упрямой перебранке юнцов, из которых один говорит А, когда другой говорит Б, и обратно. Подобного рода скептицизм подвергается со стороны Гегеля беспощадной критике, как тип наиболее безнадежного и бесплодного познания. Гегель отличает от такого рода скептицизма сомнение диалектического характера, которое ломает всевозможные унаследованные догмы, безжалостно крушит авторитет отживших понятий и представлений. Скептицизм такого рода Гегель считает орудием диалектического познания. Декарт, как известно, выступил на философскую арену, когда безраздельно господствовали теология, схоластика, мистика, выступил с радикальным сомнением. Совершенно естественно, что в рамках тогдашней эпохи необходимо признать сомнение Декарта важным методологическим приемом борьбы за истинное познание. Действительно, Декарт в результате своего радикального сомнения дал не только схоластическое наследство, но начертал основные контуры механического миропонимания, которое для той эпохи имело огромное научное значение. Сомнение Декарта являлось, прежде всего, атакой против господствовавших представлений теологического мировоззрения. Декарт дал теорию вещества психической деятельности, научную теорию происхождения мира, которые для тогдашней эпохи бесспорно знаменовали шаг вперед в познании. Диалектический материализм требует исторического подхода к вещам, изучая прошлого под углом зрения его специфических особенностей, сводит к абсурду всякую попытку безразличного отождествления прошлого с настоящим. Изучение прошлого таким образом, точно оно является настоящим, является, конечно, довольно сомнительным приемом. Конечно, нужно признать, что сомнение Декарта связано также с идеалистической стороной его миропонимания, обо оно, несомненно, выполняет также некоторую служебную роль в отношении к его известному положению, гласящему: я мыслю, следовательно, я существую. Если материализм есть отправление от объекта, материального объекта, то указанное положение, напротив, выводит существование из субъекта. Сомнение Декарта также направлено на обоснование истинности данного положения. Но нельзя быть односторонним. Тов. Дмитриев ссылался на Ленина в подтверждение своих «воззрений». Но именно Ленин говорил, что даже идеализм есть чепуха лишь с точки зрения механического материализма, ибо с точки зрения диалектического материализма он является односторонним преувеличением одной из черточек бытия, что и является дорогой к поповщине. Сомнение Декарта глядит в разные стороны, которые нужно принимать во внимание при исследовании его мировоззрения. Не нужно забывать, что Декарт производил свои научные изыскания в то время, когда теоретические смельчаки, державшие высту-

пать против богословских догматов, сжигались на кострах. Правда, и Декарт не был таким мужественным мыслителем, как Спиноза, подчас уклонялся от прямых, ясных выводов, которые диктовались его учением, но он давал, вопреки всяким богословским традициям, блестящие образцы диалектики в своем стремлении познавать настоящую действительность. Плевательская точка зрения на Декарта скорее свидетельствует о метафизике плевателя, которому настоящая физиономия Декарта, повидимому, совершенно незнакома.

Декарт был основателем механического мировоззрения. Французский материализм исходит из Декарта, поэтому я не могу думать, чтобы Асмус хотел изобразить Декарта диалектиком в полном смысле этого слова. Приписать Асмусу такую точку зрения я считаю совершенно неосновательным.

Теперь относительно следующего тезиса Асмуса. Последний указывает, что рационализм Декарта, опирающийся на чувственный опыт, представляет прогрессивное начало в познании. Думаю, что этот тезис Асмуса правилен. Говоря о способах познания, Гегель замечает, что созерцание, несмотря на его большую доступность, не может стать началом науки, что познание должно начать с простых, отвлеченных определений, которые делают его способным овладеть всем конкретным богатством действительности. Положение Гегеля, конечно, материалистически истолкованное, воспринято было и Марксом, который, намечая путь экономического познания, следует именно данному положению. Маркс говорит, что конкретное, являясь результатом отвлеченного познания, не возникает все же в результате такого отвлеченного познания. Однако Маркс говорит, что исходной точкой познания являются отвлеченные определения, которые и служат орудием воспроизведения конкретного, которое, в свою очередь, является исходной точкой созерцания. Выдвинув положение, что чувственный опыт еще не есть знание, Декарт действительно прорывал или старался прорывать грани механического миропонимания. Диалектическое познание также не начинает с непосредственного чувственного опыта, который является исходной точкой созерцания, но не познания. (*С места*. Откуда начинается диалектический материализм?). Познание действительно вовсе не обязывает начать с непосредственного данного чувственного опыта, который является исходной точкой созерцания, т.-е. начальным пунктом в аспекте онтологическом. Тов. Фурцик полагает, повидимому, что познание должно идти от чувственного к абстрактному, не подозревая, повидимому, что Маркс придерживается совершенно противоположной точки зрения на процесс познания. Процесс капиталистического производства Маркс, напр., изучает таким образом, что исходит именно из абстрактного капитализма, исходя из которого он проникает всю полноту конкретного капиталистического общества. Начинает с непосредственного чувственного опыта, конечно, не диалектический материализм, а вулгарный эмпиризм, который в результате такого начала приходит в конце концов к тощим, бессодержательным абстракциям. Декарт, отвергнувший в лице Бэкона такой эмпиризм, сделал действительно шаг вперед в сторону диалектического познания. Маркс определяет познание, как рациональную обработку чувственных данных. Рациональная обработка чувственных данных предполагает обработку последних посредством абстрактных категорий, которые с точки зрения диалектического материализма являются исходным пунктом. Конечно, Асмус допускает также ошибки. Ошибочным я считаю его исключительно методологическое толкование известного положения Декарта о мышлении, как мере существования. Последнее поло-

жение бесспорно идеалистично. Однако я должен сказать, что ошибки Асмуса все менее тяжелы, нежели ошибки Дмитриева, рассуждения которого представляют пример грубого и невежественного схематизма, ничего общего не имеющего с познанием.

Тов. Фурцик. Товарищи! Чтобы не занимать слишком много времени, я не буду останавливаться на последнем ораторе. Тем более, что с ним очень трудно было бы полемизировать, так как он, в сущности, ничего не сказал, если не считать того, что он обиделся за Декарта, которого, конечно, никто и не думал обижать. Тов. Вайнштейн говорил так, как будто здесь хотели непременно обидеть Декарта, как будто тов. Дмитриев поставил себе задачей умалить значение великого мыслителя, как будто у кого-нибудь из диалектических материалистов может быть такая затея, чтобы одного из основателей науки умалить, и т. п. Это ведь сплошное ребячество. Стоит вопрос о диалектике у Декарта, а тов. Вайнштейн приходит с хвалебными гимнами и панегириками по адресу Декарта, который в этом не нуждается. Тов. Вайнштейн к вопросу даже не подошел и поэтому, в частности, не понял тов. Дмитриева.

Какую задачу поставил себе тов. Дмитриев? Он спрашивает, ответил ли тов. Асмус на тему, которую он назвал «Диалектика в системе Декарта». Тема большая и серьезная; тем более, что сам Энгельс у Декарта (и у Спинозы) видит образцы диалектики. Разумеется, говорю я, что мы должны интересоваться этим, обязаны интересоваться и искать, искать диалектику у Декарта. Это трудно, но искать надо. И вот тов. Дмитриев спрашивает в своем содокладе, спрашивает себя, во-первых, вскрыл ли тов. Асмус диалектику у Декарта, и отвечает отрицательно. Тов. Дмитриев спрашивает себя, во-вторых, почему Асмусу не удалось вскрыть диалектику Декарта, и отвечает: потому, что Асмус неправильно к делу подошел. (*Дмитриев с места*. Совершенно верно). И я думаю, что это совершенно верно. Тов. Асмус неправильно подошел к Декарту и поэтому не нашел диалектики. Разрешите мне так выразиться, ибо то, что Асмус нашел у Декарта, вовсе не диалектика. А случилось это потому, что он ищет ее не там, где она на самом деле есть. Так, он ищет ее в cogito—это у него основной тезис, в том самом cogito, которое является чисто метафизическим принципом. (*С места*: «Чисто». *Смех*). «Чисто» нистому рознь. Прошу не смеиваться. Я утверждаю, что cogito Декарта является принципом метафизическим, а по Асмусу это чисто методологический принцип. Я должен сказать, что это положение действительно плохо пахнет. Такую характеристику cogito дают неокантианские школы. Я не буду говорить о Гуссерле—это сделал тов. Дмитриев. Я могу сослаться на Германа Кюгена, Пауля Наторпа и др., на всю т. н. марбургскую школу. Неокантианцы толкуют cogito, как тов. Асмус, т.-е. как формальный чисто-методологический принцип. Пауль Наторп написал специальную работу на эту тему и т. д. Но если это с точки зрения неокантианцев понятно, так как, желая представить Декарта, как предтечу Канта, как провозвестника по существу кантовских идей, они стараются философию Декарта очистить от старой метафизики и представить ее, как одну лишь теорию познания и, конечно, трансцендентальную,—то с точки зрения диалектического материализма это совершенно непонятно. Мы обязаны брать Декарта таким, каким он есть. Декарт построил метафизическую систему и краеугольным камнем этой системы является его cogito, отвечающий на вопрос о субстанции в *первую голову*, при чем ответ определен идеалистический. В cogito, в этой мыслящей субстанции, Декарт находит тедо, материальный мир,

из него он и *выводит* реальный мир. Что это так, знает всякий, читавший его «Meditationes».

Верно ли после этого положение Асмуса, что *cogito*—чистая методология и что самоочевидность ограничивает формальную логику, что это—шаг к диалектике? Не верно ли как раз обратное: что *cogito* призвано *усилить* пошатнувшиеся к тому времени позиции метафизики и формальной логики. Думаю, что верно именно последнее,—о диалектике здесь речи быть не может. Тов. Асмус, по-моему, здесь глубоко ошибся, и виною этому то, что он подпал под непосредственное влияние неокантианства.

Диалектику, далее, не следует искать в декартовской идее о системе наук, в его требовании *Mathesis universalis*. Дело в том, что не всякая связь есть уже тем самым диалектическая связь. Вспомните известное письмо Энгельса к Марксу (от 30 мая 1873 г.) о диалектике естествознания. Энгельс там говорит не о простой связи наук, а о *переходе* одной науки в другую соответственно переходу одних форм движения материи в другие. Разве такая связь мыслится Декартом? Всякому, хоть несколько знакомому с Декартом, ясно, что у Декарта речь идет как раз об обратном, а именно о *сведении* всего знания к математическому единству. Декарт знает лишь одну форму движения—механическое движение, к которому все и должно быть сведено, и наилучшим научным выражением такого сведения и есть универсальная математика. Слов нет, Декарт здесь велик и оригинален, но, как видите, вовсе не как диалектик. У тов. Асмуса снова неудача, и все это потому, что ищет он диалектику не там, где ее у того же Декарта следует искать.

Искать диалектику у Декарта надо, кажется мне, прежде всего, в его аналитической геометрии, в системе координат, как, кстати сказать, и у Лейбница ее следует искать в его математических построениях. Это—задача не легкая, дело совершенно новое, но за него должны взяться наши марксисты-математики, предварительно, разумеется, освободившись от механистических предрассудков. Задача очень благодарная и настоятельно необходимая. В аналитической геометрии, мне кажется, можно вскрыть диалектику наверняка. Далее, мне кажется, что если искать у Декарта диалектику там, где она у него действительно есть, то ее следует искать в его попытках преодоления собственного дуализма. Можно, примерно, указать на его работу «Страсти души», где Декарт, с одной стороны, в драматических тонах описывает борьбу («combat») между *pensées raisonnables* и *pensées confuses*, между чувственностью и *ratio*, как борьбу между противоположными силами, имеющими особые и различные источники, а с другой стороны, стараясь выделить и нащупать рациональное ядро в *pensées confuses*, подвести оба вида *pensées* под единый корень, называя один вид пассивным («*passion*»), а другой—активным («*action*»), и оба вместе—различными функциями единой души («*fonctions*») (*Il n'y a en nous qu'une seule âme etc.*). И с этим мотивом мы встречаемся и в других работах Декарта. Я вспоминаю, как он в своих «*Regulae act directionem ingenii*», перечисляя все виды сознания, чувственность в том числе, и называя их общим именем «*vis cognoscens*», прибавляет «*una et eadem vis est*» (сила познания... одна и та же сила). Все это ясно говорит о стремлении Декарта выйти из дуализма, преодолеть антагонизм. Это, конечно, еще не диалектика, это диалектика в кавычках. Диалектика антагонизмов—это еще не диалектика, это только попытка перейти к действительной диалектике. *Исторически—это подступы к диалектике*. Такая диалектика есть и у Канта, но с той

разницей, что у Канта есть сознательная попытка ставить вопрос о диалектике. У Декарта этого последнего нет. И слова Энгельса об образцах диалектики у Декарта нужно понимать не в том смысле, что Декарт ставит вопрос о диалектике, а в том, что он местами пытается быть диалектиком, т.-е. вынужден, как великий мыслитель, кое-где через механистический фронт прорваться к диалектике.

Вот те замечания, которые я хотел сделать в моем совершенно непредвиденном выступлении. Я кончаю. Вот по какому пути, кажется мне, должен был бы пойти тов. Асмус. Но он пошел по совершенно другому пути. И я должен сказать, что у меня, не участвовавшего в спорах между механистами и диалектиками (меня не было в Москве), на основании только внимательного слушания доклада, совершенно об'ективно сложилось впечатление, что перед нами человек, приходящий к диалектическому материализму, но еще не диалектический материалист. Во всем обосновании доклада чувствуется влияние западно-европейского неокантианства совершенно определено. И я думаю, что такого рода доклады, как доклад тов. Асмуса, нас не только не ведут вперед, но тащат назад, и уж во всяком случае не по тому пути, по которому надо. И если тов. Асмус суб'ективно хотел оказать услугу диалектике, то об'ективно он этой услуги не оказал, а принес, по-моему, только вред, если не считать пользой то, что у нас, благодаря докладу, происходит дискуссия и что в результате этой дискуссии у нас может кое-что и получиться.

Тов. *Цейтлин*. Товарищи, за недостатком времени я не буду касаться всех тех вопросов, которые здесь обсуждались, а коснусь лишь основных. Я считаю, что содоклад тов. Дмитриева, например, представляет собою то занятие, которое Маркс характеризовал, говоря о Прудоне, как любование причудливым движением собственной головы. Согласно характеристике Маркса, Прудон занимался не анализом конкретной действительности, а тем, что любовался причудливым движением собственной головы. То же самое делал, по-моему, и тов. Дмитриев. Тут совершенно верно заметил тов. Вайнштейн, что сегодняшний содоклад тов. Дмитриева не что иное, как продолжение его историко-философской схемы, которая здесь уже обсуждалась. Что же касается доклада тов. Асмуса, то я считаю, что основной недостаток доклада в том, что отдельные его части совершенно не увязаны друг с другом. У тов. Асмуса чисто описательный метод. Он, например, указывает, что Декарт говорил то-то и то-то; но ведь Декарт был рационалистом, а все утверждения последовательного рационалиста, каковым бесспорно был Декарт, должны быть увязаны между собою, но из доклада тов. Асмуса совершенно не видно, как связываются отдельные части системы Декарта, отдельные его утверждения и высказывания. Это тем более странно, что тов. Асмус нам доложил, что Декарт особенно настаивал на системном характере знания. Очень хорошо то, что тов. Асмус подчеркнул значение идеи эволюции в системе Декарта, но плохо то, что мы совершенно не можем понять, каким образом метод Декарта привел его к идее эволюции и как он связывал идею эволюции с *cogito*. Если продумать этот вопрос, то философия Декарта представится в совершенно ином свете. Я считаю, что те воззрения о Декарте, которые здесь высказывались, высказываются и, вероятно, будут высказываться,—совершенно ложны. (*С.Мех*). Я не рассчитываю на то, что смогу убедить тов. Дмитриева, потому что тов. Дмитриев не желает изучать подлинного Декарта, а предпочитает заниматься любованием причудливыми движениями собственной головы. Даже тов. Асмус, который пытался углубиться в Декарта, по-моему, изу-

чал только общеизвестные сочинения Декарта, как «Рассуждение о методе», «Принципы философии» и др. Но Декарта нужно изучать в том порядке, в каком действительно Декарт работал. А из истории картезианской философии известно что Декарт начал с сочинения «О мире» («Космос»). Когда Декарт узнал о том, что Галилей осужден, он это сочинение отказался печатать, оно пропало, и лишь впоследствии некоторые, повидимому, сокращенные части сочинения были найдены; лишь спустя четырнадцать лет после смерти Декарта эти части были опубликованы: в 1664 году появился в Париже «Мир или трактат о свете», переизданный в исправленном виде Клерселье в 1667 году; тот же Клерселье издал другую часть декартовского «Космоса»: «Трактат о человеке», латинский перевод которого начал печататься в Лейдене еще в 1662 г. (издатель—Флорентий Шуйль), наконец, в 1664 году появился «Трактат о развитии зародыша» («Traité de la formation du foetus»). Перечисленные работы Декарта имеют большое значение для понимания того, что представляет собою подлинная философия Декарта. Когда Декарт отказался опубликовать свой «Космос», он выпустил в свет «Метафизические размышления», которые посвятил докторам Сорбонны—первым теологическим авторитетам католической церкви. В сочинении «Мир или трактат о свете» подробно излагается та теория эволюции, о которой говорил здесь тов. Асмус. Я на этом останавливаться не буду, а коснусь третьего, отрывка декартовского «Космоса», именно «Трактата о развитии зародыша». Этот трактат представляет собою то, что ныне называют эмбриологией. В первых трех частях этого сочинения Декарт дает анатомическое описание животного организма. Я могу здесь показать некоторые анатомические рисунки. Напр., тов. Дмитриев говорил, что Декарт думал, что в голове человека чуть ли не находится электрическая проволока. Но если вы посмотрите на рисунки, то вы увидите, что они сильно напоминают те, которые мы встречаем в современных атласах по анатомии.

Теперь я остановлюсь на четвертой части. Эту часть Декарт начинает так: «Можно приобрести более совершенное знание того, каким образом питаются все части тела, если рассмотреть, каким образом они первоначально произошли из семени». Эта эволюционная точка зрения является основной для Декарта. Он разбирает поэтому следующие вопросы: каким образом начинает образовываться сердце; каким образом оно приходит в движение; каким образом образуется кровь; почему кровь красная; дальше: каким образом образуется большая артерия и полая вена; каким образом образуется левая полость (желудочек) сердца; каким образом образуются легкие; каким образом начинают образовываться мозг, и т. д. На эту часть я должен обратить особое внимание, ибо она находится в прямой связи с декартовским *cogito*. Декарт говорит: «в то время, когда кровь, исходящая из правого желудочка (полости), начинает образовывать легкие, поток крови, который исходит из левого желудочка (полости), начинает образовывать другие части тела; и первым из всех, после сердца, образуется мозг». В дальнейшем идет полное описание образования мозга. Если вы прочтете весь трактат, вы увидите, что Декарт обсуждает также вопросы: каким образом образуются органы чувств, почему эти органы парны, в чем причина их различия, почему большинство частей тела парно, и т. д. Трактат «О развитии зародыша» наиболее характерен для Декарта. Без прочтения и исследования этой книги ничего нельзя понять в системе Декарта. Тов. Асмус совершенно прав, утверждал, что основная идея Декарта—это идея развития. Если взять выше-

указанные отрывки из громаднейшего трактата «Космос», которые уцелели, тогда становится бесспорным, что у Декарта идея эволюции носит не характер случайный, а является фундаментальной исходной точкой зрения. Декарт в строгой последовательности рисует, как образовывались из первичной хаотической материи солнечная система, земля, затем растения, животные и т. д. Он доходит даже до эмбриологии в чрезвычайно развернутой форме. Если мы посмотрим: каково было состояние науки в то время, мы должны будем г.знать, что у Декарта не только была идея развития в зародыше, но это была фундаментальная и вполне сознательная идея Декарта. Недаром поэтому знаменитый Гексли написал специальную статью, чтобы показать, насколько были близки воззрения Декарта к современным.

И вот я считаю, что декартовское *cogito* имеет особый смысл, смысл действительно диалектический. И диалектическое понимание *cogito* стоит в тесной и прямой связи с тем, что говорит Энгельс и Лафарг по вопросу о происхождении понятий. Каков смысл *cogito*? С моей точки зрения, Декарт следующим образом подходил к проблеме познания. Он выражал сначала всеобщее сомнение, но не в качестве абстрактного философского постулата, а на основе строгих научных данных. В трактате «О человеке», между прочим, имеются рисунки, которые наглядно изображают обманы органов чувств. Вот, напр., известный в психологии опыт, когда человек складывает крест-на-крест пальцы и вместо одного шарика ощущает два. В этом трактате о человеке таких примеров очень много. Декарт пришел к заключению, что чувства нас часто обманывают, и поставил вопрос: в чем же критерий истины, как можно познавать истину. На этот вопрос он ответил, что самое существование мыслящего мозга, как органа познания, есть неопровержимое доказательство того, что мышление может познавать истину. Основной идеей Декарта была идея развития, которая воплотилась в т. н. теорию правдивости бога и врожденных идей, о которых тов. Асмус совершенно не упоминал. Декарт думал, что если существует мозг, если задача мозга—познавать действительность, если мозг образовался из хаоса материи, путем эволюции, то самое наличие органа мысли есть доказательство того, что наш мозг, наше мышление может познавать истину. В этом именно подлинный смысл «*cogito, ergo sum*». На этом основаны его теория врожденных идей и критерий простоты, ясности и отчетливости; в этом именно основание радикального очищения Декарта. Чувства могут давать лишь смутное познание, как же прийти к совершенному познанию истины? Для этого надо сделать радикальное очищение, углубиться в самого себя, и так как мозг есть натуральный орган познания, мы и обнаруживаем в мышлении самоочевидные истинные идеи. Поэтому Декарт говорил: если у нас есть ясное, отчетливое понимание пространства, времени, движения, причины и т. д., то это отчетливое и ясное понимание влагается в нас самой природой, которая зеркально отображает себя в мыслящем мозгу. Эту теорию Декарт называл теорией правдивости бога. Разумеется, под этим богом (кто хочет, может в это не верить) скрывалась природа, скрывалась идея эволюции, и совершенно правы так называемые неокантианцы, которые хотят связать Декарта с Кантом. Это совершенно правильно. Здесь, конечно, происходит искажение как Декарта, так и Канта, но дело в том, что Кант был, как нам известно, автором «Всеобщей теории и истории неба» и первоначально также стоял на точке зрения эволюции. Я полагаю, что подробное исследование Канта покажет, что в первичным источником его априорных форм и категорий была эта идея. Вло-

следствии он ее искажил, перевернул вверх ногами, стал трансцендентальным идеалистом, искажил всю свою систему. И когда кантианцам говорят: как же генетически априорные формы и категории возникли, они отвечают: это не вопрос философии.

Но для меня лично бесспорно, что автор «Всеобщей теории и истории неба» первоначально думал, что «априорность» форм мышления и категорий познания есть результат эволюции. Если вы возьмете Энгельса в «Диалектике природы», возьмете Лафарга...

Тов. Деборин. Он тогда не думал об априорности. В 55-м году ни о какой априорности не было речи.

Тов. Цейтлин. Разрешите мне пояснить, что я разумею под «априорностью». Слова, особенно в философии, имеют, как известно, весьма многообразный смысл и к ним придирается нельзя.

Энгельс в замечательном отрывке, который называется «О прообразах математического бесконечного в действительном мире» («Диалектика природы», стр. 136), говорит следующее:

«Согласие между мышлением и бытием. Бесконечное в математике. Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам, и что поэтому оба они не могут противоречить друг другу в своих конечных результатах, а должны согласоваться между собой.»

Факт этот является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления.

Материализм XVIII столетия, будучи по существу метафизического характера, исследовал эту предпосылку только с точки зрения ее содержания. Он ограничился доказательством того, что содержание всякого мышления и знания должно происходить из известного опыта, и восстановил старое положение: *Nihil est in intellectu, quod autem non fuerit in sensu*. Только современная идеалистическая, но вместе с тем и диалектическая философия, в особенности Гегель, исследовали эту предпосылку также и с точки зрения формы.

Несмотря на бесчисленные произвольные и фантастические построения, несмотря на идеалистическую, на голову поставленную форму ее конечного результата—единства мышления и бытия,—нельзя отрицать того, что она доказала на множестве примеров, взятых из самых разнообразных отраслей знания, аналогию между процессами мышления и процессами в области природы и истории и обратно и господство одинаковых законов для всех этих процессов. С другой стороны, современное естествознание до того расширило тезис об опытном происхождении всего содержания мышления, что от его *старой метафизической ограниченности и формулировки ничего не осталось. Естествознание, признав наследственность приобретенных свойств, расширяет субъект опыта, делая им не индивид, а род; нет вовсе необходимости, чтобы отдельный индивид имел известный опыт; его частный опыт может быть до известной степени заменен результатами опытов ряда его предков*¹.

Те же мысли развивает П. Лафарг в книге «Экономический детерминизм К. Маркса» (глава «Происхождение абстрактных идей»). Когда мы, задолго до

¹ В этом отрывке Энгельса дано между прочим обоснование диалектики как науки.

появления «Диалектики природы», указали на то, что существуют понятия, которые являются «врожденными идеями», то такое указание вызвало единодушный крик удивления, и на нас посыпались обвинения в метафизике. Между тем Лафарг, например, прямо говорит о «врожденных идеях».

«К инстинкту животных можно приложить то, что философы называют врожденными идеями. Животные рождаются с органическим предрасположением—с интеллектуальным преобразованием,—как говорит Лейбниц,—позволяющим им без предварительного прохождения *какой бы то ни было школы опыта* произвольно выполнять самые сложные акты, необходимые для их индивидуального сохранения и для размножения своего вида» (стр. 89).

«Мозг взрослого человека более или менее автоматизирован, сообразно со степенью его личного воспитания и высокой общественной культуры. *Элементарные абстрактные представления о причине, субстанции, бытии, справедливости и т. п. являются для него такими же врожденными и инстинктивными, как питье, еда.*

«Тенденция приобретать их есть следствие накопленного в течение тысячелетий опыта его предков»,—«абстрактные идеи, так и инстинкт животных, образовались у вида постепенно». Вот почему,—заключает Лафарг (стр. 93),—сенсуалисты минувшего столетия, считая *мозг* (слушайте, слушайте, тов. Луппол!) «чистой доской»,—что было радикальным способом возобновить «очищение» Декарта,—пренебрегли тем фактом *капитальной* важности, что мозг цивилизованных людей—это поле, обрабатывавшееся на протяжении веков и обсемененное тысячами поколений представлениями и идеями, и что, согласно точному выражению Лейбница, мозг преобразуется еще до начала личного опыта. «*Необходимо допустить, что мозг обладает таким расположением молекул, которое предначинено для порождения значительного числа идей и представлений.*»

Разумеется, такое понимание «априорности» несколько не противоречит зависимости развития познания от развития производительных сил. Развитие производительных сил является стимулирующей причиной для развития философии и науки, но, как неоднократно подчеркивал Энгельс, движение философской и научной мысли подчинено внутренним имманентным законам; эти законы, как мы полагаем, имеют свое основание в биологических факторах, в объективных факторах природы, формирующей организмы. Природа, как говорит Энгельс, существовала задолго и независимо от всякой философии, и развитие производительных сил протекает на базе побеждаемых коллективным человеком сил природы.

Если с вышеразвитой точки зрения подойти к философии Декарта, если начать изучение этой философии с «Космоса», то вся философия представится совершенно новым виде. И если искать диалектику у Декарта и пытаться обособить характеристику Энгельса (Декарт, как блестящий диалектик), то успешно это можно сделать, лишь двигаясь вглубь картезианской мысли, вглубь тех работ, которым сам Декарт придавал наибольшее значение (см. «Рассуждение о методе»). Скольжение же по поверхности системы Декарта, метод словесного и формального анализа могут в лучшем случае обнаружить примеры формальной диалектики, диалектики понятий, но не диалектику в том значении и смысле, как ее понимали Маркс и Энгельс, именно диалектику конкретной действительности и отражающей ее конкретной мысли.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. АСМУСА

Товарищи! К сожалению, я должен буду начать свое слово с ответа тов. Дмитриеву, хотя, признаться, мне бы гораздо больше хотелось поговорить по существу тех возражений, которые были высказаны т. т. Фуршиком и Цейтлиным. Их выступления имеют то неоспоримое преимущество перед выступлением тов. Дмитриева, что—правильны они или нет—это выступления по существу. Это так приятно во всякой теоретической дискуссии, независимо от того, «хвалят» тебя или «кроют». Выступление же тов. Дмитриева я расцениваю, как выступление не по существу вопроса. В выступлении тов. Дмитриева я не вижу того внимания к вопросу спора, того захвата вопросом, которые единственно делают интересным всякое научное дискутирование. Если у меня «пахнет гуссерлианством», то о тов. Дмитриеве я бы сказал, мягко выражаясь, что у него есть известная предвзятость, предвзятость понимания, источник которой для меня совершенно непостижим.

Прежде всего, тов. Дмитриев выдвинул возражение, что существует несоответствие между тезисами моего доклада и самим докладом, но сейчас же оговорился: «не в смысле противоречий, а в том смысле, что по тезисам трудно расшифровать настоящее содержание доклада». Я, товарищи, считаю, что в этом отношении доклад и тезисы соответствуют друг другу, что доклад мой был правильно построен. Сам тов. Дмитриев ведь признал, что тут нет особых расхождений. Это—формальное—обвинение мы оставим, оно не так интересно.

Перейдем к возражениям «по существу». Тов. Дмитриев утверждает, будто смысл моего доклада можно свести к следующему: Декарт—по сути диалектик, но лишь по форме—метафизик. Декарт лишь формально стоит на точке зрения формальной логики. Товарищи, я, может быть, весьма туманно выражался, но в содержании моего доклада я все-таки нигде не дал повода так интерпретировать мой доклад. Я не говорил, что Декарт по существу диалектик, а по форме метафизик. Тов. Дмитриев слишком невнимательно слушал мой доклад; вероятно, он пришел с готовым уже предвзятым возражением, которое он и обдумывал во время слушания моего доклада. Иначе я не могу объяснить такой факт, что тов. Дмитриев совершенно пропустил, игнорировал выступление моего доклада, в котором я сказал, что я поднимаю вопрос, завещанный нам Энгельсом, который отметил, что Декарт, вместе со Спинозой,—блестящие представители диалектики XVII века. В своем докладе я поднимаю вопрос чрезвычайной трудности. Я указываю, что эти трудности—двойного рода. Во-первых, трудность заключается в том, что нет литературы по этому вопросу. Это еще не так важно. Во-вторых, что исходная точка зрения Декарта состояла в тезисе о превосходстве имманентного опыта над трансцендентным и что именно эта исходная точка зрения, напоминающая современное учение Гуссерля, составляла *препятствие* для развития диалектики Декарта. И вот после того, как я это сказал, тов. Дмитриев приписывает мне такие мысли, будто бы у меня центр тяжести лежит в «радикальном сомнении», в «*cogito*», в «интуитивизме», будто *отсюда* я вывожу диалектику Декарта. Это, товарищи, решительно не соответствует прямому смыслу моего доклада. Я это надеюсь обосновать достаточно подробно.

Прежде всего, тов. Дмитриев считает, что я неправильно трактую рационализм. В моем докладе было место, где я критиковал ходячую точку зрения на рационализм. Я сказал, что, согласно с ходячей точкой зрения, рационализм

есть течение, которое источник знания усматривает в мышлении, а эмпиризм этот источник знания усматривает в опыте, в ощущениях. Вообще эта точка зрения годится как схема для популярных учебников, но не соответствует всей сложности исторического развития философии. По поводу этого моего положения я сейчас со всей ясностью выскажусь.

Действительно, товарищи, я стою на такой точке зрения и считаю, что эта точка зрения вполне правильна. Тов. Дмитриев спрашивает меня: *против каких именно, против чьих именно* ходячих представлений об эмпиризме и рационализме я выступаю. Тов. Дмитриев утверждает, что тот самый взгляд, который я называю «ходячим» и который я оспариваю, имеется в книге тов. Деборина «Введение в философию диалектического материализма». То же самое,—уверяет тов. Дмитриев,—написано в этой его книге: рационализм выводит знание из разума, а эмпиризм—из ощущений.

Но я имел в виду не точку зрения тов. Деборина, которую, кстати говоря, нужно брать, не выхватывая отдельные фразы, а брать во всем контексте, а я имел в виду таких вульгарных, на мой взгляд, интерпретаторов рационализма, как Файхингер в его «Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft». Вот как Файхингер на 28 стр. I тома определяет сущность рационализма: «Познание должно приобретаться путем чистого разума, который является собственным источником познания и порождает познавательный материал из самого себя. Из лежащих в самом разуме прирожденных понятий и основоположений (*ideae innatae*, *'αρχαί ἀναπόδεικτοί*) должно познавать действительность по образцу чистой математики, «*more geometrico*», дедуктивно, путем анализа понятий, путем силлогистического выведения». А вот как определяет эмпиризм—в отличие от рационализма—другой историк философии—Фалькенберг: «В лице Декарта эмпиризму и сенсуализму англичан противопоставлен был рационализм, которому и остаются верны великие мыслители континента. Там источником знания считается опыт, здесь—разум; там отправной точкой служат отдельные чувственные впечатления, здесь—общие понятия и начала рассудка; там предлагается и применяется метод наблюдения, здесь—метод вывода. Эта противоположность определяет развитие всей философии до Канта, и поэтому издавна принято различать *два ряда* или две школы, эмпирическую и рационалистическую, параллелизм которых наглядно представлен в следующей таблице...». И Фалькенберг приводит такую таблицу: эмпирики—Бэкон, Гоббс, Локк, Беркли, Юм, рационалисты—Николай Кузанский, Бруно, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Вольф.

По поводу такого определения я скажу, что это—вульгарное определение. С ним еще можно считаться, как с предварительной схемой, но когда мы начинаем подходить по существу к каждому рационалисту в отдельности, эта схема не выдерживает критики. Тов. Дмитриев сам согласился, что завершение классического рационализма XVII века мы имеем в лице Лейбница. Что же мы находим у Лейбница по этому вопросу? Какого типа будет рационализм Лейбница? Сейчас я представлю доказательства. В VI томе сочинений Лейбница (изд. Gerhardt, 2-te Abth.), на стр. 506 имеется такое место: «Я согласен,—говорит Лейбниц,—что в настоящем нашем состоянии внешние чувства необходимы нам для того, чтобы мыслить, и что если бы мы совсем не имели чувств, мы не мыслили бы». Далее. В письме к королеве Шарлотте Лейбниц говорит: «Чувства доставляют нам материал для мышления, и у нас никогда не бывает мыслей до такой степени отвлеченных, чтобы к ним не примешивалось чего-либо чув-

ственного: nous n'avons jamais des pensées si abstraites, que quelque chose de sensible ne s'y mêle» (Gerhardt, VI Band, 2-te Abth., стр. 506). А в том же VI томе, на стр. 502 (да и во многих других местах) мы читаем такую формулу: «В уме нет ничего такого, что бы раньше не было в чувствах...»: «il n'y a rien dans l'entendement, qui ne soit venu des sens»... И хотя Лейбниц тут же прибавляет: «кроме самого ума», однако, как ясно из цитаты и контекста, *генетическая* истинность эмпиризма признавалась им в полной мере.

Вот я и спрашиваю тов. Дмитриева, что он по этому поводу скажет. Приведенные мною цитаты совпадают с той характеристикой рационализма, которую я даю и которая гласит: *не там* проходит водораздел между рационализмом и эмпиризмом, где его видит—в согласии с Фалькенбергом и Файхингером—тов. Дмитриев, *не в вопросе о том, что является источником* наших знаний, а в *вопросе о том критерии*, который убеждает нас в *необходимости* нашего знания, в *необходимом* характере наших истин. Тов. Дмитриев данное мною определение рационализма приписал влиянию Гуссерля. Здесь я должен, к сожалению, напомнить тов. Дмитриеву, что рационалистический критерий, согласно которому истинам случайным противостоят истины необходимые, в справедливости которых мы удостоверяемся рациональным усмотрением, что критерий этот взят мною из работ *Лейбница*—этого классического, как и сам Дмитриев признает, рационалиста XVII века, а вовсе не от Гуссерля. Гуссерль—мыслитель, философия которого традиционна, не оригинальна. Чрезвычайно интересно было бы определить степень зависимости Гуссерля от классического рационализма XVII века, от рационализма Декарта и Лейбница. Здесь я должен кстати заявить, что—в отличие от тов. Дмитриева—я несколько не страшусь того, что я знаю Гуссерля и его изучаю. Напротив, я нахожу, что позиция тов. Дмитриева, который считает весьма подозрительным мой интерес к Гуссерлю, что позиция эта—именно с точки зрения диалектического материализма—*совершенно недопустима*. Как крупнейшего идеолога современной буржуазной философии, который народный университет и кафедры Германии—да и не только Германии—своими учениками, влияние которого проникло не только в философию, но и во все частные науки, сказывается на каждом шагу: в точных науках, в языковедении, в эстетике, в этике,—этого крупнейшего буржуазного идеолога мы не должны изучать? Напротив, именно для того, чтобы преодолеть Гуссерля, мы должны чрезвычайно внимательно изучать Гуссерля, присматриваться ко всему, что связано с Гуссерлем. Тут я радикально расхожусь с тов. Дмитриевым. Насчет моих собственных, «гуссерлианских», воззрений—мы еще поговорим в дальнейшем.

Так вот, товарищи, как я отвечаю тов. Дмитриеву на его вопрос об определении рационализма и эмпиризма. Моя точка зрения такова: я считаю, что *генетическая* схема, по которой отличие эмпиризма от рационализма состоит в различных ответах на вопрос об *источниках* знания, что эта схема чрезвычайно полезна, уместна и нельзя ничего против нее возразить—в *проембестическом*, популярном изложении. Но когда мы обращаемся к исследованию и берем *отдельных* представителей рационализма,—я взял Декарта, но мог бы с тем же успехом взять и Лейбница, в настоящее время я заканчиваю такую работу,—то такая суммарная характеристика оказывается недостаточной.

Товарищи, читая здесь свой доклад, я все-таки полагал, что доклад читается в *философской секции Коммунистической академии*, это—не доклад в вузе для широкой массы студенчества, которые, может быть, впервые услышат цитирова-

ние материала из Лейбница. Я обращался здесь к вниманию и восприятию специалистов, поэтому я считал своей задачей не упрощение исторических перспектив, а, напротив, выяснение тех особенностей, которые мы можем найти у того или другого рационалиста. Я считаю, что схемы Фалькенберга и Файхингера—грубо вульгарные. Из списка рационалистов, который составил Фалькенберг, не подходят под его—генетическое—определение: Декарт—раз, Лейбниц—два, Вольф—три. Все они не отрицают значения опыта для начала нашего познания, но центр тяжести переносят у них не в вопрос об *источниках*, а в вопрос о *степени необходимости* нашего знания. Каков же критерий этой необходимости?—Для Лейбница он—в *рациональном* знании, в *рациональном* усмотрении или, как правильно говорят, характеризую это учение,—в *интеллектуальной интуиции*. Тов. Дмитриев в том, что я употребляю, говоря о Декарте, термин «интеллектуальная интуиция», видит также влияние Гуссерля. Но это просто смешно! Разве этот термин Гуссерль выдумал, разве не об этой самой «интеллектуальной интуиции» шел спор в недрах классического немецкого идеализма между Шеллингом и Гегелем? Это—старый термин, старое понятие и старый спор. Какой уж тут Гуссерль? Это—вещи, очень хорошо известные в истории философии, и нечего пугать меня жупелами и говорить, что всякий человек, который говорит—это *в исторической* работе!—об «интеллектуальной интуиции»,—гуссерлианец. Эта—наивная и антиисторическая—постановка вопроса, очевидно, вытекает у тов. Дмитриева из нежелания знать историю развития основных терминов истории философии. Можно по этому поводу только пожать плечами.

Теперь дальше. Тов. Дмитриев здесь очень много говорил по поводу «чистой методологии». По его словам, я выступал чуть ли не с положением о том, что существует какая-то «чистая» методология. Тов. Дмитриев по этому поводу немало слов расточил с этой кафедры и достаточно поиздевался над тем пониманием «чистой методологии», которое он сам мне приписал. Я должен сказать следующее: в выражении «чисто методологическое значение» слово «чисто» было мною употреблено в смысле «только», а не в смысле учения о какой-то «чистой» методологии, в духе неокантианства или гуссерлианства. Я хотел лишь сказать, что когда Декарт развивает *cogito*, то в аргументе этом следует видеть не метафизический идеализм генетического порядка, а *только* методологическое утверждение познавательного приоритета имманентного «опыта» в сравнении с трансцендентным.

Тов. Дмитриев. Что такое «только»?

Тов. Асмус. Дайте мне, тов. Дмитриев, договорить. Я раскрываю книгу А. М. Деборина «Введение в философию диалектического материализма», первое издание, стр. 27-я, и там читаю следующее: «Как Вэкон, так и Декарт начинают с умеренного скептицизма. Но скептицизм обоих этих мыслителей носит *чисто методологический* характер и не является самоцелью». Теперь я приглашаю тов. Дмитриева либо издеваться не только надо мной, но и над Абрамом Моисеевичем Дебориным, так как А. М. также употребил выражение «чисто методологический характер», либо отказаться от этого и признаться, что напрасно тов. Дмитриев развивал свое красноречие. Конечно, наш многоуважаемый Абрам Моисеевич хотел этой фразой сказать только следующее: как Вэкон, так и Декарт начинают с умеренного скептицизма, но скептицизм обоих—не абсолютный гносеологический скептицизм, он имеет *только* методологическое значение.

Теперь перейдем к обвинению в том, что я игнорирую *механистический* характер учения Декарта. Я считаю, что недостатком моего доклада, недостатком *педагогическим*, если можно так сказать,—хотя я чувствую, что здесь это слово неуместно,—было то, что я—для вразумления тов. Дмитриева—заранее не выставил тезиса наподобие бульварного плаката, тезиса о том, что я считаю Декарта механистом, что он—механист. Тов. Дмитриев здесь читал дважды лекцию о том, что такое диалектическое мировоззрение и что такое механистическое, и дважды убеждал нас в том, что механистическое мировоззрение не есть мировоззрение диалектическое, что нельзя две эти вещи отождествлять. Я считаю, что эти популярные лекции были напрасны в философской секции Коммунистической академии. Я думал, что нас с вами, товарищи, *этому* не надо учить. Вряд ли кто из присутствующих стоял на той точке зрения, что диалектический материализм есть механистический материализм, или, может быть, действительно нужно было об этом говорить? Но весь мой доклад был построен мною в предположении, что это—аксиома и что спорить об этом уже не стоит, не приходится. И если меня интересуют элементы диалектики у Декарта, то я их ищу, *зная*, что Декарт был механистом, и, *несмотря* на то, что он им был. А они все-таки были в учении Декарта, эти диалектические воззрения, и они были, *несмотря* на то, что в основном Декарт—механист.

Дальше. Тов. Дмитриев говорит, что я диалектику у Декарта нахожу не там, где надо, что я ее нахожу в «радикальном сомнении» Декарта, в *cogito*, в учении об интуитивном знании и т. п. Когда я анализировал, с одной стороны, радикальное сомнение, *cogito*, интуитивизм Декарта, а с другой—его онтологию, учение о материи, учение о развитии,—я вовсе не придавал одинаковое значение и одинаковую ценность—с точки зрения диалектики—этим двум группам вопросов. Я совершенно согласен с тов. Цейтлиным, что мне нужно было больше обратить внимание на *связь* между элементами диалектики, которые мы можем найти в философии Декарта. Если бы я это сделал отчетливее, то, может быть, не было бы столько недоразумений у тов. Дмитриева. Взять хотя бы *cogito*. Я вовсе не говорил, что диалектика у Декарта—в *cogito*. Напротив. Во вступлении в доклад я говорил, что *cogito* представляло *препятствие* для развития диалектики у Декарта. Несколько ниже я об'ясню, в чем заключалось противоречие между *cogito* Декарта и диалектикой.

Тов. Дмитриев подчеркивал и то, что я вывожу диалектику из «радикального сомнения». Я беру на себя вину только в том смысле, что недостаточно подчеркнул, какое значение имели все эти учения в системе Декарта и, в частности, какое они имели значение для развития диалектики у Декарта. Но я не выводил диалектику Декарта прямо из «радикального сомнения», *cogito* и т. д. Вероятно, я еще чаще, чем это я сделал в докладе, должен был повторять, что я далеко не одинаковое значение придаю этим аргументам и что у меня центр тяжести в диалектике Декарта лежит не в этих его исходных точках, а в его *онтологическом* и *космогоническом* учении, в его *теории развития*, которую он проводит в своем учении о мироздании.

Теперь перейдем к вопросу о первичных и вторичных качествах. Тов. Дмитриев возражает мне, что сведение качеств к первичным и вторичным было обусловлено у Декарта не его диалектикой, а «механистическим количественным мировоззрением». Но, товарищи, в своем докладе я вовсе не говорил, что разделение качеств на первичные и вторичные, *само по себе, как таковое, диалек-*

тично. Я только говорил, что это разделение связано с *об'ективизмом* Декарта, а этот об'ективизм вел Декарта к *материализму*. Декарт, действительно, произвел «очищение» в составе нашего знания. Он не все данные знания принимает за достоверную об'ективную характеристику материи, а стремится включить в определение материи только действительно адекватные и об'ективные ее свойства. Тенденция к об'ективизму вела его по направлению к материализму. Ничего больше по этому вопросу о различении качеств я в своем докладе не утверждал. Но это для нас, товарищи, очень важно подчеркнуть, потому что, когда мы говорим о развитии диалектики, т. е. о развитии действительно диалектических взглядов, для нас тогда важно иметь в виду связь между развитием диалектики и развитием материализма. Диалектичны не *cogito* и не радикальное сомнение Декарта, диалектична его космогония, отчасти и гносеология, но развивались эти диалектические воззрения на основе таких исходных точек, которые вели Декарта к материализму. Одна из таких точек—разделение качеств на первичные и вторичные. И эта связь, товарищи, конечно, не случайная, хотя мы знаем, что были и такие исторические эпохи, когда диалектика развивалась в чисто идеалистических системах. Во всяком случае чрезвычайно существенная, глубокая связь между материализмом и диалектикой всегда нами должна иметься в виду, по крайней мере, как проблема.

Когда же тов. Дмитриев невероятно вульгаризирует мысль моего доклада и сущность самого вопроса и говорит, будто для механистических рационалистов XVII века суб'ективное качество—*только* суб'ективное, *всего* феноменальное, то это совершенно неверно даже для Декарта, не говоря уже о других рационалистах. Я мог бы доказать это цитатой из «Мира», как раз того сочинения Декарта, которое цитировал сегодня тов. Цейтлин, но тут я позволю себе задержать ваше внимание на более ярких цитатах, которые, кстати, дадут прекрасное подтверждение и тому, что я говорил об интуитивизме и рационализме. Так, Лейбниц, один из классиков рационализма XVII века, говорит, что ощущения каждого чувства, взятого отдельно, не дают нам адекватного и достоверного познания *об'ективных* свойств предмета, но уже комбинированный опыт двух ощущений дает нам не только суб'ективное, феноменалистическое понятие о предмете. Сейчас я приведу из Лейбница: «Если люди,—писал Лейбниц Я. Томазиусу,—ощущают что-нибудь как только протяженное или только видят его, они не называют этого точас же телом, а думают иногда, что это просто призрак воображения... если же они не только видят нечто, но и осязают его, т. е. находят в нем антипию (плотность), то называют его *телом*... поэтому, соединяя то и другое чувство, мы *удостоверяемся обыкновенно, что данные вещи не призраки воображения*»¹.

Но далее, товарищи, рационализм вовсе не утверждает, что суб'ективные качества—*только* суб'ективны, что они—*только* феноменальны. Классический рационализм XVII века знал, что *суб'ективным* качествам, *суб'ективным* восприятиям соответствует нечто в об'ективной структуре предмета, который действует на нас и производит в нас «суб'ективные» впечатления. А вот доказа-

¹ Quicquid vero non vident tantum, sed et tanqu岸, id est, in quo *αντιπωση*periunt, id vocant corpus, quicquid vero *αντιπωση* caret, id negant esse rebus corpus, unde ex conjunctione utriusque sensus certificari de rebus solent, quod non sint phantasmata (Leibnitii «Opera Philosophica» etc., изд. Iohan. Eduard Erdmann, Pars prior, Берлин, 1840, стр. 54; курсив в русском переводе мой. В. А.).

тельство: «Не должно воображать,—говорит Лейбниц,—будто идеи цвета или боли произвольны и не наводятся в соответствии или естественной связи со своими причинами... Я сказал бы скорее,—продолжает Лейбниц,—что при этом существует некоторый род подобия, не всецелого и, так сказать, *in terminis*,—но заметного, или некоторый род последовательного отношения: ...Je dirais plutôt qu'il y a une manière de ressemblance, non pas entière et pour ainsi dire *in terminis*, mais expressive, ou de rapport d'ordre»...¹ И дальше, в качестве примера такого подобия, Лейбниц приводит *конические сечения* в математике: «Эллипсис,—говорит Лейбниц,—и даже парабола и гипербола в некотором роде похожи на круг, которого они суть проекция на площади, ибо существует известное точное и естественное соотношение между тем, что проектировано, и проекцией, составляемую из этого, при чем каждый пункт одного соответствует каждому пункту другого в известном соотношении»².

Теперь еще одна цитата—для освещения сущности рационализма. «Чувства,—говорит Лейбниц,—конечно, нужны, чтобы получить известные идеи чувственных вещей,—и опыты необходимы, чтобы установить известные факты, и даже полезны для проверки рассуждений, как своего рода проба; но самая сила доказательств зависит от понятий и умопостигаемых истин, которые одни дают возможность судить о том, что необходимо, и даже определять демонстративным путем степень вероятности при известных данных предположениях, чтобы разумно выбирать ту из противоположных возможностей, которая вероятнее»³.

Вот, товарищи, формула, которую можно считать классической формулой рационализма. Вот в чем сущность настоящего рационализма заключается. И пусть тов. Дмитриев, прямо скажу, осмелится что-нибудь возразить против этих цитат, пусть он посмеет отрицать прямой, точный смысл тех данных, которые я привел и которые показывают, что его представление о рационализме чрезвычайно вульгарно.

Я уже опускаю такую «неточность» тов. Дмитриева, как его замечание об аналитических суждениях, якобы характерных для рационализма. Это очень сложный вопрос. Я касался его в полемике с Варьяшем и уже тогда указывал на его ошибку, которая состоит в том, что Варьяш считает, будто рационализм антиномически противопоставлял свои аналитические суждения синтетическим. Но, например, в учении Лейбница не могла возникнуть та противоположность аналитических и синтетических суждений, которая впоследствии получила капитальное значение в трансцендентальном идеализме Канта.

Теперь перейдем к одному из основных положений тов. Дмитриева, к вопросу о диалектическом содержании учения Декарта об интуиции и в связи с этим к обвинению меня в гуссерлианстве. Здесь, можно сказать, центр всего возражения тов. Дмитриева. Можно сказать, что здесь тов. Дмитриев превзошел самого себя. Тов. Дмитриев приписал мне ту мысль, будто, по моему мнению, интуиция Декарта, сама по себе,—диалектична. Тов. Дмитриев считает, что гуссерлевское понятие интуиции я приписываю Декарту, да еще считаю это учение диалектичным.

¹ Nouveaux essais C., Gerhardt, V Band, стр. 118.

² Там же.

³ Лейбниц, письмо к королеве прусской Софии Шарлотте, соч., изд. Gerhardt, VI, 1885, стр. 503—504.

В своем докладе я указал, что учение Декарта об интуитивной природе аксиом ни в чем не колеблет и не подрывает устоев именно *формальной* логики Декарта. Никакого отхода Декарта от формально-метафизических воззрений в его учении об аксиомах и об интуиции мы не имеем. Напрасно тов. Дмитриев приписывает мне совершенно нелепую мысль, будто я полагаю, что интуиция Декарта сама по себе была диалектична. Нигде тов. Дмитриев не найдет таких мест. Я говорил другое (что тов. Дмитриевым совершенно смазывается или неправильно понимается), а именно, я говорил, что Декартово «Разыскание истины посредством естественного света» было, в условиях того времени, началом наступления на позиции формальной логики. Но отсюда еще далеко до диалектики. Декарт утверждает, что в составе знания имеется ряд истин, которые путем указания рода и видовых различий нами познаны быть не могут, по отношению к которым силлогистические схемы формальной логики теряют свою силу. Я, к сожалению, во время своего доклада не привел полностью эту цитату. Если бы я это сделал, еще бы отчетливее выступил параллелизм учения Декарта об интуиции и декартовской критики формальной логики—в смысле сужения ее *объемных прав*.

Так вот, товарищи, к чему сводится дело. Когда мы исторически рассматриваем этот вопрос, мы должны признать, что—на фоне философии XVII века—это учение Декарта не только означало шаг вперед, но также заключало в себе подготовку диалектики. Одна из основных мыслей диалектической логики состоит в том, что правила, аксиомы и законы формальной логики имеют не абсолютное значение. *Ограничивая, сужая* права формальной логики, Декарт начинает наступление на ее позиции. Но только в *этом* смысле, и ни в каком ином. Сама же по себе интуиция Декарта ничего диалектического не заключает.

Интересно отметить, что критика формальной логики идет у Декарта по линии критики *концептизма*, критики *количественно* трактуемых логических понятий. И когда в трактате о «Разыскании истины посредством естественного света» Декарт издается над формальной логикой и указывает, что концептивный, *объемный* характер понятий, который отстаивает формальная логика, не может покрыть без остатка всю логическую действительность, то это, товарищи, несомненная подготовка—правда, чрезвычайно еще отдаленная, исподволь, но все же подготовка—будущего диалектического метода. Ведь расчистить почву для диалектики можно было только показав, что не всесильна формальная логика.

На фоне представлений средневековья, когда все находилось под влиянием формальной логики, когда при помощи правил формальной логики доказывали все: и сколько чертей может поместиться на конце булавки, и догмат триединства и т. д., когда не было «истины»,—в кавычках и без кавычек,—которую нельзя было бы доказать при помощи формальной логики,—на этом фоне появилось учение Декарта, который из всего состава знания выделил громадный разряд истин, в достоверности коих мы убеждаемся не на основе формальной логики, но на основании «интеллектуальной интуиции» или «интеллектуального усмотрения». Этим Декарт, несомненно, подготовлял будущее развитие диалектики, хотя, конечно, сам он несколько еще не сомневался в истинности аксиом формальной логики и, повторяю, в своем учении он признает неизблемыми и закон противоречия, и закон тождества. Однако в своем учении о cogito Декарт говорит, что при помощи cogito мы можем познать гораздо больше истин, чем при помощи формальной логики, с ее различиями, определениями

понятий, родами и видовыми отличиями. Эти ограничения об'емных прав формальной логики у Декарта чрезвычайно интересны и ценны, если их брать в историческом разрезе.

Теперь по поводу Гуссерля. Тов. Дмитриев считает, что весь мой доклад «пахнет Гуссерлем». Тут,—говорит тов. Дмитриев,—и гуссерлевское понимание рационализма (не генетическое), тут и системный характер знания. Это все-де Гуссерль.

Товарищи, я должен сказать, что тов. Дмитриев, видимо, очень плохо знаком с классическими работами Энгельса, плохо вчитывался в его «Диалектику природы», где Энгельс как раз говорит и о системном характере науки и о теоретическом мышлении, противопоставляя его эмпиризму. Так что в этой связи не нужно было говорить о Гуссерле.

Мой взгляд, который я, к сожалению, не мог развить, потому что это отвело бы нас в сторону от магистрали доклада, сводится к следующему: у Декарта мы находим идеи, которые можно рассматривать, как зародыш гуссерлевской феноменологии. Эти идеи следующие: Декарт утверждает, что когда мы делаем об'ектом своего анализа мысль, направляем мысль на мысль, мыслим о мысли, то мысль, взятая в качестве об'екта познания, есть—сравнительно с другими об'ектами познания—об'ект преимущественный, привилегированный. Почему? Потому что, по Декарту, мысль, во-первых, всегда нам дана, как об'ект познания, всегда налицо, душа всегда мыслит; во-вторых, потому что, направляя мысль на мысль, мы познаем об'ект в его тождестве. Здесь у Декарта—та самая идея, которую впоследствии, т.-е. в наше время, с невероятной настойчивостью провоздвигают Гуссерль и гуссерлианцы в своих работах. По Гуссерлю, мысль о мысли потому особенно заслуживает внимания, что, мысля о мысли, мы познаем об'ект в его тождестве. Но, товарищи, я утверждаю, что это учение по существу противоречит диалектике. Почему?—Потому, что оно ведет нас к *тождеству*, к метафизическому представлению о неподвижном и застывшем об'екте. Феноменология Гуссерля есть по существу *антидиалектическое* учение, и это признают даже те современные философы, которые в остальном весьма ценят Гуссерля. Они уже в этом разбирались и критикуют Гуссерля, потому что они считают его учение антидиалектическим построением. И когда я подчеркиваю у Декарта зародыши феноменологии Гуссерля, я преследую две цели. Во-первых, я вовсе не имел в виду, подчеркивая это сходство между cogito Декарта и феноменологией Гуссерля, подчеркнуть диалектичность системы Декарта, как думает тов. Дмитриев. Я подчеркивал только неоригинальность Гуссерля, который здесь, в этом пункте воспроизводит учение Декарта. Во-вторых, я хотел подчеркнуть, что эта исходная точка, что именно этот зародыш феноменологии есть минус философии Декарта, что он *препятствовал развитию диалектики* в системе Декарта. Вот почему и в своем вступительном слове я сказал и здесь еще раз напоминая, что я считаю исходную точку декартовского метода малоблагоприятной развитию диалектики, тормозящей его.

Дальше. Тов. Дмитриев очень обрушился на системный характер науки и приписал мне ту мысль, будто я, с точки зрения нашей методологии, методологии диалектического материализма, считаю тезис о системном характере знаний тезисом диалектическим, и привел цитату из Гуссерля, из первого тома «Логических исследований», где Гуссерль говорит о системном характере знания.

Товарищи, я должен сказать, что если бы пришел Гуссерль и стал бы говорить, что дважды два четыре, то я бы не сказал, что это—пять на том только основании, что это сказал Гуссерль. Но вот, я раскрываю «Диалектику природы» Энгельса и нахожу там то же место¹, где Энгельс говорит, что развитие экспериментального естествознания накапливает громадное множество фактов и это накопление множества фактов ставит необходимо проблему *систематизации* изучаемого материала, при чем систематизации не только внутри отдельных наук, но, как подчеркивает Энгельс, и систематизации между науками. Эта идея сама по себе, конечно,—правильная, и если мы ее можем найти у Гуссерля, если Гуссерль тоже говорит о системном характере знания, то мы должны сказать так: ну что же—и Гуссерль мог высказать учение или положение, которое, в общем, если не входить в детали, должно быть признано правильным. Но, товарищи, точка зрения Гуссерля на системный характер науки—*специфическая*. Она имеет свой *особый* смысл, который можно понять, если мы уразумеем другие понятия учения Гуссерля, и это составляет предмет критики,—с *точки зрения диалектического материализма*. Но с какой же стати я должен был заниматься всем этим в докладе, посвященном *Декарту*? Говоря о том, как понимал Декарт системный характер знания, я указывал, что здесь мы можем видеть зародыш диалектического воззрения, а вовсе не говорил о Гуссерле. На основании чего мог сказать тов. Дмитриев, что мое понимание системного характера науки идет от Гуссерля? В моем докладе для *такой* интерпретации материала нет.

Но оставим совершенно этот вопрос и вернемся к Декарту. Тов. Дмитриев задает мне вопрос, считаю ли я, что учение о системном характере науки само по себе диалектично? Но нельзя *так* ставить вопрос. Такая постановка—антиисторична и метафизична. Когда мы говорим о диалектике Декарта, мы должны иметь все время в виду XVII век и господствовавшее тогда официальное воззрение, должны иметь в виду состояние частных наук, точных и всяких иных, и на фоне этого состояния оценивать, какую роль по отношению к этому состоянию сыграла философия Декарта. И я утверждаю, что когда Декарт провоздвигал свои исследования по аналитической геометрии, когда развивавшиеся сепаратно алгебру и геометрию он смог свести в одно целое, то это было уже очень большим достижением, которое мы должны трактовать, как достижение *диалектическое*. И только в этом смысле, тов. Дмитриев, *только* в таком—историческом—смысле я называл учение Декарта о системном характере знания диалектическим. На фоне философии XVII века это был громадный шаг вперед; и шаг, который вел к диалектике, потому что одно из положений диалектики состоит в этом, что *так как все вещи и все процессы в бытии находятся в диалектическом взаимодействии, то и знания, направленные на изучение этих процессов, также должны отражать эту взаимную связь*. Вот почему Маркс говорит, что, строго говоря, существует *только одна наука*—история, которая ветвится на два громадных раздела: история развития природы и история развития общества.

Товарищи, эта идея Маркса тоже есть идея о *системной* связи нашего знания. Маркс говорит: есть *одна наука*—история, которая разделяется на историю развития природы и историю развития общества. Конечно, идея *Маркса* о си-

¹ «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», II.

стемном характере знания и идея Декарта чрезвычайно далеки друг от друга. Но, товарищи, рационализм XVII века—не то, что диалектически материализм Маркса, который имел позади себя всю историю развития материализма, весь французский материализм, весь классический идеализм и т. д. И надо быть таким антидиалектическим человеком, как тов. Дмитриев, чтобы ставить мне в вину то, что я, оудто бы обезговорочно, признаю диалектическим всякий тезис о системном характере знания. Сам по себе этот тезис еще ничего не говорит. Если человек приходит и говорит, что знание, наука—системны, то это может быть и Гуссерль и кто угодно. Нельзя на основании одного этого утверждения сказать, что это: диалектика или нет. И если мы омер Декарта, как это делает Дмитриев, вне исторической перспективы, то мне кажется, что самый вопрос этот—совершенно праздный.

Теперь, товарищи, относительно cogito. Тов. Дмитриев центр своей критики направил на доказательство той мысли, что cogito Декарта нужно понимать в смысле *метафизического идеализма*. Я же, в противовес этому, подчеркиваю, что cogito у Декарта имеет *методологический характер*. Мне кажется, что ошибка тов. Дмитриева состоит в том, что он не различает двух смыслов слова «вывести». Когда Декарт «выводит» нечто из cogito, надо ясно представлять, какой смысл вкладается в слово «выводить». У Декарта оно означает путь, посредством которого мы убеждаемся в необходимости, в истинности познаваемого. Это есть путь *методологический*. Но слово «вывести» может иметь и другой смысл: указать *генезис, происхождение*. Но Декарт такого идиотского положения, что из *моего* мышления «следует» бог, мир, что бог из мышления самого Декарта «следует»,—такого идиотского положения Декарт нигде не высказывал. Декарт не был ни суб'ективным идеалистом, ни солицистом. Слово «следует» он применяет отнюдь не в смысле метафизического «порождения». К тому же cogito у Декарта—отнюдь не «силлогизм», а непосредственно достоверная интеллектуальная интуиция.

Что кантианцам и неокантианцам очень бы хотелось подхватить эту мысль Декарта в своих целях, что они идут на эту неокантианскую интерпретацию Декарта—это верно. Товарищ—я забыл его фамилию—совершенно верно говорил здесь, что Соппе и Paul Natop подставляют свои неокантианские понятия в термины Декарта. Они все в корне ошибаются, в интерпретации Декарта у них самая установка—неправильная. Cogito Декарта—в основной установке—носит характер методологический. Однако и тут вопрос гораздо сложнее, чем это кажется товарищу.

Тов. Дмитриев нашел, что если уж искать где диалектику, то в физических воззрениях Декарта. Тут я ловлю тов. Дмитриева на противоречии. А в «физике» своей разве Декарт не был, говоря словами тов. Дмитриева, «количественником», разве он не был в «физике» «механистом»? Если все эти ужасы были в «гносеологии» Декарта, если там они несовместимы с диалектикой, то почему тов. Дмитриев думает, что этих элементов нет в «физике»? В докладе я ясно говорил, что даже самое понятие материи у Декарта—механистично, и *только выводы* из декартовского понятия материи вели к диалектике. Эти выводы—олять-таки берите их в исторической перспективе, на фоне взглядов того времени: бесконечность, точнее—оеспрядельность мира, однородность мирового вещества, относительный характер движения, учение о развитии и т. д. Вот эти-то выводы, которые следовали из декартовского понятия материи, и вели по направлению

к диалектике. Но само по себе понятие о материи у Декарта не было диалектично. И я это подчеркнул в докладе.

Заканчивая свой ответ тов. Дмитриеву—ибо время мое исчерпано,—я должен сказать, что мне хотелось бы выслушать оппонента с менее предвзятой точкой зрения. Эта ясно ощущающаяся мною у тов. Дмитриева предвзятость, какая-то эмоциональная окраска его выступления внесла известную червность, которую я проявил во время слушания речи тов. Дмитриева. Я прошу извинения в этом у моей аудитории. Я объясняю это только тем, что на меня крайне неприятно подействовал этот ненужный, ничего не помогающий высказывание тов.

Тов. Дмитриев говорил здесь о том, что Гуссерль повлиял даже на мою терминологию. Тов. Дмитриев приводил в качестве примера термины «графема» и «фонема», выхватив их из моей статьи о Богданове¹. Это обвинение есть, мягко выражаясь, печальное недопонимание, основанное, вероятно, на полном незнании истории лингвистической терминологии. Эти термины были введены в науку *лингвистами*, ими пользовался крупный лингвист Бодуэн де-Куртене, который за всю свою жизнь никакого Гуссерля не читал. Так как в полемике с Богдановым я занимался языковедческими вопросами, то я воспользовался этими терминами. Я их взял у языковедов. Интересно, что современные философы пользуются этими терминами, взяв их из языкознания. Почему?—Потому, что сейчас языковедение развивается гигантскими шагами и его выводы несут так много положительных данных философии, что языковедение начинает оказывать влияние на философию. В этом процессе, правда, есть свои опасные уклоны, с которыми мы должны бороться, но в целом этот процесс, возникший в недрах развития современной филологии, конечно, процесс плодотворный.

Этим, товарищи, я хочу закончить свое выступление, к несчастью, слишком продолжительное. Я слишком злоупотребил вашим вниманием. Я, конечно, признаю, что первая попытка разобраться в элементах диалектики у Декарта не может не страдать погрешностями и недостатками. Если я в другой раз коснусь этого вопроса подробнее, я надеюсь, что мы будем подходить иначе к этому вопросу и будем стараться действительно выяснить элементы диалектики у Декарта, а не «крыть» справа налево и слева направо «гуссерлианством» и тому подобными жупелами. Это—совершенно не по существу.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. ДМИТРИЕВА

В виду чрезвычайно позднего времени я задержу собравшихся товарищей всего только на пять минут. Что касается общего заключения по докладу и заключительному слову т. Асмуса, то я должен констатировать, что у него произошло известное положительное движение. То, что мы имели у тов. Асмуса раньше, когда мы слушали его доклад, не совпадает уже с тем, что мы имеем сейчас после заключительного слова. Результаты критики ужэ сказываются. Мне это очень приятно отметить. Есть целый ряд плюсов, которые нужно отметить в заключительной речи тов. Асмуса, хотя есть, впрочем, и ряд минусов. Что касается плюсов, то я только повторю то, в чем признался и сам т. Асмус: «конечно, говорит он, в моем докладе не все было отчетливо и ясно отмечено». Но

¹ «Логическая реформа А. Богданова» («Вестн. Коммунист. Академии», кн. 22).

ведь про это-то я и говорил и теперь и в прошлый раз. Я говорил, что у вас путаница в понимании диалектики у Декарта. Центр тяжести вопроса—где искать диалектику у Декарта. Надо искать, вы говорите теперь, не в метафизической части, а в онтологической. И я в прошлый раз говорил то же самое. То, что вы теперь пришли к такому выводу, это очень приятно и хорошо. Вы говорите теперь относительно системного характера науки и интуиции, что это не является диалектикой,—это правильно. Но что вы раньше говорили? Вы утверждали определенно в прошлый раз, что и интуиция и системный характер науки—это диалектические элементы декартовской философии.

Далее я вполне, вполне согласен, что ваша первая попытка найти диалектику у Декарта страдает недостатками. Я даже скажу больше, что она не только страдает недостатками, но что первый блин вышел комом.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ВЛИЯНИИ СРЕДЫ И СОВРЕМЕННЫЙ ЛАМАРКИЗМ

(Доклад Е. С. Смирнова)

На недавно окончившемся пятом международном конгрессе по изучению наследственности в Берлине известный венский профессор Рихард Веттштейн произнес вступительную речь, которая была посвящена соотношению проблем генетики и эволюции. В этой речи он указывал на те очень большие успехи, которых достигла в последнее время генетика; указывал и на широкие теоретические обобщения, которые при этом были сделаны. Вместе с тем он должен был признать, что все эти данные чрезвычайно мало содействуют нашему познанию эволюционного процесса и не только не дают положительного материала для суждения о нем, но зачастую даже прямо противоречат нашим эволюционным представлениям.

Я думаю, что эта речь Веттштейна не представляется случайным явлением. С разных сторон за последнее время участились предостерегающие голоса, которые заставляют нас отнестись критически к той генетической платформе, которая сейчас олицетворяется Морганом и его школой. Дело заключается в том, что генетики ограничиваются созданием законов наследственности. Однако, как говорит Веттштейн, процесс эволюции, помимо совершенно необходимого участия фактора наследственности, требует еще другого фактора, прерывающего наследственность. Если бы наследственность была абсолютной, если бы наследственные свойства передавались от одного поколения к другому не меняясь, то, конечно, не могло бы быть и речи об эволюционном процессе. Получилась бы чисто статическая картина.

Почему же современная генетика ничего не дает нам для понимания эволюции? Можно ли отсюда сделать вывод, что она не верна по существу, или признать, что не правы наши воззрения на существование эволюции? Конечно, Веттштейн отрицает и то и другое, а выдвигает третье решение вопроса. Современная генетика просто не коснулась тех вопросов, которые непосредственно относятся к интересующей нас проблеме эволюции. Она, главным образом, изучает статус, в то время как динамика остается вне ее деятельности. Вместе с этим Веттштейн указывает, что возможно уже сейчас, при современном состоянии наших знаний, нащупать пути, которые позволят нам именно применить достижения теории наследственности к изучению эволюционного процесса.

Прежде всего приходится видоизменить наше понятие о наследственных признаках.

Признавая, что гены в смысле Моргана характеризуют низшие систематические категории, Веттштейн считает, что систематические категории высшего порядка, наиболее важные в изучении эволюции, подчиняются другим законам наследственности; они управляются другими факторами, и поэтому здесь мы должны применять другие методы исследования. Конечно, здесь мало может помочь скрещивание, хотя бы потому, что оно возможно лишь для систематических категорий низшего порядка; видовые скрещивания удаются сравнительно редко, родовые—еще реже, о прочих трудно даже говорить.

Затем он считает, что существующее воззрение о локализации наследственных признаков исключительно в хромосомах является лишь временной гипотезой, и сейчас уже имеются указания на то, что мы должны искать других мест локализации наследственных факторов.

Наконец, третье—это то, что экспериментаторы генетического направления упускают из виду, что организм не является чем-то изолированным, но живет в определенных условиях внешней среды, которая неминуемо должна изменять наследственные зачатки. Правда, он признает, что конкретные данные именно по этому последнему вопросу очень скудны, но отсюда следует только то, что мы должны возможно интенсивнее развить это направление, и здесь мы имеем все шансы добиться решительных успехов.

Как раз в новейшее время за последние 4—5 лет вышел целый ряд очень важных работ, которые затрагивают именно эту третью проблему, поставленную Веттштейном в его речи. Самые разнообразные авторы, оперируя с различными объектами, применяя весьма многочисленные внешние факторы, добились положительных результатов в смысле наследственного изменения половых клеток. Называя свой доклад «Новые данные о наследственном влиянии среды и современный ламаркизм», я не думаю ограничиться реферативным изложением этих данных, но рассчитываю сделать обобщения, которые позволят подойти вплотную к той эволюционной системе, которая называется ламаркизмом. Нужно сказать, что против ламаркизма сейчас поднимаются различные возражения благодаря тому, что он разделяется на много течений, которые зачастую более резко враждуют друг с другом, чем ламаркисты с не-ламаркистами. Если мы сравним, например, представления Франсе или Паули с теми представлениями, которые развивают Семон и Плате, то заметим чрезвычайно резкую разницу, которая делает непримиримыми эти два течения.

Каким образом мы можем определить современный ламаркизм, какие положительные или, может быть, отрицательные признаки следует иметь в виду? Я думаю, что самым характерным для ламаркизма, в частности, для механо-ламаркизма, является признание принципа взаимодействия и самое широкое его применение. Это относится прежде всего к организму, как таковому. Ламаркизм признает, что организм является целостной системой и что все его отдельные части находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. В силу этого половые клетки, носители наследственных факторов, никоим образом не являются изолированными; напротив, приходится признать самую тесную связь между ними и сомой. С другой стороны, аналогичное взаимодействие наблюдается между организмом и окружающей его внешней средой. Организм рассматривается не как нечто изолированное, но как часть природного комплекса, почему следует изучать его в постоянном взаимодействии с условиями жизни.

Помимо этих положительных признаков, которые намечаются в общих чертах, можно указать и отрицательные. Ламаркисты, именно механо-ламаркисты, отрицают участие в организме нематериальных факторов. Затем они считают, что невозможно наследственное изменение от так называемых внутренних причин. И вот эти отрицательные признаки дополняют характеристику механо-ламаркизма в целом. Самый термин «механо-ламаркизм», может быть, не является особенно удачным, но он возник исторически, как антитеза психоламаркизма. Когда Плате предлагал этот термин, он имел в виду, что механо-ламаркисты исключают психический момент, который выдвигали Паули и другие.

Если мы обратимся к статистике, то найдем, что ламаркизм в том смысле, как я его пытался очертить, находит лишь небольшое число сторонников. И в этом отношении получилось очень большое изменение положения за сравнительно короткий срок времени. Это случилось, несомненно, благодаря развитию генетики, благодаря тем дуалистическим представлениям, в основе которых лежит резкое разделение организма на две изолированные друг от друга части—половые клетки и сому. Многочисленные эксперименты генетиков затемняли проблему соотношения половых клеток и сомы, и обычно считалось совершенно бесполезным заниматься опытами, которые ставят целью изучение этого взаимодействия. С другой стороны, среди механо-ламаркистов все же имеется ряд крупных исследователей, среди них такие имена, как Веттштейн, Мак-Брайд, Фик, Штейнман, Каммерер и другие.

Для того, чтобы осветить проблему механо-ламаркизма, нам нужно обратиться к фактическому материалу. Я не намерен давать подробное изложение опытов, относящихся сюда, а сделаю только краткую характеристику важнейших из них, доявившихся в последнее время.

Обращаясь к конкретным данным, следует отметить опыты венской исследовательницы Э. Брехер. Нужно сказать, что ее работа протекала более или менее параллельно работам Дюркена, который производил те же самые опыты, пытаясь вызвать наследственное изменение окраски у куколок бабочек при помощи различных лучей спектра. Опыты Дюркена более или менее хорошо известны; они дискутировались и в нашей литературе, поэтому я не буду о них говорить.

Что касается Брехер, то нужно отметить ее чрезвычайно важный опыт, который был сделан над бабочками-капустницами и «павлиньим глазом»,—опыт, давший положительные результаты в смысле наследования признаков, приобретенных под влиянием определенного освещения. Эти опыты имеют значение даже несмотря на то, что параллельно существуют опыты Дюркена,—благодаря более строгой постановке опыта, а также благодаря тому, что автор применял один оригинальный метод, который позволил сделать важные теоретические обобщения. У обоих видов мы наблюдаем резкую зависимость окраски куколки от цвета окружающего субстрата.

Оказывается, что различные лучи спектра вызывают те или иные характерные изменения окраски куколок. Если, напр., воспитать куколок капустницы, начиная с момента их образования, при желтом освещении, то получаются куколки зеленого цвета преимущественно. Конечно, существует известная изменчивость, но главный контингент составляют куколки этой окраски. С другой стороны, белый фон вызывает появление светло окрашенных куколок.

Если мы теперь произведем скрещивание бабочек из этих искусственно полученных светлых куколок и затем поместим куколок следующего поколения

в темноте, то заметим, что они обнаруживают сильное отклонение от нормы. Если говорить о числах, то здесь можно сказать следующее: потомство этих измененных куколок дало $\frac{1}{7}$ часть зеленых, в то время как нормой для условий воспитания в темноте является $\frac{1}{4}$. Таким образом, группа зеленых куколок уменьшилась почти вдвое.

Теперь, что касается второго вида, то здесь опыт был произведен следующим образом: куколки воспитывались, с одной стороны, на желтом фоне, а с другой стороны,—на черном. При этом куколки, полученные под влиянием желтого фона, дают характерную блестящую окраску, в то время как черный фон дает темную. В следующем поколении оказались следующие результаты. В то время, как при воспитании нормальных куколок в темноте получается $\frac{1}{20}$ зеленых, потомство «пожелтевших» куколок дало их $\frac{1}{6}$. Стало быть, отношение чисел больше трех.

Таким образом, внешний фактор здесь вызвал, несомненно, резкое изменение родительского поколения, а также и следующего. Нужно к этому прибавить, что Брехер в других своих опытах применяла особый прием, именно, вместо того, чтобы воспитывать куколку на том или другом фоне, она ограничивалась лакированием глаз куколки определенным цветом, при чем получились следующие результаты. Если окрасить, например, глаза в желтый цвет, то получаются совершенно аналогичные результаты, как и в случае воздействия желтого фона. Очень важно, что здесь рецептором является определенный орган—глаз, что чрезвычайно затрудняет принятие параллельного влияния освещения, которое можно было бы допустить по отношению к соме и одновременно по отношению к половым клеткам. Другой довод против последнего объяснения заключается в том, что измененная куколка способна передавать свои свойства только в том случае, если внешний фактор, определенное освещение, влияет на них в течение того периода, когда в куколке образуются пигменты. Если вы будете подвергать куколку воздействию после того, как она приобретет окончательную окраску, то в этом случае воздействие лучей спектра нисколько не отражается ни на ее окраске, ни на потомстве. Стало быть, для образования наследственного изменения необходимо участие измененной сомы.

Особенно важные и интересные опыты были сделаны, тоже в последнее время, Гаррисоном и Гарригом. Опыт производился над тремя видами бабочек-пядениц.

В разных местах Европы, особенно в Англии, появились аберрации, темнокрашенные формы, у различных пядениц, при чем наблюдалась характерная связь между распространением этих форм и распределением крупных промышленных центров. Как раз в окрестностях последних наиболее часто встречались такие формы. В конце концов, они получили преобладание в некоторых районах и вытесняют нормально окрашенные формы. Здесь может уже и ргюг и явиться мысль о том, что эта связь между распределением промышленных центров и распространением аберраций имеет причинный характер. Тем не менее, различные авторы-генетики высказывались против этого объяснения, начиная с Вэтсона, который объяснял этот факт распространения темных аберраций естественным отбором их новых, полезных свойств.

Разрешение этого спорного вопроса было дано исчерпывающими опытами Гаррисона и Гарритта. Опыты были поставлены очень широко; имелись очень большие контрольные серии, где бабочки воспитывались в течение длинного ряда поколений при совершенно нормальных условиях и не давали никаких отклоне-

ний в виде аберративных форм. Авторы попробовали изменить пищу гусениц бабочек, примешивая соли марганца и свинца к кормовому растению, или просто брали листья этого растения из окрестностей крупных промышленных центров, при чем химический анализ этих листьев показал присутствие в них химических соединений, отсутствующих в нормальном состоянии. Кормление этими листьями с примесью различных химических веществ привело к появлению темных форм, при чем наследование новых признаков вполне соответствовало менделевским правилам. Здесь приходится говорить в одном случае о рецессивности, а в другом случае—о доминантности нового признака. Таким образом, спор об «индустриальном меланизме», почернении, разрешился, несомненно, в пользу того, что измененные формы получаются под прямым влиянием измененной внешней среды.

Второй опыт Гаррисона интересен в особом отношении. Здесь речь идет о личинках перелопчатокрылых пилильщиков. Если мы будем исследовать один из видов этих пилильщиков в естественных условиях, то найдем, что он дробится на целый ряд отдельных разновидностей, при чем каждая из них приурочивается к определенному виду кормового растения—ивы. Таким образом, наблюдается экологическая дифференциация видов по характеру пищи личинок. Естественно, что здесь имеется закономерность и другого рода, именно географическая, потому что виды ивы имеют различное географическое распространение.

Прежде чем приступить к самому опыту, Гаррисон постарался выяснить, насколько свойства этих экологических рас наследственны, насколько они являются фиксированными в половых клетках. Результат оказался положительный. Если бралась та или иная раса пилильщика, при чем самки пользовались большим выбором различных видов ивы, то они всегда откладывали яйца на строго определенный вид этого рода. Таким образом, здесь мы имеем дело с закрепленным наследственно свойством, которое проявляется постоянно. Несмотря на эту кажущуюся устойчивость, Гаррисону удалось добиться изменения инстинкта самки. Именно, взявши одну из рас пилильщика, которая пользовалась определенным видом ивы, он поместил целую группу особей в такой район, где этого кормового растения не было, а были другие виды ивы, довольно далекие от первого. В результате многолетнего опыта оказалось, что сначала очень многие из перенесенных в новый район насекомых просто умирали, если самка откладывала яйца в ветвях новых видов ивы; если развивались личинки, то и они в большом количестве погибали, очевидно, отравляясь несвойственным им химическим составом пищи. Однако, с течением времени, количество особей, которые оставались живыми, привыкали, так сказать, к новому кормовому растению, увеличивалось и, в конце концов, когда, по прошествии трех лет, Гаррисон пересадил в этот район несколько деревьев как раз того вида, которым пользовалось данное насекомое прежде, то оказалось, что самки уже не выказывают ни малейшей склонности откладывать яйца на прежнем кормовом растении. При этом в продолжение последующих лет наблюдалось совершенно то же явление: самки регулярно откладывали яйца на новом кормовом растении и избегали старого. Этот опыт показывает, что в данном случае имело место наследственное изменение инстинкта под влиянием среды. Действительно, какого рода другие причины могли иметь место? Мы не можем говорить здесь о влиянии естественного отбора уже прежде всего потому, что нового инстинкта раньше в популяции вообще не было, ибо в нормальных условиях самки откладывали яйца только на определенный вид ивы. Этот признак был вновь приобретен, а далее

усилился в течение ряда поколений, т. е. происходила аккумуляция нового признака, которая столь часто имеет место в экспериментах подобного рода.

Теперь позвольте вкратце охарактеризовать опыты Пшибрама. Эти опыты хотя отчасти обсуждались у нас на дискуссиях и в литературе, все же недостаточно освещены. Здесь следует поставить один важный теоретический вопрос, связанный с пшибрамовской «теорией контрастного наследования». Дело заключается в следующем. Крысы, служившие в качестве объекта опыта, изменялись под влиянием измененной температуры и затем далее, будучи перенесены в нормальную среду, все же обнаруживали известные отклонения от нормы. Если, например, в результате *сильного* изменения температуры у крысы получится довольно резкое удлинение хвоста, то у потомства этой крысы, перенесенного в нормальные условия, обнаруживается хвост не удлиненный, а, наоборот, укороченный. И обратно, у потомства животных с укороченным хвостом, образовавшимся под влиянием *сильно* пониженной температуры, после перенесения в нормальные условия получается хвост длиннее нормального. Это явление и является примером контрастного наследования, которое было установлено Пшибрамом. Другое получается в том случае, если внешнее температурное воздействие менее резко. Если *умеренное* нагревание вызывает у крысы удлинение хвоста, то следующее поколение, воспитанное в нормальных условиях, обнаруживает тоже удлиненный хвост, может быть, в несколько меньшей степени, чем у родителей, но все же длиннее, чем в нормальном случае. Здесь приходится иметь в виду следующий важный момент. Оказывается, что если мы будем изучать соотношения внешних факторов и организма, то натолкнемся на различные случаи. Тогда как в одном случае получается настоящее *адэкватное* наследование, наследование приобретенного признака в собственном смысле этого слова, в другом случае можно получить и обратный результат, именно контрастное наследование изменения. Далее я еще вернусь к этому случаю при общем обсуждении всех приводимых мной опытов.

Теперь я должен упомянуть об опытах нашего русского исследователя проф. Е. А. Богданова. Этот автор экспериментировал с синей мясной мухой, которая в течение долгого ряда лет служила ему для исследования. В последнее время он начал ставить эксперименты, целью которых было получение искусственным путем, применением резких внешних воздействий, наследственных изменений. Оказалось, что если эти внешние факторы обладают лишь слабой интенсивностью, то не получается заметного результата в смысле наследственности. Правда, Богданов подчеркивает, что он имеет в виду изменения, которые резко бросаются в глаза, так что незначительные изменения и могли оказаться, но не были ими замечены. Применяя же очень резкие внешние воздействия: промораживание, отравление химическими веществами и т. п., он добился ясных положительных результатов. В то время как контрольные серии мух не обнаруживали заметных изменений, те насекомые, которые подвергались этим воздействиям, дали в нескольких поколениях изменения, притом очень резкие. Они выражались, главным образом, в различных патологических признаках. Наиболее характерный результат его опытов—это недоразвитие насекомого после вылупления из куколки. Муха сохраняет свой первоначальный вид и не принимает признаков взрослой формы. С другой стороны, получаются и такие явления, которые никоим образом нельзя приравнять к патологическим. Я считаю, что к числу таких принадлежит изменение окраски, связанное с изменением тоmenta—микроско-

пических волосков. Все эти признаки наследуются, при чем наследование резко альтернативное.

В заключение рассмотренной серии опытов я должен сослаться на недавние опыты Мёллера, которые также успели проникнуть в нашу литературу, что освобождает меня от подробного изложения их. В данном случае речь идет об объекте, который до сих пор считался наиболее защищенным от влияния внешней среды—о мухе-дрозофиле.

Поэтому искусственное, экспериментальное получение мутаций у дрозофил под влиянием внешних факторов, именно X-лучей и температуры, явилось полным сюрпризом для генетиков и заставило их пересмотреть свои позиции. Дело заключалось в том, что Мёллер исследовал хорошо проверенную генетически культуру и пришел к заключению, что влияние внешнего фактора резко увеличивает процент мутаций, при чем он влияет на половые элементы как самцов, так и самок. Мёллер получил увеличение числа мутаций на несколько тысяч процентов, по сравнению с нормой. Значение его опыта заключается, главным образом, в том, что автор его является генетиком, стало быть, принадлежит как раз к той партии, которая особенно настаивает на отрицании всякого влияния внешних условий на организм. Затем, будучи хорошо знаком со всеми правилами наследования у дрозофил, он предохраняет нас от каких бы то ни было ошибок в этом смысле, и, разумеется, приходится ему верить, что мы, ламаркисты, и делаем особенно охотно.

Для того, чтобы иллюстрировать мое утверждение о том впечатлении, которое произвел опыт Мёллера на генетиков вообще и на наших в частности, я позволю себе привести несколько цитат, характеризующих их прежнее отношение к данному вопросу. Одна цитата, которую я приведу, наиболее характерна и принадлежит стороннику генетики и большому противнику ламаркизма Ф. А. Андрееву. Он говорит следующее:

«На поприще нагревания и разогревания мышей, вероятно, ничего не выйдет, потому что вы подходите микроскопически к макроскопическим явлениям. Ваше занятие искусственного получения новых генов похоже на то, как если бы взять громадный кусок раскаленного железа и на него, например, плевать. Ваша слюна испарится, а кусок железа будет понемножку остывать, меняя свои цвета. Вот в сущности метод тех лиц, которые занимаются экспериментальными доказательствами эктогенетических воздействий в эволюции гена»¹.

Вот, мне кажется, яркая характеристика точки зрения, на которой, быть может, стоят не все генетики, но, по крайней мере, некоторые из них.

Я думаю, интересно послушать также, что говорит в этом случае А. С. Серебровский:

«Это мутирование, способность подвергаться мутации, в настоящее время является в значительной степени если не таинственным, то своеобразным явлением в том смысле, что оно оказывается фактически независимым от тех внешних условий, в которых живет организм. Оказывается, что как бы мы ни меняли те условия, в которых организм находится: температуру, химические агенты, которые окружают организм, пищу и т. д., мутационные явления остаются неизменными»².

¹ «Вестник Комм. Академии», кн. 20, 1927 г., стр. 243.

² «Под знаменем марксизма», № 3, 1926 г., стр. 102.

Дальше речь идет об изоляции половых клеток от сомы:

«Прежде всего, в какой же степени это уединение имеет место, насколько гены доступны или не доступны внешнему воздействию? Совершенно очевидно, что любое сильное воздействие внешней среды, сильное нагревание, сжигание, отравление и т. д. немедленно разрушают все эти гены, и, таким образом, о полной изоляции генов от остального мира говорить невозможно. Не так теории Моргана-Менделя ставит этот вопрос о постоянстве, независимости гена от внешних условий внешнего мира. Очевидно, когда здесь идет речь о неизменности, имеются в виду, прежде всего, известные, очень узкие рамки внешних условий, в которых невозможна жизнь. Во всех тех условиях, когда жизнь невозможна, оказывается невозможным и существование генов, и если организм переводят в эти условия, — гены разрушаются и, таким образом, вполне подвергаются изменению»¹.

Вот, стало быть, каким образом автор представляет себе воздействие внешних условий на гены. Они все же не неизменны, ибо доступны процессу сжигания!

Вы видите, что все это выражено в весьма категорической форме, и позиция автора, мне кажется, совершенно ясна. Должен отметить ради справедливости, что автор далее несколько смягчает свой тон и все же выражает надежду на то, что мы можем когда-нибудь изменить гены. Однако нужно подчеркнуть, что А. С. Серебровский не допускает изменений генов под влиянием естественных условий, тем самым отрицая значение его для процесса эволюции.

Эта мысль, которая, мне кажется, особенно важна, совершенно ясно выражена не только в той статье, которую я цитировал, но также и в прениях по докладу тов. Местергази, который имел место в конце прошлого года в Обществе биологов-материалистов.

Конечно, нельзя не признать, что открытие Мёллера имеет большое значение, но я вовсе не склонен приписывать его опыту значение сколько-нибудь большее, чем опыту Гаррисона и Гарритта, о котором я говорил, потому что эти авторы совершенно безупречно доказали изменение наследственных факторов под влиянием измененной пищи, а они ведь имеют приоритет. Я уже не говорю об опытах Тоуэра, которые были сделаны давно и которые совершенно ясно доказали, что внешние условия при известной интенсивности резко изменяют наследственные факторы. Сейчас говорят, что опыты Тоуэра подвергнуты большому сомнению. Но до тех пор, пока не будет конкретного обоснования этого, я не считаю возможным сомневаться в опытах Тоуэра.

Теперь позвольте перейти к некоторым теоретическим соображениям. Когда я говорил об опытах Пшибрама, я ссылался на его теорию контрастного наследования, которая вытекает из его опытов над крысами. Эта теория теснейшим образом связана с вопросом об адекватности наследственных изменений, о «наследовании приобретенных признаков» в узком смысле слова.

Почему потомство измененных родителей обнаруживает в своем фенотипе те же самые признаки, в которых выражалось изменение родителей? Каким образом можно себе это представить и может ли это быть вообще? Уже данные Пшибрама показывают нам (изложенный мною опыт), что далеко не всегда имеет место такое адекватное наследование. Если оно имело место в очень многих опытах (хотя бы в некоторых из тех, о которых я говорил), то это не значит, что

¹ «Под знаменем марксизма», № 3, 1926 г., стр. 104.

оно бывает всегда, и я не знаю такого приверженца ламаркизма, который бы утверждал обратное. В некоторых случаях внешние условия вызывают определенные изменения, которые имеются и у последующего поколения, в других же случаях, хоть они и являются очень специфичными, не передаются потомству, как таковые. Наконец, во многих случаях, особенно если применяются такие внешние факторы, которые вовсе не свойственны той среде, в которой живет организм, получаются резкие патологические изменения, что имело место, например, в опытах Богданова, а также в опытах Багга, о которых я не упоминал. Можно ли свести все эти явления хотя бы к различной интенсивности внешнего воздействия? Конечно, опыты Пшибрама ярко показывают, что существует известный порог во внешнем воздействии, по переходе которого вызывается не адекватное изменение, но изменение в направлении противоположном тому, что имелось в родительском поколении. Но, с другой стороны, мы знаем, что часто очень интенсивное воздействие не вызывает вообще никакого наследственного эффекта или вызывает его в слабой степени. Таким образом, здесь нельзя смотреть так просто, что только интенсивность внешнего фактора играет роль; нужно учитывать целый ряд других моментов: специфичность, особый характер внешних факторов, особые свойства организма, которые заключаются в его видовом наследственном генотипе или обнаруживаются в тот или другой период его жизни, который так или иначе может реагировать на внешнее раздражение.

Но все же остается очень большое количество фактов, которое заставляет нас принимать, как правило, наследование адекватного характера. Является очень важным вопрос: каким образом можно объяснить эти случаи? Этот вопрос постоянно является камнем преткновения для тех эволюционистов, которые с симпатией относились к ламаркизму. Конечно, мы не можем отрицать воздействия внешней среды, они существуют и вызывают наследственные изменения, но, с другой стороны, откуда такая таинственная аналогия, такое совпадение между признаками родителей и последующего поколения? Как раз М. М. Местергази в своем докладе усиленно занимался этим вопросом. И вот, я позволю себе показать, какого рода соображения автор выдвигает против понятия адекватного наследования. Прежде всего, конечно, стоя на точке зрения чисто генетической, он отрицает связь сомы с половыми клетками и рассуждает так, что вообще невозможно принять никакого механизма соматического влияния на половые клетки. Но даже условно, допуская наличие такого механизма и признавая, что соматические изменения могут отражаться на половых клетках, все же остается в силе центральная проблема—эта таинственная адекватность. Вот каким образом автор оценивает эту проблему:

«Иногда признание зависимости наследственных изменений от всяких воздействий доходит до абсурда. Шлейх, например, договорился до передачи различных свойств через пищу. Такой чепухи мы, разумеется, не приписываем механо-ламаркистам, но должны заметить, что механизм передачи приобретенных свойств немногим понятнее, чем механизм передачи китайцу через маис особенностей его предков»¹.

Я думаю, что эта цитата достаточно ясно показывает, что хотел сказать автор. Основная его предпосылка—это резкое разделение организма на сому

¹ «Вестн. Комм. Акад.», кн. 19, 1927 г., стр. 211.

и половые клетки, на котором он все время настаивает и которое, разумеется, определяет все дальнейшее.

Сейчас я должен перейти к тем объяснениям, которые существуют именно в отношении механизма соматической индукции и адекватных изменений. Нужно сказать, что целый ряд авторов давно уже занимался этим вопросом. Достаточно назвать имена Гатчека, Дьяляка, Кеннингэма и др. Все эти авторы так или иначе представляли себе связующий механизм между сомой и половыми клетками; принимая те или иные связующие пути, они считают, что изменения сомы должны отражаться на соответствующих элементах половых клеток. Пожалуй, наиболее приемлема из всех этих теорий, которые я, разумеется, не могу приводить во всем объеме, это—теория Кеннингэма, которую можно назвать гормональной. По этой теории нужно считать, что всякое изменение отдельного соматического органа вызывает изменение количества вырабатываемых этим органом гормонов. Если, например, в результате измененных условий существования какой-либо орган будет принужден усиленно функционировать, то эта усиленная работа вызовет избыточное образование гормонов в данном органе. Затем эти гормоны попадают в половые клетки и, откладываясь там, очевидно, в следующем поколении, в силу своей специфичности, будут вызывать те же самые результаты, которые наблюдались в родительском поколении. Это обстоятельство делает нам более или менее понятной ту связь, которая существует между сомой и половыми клетками и в то же время хорошо объясняет адекватное наследование.

В случае обратном, когда орган не упражняется, количество гормонов сходит до минимума или вообще на-нет, и половые клетки лишаются этой своей составной части. Естественно, что последующее поколение будет характеризоваться недоразвитием соответствующего органа. Это необходимое следствие из данных предпосылок.

В последнее время особенно ценную и интересную точку зрения на этот предмет высказали два немецких автора, именно, Вернер и Шмальфус. Они, работая над проблемой химического состава крови насекомых, пришли к определенному теоретическому представлению о наследственных факторах. Вкратце их теория сводится к следующему: наследственные факторы гены, с химической точки зрения, являются автокатализаторами, потому что они сохраняются на протяжении целого ряда поколений, как таковые.

Если бы здесь был просто катализатор, который не мог бы сам собою размножаться, увеличивая свой объем, то, конечно, с течением времени он постепенно дошел бы до минимума и, в конце концов, вообще выпал бы из состава половых клеток, распределяясь между бесчисленными последующими поколениями. С другой стороны, очень хорошо известно, что представители наследственных факторов половых клеток должны заключаться и в соматических частях, что доказывается явлениями регенерации, когда половые клетки восстанавливаются из соматических, при чем они обладают всеми теми признаками, которыми они отличаются при нормальном развитии, при нормальном размножении. Названные авторы принимают, что различные гены представляют собою специфические автокатализаторы. Хорошо известна схема, что катализаторы подвержены влиянию различных внешних условий. Применением того или иного химического или физического воздействия мы можем в значительной мере изменить свойства самих катализаторов. Таким образом, очевидно, что, нахо-

дясь в организме, они точно так же под влиянием различных воздействий должны претерпевать те или иные изменения. Далее, по Вернеру и Шмальфусу, эти катализаторы выделяют особые активные химические вещества, образуют гормоны, которые, в свою очередь, в конце концов, образуют вещества, из которых строится данный орган. Таким образом, здесь наблюдается целая цепь, в начале которой стоит ген-катализатор, а в конце—соматический признак.

Что же происходит в тех случаях, когда катализатор изменяется? Допустим, что в случае с куколкой капустницы, в момент формирования ее окраски, катализатор, который присутствует в соме, подвергается действию тех или других лучей спектра. Очевидно, эти внешние условия могут с большей или меньшей степенью легкости вызвать изменение катализатора. Затем те вещества, которые будут образовываться под влиянием изменившегося катализатора, должны будут иметь тоже измененный характер, так что куколка, которая получится в результате деятельности этого катализатора, получит окраску, отличную от нормальной. С другой стороны, катализатор, сохраняя свою связь с половыми клетками, попадает также и в них, оставаясь измененным. Естественно, что следующее поколение, которое разовьется из половых клеток, заключающих измененный катализатор, будет обнаруживать, в силу этого, изменения, адекватные тем, которые наблюдались в родительском поколении. Поскольку имеется тот же самый катализатор, измененный тем же самым образом, постольку он должен вызывать и аналогичные родительским изменения.

Эта теория позволяет обойти много трудностей, которые свойственны предыдущим, мною упомянутым. Здесь, в сущности говоря, даже не приходится говорить о «наследовании приобретенных признаков», которому, разумеется, никто из ламаркистов не придавал того грубого, вульгарного толкования, которое им иногда приписывают. Конечно, передаются не «приобретенные признаки», а передаются те общие изменения физиологического состояния организма, которое возникает в результате внешнего влияния. Все дело в том, чтобы показать, каким образом эти специфические изменения также специфически происходят и в половых клетках, в результате чего получается адекватное наследование. Нужно заметить, что авто-катализаторы никоим образом не могут изменяться под влиянием внутренних причин; они для своего изменения должны всегда иметь некоторый внешний фактор, который так или иначе нарушает их равновесие. При этом известно, что, в зависимости от интенсивности воздействия, катализатор может претерпеть изменения в различной степени. Именно, в некоторых случаях, когда интенсивность внешнего воздействия сравнительно слаба, получается обратимая реакция: катализатор возвращается через некоторое время в свое первоначальное состояние.

Наконец, после перехода известного порога, это чисто количественное изменение катализатора становится уже качественным, и получается необратимое изменение—мутация. Конечно, мутация, в конце концов, может быть и обратимой, но в том случае, когда новое воздействие на катализатор заставляет его вернуться в первоначальное состояние; очевидно, здесь дело сводится к той или иной степени устойчивости изменения, которое было вызвано внешним фактором. Интересно, что авторы теории считают необходимым признать, что существует целый ряд переходов между «длительной модификацией» и мутацией, это следует из всех их предпосылок и фактических данных. Конечно, поскольку количественное изменение катализатора превращается в качественное, постольку

мы имеем дело со скачкообразным переходом длительной модификации в строго наследственную мутацию.

Итак, если принять эту точку зрения, которая имеет очень много доводов в свою пользу, то мы получим прекрасное раз'яснение той «таинственной», по мнению некоторых наших противников, проблемы, которая состоит в адекватном наследовании приобретенных признаков. Если вообще говорить о простоте или сложности явлений, то, конечно, мы, биологи, часто встречаемся с несравненно более сложными процессами в организме, когда действительно приходится стать втупик.

Если мы обратимся к различного рода опытам по наследственному влиянию среды и попробуем об'яснить их с этой точки зрения, то найдем, что это вполне возможно. Я уже пытался истолковать таким путем опыт с окраской куколок. Возьмем теперь известные опыты Фишера и Штандфуса с бабочками. Что здесь имело место? Когда Фишер впервые излагал свои опыты, то он говорил, что здесь не могло быть соматической индукции. Если сравнить окраску родителей с тем, что получается у потомства, то обнаруживаются различия: темные пятна на крыльях у потомства и родителей не вполне покрывают друг друга. Таким образом, Фишер представлял себе дело так, что при наличии соматической индукции каждое мельчайшее изменение должно передаваться потомству. Такая точка зрения является для ламаркистов совершенно неприемлемой, ибо адекватность относительна.

Допустим, что катализатор, определяющий окраску крыльев бабочки, терпел температурное воздействие. Очевидно, что свойства его при этом изменились, а в результате его взаимодействия с соматическими частями, со всякого рода хромогенами, получается изменение пигментов; в то же время измененные катализаторы попадают и в половые клетки, что является причиной адекватных изменений последующего поколения.

Теперь, что касается истолкования с этой точки зрения опытов Пшибрама с крысами, то здесь возникает вопрос, как об'яснить контрастное наследование. Я думаю, что здесь можно принять следующую точку зрения: если животное подвергалось воздействию сильно повышенной температуры и если при этом соответственно изменялись катализаторы, то после перемещения в нормальные условия эти последние влияют, как новый, резкий раздражитель. Поскольку существует большая амплитуда между нормальной и измененной температурами, должна произойти сильная реакция, и в данном случае нормальные условия играют роль противоположных нагреванию. Поэтому и получается то контрастное наследование, которое мы наблюдаем в опыте. Пшибрам, говоря о своих опытах, приводит такого рода аналогию: если вы держите руку в горячей воде, а затем перенесете ее в комнатную, то эта вода комнатной температуры вам кажется холодной, и, наоборот, если перенести руку из холодной воды в воду комнатной температуры, то получается впечатление резкого нагревания, в то время как сравнительно слабое нагревание или охлаждение, даже после возвращения в нормальную температуру, продолжает нами ощущаться, как таковое. Здесь как раз и представлены все те случаи, которых требует теория Пшибрама.

Затем, говоря об адекватном наследовании, я опять-таки должен повторить, что ни в коем случае нельзя настаивать на абсолютной адекватности. Если меняется окраска бабочки, это не значит, что изменение каждого отдельного пятнышка будет обнаруживаться в последующем поколении, после перенесения

в нормальные условия. Резкое изменение пигмента может распространяться по поверхности крыла потомков более или менее свободно. Разумеется, возможны и такого рода случаи, когда изменения катализаторов вызывают более строго определенные изменения, и в этих случаях мы должны считаться с более сильной адекватностью, вообще же следует говорить только об относительной адекватности.

То же самое надо сказать и о функциональных изменениях в результате сильного упражнения или, наоборот, неупотребления органа. И здесь приходится говорить лишь об общей тенденции органа к усиленному развитию, но ни в коем случае не приходится говорить о том, что изменения, которые произошли в усиленно функционирующем органе, непременно должны наследоваться так, чтобы каждая малейшая подробность, появившаяся у родителей, проявлялась вновь у потомства.

В заключение вернемся еще раз к современной генетике. Сейчас целый ряд авторов, среди них очень крупные исследователи, положительно настаивают на пересмотре основных предпосылок современной генетики. Истекший международный конгресс в достаточной мере это показал. Я уже говорил о речи Веттштейна. Теперь укажу на доклады Винклера и Бернштейна, которые касались одного из основных положений морганической теории: линейного расположения генов. Эта гипотеза вытекает из другой гипотезы — перекреста хромозом, или кроссинговера. Она заключается в том, что при скрещивании происходит обмен генами между соответственными хромосомами. Винклер, вместо перекреста, предлагает совершенно иную гипотезу, именно «конверсию генов». По мнению Винклера, при скрещивании часто происходит изменение рецессивности признаков на доминантность и обратно. Такое предположение допускает более строгое об'яснение тех отклонений чисел, которые наблюдаются при скрещивании мутаций, чем теория кроссинговера. Очевидно, что если принять такую точку зрения, отпадает самое утверждение о линейном расположении генов, а нужно сказать, что Морган считает таковое одним из основных законов генетики. Я думаю, что наши ламаркистские гипотезы заслуживают не меньшего права на существование, чем гипотезы такого рода.

Другой автор, Бернштейн, критикует гипотезу перекреста с другой точки зрения, при чем предлагает свое об'яснение. Я не могу входить в подробности и указываю только на самый факт.

Если взять те данные, которые были в последнее время получены в отношении видовых гибридов, приходится сильно усомниться даже в таких законах, как индивидуальность хромозом или чистота гамет. Я должен сослаться на работу М. С. Навашина, который доказал взаимное изменение хромозом при видовых скрещиваниях. Дело в том, что при скрещивании различных видов растения *Speris* получается взаимодействие родительских хромозом, и в результате хромозомы потомства явно изменяют свою форму, при чем это изменение обнаруживается и в последующих поколениях. Здесь приходится допустить возможность самого тесного воздействия хромозом друг на друга, при чем предствление об абсолютной чистоте гамет явно требует пересмотра.

В связи со всем этим интересно упомянуть об одной статье Плате. Автор, обсуждая те данные, которыми располагает современная генетика, считает, как и Веттштейн, что они никоим образом не могут об'яснить нам эволюционный процесс. В частности, когда речь заходит о тех сложных изменениях органи-

мов, которые он называет кооптациями, а также о рудиментарных органах, совершенно невозможно примирить объяснение этих процессов с тем, что нам дает для данной цели генетика. Если мы в качестве примера возьмем рудиментарный орган, то, воспользовавшись данными сравнительной анатомии и эмбриологии, мы можем установить, что процесс рудиментаризации происходит строго закономерно, в определенном направлении. Именно, орган, который теряет свое функциональное значение, разрушается постепенно, при чем определенные его части исчезают в строго определенном порядке.

Это имеет место в чрезвычайно большом количестве случаев. Если мы подойдем к объяснению этих явлений с точки зрения чисто генетической, то мы должны допустить то, что называется «ортогенезом мутаций». Но здесь я вижу внутреннее противоречие: поскольку мутации не имеют определенного направления, а происходят по закону больших чисел, конечно, не приходится говорить об ортогенезе, т. е. определенном направлении развития. Если мы можем допустить случай утери известного гена, который определяет ту или другую часть глаза, то, конечно, совершенно непонятно, почему в течение длинного ряда поколений эти процессы повторяются в вполне закономерном постоянством, в определенной последовательности, и в конце концов ведут к полному или почти полному уничтожению данного органа. Если мы попробуем применить к объяснению этого случая принцип естественного отбора, то даже самый строгий защитник отбора, как Плате, и тот отказывается от такого объяснения. Рудиментарный орган, конечно, варьирует, как и все остальное, но каким образом может использовать эту изменчивость естественный отбор? Он может отбирать более полезные признаки. Но весь рудиментарный орган не играет никакой полезной роли в жизни организма, поэтому не понятно, как здесь может быть применен принцип естественного отбора. Если даже допустить, что этот ненужный орган просто мешает, то опять-таки в процессе рудиментаризации дело доходит до такого состояния, что орган вообще не играет никакой роли, и все же этот процесс продолжается все дальше и дальше. Это никак нельзя объяснить иначе, чем путем допущения наследственного влияния неупражнения органа. Плате приводит целый ряд таких примеров и приходит к твердому заключению, что без ламаркистского принципа эволюционный процесс не объясним.

Каким образом ламаркизм относится к фактору естественного отбора? Мне неоднократно задавали этот вопрос. Дело в том, что естественный отбор вовсе не представляет какого-нибудь исключительного фактора. В конце концов, это не что иное, как то же самое влияние среды, правда, в другой форме. Если мы говорим о борьбе за существование, то ведь она происходит на фоне окружающей среды. Если мы говорим о влиянии живой среды, о влиянии конкуренции, то здесь естественный отбор есть не что иное, как воздействие одного из внешних факторов, и нам вовсе нет надобности ограничивать факторы внешней среды только тем кругом, на котором, быть может, настаивают крайние ламаркисты. Если мы обратимся к истории, то мы, конечно, все знаем, что сам Дарвин был ламаркистом, и целый ряд его последователей, за исключением вейсмановской школы и очень многих современных генетиков, разделяли эту точку зрения и считали, что принцип естественного отбора и принцип ламаркистский могут быть объединены в одно стройное целое. Конечно, возникает вопрос о сравнительной роли обоих факторов, но здесь мы едва ли можем дать какое-нибудь рациональное решение проблемы, просто потому, что влияние естественного отбора слишком

мало изучено, и мы только очень мало можем говорить конкретно о роли естественного отбора в эволюции.

Резюмируя все сказанное мною в этом докладе, я должен констатировать, что современная биология все больше и больше заставляет нас принять ламаркистскую платформу. Опыты, число которых все время увеличивается, при чем улучшается также их качество, несомненно, показывают, что мы стоим на совершенно правильной почве, тем более, что они имеют и теоретическое обоснование. В то же время генетика, которая, конечно, имеет свое большое значение, просто не может подвести нас к интересующей нас эволюционной проблеме. Поэтому на первое место мы должны поставить те данные, которые имеются в распоряжении современного ламаркизма.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Е. С. СМЕРНОВА

Серебровский, А. С. Как говорит Ле-Дантек, одна из самых опасных вещей—это придумать слово, не имеющее реального значения, от него потом невозможно отделаться, его продолжают обсуждать и защитники, и противники. В биологии таким понятием в значительной степени является «индукция». Об этой «индукции» без конца пишут, особенно ламаркисты, классифицируют ее на «соматическую», «параллельную» и пр., а, между тем, это слово понадобилось в свое время для истолкования некоторых неверных фактов. Теперь мы уже никакой индукции не знаем, и если Мёллер получил мутации действием рентгеновских лучей на хромозомы, то гораздо правильнее так просто и говорить и не упоминать об «индукции», с которой связано столько туманных представлений.

А между тем, именно жонглируя «индукцией», можно поставить опыты Мёллера в ряд с бесчисленными ламаркистскими опытами, пытавшимися обнаружить эту пресловутую «индукцию», главным образом, конечно, соматическую.

Чтобы ламаркисты более осторожно причисляли Мёллера к «своим», общу его собственное отношение к ламаркизму. На протяжении всего берлинского международного конгресса по генетике мне пришлось услышать имя Ламарка только один раз, в докладе Мёллера. Рассказывая о полученных им нескольких стах мутаций, он демонстрировал диаграмму распределения этих мутаций по длине хромозомы. Получилась картина, похожая на вид Нью-Йорка, с высокими домами-небоскребами. «Ламаркисты могут сказать,—пошутил Мёллер,—что здесь перед нами влияние внешних условий». Поэтому докладчик совершенно извращает картину, ставя Мёллера в один ряд с Каммерером, Студенцовым, Гаррисоном и Гарриттом и др. Принципиальная разница в подходах его и их к решению поставленного вопроса будет подробно разобрана мною в следующем докладе.

Так же совершенно неверно утверждение докладчика, что открытие Мёллера явилось для генетиков неожиданностью. Неожиданным было лишь то, что он добился таких блестящих результатов. Но сами результаты предсказывались генетиками с большой уверенностью. В цитате из моей статьи, которую докладчик смягчил, я писал: «Вместо наивной точки зрения, которая утверждала, что наследственные элементы можно менять очень легко, возникла антитеза, которая утверждала независимость, невозможность их изменить, а теперь мы приближаемся к синтезу, говоря, что, вероятно, и гены можно будет изменять, если только мы научимся понимать, на что и как нужно действовать» («Под знаменем мар-

ксизма», 1926 г., № 3, стр. 108). О какой же *принципиальной* неожиданности можно говорить?

Точно так же докладчик совершенно извратил картину, говоря, что у него осталось впечатление от конгресса, что генетику пора пересмотреть. Три доклада из полутораста, посвященные критике мorganовской теории, были или сплошным недоразумением (доклад Герберта Нильсона), или были в высшей степени «*ein theoretisch*» и опасности для мorganизма ровно никакой не представляли.

Кузин, Б. С. Вопреки утверждению тов. Серебровского, что последние опыты Мёллера по наследованию приобретенных признаков не изменяют отношения ученых к этому вопросу, это все-таки не совсем так. Трудно сказать в подтверждение этого что-нибудь более убедительное, чем сказал докладчик, приводя собственные слова тов. Серебровского, что важнейшее внешнее воздействие, которому могут поддаваться гены,—это старение.

Серебровский, А. С. Ничего подобного.

Кузин, Б. С. Между тем, это напечатано. Таким образом, несомненно, что отношение тов. Серебровского к этому вопросу как-то изменилось (*Серебровский*. Ничего подобного). Я при всем напряжении своих мыслительных способностей не могу понять, чем принципиально отличаются опыты Мёллера от старых опытов Тоуэра. В конце концов, здесь все те же элементы—определенное воздействие и определенная наследственная реакция на это воздействие. Вот, мне кажется, что это обстоятельство, именно признание некоторых случаев наследования приобретенных признаков, в высшей степени симптоматично. Это позволяет надеяться на скорое разрешение всей проблемы в ламаркианском смысле. Я потом скажу несколько слов по поводу тех терминов, которых предлагал избегать тов. Серебровский. А покамест остановлюсь лишь на значении тех новых фактов, которые были сообщены в докладе. Вначале, когда был поставлен вопрос о наследовании приобретенных признаков, под этим имелось в виду нечто вполне определенное, что сейчас и подтверждается опытами, т.-е. что воздействие внешней среды вызывает наследственное изменение признаков. Верно, примеры, которые цитировал тов. Смирнов, не всегда представляют собою случаи адекватного наследования, но, мне кажется, что эта последовательность фактов и изменения отношения к ним позволяют надеяться, что скоро будут подтверждены и приняты основные случаи адекватного наследования (я имею в виду опыты Каммерера).

Что стоит главным препятствием на пути признания адекватного наследования? Нам трудно представить себе, как раздражение может действовать на половые клетки именно тем способом, чтобы они в следующем поколении дали те же изменения, которые сама претерпела в первом поколении. То обстоятельство, что генетики отказываются представить себе когда-либо этот путь воздействия от сомы первого поколения к плазме и от плазмы к соме второго поколения, свидетельствует только о недостатке научной фантазии. Ведь нам также неизвестен механизм обычного воздействия плазмы на сому. Мы не знаем, каким образом половые клетки передают те свойства, которые в них заложены. Однако, на представление этого пути у генетиков воображения хватает. Почему же его недостает на обратный путь? Несомненно, что этот вопрос далеко не так ясен. Даже изложенная тов. Смирновым последняя работа все-таки вряд ли что-либо большее, чем рабочая гипотеза. Но, мне кажется, что в том случае, когда мы сталкиваемся с очень сложными, трудно поддающимися объяснению, явле-

ниями, наша прямая обязанность направить все усилия как раз на занятие этими темными покамест областями науки, иначе мы рискуем тем, что эти факты попадут в руки совершенно нежелательные. Пример этого мы имеем в случае истолкования явлений регенерации, морфоллаксиса и т. д., когда подобные же факты, трудно поддающиеся объяснению, попали в руки виталистов.

Затем я хочу сказать несколько слов специально по поводу того, о чем говорил тов. Серебровский. Во-первых, он считает нецелесообразным сопоставление различного рода индукций: параллельной, соматической и т. д. Мне кажется, что ламаркисты вполне присоединятся в этом к нему. Ведь как раз ламаркисты возражают против различия всяких индукций, этот термин выдуман не ламаркистами. Не кто иной, как Гаррисон, утверждает, что, в сущности, спор о том, какая индукция имела место в его опытах—параллельная или соматическая—имеет чисто академическое значение. И мы ни в коем случае не стремимся развивать и дискутировать эти тонкие понятия дальше. Наконец, мы не можем согласиться и с тем, что опыты Гаррисона и Гарритта не убедительны. Конечно, контроль был поставлен вполне удовлетворительно. Я не помню точно, сколько опытов было произведено Гаррисоном и Гарриттом, но во всяком случае я думаю, что всех опытов, как о кормлении растениями, покрытыми копотью и взятыми из природы, так и опытов с искусственным кормлением солями, было в общей сложности не меньше двадцати. Это я беру первую попавшуюся цифру, которая не рискует превзойти действительность. Я не знаю, как тов. Серебровский проходит мимо того обстоятельства, что ни в одном из этих минимум двадцати случаев в контроле не было ни одной меланистической формы. Случайность тут, очевидно, исключается. Если появление меланистов не стояло ни в какой связи с действием химического фактора, то это уже явление порядка сериального, не входящее в компетенцию теории вероятности.

Тов. Серебровский сказал, что на Волге также встречаются затемненные бабочки. Интересно, в каком именно районе. Часть Поволжья является промышленным районом, и поэтому меня несколько не удивит, если там будут встречаться меланистические аберрации.

Левин, М. Л. Товарищи, разрешите мне сначала сказать пару слов по адресу соратника по дарвинизму, тов. Серебровского. Тов. Серебровский сказал, что на берлинском съезде генетиков имя Ламарка совсем не было упомянуто. Один только раз его вскользь упомянул Мёллер и то лишь для того, чтобы позволить себе шутку. Я полагаю, что подобное умалчивание о Ламарке ничего не показывает ни против самого Ламарка, ни против его учения. Такое поведение конгресса еще отнюдь не говорит за то, что Ламарк исторически превзойден. Что среди генетиков-антилармаркистов есть ярко выраженное буржуазное, более того, определено черносотенное течение, с которым марксисты должны и будут беспощадно бороться, это, кажется, для всех нас—триумф.

Далее. Вы, тов. Серебровский, говорите, что в опытах Мёллера *вообще нет никакой индукции*, ибо половые элементы подвергались воздействию как в *recertaculum seminis*, так и непосредственно, т.-е. вне *recertaculum seminis*, при чем воздействие рентгеновских лучей и в том, и в другом случае дало одинаковый эффект. По-моему, это не верно, так как при «параллельной индукции»—если мы будем употреблять этот термин в том смысле, в каком его понимал Детто, введший его в 1904 году в своей интересной книге «*Die Theorie der direkten Anpassung*»—один и тот же эффект может быть вызван независимо как в соме, так

и в идиоплазме. При *прямом* воздействии на половые клетки *вне* сомы происходит такое же воздействие на половые клетки, как и при параллельной индукции. Происходит ли изменение сомы в том случае, когда рентгеновские лучи действуют на половые клетки в *vesertaculum seminis*, в данном случае совершенно безразлично. Значит, индукция *есть*. Назовите ее хотя бы и прямой индукцией. Если бы она была даже параллельной индукцией (в смысле Детто), то ведь и при *такой* индукции воздействие идет прямо к половым элементам. Понятие параллельной индукции включает в себя *независимую* индукцию, независимую от соматических изменений. (*Голос с места*. А адекватность получается?). Если вообще признавать пресловутую адекватность, то принципиально она *может* получиться независимо от того, на что вы влияете, т.е. на половые клетки в *vesertaculum seminis* или же на половые клетки вне его.

Теперь позвольте сказать несколько слов тов. Смирнову. Тов. Смирнов выступил, как обыкновенно, с интересным докладом, стоящим на уровне современных научных данных. Одновременно его реферат носил в некоторой степени характер и программной речи. Докладчик коснулся почти всех основных вопросов, связанных с наследованием благоприобретенных признаков, и даже отношения этих вопросов к дарвинизму, хотя тут у него вышло совсем жидко. Мы, стало быть, имеем перед собой своего рода *credo* вождя «ламфракции», как у нас в шутку принято говорить.

Докладчик начал с того, что, дескать, сейчас накопилось много новых данных, оправдывающих существование направления, требующего пересмотра отношения большинства биологов к ламаркизму. Я думаю, что это — неправильное изображение истинного положения дел. Во-первых, *ламаркистов больше*, чем дарвинистов. Вы ограничиваете свой кругозор рамками эксперимента, однако, даже и в этом случае окажется, что большинство биологов будет на стороне ламаркизма, пусть и «стихийного» (напр., большинство физиологов). Если же вы имеете в виду только область *экспериментального* изучения *наследственности*, то тогда вы правы. Большинство экспериментаторов-генетиков действительно принадлежит к противникам Ламарка. Но ведь биология не исчерпывается не только генетикой, но даже и обширным понятием эксперимента. Не случайно вы привели имя Веттштейна. Веттштейн — крупнейший *систематик*, первоклассный фило-генетик, но не экспериментатор и даже не теоретик в области теории наследственности. Ссылка на Веттштейна лишь подтверждает наше положение, что эволюционисты — не экспериментаторы, а их подавляющее большинство, стоит на точке зрения ламаркизма, являющегося в эволюционной теории линией наименьшего сопротивления и наибольшей свободы для спекулятивного решения сложных проблем наследственности. Веттштейн один из первых снова поднял вопрос о возвращении к взглядам Ламарка, вернее, к взглядам Жоффруа Сент-Илера. Чтобы подчеркнуть все же отличие своего ламаркизма от наивных во многих отношениях взглядов Ламарка, Веттштейн назвал это направление *ново-ламаркизмом* (Neo-Lamarckismus). Однако Веттштейн остается всецело в пределах анализа обще-эволюционных вопросов, не пытаясь, даже чисто теоретически, разобраться в законах наследственности, как это делали, напр., Дарвин, Геккель, Нэгели, Гааке, Рабль и др. Кроме того, нужно еще отметить, что большинство фитогеографов и зоогеографов, а также палеонтологов, напр., такие видные лидеры, как Осборн, Кокен и Абель, — все более или менее выдержанные ламаркисты. Один из наиболее ярых противников ламаркизма, Иогансен, выпустил большой учебник

по общей ботанике *вместе* с ботаником Вармингом, являющимся ламаркистом. Поскольку биологи задаются вопросом о факторах эволюции, они чаще всего занимают позицию именно ламаркизма, в частности, механо-ламаркизма. Что касается дальше зоологов Плате и Семона, то оба они, правда, сочетают учение Дарвина и Ламарка. Это бесспорно. Но между обоими есть и значительная разница: Плате держится рамок опыта и стихийного материализма, вся же теория Семона построена на чисто умозрительных аналогиях. Его теория накопления наследственных признаков, наподобие накоплению представлений, совершающемуся в памяти, очень напоминает эмпириокритическую лингвистику Авенариуса, где новые слова и мудреные названия должны заполнить пробелы в нашем понимании биологических процессов. На основе аналогии с памятью Семон строит тщательную, подробно разработанную теорию, опирающуюся на ряд новых терминов (энграмм, энграфическое действие, экфория и т. п.), ничего не дающих для объяснения закономерности наследственных явлений.

Далее. Докладчик говорил о многих новых опытах, об опытах Гаррисона и Гарритта, Гюейра и Смиса, Дюркена, Мёллера и др. Тут опять следует отметить одно неверное обобщение докладчика. Если вы, тов. Смирнов, ссылаетесь на ученых в пользу ламаркизма, то вы обязаны разобраться в том, какой вес имеет суждение ученых разных специальностей, причастных к теории наследственности в различной степени. Если вы указываете на Мэк Брайда, Каммерера, Штейнмана и Фика, как на ламаркистов, то я должен заметить, что эти люди составляют очень пеструю компанию. Штейнман — геолог и палеонтолог, в области наследственности никогда не работавший, Фик — анатом, правда, занимающийся проблемами строения клетки и хромозомной теории, Мэк Брайд — известный эмбриолог, тоже не теоретик наследственности. Остается Каммерер, действительно серьезно и много поработавший над решением проблемы наследования приобретенных признаков. Нельзя смешивать специалистов и неспециалистов в одну кучу.

Перехожу к самим опытам.

Огромное значение мёллеровских экспериментов, по-моему, в том, что они основываются на строгом применении начал атомистики к проблеме наследственности, т.е. к исследованию вопросов изменчивости с точки зрения дискретного строения идиоплазмы. Мёллер перенес этот метод, столь блестяще развитый менделизмом, на вопрос об искусственном создании мутаций. Здесь речь идет о *точном* учете признаков, расположенных в хромозоме, которых мы, однако, в хромозоме *не* видим, но о существовании которых мы заключаем на основании законов скрещивания. Эти законы позволяют нам косвенно вывести *топологическое* значение отдельных признаков в хромозоме. То, что мы не видим линейного расположения признаков в хромозоме, отнюдь не говорит *против* такой теории дискретности, иначе вся стереохимия должна бы быть также отвергнута.

На чем основываются замечательные результаты менделизма? На том, что менделизм позволяет предсказывать последствия скрещивания на основе количественного и качественного учета, наподобие химии. Это стало возможным лишь благодаря тому, что менделизм исходил из точного анализа сначала *одного* признака и лишь впоследствии перешел к изучению закономерностей, относящихся к нескольким признакам и комбинациям таковых. Опыты Мёллера основаны на признании линейного строения хромозомы, при чем определенным признакам приписывается пребывание в определенном участке хромозомы. Главное значе-

ние этих замечательных экспериментов заключается в сознательном стремлении изменить уже более или менее знакомую нам по своему строению идиоплазму определенного вида животных, т. е. определенные хромозомы. У ламаркистов же мы видим—и докладчик совершает ту же ошибку,—что самые разнородные по своему значению и по степени убедительности опыты смешиваются в одну кучу. Я ожидал, что, излагая различные опыты, тов. Смирнов подчеркнет, что почти все они основываются на *фенотипах*, а не на «чистых линиях». Если же чистых линий нет—а их очень трудно добиться у животных, ибо «чистая линия» есть ряд поколений самооплодотворяющегося организма,—то это нужно отметить. Ведь это—важнейшее обстоятельство, и биологи в настоящее время в праве требовать учета этого фактора при всех разговорах о передаче индивидуально приобретенных признаков. Учение о чистых линиях, или генотипах, является необходимой предпосылкой точного исследования явлений наследственности.

Далее докладчик совсем обошел другой важный вопрос, именно т. н. *угасание признака* (Atresie) в течение поколений. Такое угасание свидетельствует о непрочности достигнутых влиянием искусственных условий изменений идиоплазмы. Нельзя также в 1927 году рассказывать об опытах Каммерера, Гаррисона и Гарритта, Мёллера и др. и совсем умалчивать о совершенно различном подходе этих ученых к решению одной из наиболее трудных проблем биологии. Ведь наука развивается и требует теперь гораздо более точных критериев, чем это было двадцать лет тому назад. Недопустимо и совсем не по-марксистски, поэтому, говорить все время, как это делают ламаркисты, о какой-то *среде вообще*. Существует среда и среда. Тов. докладчик учит нас, дарвинистов, что мы должны принять во внимание действие среды. Прекрасное пожелание, но *действия среды дарвинисты никогда и не думали отрицать!* Мы рассматриваем явления наследственности с точки зрения атомистики, как это делает школа Моргана. Отвлечемся пока от вопроса о взаимодействиях, происходящих в организме в целом, которые могут быть установлены и независимо от разложения организма на мельчайшие частицы. Если физикам дозволено иметь многотомное руководство по атомной физике, то почему, спрашивается, биологам нельзя иметь подобное же руководство по атомной теории наследственности? Ведь физики никогда не пришли бы к целому ряду макроскопических закономерностей, если бы они не применяли теорию дискретного строения материи, т. е. учения об атомах, электронах, квантах и т. д., как Маркс не вскрыл бы закономерности экономического развития капиталистического строя, если бы он не исходил из атома экономики, из понятия товара. Однако из этого отнюдь не вытекает, что *все* макроскопические явления должны быть сведены, хотя бы в последнем счете, на микроскопические.

Но эта атомистическая генетика в то же время отнюдь не отрицает влияния среды на организм, орган, ткань, клетку, клеточное ядро и, наконец, хромозому и даже хромозому. Даже такой противник наследования индивидуально приобретенных признаков, как датский ботаник Иогансен, в последнем издании 1926 года своего знаменитого руководства по теории наследственности «Elemente der exakten Erblchkeitslehre» признает возможность действительного влияния среды на изменчивость организма. (Кузин. Иогансен говорит, что теория наследственности не имеет никакого отношения к эволюции). Нет, тов. Кузин, Иогансен говорит только, что надо изучать законы наследственности *независимо от вопроса о факторах эволюции*, и в этом отношении он абсолютно прав.

Наоборот, законы эволюции, разумеется, нельзя изучать, не принимая во внимание законов наследственности. Но я хочу здесь указать на другой пункт, именно на отношение Иогансена к вопросу о влиянии среды на идиоплазму. Вот что говорит Иогансен, которого, как и всех дарвинистов, вы, товарищи ламаркисты, постоянно упрекаете в отрицании влияния среды. Разрешите прочесть это место по оригиналу (стр. 660):

«Dass «Körper» und «embryonales Gewebe» unabhängig sein sollten, in dem Sinne, dass der «Körper» ohne Einfluss auf die Beschaffenheit der Geschlechtszellen sei, ist falsch, physiologisch unannehmbar und unbegründet. Der Organismus ist ein Ganzes; die embryonalen Gewebe werden wie alle anderen Gewebe ernährt und stehen schon somit in steter Verbindung mit den übrigen Teilen des Körpers—um gar nicht von inneren Sekretionen zu reden».

Кажется, достаточно недвусмысленно. Не правда ли? Конечно, нельзя себе представить, чтобы ген не подвергался изменениям под влиянием внешних для него причин, при чем совершенно не важно, действуют ли внешние причины непосредственно, т. е. *прямо* на зародышевые элементы, или же через сомю, включая сюда и внутреннюю секрецию.

Тов. Смирнов в качестве об'яснения наследования приобретенных признаков упомянул здесь о теории автокатализаторов. Теория автокатализаторов, кстати, не новая, хочет быть универсальным об'яснением всех видов наследования приобретенных признаков. При этом упускается из виду то обстоятельство, что самое *наследование* таких признаков еще не доказано. Затем, я не вижу никакой принципиальной разницы между теорией автокатализаторов и, например, гормональной теорией. Не все ли равно, кому приписывать монополию: гормонам или автокатализаторам. И те и другие нам по существу еще загадочны. Ведь вопрос об *адекватности* этим еще не решается. Почему *адекватная* передача приобретенных соматических признаков должна стать понятнее при помощи автокатализаторов, о которых мы толком ничего не знаем. Когда Геккель строил свою «пластидульную» гипотезу («Perigenesis der Plastidule») и об'яснял наследственность определенными видами волн и колебаний рассеянных по телу частиц, действующих на половые клетки, или когда Дарвин развивал свою гипотезу «пангенезиса», то оба по существу уже дали такие же об'яснения наследственной передачи приобретенных признаков, какие теперь преподносят нам сторонники гормонов или автокатализаторов. В связи с этим необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. Ведь автокатализаторы *сами* являются признаками! А раз так, то я спрашиваю: на каком основании *один* признак получает монополию для определения всех остальных? Ведь нет никаких оснований предполагать, что автокатализаторы у всех организмов одинаковы, что они своего рода константа. Наоборот, если автокатализаторы реально, как признаки, существуют, то нужно ожидать, что у различных видов имеются и различные автокатализаторы. Если же удастся доказать, что они различны, иными словами, *генотипичны*, то их наследственность сама будет нуждаться в об'яснении. Если же эти автокатализаторы не являются самостоятельными признаками, то в чем выражается их роль в передаче по наследству признаков организма? Сугубо непонятно! По-моему, тут одни слова. Вы постулируете какую-то среду, выделяя ее из целого и приписывая ей роль транспортного средства. Вы лучше сначала установите, существуют ли вообще для отдельных видов *точно установленные* специфические автокатализаторы. А если они существуют, то являются ли они

настоящими признаками, следующими законам Менделя. Если вы нам докажете, что эти автокатализаторы сами подчиняются законам расщепления, тогда мы просто скажем: Нашли *еще один* признак, и слава богу! Но права господства над признаками организма мы за ним и тогда еще не признали бы. Где экспериментальные исследования с этими таинственными автокатализаторами? Их все еще нет, а говорят о них уже давно. Пускай нам докажут, что автокатализаторы такие признаки, которые должны быть *принципиально иначе* оценены, чем, скажем, признаки—длинная щетинка, синий глаз или какое-нибудь пятно на теле животного. Все то, что я сейчас сказал относительно гипотезы Вернера и Шмальфуса, относится также и к разным гормональным теориям наследственности. Между прочим, у ученых, работающих в области изучения внутренней секреции, вообще существует тенденция об'ять необ'ятное, т.-е. *все* об'яснять с точки зрения эндокринологии. (*Голос с места*. Прошло уже!). Будем очень рады, если это поветрие уже миновало. Эндокринология от этого только выиграет. Преждевременные и стремящиеся слишком много охватить обобщения могут в первую голову повредить самому учению о внутренней секреции.

Наконец, что касается новой теории Пшибрама о «контрастном наследовании», то я еще не успел с ней ознакомиться, но, судя по изложению докладчика, она также ничего не об'ясняет. Насколько я понял, гипотеза Пшибрама вообще не об'ясняет наследования приобретенных признаков, а лишь формулирует факт, что в зависимости от интенсивности влияния одного и того же фактора среды признаки носят неоднородный характер. Тот же самый фактор может в зависимости от того, с какой интенсивностью он действует, в одном случае вызвать, например, удлинение хвоста крысы, в другом—его уменьшение. (*Серебровский*. В третьем случае совсем не действует). Рассуждения Пшибрама а priori исходят из доказанности передачи по наследству приобретенных соматических признаков, так что теоретически нового Пшибрам, по-моему, если оставаться в пределах интересующего нас здесь предмета, не дал.

Вопрос о том, почему в некоторых случаях наблюдается некоторая адекватность признака у потомков, в других же ее нет, еще только надлежит решить. Но и эту проблему можно будет решить только при помощи методов атомистики, а не ламаркистских словесных упражнений, вроде гипотез Семона, Риньяно, Пшибрама и др. То, что ламаркизм в последнее время все чаще выдвигает подобного рода спекулятивные гипотезы для об'яснения мнимой передачи индивидуально приобретенных признаков, свидетельствует не о его здравом, а о его дряхлости. В этой фазе он пребывает вот уже около 15—20 лет. Между тем, сами ламаркисты обвиняли Вейсмана больше всего в том, что все свои гипотезы он обосновывал чисто умозрительно. Заметим, en passant, что о Вейсмানে часто пишут и говорят люди, его вряд ли внимательно читавшие, что, правда, не менее часто встречается и у дарвинистов в отношении трудов Ламарка. Вейсман никогда внешнего фактора не отрицал. Вся его герминальная селекция построена на действии внешнего фактора, питания биофор. По его мнению, изменчивость признаков есть результат различного питания биофор. Несмотря на то, что Вейсман был безусловно самым последовательным противником ламаркизма, он все же не отрицал возможности прямого влияния среды на половые клетки. Он признавал и параллельную индукцию. Категорически же отрицал он лишь *адекватное* изменение идиоплазмы и наследование *функциональных* приспособлений и *трагм.*

Что касается дарвинизма, селекционной теории, то докладчик ее попросту обошел, мотивируя это тем, что-де никаких недвусмысленных опытов по части естественной селекции не существует, а потому он в праве обойти дарвинизм молчанием. Ну что же, раз у вас нет охоты критиковать теорию отбора, то и мы в данном случае можем ее обойти молчанием.

Относительно рудиментарных органов я должен заметить, что это действительно сложный вопрос, который и дарвинизму доставляет ряд затруднений. Но я об этом здесь не могу распространяться, т. к. это завело бы меня слишком далеко. Замечу лишь мимоходом, что, по-моему, дарвинизм в состоянии об'яснить и рудиментарные органы. Вейсман одно время об'яснял рудиментарные органы так наз. панмиксией, но он скоро понял, что панмиксия сама по себе допускает как регресс, так и прогресс органов. Впоследствии он, как известно, от этого об'яснения отказался.

В общем и целом должен сказать, что я от докладчика ожидал большего. Я думал, что тов. Смирнов проанализирует современное состояние вопроса о наследственном влиянии среды, учитывая все те требования точной методики, которые пред'являет в настоящее время теория наследственности, опирающаяся на труды Менделя, де-Фриза, Иоганнсена и Моргана. Докладчик же доказал, что ламаркисты все еще топчутся на месте. Самые разнокалиберные по своему значению опыты, самые различные гипотезы и самые различные течения среди эволюционистов эклектически об'единяются в одно целое. Я думаю, что таким путем биология кардинальных вопросов наследственности не разрешит. Меня лично тов. Смирнов не убедил в том, что перечисленные им новые опыты способны доказать адекватность наследования приобретенных соматических признаков.

Тем не менее доклад дал много интересного. Мне кажется, было бы хорошо поставить в нашем Обществе контр-доклад дарвинистов о тех же опытах, с критическим освещением методологических промахов и ошибок у ламаркистов. Их взгляды в докладе тов. Смирнова выявились очень четко.

Вермель, Ю. М. Я воспользуюсь случаем, чтобы сказать несколько слов оппонентам ламаркизма гг. Серебровскому и Левину.

У т. Серебровского налицо целый ряд логических ошибок. Во-первых, то обстоятельство, на которое указал т. Левин, что т. Серебровский по неупоминанию на с'езде имени Ламарка судит об отношении к ламаркизму, есть ошибка произвольного вывода,—fallacia fictae necessitatis: в ней тезис не вытекает из посылок и присоединяется к ним путем ошибочного умозаключения.

Во-вторых, т. Серебровский допустил ошибку—ignoratio elenchi, опровергая не то положение, которое было выставлено, а другое, лишь несколько на него похожее. Это выразилось в его критике толкований индустриального меланизма и опытов Мёллера. Вопреки заявлениям т. Серебровского, т. Смирнов эти опыты не приводил в качестве подтверждения соматической индукции. Он доказывал наличие взаимодействия организма со средой, но не говорил, что оно исключительно может происходить через сому. Непосредственное влияние внешней среды на половые клетки можно рассматривать, как частный случай ламаркизма, понимаемого в широком смысле (*Серебровский*. Ну, нет, генетики это тоже признают). Если вы припомните ваши же собственные слова, что, вероятно, много мутаций происходит под влиянием внутренних причин,

то я могу этому противопоставить другое учение—эпигенетическое, которое будет более близким к ламаркизму.

Наконец, т. Серебровский употребил даже искажение. Откуда он взял, будто индустриальный меланизм понимается, как следствие осаждения копоти на бабочках? Никто в жизни этого не утверждал. Ни Гаррисон, ни т. Смирнов не говорили, что таким образом можно действовать в опыте или в природе на бабочек. Этот пример вымышлен и совершенно здесь ни к чему.

Теперь два слова т. Левину. Он упомянул, что ламаркистами являются не столь экспериментаторы, как зоологи, ботаники, палеонтологи, анатомы и т. д. Но я не понимаю, в опровержение чего это приводилось. Эти науки именно и являются важнейшими подспорьями ламаркизма. Я положительно считаю, что вся природа кричит о ламаркизме, и надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Но я не буду обосновывать эту сторону более подробно, потому что я заявил об особом докладе и, вероятно, в скором времени его прочту.

Затем, относительно крыс. Тов. Левин утверждает, будто для того, чтобы говорить о контрастном наследовании, нужно исходить из готового признания ламаркизма. Но зачем; спрашивается, нужно это делать? Ведь Пшибрам, устанавливая свою теорию, получил наследование приобретенных свойств на деле. (Левин. Это не доказано). Если вы припомните, сам Морган признает, что опыты с белыми крысами—это один из самых доказательных опытов¹.

Относительно рудиментарных органов я кратко упомяну о своих наблюдениях. Мне пришлось недавно исследовать рудиментарные конечности у ящериц, и я заметил, что некоторые очень мелкие детали строения сохраняют у них тот же характер филогенетических изменений, что и у ящериц с хорошо развитыми конечностями. Но так как конечности уже давно перестали здесь играть сколько-нибудь заметную роль в жизни ящериц, то допустить влияние естественного подбора здесь невозможно и приходится принять ламаркистское объяснение.

Припоминаю еще вопрос о роли «слова», затронутый т. Серебровским. Конечно, очень легко отделаться от разбора какого бы то ни было вопроса, указывая, что употреблено слово неподходящее, выдуманное и ничего не стоящее. Но я буду говорить не о том. Я хочу отметить, что это замечание очень легко обратить против генетиков. Все знают, как генетики любят выражение «длительная модификация», спасающее якобы от признания соматической индукции. Но это, в сущности, и есть соматическая индукция, и ламаркисты ничего больше не требуют, как признания того, что длительная модификация есть распространенное явление, и что она может заходить достаточно далеко. Таким образом, это выражение выдуманно только для мнимого успокоения генетиков. Слово «ген» еще более характерно. Пусть попробует мне кто-нибудь объяснить, что под этим словом подразумевается: кусочек хромозомы, химическое состояние, отвлеченный фактор, или здесь ничего не кроется, как это в новейшее время высказал Дембовский.

Что касается сообщения т. Смирнова, то я мог бы прибавить очень многое, но, во избежание повторений, отложу это до моего собственного доклада. Здесь мне хотелось бы оттенить только одну из сторон, упомянутых докладчи-

¹ Морган и Филипченко, «Наследственны ли приобретенны признаки». Ленингр., 1925 г., «Сеятель».

ком. Я имею в виду одно замечание, которое многие направляют против ламаркизма, в частности т. Левит. Ламаркистам неправильно приписывают необходимость смотреть на организм, как на арифметическую сумму свойств, каждое из которых индуцирует половые клетки самостоятельно. Ламаркизм всегда рассматривает организм, как целое. Каждое изменение признака влияет на все части организма, в том числе (подчеркиваю это, как отличие от генетиков) и на половые клетки. Обратное, когда половые клетки дают новый организм, их свойства оказывают действие на все части, в том числе на орган, испытывший в предыдущем поколении изменение. Вопрос, конечно, об адекватности. Обнаруживается, что характер изменения половых клеток в развитии таков, что при образовании измененного органа он проявляет себя таким же образом, как и в родительском поколении. Почему это происходит? Это вопрос очень сложный, но на это ламаркисты в первую голову не обязаны отвечать. Они могут указать, что это—эмпирическое наблюдение и что несколько не требуется, чтобы установление этого факта зависело от теории, которая его объясняет. Теория может быть и не верна, но факта вы ничем не смоее.

Что изложенное мною воззрение подтверждается фактами, можно убедиться из опытов Каммерера над асцидиями. Как известно, Каммерер отрезал асцидиям сифон, после чего он восстанавливался в увеличенном виде. Затем он отрезал всю нижнюю половину тела, вместе с половыми железами; железы регенерировали. Потомство таких асцидий также имело удлиненный сифон. Это может быть объяснено только таким образом, что повышенная способность к росту сифона передается всем решительно клеткам, в том числе всем соматическим, так как именно из них в дальнейшем возникли новые половые железы. (Левин. Есть попытки опровержения этого опыта). Очень слабые попытки, надо отдать им справедливость: отрицательный результат ничего не доказывает. Если у человека такие руки, что он ничего не умеет сделать, то это не уничтожает удачного опыта.

Второй важный результат опытов Каммерера таков. Каммерер несколько раз под ряд отрезал сифон у асцидий. Тогда он вырастал уступами из каждого последнего разреза. У потомков же он хотя и был удлинен, но не имел ступенчатой формы. Каммерер объяснил этот результат так, что налично существует лишь передача способности к усиленному росту, а не передача специфической структуры сифона. Таким образом, имеется индукция очень общего свойства, присущего организму, как целому.

Наоборот, генетика представляет себе организм, как арифметическую сумму стойких элементов. Гены составляют самую суть организмов: генотип складывается из них, как из кирпичиков. Каждый ген изменяется самостоятельно (хотя бы и под влиянием среды) и совершенно независимо от сомы. Каждое свойство есть нечто особое, от другого не зависящее. То, что т. Левин приводил слова Иоганнсена, это, быть может, очень хорошо рекомендует его лично, но это не есть основная черта генетики. Иогансен среди генетиков и во многих других отношениях является очень прогрессивным элементом.

Но как же быть? должны ли мы сказать, что и эта точка зрения не имеет никаких оснований? Конечно, нет. Имеются многочисленные факты в ее пользу: хотя бы, напр., самый факт альтернативного наследования. Что же отсюда следует? Должны ли мы признать какую-нибудь одну из точек зрения и вступить друг с другом в кровавую борьбу, где кто-нибудь из нас выживет в борьбе

за существование, а другой погибнет благодаря естественному подбору? Каммерер сделал попытку найти общую точку зрения. В его работах были случаи, когда наследственность, происходившая по типу длительных модификаций, приобретала в дальнейшем альтернативный характер. Конечно, такие опыты надо поставить с большей точностью в большем масштабе, но попытка уже есть. И я твердо убежден, что никакие словопрения, никакие обвинения и полемические выпады не заставят нас отказаться от фактического разрешения этого вопроса на конкретном материале.

Волоцкой, М. В. Сегодня неоднократно затрагивался вопрос о значении рудиментарных органов. В связи с этим мне хотелось бы поделиться одним из своих наблюдений, относящимся к человеческой руке. Одно время я работал по вопросу о пропорциях кисти и произвел измерения рук более чем у 1.200 человек. При этом я многократно замечал, что представители прежних привилегированных слоев населения, предки которых в течение ряда поколений были свободны от тяжелого физического труда, гораздо чаще имеют долихоморфное сложение кисти, чем представители физического труда, прежде всего рабочие и крестьяне, у которых гораздо чаще встречалось более массивное, мускулистое, брахиморфное сложение кисти. Должен, однако, оговориться, что в то время я специально не занимался вопросом о социальных различиях в распределении долихоморфных и брахиморфных типов кисти, работа моя касалась соотношений в длинах пальцев в связи с возрастом и полом; то явление, о котором я сейчас упоминаю лишь попутно, обращало на себя мое внимание. Таким образом, у меня создалось определенное впечатление, что так называемые аристократические руки, с длинными узкими кистями, далеко не являются только продуктом фантазии художников. (С места. Когда вы это рассматривали?). В 1921—23 гг. (С места. Посмотрите в 1927 г.). Спрашивается теперь: можно ли объяснить сравнительную частоту долихоморфных кистей среди нетрудовых элементов общества, как продукт действия отбора? В таком случае пришлось бы допустить, что в человеческом обществе длиннорукость является признаком приспособительным, помогающим человеку выдерживать борьбу за существование. Но если это и можно признать, то лишь индустриально, само же по себе морфологическое утончение кисти, конечно, не могло иметь адаптивного значения. Гораздо естественнее, по-моему, объяснить этот процесс морфологического рудиментирования, вырождения кисти, как следствие неполной функциональной нагрузки в течение ряда поколений. (С места. Пусть обладатели этих рук попадут на фабрику. *Левин.* Возьмите китайянок с забинтованными ногами). В конце концов нужно прямо сказать, что основную причину такого истончения кисти мы пока с уверенностью указать не можем. Конечно, если заставить аристократа, рудившегося с морфологически-рудиментированной кистью, работать на фабрике, то его кисть станет несколько шире, чем была бы при иных условиях, и чем раньше он займется физическим трудом, тем это изменение будет сильнее. Однако я думаю, что это изменение будет идти все же до известного предела. Вообще же я склонен думать, что те воздействия, которые испытывали предыдущие поколения, в известных случаях и до некоторой степени, хотя бы в форме длительных модификаций, не могут не отражаться на развитии данного поколения, и потому нельзя их так игнорировать, как это делают многие современные генетики.

Ежиков, И. И. Я тоже не отниму много времени. Я хотел высказать соображения довольно элементарные, но извинением мне послужит то, что, несмотря на элементарность этих соображений, сегодня об них не говорили или лишь слегка затрагивали.

Я согласен с А. С. Серебровским в том, что термин «индукция» пожалуй что и лишний. Действительно, выражения—влияние, воздействие, собственно говоря, от этого слова «индукция» ничем не отличаются, и с этой стороны приращение его можно считать лишним.

Я согласен также в известной мере и с тем, что дальнейшая дифференцировка этого понятия, разделение индукции на прямую, параллельную и соматическую не привело к особенно плодотворным результатам. Больше всего это относится к понятию параллельной индукции, которое, насколько я помню, было введено Детто. Ведь параллельная индукция, заключающая в себе воздействие внешних факторов непосредственно на половые элементы, в сущности, ничем не отличается от того, что называется индукцией прямой. Поэтому эта категория в значительной степени является излишней. Кроме того, параллельную индукцию представить себе не так уж просто. Параллельная индукция требует допущения того, что какое-нибудь внешнее влияние, воздействующее на организм, доходит до половых клеток в совершенно неизменном виде, что на части сомы оно действует совершенно так же, как и на половую клетку. Конечно, сома не есть что-то безразличное, через что внешние воздействия могут проникать в совершенно неизменном виде. Указывалось, например, что если кожа животного поглощает известные световые лучи, тем самым эти именно световые лучи до гонад и не дойдут, потому что поверхностью они задержаны. Параллельную индукцию не всегда легко себе представить, а принципиально она не отличается от индукции прямой. Что касается соматической индукции, то, мне кажется, чрезвычайно важно то обстоятельство, что соматическую индукцию нельзя строго отграничить от индукции прямой.

Можно было бы даже сказать, что соматическая индукция есть частный случай прямой индукции. Если мы допускаем влияние на половые элементы какого-нибудь внешнего воздействия, лежащего вне организма, то какие же у нас имеются основания, чтобы не допускать воздействия на половые элементы самого организма, эти половые элементы в себе заключающего. Это было бы совершенно непоследовательно. Если же соматическая индукция есть частный случай прямой индукции, то отсюда следует вывод, что кто признает вторую, не должен открещиваться и от первой. И вот мне кажется, что т. Серебровский отчасти стал сам жертвой неясности понятия индукции, когда он заявил, что в опытах Мёллера никакой индукции нет. Тов. Левин уже ответил ему, что там индукция есть, прямая. Но раз прямую индукцию признавать, то очень трудно отказываться от индукции соматической, потому что воздействие сомы принципиально не отличается от какого-нибудь воздействия внешних факторов. Почему непременно думать, что только такие сильные средства, как лучи Рентгена, могут воздействовать на половые элементы и вызвать в них наследственные изменения. Ведь гены, если говорить об их материальной природе, нужно представлять себе все-таки, как молекулы или группу молекул. (Голос с места. Не обязательно). Мне очень трудно себе представить ген иначе, как материальную частицу, тем более после того, как говорят об их линейной локализации в хромосомах. Вам известно также, что Гольдшмидт создал

целую физиологическую теорию наследственности, основанную на наблюдениях из которых он выводит заключение, что гены могут различаться по количеству у различных рас. Если же им приписывать, кроме того, способность к росту, способность к размножению, то, мне кажется, очень трудно уйти от представления об их материальной природе; а если признавать их материальную природу, то чем же можно их себе представить, если не молекулами или группами молекул? Почему непременно требуются эти ультра-сильные средства, чтобы их как-нибудь изменить? Почему непременно только X-лучи представляют такое счастливое исключение? Может быть, и другие воздействия, встречающиеся в природе, способны оказывать подобное действие. Поэтому я все-таки никак не могу примириться с мыслью о том, что прямая индукция имеет место, а соматическая индукция представляет собою что-то такое совершенно невозможное. Я не говорю, что соматическая индукция должна быть обязательно адекватна. Это вопрос будущего, вопрос детализации—выяснить, в каких случаях она может быть адекватна, в каких случаях нет. А сейчас мы должны быть последовательны и сказать, что, признавая прямую индукцию, мы не можем не признать соматической индукции.

Левин, С. Г. Тов. Смирнов здесь развивал несколько теорий, могущих объяснить механизм наследования приобретенных признаков и, в частности,—гормонную теорию. По поводу этой последней я хотел бы задать докладчику несколько вопросов.

Во-первых, я хочу спросить, не ослышался ли я: действительно ли *каждый* орган выделяет гормон? Дело в том, что современная эндокринология насчитывает всего около десяти инкреторных органов, вырабатывающих специфические гормоны. К тому же, что такое орган? Есть ли это, например, рука, кисть, палец, фаланга или, наконец, клетка? Ведь понятие об органе в современной биологии вовсе не стоит так прочно! Сколько же, по мнению докладчика, гормонов в человеческом организме существует?

Второе мое недоумение относится к вопросу о механизме адекватного наследования. Как можно эту адекватность объяснить гормональной теорией? Допустим, что упражняемая рука выделяет некоторый гормон, который направляется к половой клетке и воздействует на ту ее часть, из которой у следующего поколения также разовьется рука. Но из этого еще вовсе не следует адекватность, т. е. если упражняется рука, то из этой теории еще не следует, что рука следующего поколения должна быть более сильной; может получиться обратное. Скажем, рука уродливая или менее развитая. А ведь вся ламаркистская концепция зиждется на теории адекватности!

И, наконец, третий вопрос, сюда относящийся, это вопрос относительно того, как вы себе, с точки зрения гормональной теории, представляете филогенетическое развитие? Были ведь моменты, когда данного органа (щ.) не было. Как же он зарождался? Какие гипотетические гормоны его породили? И можно ли вообще, с точки зрения гормональной теории, объяснять возникновение новых органов?

Вот недоуменные вопросы, которые невольно возникают, когда слушаешь аргументацию в пользу этой спекулятивной теории.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Е. С. СМИРНОВА

Мои оппоненты, в сущности, частично уже получили ответ от тех моих единомышленников, которые здесь выступали. Я могу добавить только тов. Се-

ребровскому относительно вопроса о различии внешних воздействий и, соответственно им, о различии реакции со стороны организма. Речь идет о том, могут ли различные воздействия вызывать одну и ту же реакцию. Не только могут,—это просто факт. Когда разные раздражения достигают известной степени интенсивности, получается одинаковая реакция. Достаточно привести опыты Фишера с бабочками, когда резкое понижение и резкое повышение температуры вызывает одно и то же изменение окраски.

В индустриальном меланизме, конечно, все дело сводится только к химическому действию пищи, а отнюдь не к окружению в виде закопченных стен, о которых говорил оппонент. Мне очень жаль, что А. С. Серебровский уклонился от дискуссии, остановившись почти исключительно на опытах Мёллера. Тем самым он дал понять, что не так легко ответить на затронутые мной теоретические вопросы. Это известный полемический прием—обходить молчанием то, на что трудно ответить.

Что касается впечатлений от V съезда, я понимаю, что они вообще различны; конечно, у всякого могут быть свои впечатления.

По поводу вашей критики Винклера и Веттштейна я должен заметить, что слышал совершенно иное мнение об их докладах, чем ваше. Впечатления—вещь субъективная, и поскольку вы вообще не оценивали этих докладов конкретно, ваше простое отрицание не может иметь никакого значения.

Тов. М. Левин со свойственной ему богатой эрудицией осветил ряд интересных вопросов. К сожалению, я не могу считать настоящей доклад программным. В короткое время невозможно изложить такую обширную тему, как ламаркистские представления об эволюции. Даже в заглавии доклада мной было подчеркнуто, что на первом месте у меня стоит фактический материал, который я, конечно, старался критически оценить. (Левин. Я беру обратно свои слова насчет программы).

Ваша точка зрения на Веттштейна не совсем правильна. В данном случае он, как человек, непосредственно не работающий в данной области, имеет право делать заключения потому, что судит беспристрастно. Со стороны виднее, чем непосредственно работающему в области менделизма.

Что касается отношения к Франсе, Плате и Семону, то я считаю, что противоречие между ними чрезвычайно велико. Вы указывали, что есть объединяющие их моменты. Конечно, есть,—это то, что оба они признают наследственное влияние среды. Но одни смотрят материалистически, а другие начинают вводить всякие виталистические факторы. Это настолько важное отличие, что оно важнее сходства, о котором вы говорили. Мне кажется, что это так. На Семона существуют неправильные взгляды. Некоторые действительно смеиваются его с психо-ламаркистами, но это совершенно несправедливо.

Когда я говорил о различных ламаркистах, я назвал несколько имен, при чем довольно случайно их выбрал. Я исходил из того, что все они более или менее держатся одинаковых воззрений на ламаркизм, как эволюционную систему. Что касается различия их специальностей, то почему же цитологи, морфологи, палеонтологи и прочие не могут высказывать одной и той же точки зрения на общую проблему?

Более важный вопрос относительно классификации опытов, касающихся наследственного влияния среды. Сейчас странно квалифицировать эти опыты по характеру индукции, соматической или параллельной. Ведь в конце концов

какое же остается отличие между внешней средой в широком смысле слова и внешней средой в смысле сомы, окружающей яловые клетки? Конечно, гипотеза различных индукций сослужила свою службу, но теперь она становится ненужной. Я думаю, что должно произвести известную классификацию опытов, но совершенно по другому принципу, именно по признаку адекватности. Когда я говорил об адекватности, я указывал, что в случаях особенно интенсивного внешнего воздействия часто наблюдается, как, напр., в опытах Меллера, целый ряд разнообразных мутаций. Далее, известно, что разные воздействия, но более или менее одинаковой интенсивности, вызывают одинаковую реакцию, в то время, как существуют такие случаи, хотя бы опыт Гаррисона и Гарритта, когда приходится говорить о вполне строгой специфичности воздействия и адекватности наследования.

В отношении Иоганнсена я вполне с вами согласен,—это один из наиболее здравомыслящих и дальновидных генетиков.

(С места. Это вы говорите в этом году, а что вы говорили в прошлом году?)

Я и в прошлом году ничего другого не говорил. Скажу больше. Как раз Иоганнсен, а не кто иной, указал в одной из своих работ, что в составе генотипа никоим образом нельзя принять одни лишь гены, комбинирующиеся друг с другом. Существует часть генотипа, которая не состоит из отдельных генов. Так что здесь Иоганнсен держится чрезвычайно прогрессивной точки зрения и во многом отличается от других генетиков.

Что касается автокатализаторов, то здесь мне приходится говорить об их видовой специфичности уже потому, что виды, как известно, обладают различными наследственными свойствами. Мы применяем понятие катализатора к наследственному фактору, к гену. Поскольку существуют разные виды, постольку приходится говорить о видовых отличиях среди катализаторов.

(С места. Ген для катализатора вы признаете?). Этого я и вовсе не признаю, это излишне.

(С места. Вы—дуалист, потому что вы берете организмы, которые имеют гены и которые не имеют генов). Я не знаю, кто больше дуалист, вы или я. Ведь именно вы резко подразделяете организм на гено- и фенотип.

Теперь относительно способности или неспособности изменения катализатора. Мне кажется, что я выражался вполне определенно. Изменяемость катализатора есть химическая истина. Как раз это и есть один из поводов, почему я охотно принимаю точку зрения, которую высказали Вернер и Шмальфус. Чем отличается катализатор от других признаков организма? Здесь приходится сослаться на его типичные химические свойства, которые заключаются в том, что катализаторы участвуют в реакции, сами при этом не изменяясь, способны к саморазмножению и т. д.

(Левин. Я спрашиваю, есть ли видовое изменение?). Я должен опять-таки повторить, что постольку существуют видовые отличия в наследственных факторах, постольку мы должны принять видовые отличия катализаторов. Что касается экспериментальных данных, то я не могу вдаваться в эти подробности. Я попрошу вас обратиться к первоисточнику, это будет проще.

Для меня не ясно, почему вы считаете, что теория контрастной наследственности может быть принята только на ламаркистской основе. Я считаю, что это совершенно необязательно. Она может сохранить свою силу также и

на другой базе. И, конечно, эта теория вовсе не основана на одних опытах Пшибрама; есть и другие случаи. Например, Пикте, в результате кормления гусениц бабочек несвойственной им пищей, получил сначала наследственное изменение, а далее снова, в виде контраста,—нормальную форму. Имеется целый ряд таких случаев, которые могут быть объяснены только на основе контрастного наследования.

В заключение вы мне поставили упрек, что я смешиваю разнородные опыты в одно целое. Но я имею право их объединить в одну группу, поскольку в каждом из них имеет место наследственное влияние среды. Ведь с эволюционной точки зрения наиболее важен этот признак. Конечно, такая классификация в некоторой степени практическая. Но постольку мы желаем оценивать эти факты с точки зрения значения их для эволюции, постольку мы можем свести их в одну группу, что, конечно, не исключает дальнейшей, более подробной и естественной классификации. Последнюю, повторяю, я и пытался произвести.

Теперь остается ответить С. Г. Левиту относительно гормональной гипотезы. Мне очень жаль, что он остановил свое внимание на этой гипотезе, а не на гипотезе Вернера и Шмальфуса. Вы меня спрашиваете, что именно вырабатывает гормон: орган, признак и т. д. Мне кажется, конечно, не весь орган; отдельные ткани, входящие в состав органа, способны выделять такие гормоны. Что касается количества известных гормонов, то вам придется обратиться к специальным источникам. Учение о катализаторах, как наследственных факторах, более приемлемо. Оно гораздо проще объясняет факты, которые нам казались до сих пор непонятными. Сначала имеет место изменение катализаторов, а уже потом признаков соматических, с одной стороны, и половых клеток, с другой. Поэтому понятно, что те и другие меняются одинаковым образом; понятно и то, что половые клетки следующих поколений носят в себе эти измененные катализаторы, которые должны вызывать те же самые, адекватные изменения. Вообще же говоря, эти теории в сущности только рабочие гипотезы, и когда я их излагал, цель моя заключалась только в том, чтобы показать возможность простого объяснения адекватного наследования. В дальнейшем они должны быть разработаны, усложнены и проверены экспериментально более строго.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ОСВЕЩЕНИИ ТОВ. А. Ф. КОНА¹

(По поводу его новой книги «Курс политической экономии», ч. I)

Как вполне правильно указывает Отто Бауэр, «освоение» «Капитала» представляет собой исторический процесс, в ходе которого труд Маркса выступает перед читателем то одной, то другой своей стороной. На первых порах «Капитал» Маркса воспринимался со стороны его результатов. Тот своеобразный метод, при помощи которого были достигнуты эти результаты, оставался в тени. Но за последнее время положение начало коренным образом изменяться. Новые явления в мировой экономике — превращение капитализма в империализм, связанный с этим крах капитализма и встающие проблемы экономики переходного периода — выдвигают на первый план методологические проблемы. Чтобы теоретически обобщить эти новые явления, необходимо овладеть *методом* Маркса. Этот особый интерес к методологическим вопросам не может, конечно, не найти отражения в руководстве для высшей школы, призванном вооружить читателей диалектически-материалистическим методом, как орудием революционного действия. Это руководство, не ограничиваясь выделением особого раздела, должно дать углубленную методологическую трактовку отдельных проблем марксовской политической экономии.

Ни у кого, вероятно, нет сомнения в том, что ни один из существующих «Курсов», предназначенных для вузов, не удовлетворяет полностью поставленному выше требованию. Таким образом, вопрос о марксистском руководстве по политической экономии для высшей школы остается злободневным. Появление в таких условиях нового «Курса» тов. Кона, предназначенного «для студентов экономических вузов, а также комвузов, рассчитанного «на читателя, достаточно подготовленного», должно привлечь к этому «Курсу» внимание; «Курс» этот тем более должен быть подвергнут достаточно полному рассмотрению, что тов. Кон обещает «как при построении курса, так и в освещении отдельных его частей руководствоваться *общепризнанными* (курсив наш) взглядами».

I

Тов. Кон предпослал своему «Курсу» краткое введение, посвященное выяснению предмета политической экономии; и так как оно призвано дать методологическую установку всему курсу, то мы начнем разбор книги тов. Кона с введения.

¹ Настоящая статья, как и ответ на нее тов. А. Кона, помещаются в дискуссионном порядке. Редакция.

Общий вывод, к которому приходит тов. Кон, определяя предмет политической экономии, гласит: «*Политическая экономия представляет собой теоретическую науку, изучающую производственные отношения капиталистического общества (а также отношения, связывающие капиталистическое общество с некапиталистической средой) в их вещной форме*». Таким образом, политическая экономия выступает как наука общественная и историческая. Тов. Кон вполне правильно ограничивает объект политической экономии экономической структурой капиталистического общества. Но все же мы не можем признать данное им определение политической экономии вполне удачным. Определение предмета политической экономии — дело большой важности. Оно должно указать то своеобразное место, которое занимает наша наука в системе научного знания. Это — во-первых. Во-вторых, предмет определяет метод, при помощи которого он может быть научно познан. Само определение предмета политической экономии должно выявить своеобразие методологического подхода Маркса к изучению экономических явлений. Несколько десятилетий тому назад буржуазная политическая экономия во всех своих ответвлениях стояла на натуралистической точке зрения. Социологический подход Маркса резко отделил его от буржуазной политической экономии. Последние десятилетия принесли в этом отношении нечто новое. Банкротство «австрийской школы» привело к распространению среди буржуазных экономистов «социального» направления. Вот этого обстоятельства не учитывает тов. Кон. В самом деле, что дает — по сравнению с идеалистическими интерпретациями Маркса — его определение политической экономии? В какой мере оно выявляет своеобразие подхода Маркса к изучению капиталистических производственных отношений? Тов. Кон видит своеобразие марксистской политической экономии в том, что она изучает производственные отношения капитализма в вещной форме. «Для того, чтобы понять производственные отношения капиталистического общества, политической экономии приходится изучать те вещественные категории, за которыми прячутся эти отношения и через посредство которых они проявляются. Политической экономии приходится разгадывать эти «таинственные иероглифы», обнаруживая за ними общественные отношения» (стр. 11). Итак, задача теоретика-экономиста сводится к разгадыванию тех «таинственных иероглифов», которые представляют вещные категории. Конечно, разгадывать эти «иероглифы» нужно. Одна из величайших заслуг Маркса в области политической экономии состояла именно в том, что он вскрыл за отношениями вещей отношения людей. Но сейчас спор с буржуазной политической экономией идет не только по этой линии. Один из самых существенных пунктов этого спора заключается в том, является ли задачей экономической теории *открытие законов движения капиталистической производственной системы*, или же все дело сводится исключительно к раскрытию социальных сущностей, к разгадыванию «иероглифов». Так, напр., один из новейших интерпретаторов Маркса, Франц Петри, причисляя Маркса на идеалистический лад, исходит в своей установке именно из того, что вещные отношения суть символы, маски человеческих отношений. Петри охотно подписался бы под определением политической экономии тов. Кона. Правда, в одном месте тов. Кон говорит о «стихийных законах», но эти «законы» не «увязаны» ни с одним из данных тов. Коном определений политической экономии. Определение тов. Кона не схватывает основного в марксовской концепции, ее *динамичности*, ее *диалектичности*. Ведь это определение ничего не говорит о внутренней связи и соподчинении производствен-

ных отношений капиталистического хозяйства, об их *движении* и законе, лежащем в основе этого движения. Между тем, в связи с теми «новыми величинами», которые теперь наблюдаются в буржуазной политической экономии, и попытками при посредстве так. наз. «социологической точки зрения» открыть доступ в марксизм философскому идеализму в его современных формах, необходимо *уточнение* определения предмета политической экономии. Это определение должно подчеркнуть не только общественный характер марксовской политической экономии, но и *связь между движением производственных отношений и развитием производительных сил*. Оно должно фиксировать внимание на том, что *политическая экономия призвана вскрыть посредством анализа движения противоречий между производственными отношениями и производительными силами товарного хозяйства закон возникновения, развития и гибели капитализма, как исторически обусловленной общественно-экономической формации*.

В предисловии к «Капиталу» Маркс указывает, что «конечной целью его сочинения является открытие экономического закона движения современного общества». Исходя из этого определения Маркса, Ленин пишет: «Исследование производственных отношений данного, исторически определенного общества в их возникновении, развитии и упадке—таково содержание экономического учения Маркса»¹.

Только такое определение предмета политической экономии дает понятие о капитализме, как об особой общественно-исторической формации, уходящей своими корнями в далекое прошлое, к первым зачаткам обмена, и своими пережитками влетающей в будущее—в первые ступени возникающего социалистического общества. Отсутствие этой установки сильно чувствуется в трактовке тов. Коном так называемого «простого товарного хозяйства», которое он во введении рассматривает, как особый, отличный от капиталистического тип хозяйства, а не как первую ступень и общую абстракцию (одностороннее рассмотрение) капитализма.

Отсюда заявление, что если бы политическая экономия изучала все меновые общества вообще, то «ей пришлось бы изучать только отношения обмена, но она прошла бы мимо отношений капиталистической эксплуатации», и далее: «Экономическая структура капитализма не может быть исчерпывающе об'яснена наукой, изучающей меновые отношения вообще. Для этого требуется *специальная* (курсив наш) наука, изучающая производственные отношения капиталистического общества. Такой наукой и является политическая экономия» (стр. 9).

Начнем с первого утверждения тов. Кона. Думается, что нельзя так *противопоставлять* анализ обмена анализу капиталистической эксплуатации. Во-первых, всесторонний обмен, развитый обмен включает обмен рабочей силы на капитал; следовательно, и капиталистическую эксплуатацию, которая вытекает, вырастает из простого «трудового» товарного хозяйства ежечасно и ежеминутно. Поэтому, анализируя обмен, *нельзя* пройти мимо капиталистической эксплуатации, *а неизбежно к этой проблеме прийти*. Во-вторых (и это следует из предыдущего), нельзя вскрыть и понять капиталистическую эксплуатацию иначе как на основе анализа обмена «вообще», ибо анализ обмена «вообще», то-есть в его общей абстрактной форме, дает нам теорию стоимости, то-есть необходи-

¹ Ср. также определение, данное Розой Люксембург в ее «Введении». Она считает «задачей и предметом политической экономии об'яснение законов возникновения, развития и гибели капиталистического способа производства».

мый фундамент теории стоимости рабочей силы, прибавочной стоимости и самовозрастающей стоимости (капитала)¹.

Еще большую неточность допускает тов. Кон, утверждая, что изучение менового общества «вообще» требует особой науки, а капиталистического — другой. Ибо тут упускается из виду, что меновое общество «вообще» никогда не существовало самостоятельно, что это не есть особая от капитализма *формация*, а лишь зародыш, первая ступень капитализма, вкрапленная в докапиталистические формации. Очевидно, чувствуя свой промах, тов. Кон пишет на следующей же странице: «Политическая экономия, изучая экономическую систему капитализма, попутно выясняет природу меновых отношений вообще» (стр. 10); но ведь это никак не согласуется с предыдущим. Зачем же в таком случае было толковать об «особых науках»?

Чтобы сохранить хоть видимость последовательности в изложении теории стоимости, тов. Кон вынужден всячески избегать точной постановки вопроса, оправдывать анализ «простого товарного хозяйства», искажать значение этого анализа, прятаться от признания его необходимости. «Сложные классовые отношения капиталистического общества,—пишет он на стр. 18,—затрудняют ответ на стоящий перед нами вопрос. (Речь идет о том, как поддерживается пропорциональное распределение труда в капиталистическом обществе. *Авт.*) Для упрощения своей работы выясним сначала, каким образом регулируется общественное производство в *простом товарном хозяйстве*, и только впоследствии вернемся к непосредственно интересующему нас вопросу».

Выходит, будто анализ меновых отношений «вообще» есть только вопрос удобства, экономии сил, будто речь идет только об «упрощении работы», а не об *единственном пути исследования*; будто мы с сокрушением сердечным *уходим в сторону от вопроса* и лишь потом к нему возвращаемся, а не идем прямо к цели с самого начала. Ведь не думает же тов. Кон, что возможен непосредственный анализ капитала и цен производства. Правда, *возможность* такого анализа прямо вытекает из *утверждения об особых науках, о специальной науке*, изучающей капитализм отдельно от менового хозяйства «вообще» и т. п. Но мы полагаем, что тов. Кон займет правильную позицию против самого себя. А покуда остается пожалеть, что автор «Курса» не только не раскрывает перед читателем законности и необходимости восхождения от простого, абстрактного к сложному, конкретному, как важнейшей особенности метода Маркса, а, наоборот, представляет такой путь *полезным техническим удобством*, что может породить ложные представления о мнимой произвольности метода Маркса.

II

Тов. Кон посвящает первый раздел своей книги теории стоимости. В своем изложении этой теории автор «Курса» отошел от установившейся в наших учебниках традиции обосновывать трудовую стоимость невозможностью об'яснения

¹ В «Zur Kritik der politischen Oekonomie» Маркс анализирует товарное хозяйство «вообще». Однако этот анализ является для Маркса лишь анализом общей формы капитала, что нашло свое отражение в соответствующем заголовке. Если читатель раскроет 1 стр. *немецкого* текста «Zur Kritik», то он обнаружит общий заголовок для всей работы: «Das Kapital im allgemeinen». В русском переводе этот заголовок почему-то исчез.

цен спросом и предложением, издержками производства, полезностью и т. д. Этот отход от традиций нужно приветствовать. Негативное обоснование трудовой стоимости по методу исключения неправильных теорий весьма искусственно. Предполагается, что оно служит целям ясности и убедительности изложения. Но опыт показывает, что эта убедительность только кажущаяся. Негативное, отрицательное доказательство еще не заключает в себе позитивного (положительного) утверждения определенной логической, внутренней связи. Невозможность об'яснения цен спросом и предложением не дает еще основания утверждать принципиальную связь между ценой и трудом. Читатель, не видя об'яснения этой связи, обычно принимает *на веру*, что в основе цены лежит трудовая затрата. Тов. Кон делает шаг вперед в том смысле, что он считает, вместе с И. И. Рубиным, необходимым связать, в целях наибольшей убедительности изложения теорию стоимости Маркса с теорией исторического материализма, обосновать первую на почве последнего. За отправную точку он берет, руководясь указанием Маркса в письме его к Кугельману, то основное положение, что всякое общество должно представлять собою систему распределения труда.

Но тут же выступает различие между тов. Коном и И. И. Рубиным. В самом деле, И. И. Рубин признает, что приведенное положение «носит слишком общий характер» («Очерки», 2-е изд., стр. 64) и что оно, обосновывая необходимость связи между ценой и трудом, все же не доказывает, что *стоимость есть застывший, материализовавшийся в товаре абстрактный труд*. Идея, по нашему мнению, по ложному пути, И. И. Рубин, чтобы притти от необходимости пропорционального распределения труда к труду абстрактному, как общественной форме буржуазного труда, апеллирует к равенству товаровладельцев, замещает равенство труда социальным уравнением его на основе этого равенства товаровладельцев. В итоге пропорциональное распределение труда просто переименовывается в равенство труда, а не выводится из последнего.

Тов. Кон заслуженно упрекает И. И. Рубина в выхолащивании всякого признака материи из категории абстрактного труда. Однако сам тов. Кон не выявил посредствующих звеньев между приведенной социологической предпосылкой и теорией стоимости и денег Маркса. Чтобы установить эти звенья и вместе с тем получить руководящую нить для разбора точки зрения тов. Кона, необходим ряд предварительных замечаний о постановке проблемы стоимости в теоретической системе Маркса. Теперь уже нет сомнения, что решающим в этом смысле является анализ Марксом труда, создающего стоимость, его теория абстрактного труда. Общеизвестно также, что в противоречии конкретного и абстрактного труда лишь выступает противоречие между частным и общественным трудом, специфически свойственное товарному хозяйству. Из этого последнего противоречия и исходит политическая экономия.

Все противоречия товарного хозяйства и, следовательно, все пружины его развития (а значит, и вся политическая экономия) суммируются в этом противоречии. Поэтому встает вопрос о сущности противоречия между частным и общественным трудом, то-есть об их *противоположности* и их *единстве* в товарном хозяйстве. Сначала следует выяснить сущность общественного труда в противоположность *частному*. Труд общественный прежде всего выступает, как труд пропорционально распределенный. В самом деле, труд распределенный есть труд, увязанный со всеми другими видами труда и с общественными потребностями, обусловленными расчленением общественного производства.

Этот труд есть уже неотъемлемая часть общественного механизма и поэтому целиком, всей своей шкурой, всей своей *конкретностью* врос, вклинился в систему общественного производства. Короче говоря, это есть труд *общественный*, ибо общественный труд тем и отличается от частного, что он входит в общественную систему, как часть, пригнанная *непосредственно* ко всем остальным частям *этой* системы. Необходимым условием того, чтобы труд в самом процессе производства был *непосредственно* распределенным, т.-е. *непосредственно* общественным, является предварительное *пропорциональное* распределение средств производства и рабочих сил между различными частями расчлененного на отдельные отрасли производства единого производственного коллектива. Такое сознательное распределение имеет место лишь в организованных обществах.

Однако недостаточно схематического определения труда со стороны его распределения, чтобы исчерпать многообразную природу *общественного* труда. Общественный труд есть обмен веществ между совокупным человеком и природой, непрерывный и сам себя воспроизводящий процесс. Этот процесс предполагает определенные отношения внутри самого общества, т.-е. «обмен веществ между продуктами самого труда», как выражается Маркс. Необходимо определить *общественный труд* и с этой точки зрения.

Распределение труда только тогда соответствует природе общественного труда, когда оно само себя воспроизводит (см. замечание Маркса о прочности индийской общины в «Капитале», I, стр. 246). А воспроизводит оно себя на основе тех потоков продуктов труда, которые непрерывно текут, перекрещиваясь в разнообразных направлениях, замещают друг друга, обуславливают обмен веществ между человеком и природой, которым они сами в свою очередь обусловлены. Таким образом, частичный¹ труд отдельного лица в действительности непрерывно выступает как общественный труд лишь на основе процесса, который мы назовем взаимным завершением, дополнением и возмещением труда, *завершением*, ибо продукт, начатый одним, заканчивается другим; *дополнением*, ибо односторонность одного дополняется односторонностью другого; наконец, *возмещением*, ибо продукты чужого труда притекают и дают возможность продолжать труд собственный.

Таким образом, общественный характер труда не отделим от процесса обмена веществ между его продуктами. Продукты труда не есть безразличная вещь, часть посторонней мертвой природы; они представляют реально всякий частичный труд для других видов труда, притом благодаря специфичности своей потребительной стоимости, как специфический, особенный труд. Труд реализуется для общества в своем продукте, представляющем своими свойствами специфические особенности создавшего его труда². И так как продукт в своей натуральной форме входит в общественный обмен веществ, то и труд входит в общественную систему в своей натуральной форме, в своей конкретности.

В обществе, организованном как в самом процессе производства, так и после него, труд во всей своей конкретной натуральной форме выступает, как непосредственно общественный труд. *Общественной формы* труда, отличной от его конкрет-

¹ Частичный не есть частный, ибо не противоположен общественному.

² «То, что для рабочего представлялось в форме движения, теперь со стороны продукта является установившимся в форме бытия. Рабочий прял, и продукт есть пряжа» («Капитал», I).

ной натуральной формы, здесь нет, как нет и формы продукта труда, отличной от его натуральной формы, в которой он входит в общественный кругооборот.

Казалось бы, что все приведенные выше определения целиком и полностью приложимы к товарному хозяйству. В самом деле, если мы возьмем буржуазный труд, как непрерывный процесс и совокупность отдельных работ, как сплетение таких процессов, то окажется, что и в товарном хозяйстве труд постоянно завершается, дополняется и возмещается.

Потоки продуктов текут, взаимно перекрещиваются, заменяются друг другом; происходит постоянное воспроизводство средств производства и рабочих сил. С этой точки зрения нет ничего легче, как отождествить частный труд с общественным трудом, стереть всякое различие между ними и затушевать специфические особенности товарного хозяйства. А это означает отрезать себе путь к пониманию товарного хозяйства.

Специфическая особенность товарного хозяйства состоит в том, что в нем нет непосредственно распределенного труда, т.-е. непосредственно общественного труда. Поэтому было бы неправильным исходить при обосновании теории стоимости из представления о товарном обществе, как организованном целом с уже распределенным трудом, притом распределенным в определенных пропорциях. В политической экономии мы должны постоянно помнить, что «мы не исходим здесь из труда индивидуумов как общественного труда, но, наоборот, отправляемся от особенностей индивидуального труда, который только в меновом процессе, через уничтожение его первоначального характера, обнаруживается как всеобщий общественный труд» («К критике», изд. 1918 г., стр. 27).

Но, с другой стороны, если подойти к труду отдельного товаропроизводителя как только индивидуальному труду, каким он представляется вне связи со всей системой общественного труда, то станет ясной вся ошибочность и такого одностороннего подхода к буржуазному труду.

С индивидуальной точки зрения труд товаропроизводителя есть совершенно произвольный процесс, принципиально независимый от других видов труда. В общем этот индивидуальный труд при таком рассмотрении выступает как естественный, а не как общественный процесс, аналогичный потреблению пищи и другим проявлениям жизнедеятельности человеческого организма. Пропадает самый характер труда, как явления общественного. Ясно, что такой подход не есть подход Маркса, исходившего из общественного, а не индивидуального производства. Но только метафизик поймет дело так, что Маркс впадает в другую метафизическую крайность и рассматривает труд товаропроизводителя как непосредственно общественный труд. Маркс никогда не забывает, что нельзя исходным пунктом делать результат (см. вышеприведенную цитату), что общественность труда в товарном хозяйстве есть «специфический род общественности», что «распределение этого общественного труда и его взаимное довершение, обмен веществ между его продуктами, его подчинение ходу общественного механизма и включение в этот последний,—все это предоставлено случайным взаимно уничтожающимся стремлениям единичных капиталистических производителей» («Капитал», III, ч. 2, стр. 410, изд. 1908 г.).

В философии в противоположность механистическому материализму и диалектическому идеализму, утверждающим с разных сторон тождество суб'екта и об'екта, духа и материи, диалектический материализм утверждает единство

этих противоположностей и в движении, в действии суб'екта-об'екта разрешает возникающее отсюда противоречие.

В политической экономии в противоположность индивидуализму психологической школы, исходящей из частного труда, и «общественной точки зрения» «социально-органической школы», исходящей в анализе товарного хозяйства из непосредственно общественного труда, Маркс исходит из единства этих противоположных определений буржуазного труда, из «единобытия» их в товарном хозяйстве и разрешает возникающее отсюда противоречие в движении, в действии товаропроизводителей, в теории стоимости и денег, в обращении, но не уничтожает его¹. Сущность диалектического метода состоит не в признании наличия и роли противоречия, а в развитии и разрешении его путем перехода от единства противоположностей к их внешнему, обособленному существованию. Вся трудность состоит в том, чтоб мыслить единство противоположностей не как об'единение двух разных половинок ореха под одной скорлупой, но и не как одно, однородное зерно, хотя и составленное из разных элементов. В обоих случаях противоречия нет².

Действительное бытие противоречия есть в то же время его разрешение, переход от одной из его противоположностей к другой. Чтобы такой переход был мыслим, необходимо самые противоположности брать в связи друг с другом, так, чтобы они не были изолированы друг от друга, чтобы один полюс был в идее то, что другой на деле, то-есть чтобы они переходили друг в друга. Простым примером такого единства противоположностей (товара и денег) может служить денежная форма стоимости товара, как момент перехода от полюса «товар» к полюсу «деньги».

Какие отсюда следуют выводы для двойственной природы буржуазного труда? Во-первых, тот, что в меновом хозяйстве частный труд есть скрыто (латентно) общественный труд; во-вторых, что общественный труд скрывает в себе следы своего превращения из частного труда; в-третьих, что момент перехода частного труда в общественный есть момент единства противоположных определений труда и в то же время момент обнаружения специфической природы буржуазного труда;

¹ «Мы видели, что процесс обмена товаров заключает в себе противоречашие и исключающие друг друга отношения. Развитие товара не устраняет этих противоречий, но создает форму для их движения. Таков вообще тот метод, при помощи которого разрешаются действительные противоречия. Так, напр., в том, что одно тело непрерывно падает на другое и непрерывно же удаляется от последнего, заключается противоречие. Эллипс есть та форма движения, в которой это противоречие одновременно и осуществляется и разрешается» («Капитал», I, стр. 69, изд. 1908 г.).

² Поскольку вообще может помочь аналогия, возьмем пример кислорода и водорода. Кислород поддерживает горение, но не горит. Водород горит, но не поддерживает горения. Их механическая смесь просто суммирует эти свойства, не изменяя их, но и не приводя их в противоречие друг с другом. Однако, как только мы вносим в эту смесь огонь, так свойства кислорода и водорода вступают в противоречие, становятся взаимно исключающими друг друга, взаимно отрицающими друг друга и в то же время взаимно обуславливающими друг друга и происходит взрыв, то-есть бурное разрешение противоречия. Вода, получающаяся в итоге взрыва, не есть единство кислорода и водорода, как противоположных определений. В воде их противоположные свойства полностью отрицают друг друга. Вода не горит и не поддерживает горения. Она не есть противоречие, а продукт разрешения противоречия и стоит вне его. Но в воде свойства прежней смеси перешли в полную противоположность.

обратно, чтобы превратиться в общественный труд, буржуазный труд должен быть представлен, как то, что он есть, как единство противоположностей и, следовательно, как переход от частного труда к труду общественному, при чем речь идет не о воображаемом, а о действительном переходе.

Что в меновом обществе процесс такого перехода есть не что иное, как процесс обмена,—это известно даже не обучавшимся в марксистском семинарии. «Общественное рабочее время,—говорит Маркс,—заключается в товарах в скрытой форме и обнаруживается только в процессе обмена» («К критике», стр. 27). «Другими словами, частные работы в действительности осуществляются как звенья общественного труда лишь через отношение, которое обмен устанавливает между продуктами труда и посредством этих продуктов между самими товаропроизводителями» (К. I, изд. 1906 г., пер. под ред. Струве, стр. 30).

Но надо понять, в какой форме совершается (и только и может совершаться) этот переход.

Если мы будем рассматривать обмен таким, как он есть по *содержанию*, как обмен веществ между продуктами общественного труда, то сейчас же встает вопрос, каким образом частный (и лишь скрыто общественный) труд входит в общественный кругооборот. Он не может войти в этот кругооборот в своей натуральной форме, через посредство своего специфического продукта, как это делает труд непосредственно общественный (в организованном обществе). Не может потому, что такое вхождение предполагает наличие организованных общественных связей труда, начертания путей, по которым должны двигаться друг другу навстречу продукты частного труда, а отсутствие таких связей именно и характеризует буржуазное общество. В то же время остается истиной, что лишь посредством своего продукта всякий труд входит в общественный кругооборот. Поэтому, переходя к форме, которую должен принять труд, чтобы войти в общественный кругооборот, следует наперед заметить, что эта форма труда должна быть представлена об'ективно, как форма продукта, а противоречие буржуазного труда,—как противоречие товара.

Вхождение буржуазного труда (и его продукта) в общественный кругооборот возможно только в том случае, если этот труд (и его продукт) выступит в такой форме, которая делает возможным завершение, дополнение и возмещение труда путем частных и, следовательно, произвольных актов обмена, т.-е. позволяет частному производителю, *товаропроизводителю*, актом своей воли связаться с любым видом труда и получить возмещение своего труда. Труд товаропроизводителя связывается, таким образом, со всеми другими частными работами, обнаружив для других, то-есть об'ективно, свое безразличие к своей конкретной форме. Продукт его становится общественным продуктом, лишь приняв безразличную форму всеобщего продукта.

Поясним сказанное. Необходимо, чтобы продукт товаропроизводителя нашел свой путь к потребителю, ибо он может войти в кругооборот лишь в качестве специфического продукта, удовлетворяющего специфической потребности. Но одновременно с тем необходимо, чтобы он притянул к себе другие специфические продукты, которым он должен противостоять уже не как специфический, а как всеобщий продукт, как продукт, нужный всем, потому что своей специфической формой он может их и не притянуть. Значит, труд (продукт), чтобы стать из частного общественным, должен обнаружить разом и свой специфический и свой всеобщий характер, то-есть представлять собою *единство противоположностей или*

само себя разрешающее противоречие, а значит переход от труда и продукта частного к труду и продукту общественному. Только таким образом возможно нахождение продуктами своих общественных путей и обобществление частного труда. Конечно, все сказанное есть противоречие, потому что налицо только масса отдельных конкретных видов труда и соответствующих им конкретных, специфических продуктов. Каждый из них должен быть представлен, как всеобщий, не теряя своей *специфической* формы, должен принять свою общественную форму, не теряя натуральной. Ибо обмен веществ между продуктами одинакового *конкретного* труда (обмен сапог на сапоги) не мыслим. Поэтому *однородность*, всеобщность должна быть свойственна всем видам труда без исключения, несмотря на их специфические черты¹. Но эта однородность не может быть выдумана, искусственно установлена. Она может состоять лишь в том, что есть действительно общего в труде, и проявляться, как нечто общее всем продуктам труда, несмотря на различие их конкретной формы. Что общего между различными видами труда? Что делает любой из них *трудом*, то-есть чем-то одинаковым? То, что они есть *труд*, то-есть затрата одной и той же человеческой рабочей силы, однородной в физиологическом смысле, то-есть деятельность человеческого организма. Только обнаружив свое равенство, как затрата человеческой рабочей силы, частный труд принимает форму, в которой он может реализоваться, как труд общественный. Конкретный труд сапожника уже включает в себя затрату человеческой рабочей силы вообще; однако, эта общечеловеческая трудовая затрата должна выступить на ряду с ее конкретной формой, чтобы быть включенной в систему общественного труда.

Однако это «выступление» совершается лишь одним определенным способом и, следовательно, в определенных общественных условиях, в условиях товарного хозяйства. Эти условия, а не «свободная воля» товаропроизводителей и не их равенство как субъектов права, приводят к реальному раздвоению труда. Это раздвоение исходит от товара, который, превращаясь в общественный продукт и расщепляясь, расщепляет и самый труд, превращает его в единство противоположностей. «... Люди,—пишет по этому поводу Маркс,—сопоставляют друг с другом продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного общественного труда. Наоборот. Приравнивая в процессе обмена разнородные продукты как стоимости, они тем самым приравнивают друг другу свои различные работы как человеческий труд вообще. Они не сознают этого, но они это делают». (К. I, 40). Следовательно, только действительный процесс товарного хозяйства вскрывает действительную об'ективно существующую однородность труда в *противовес* его разнообразию и констатирует эту однородность как *особый факт* действительности *на ряду* с указанным разнообразием.

Следовательно, труд в товарном хозяйстве должен выступить не только как общее в частном, как затрата рабочей силы в определенной форме, но так же как общее *на ряду* с частным. Только в этой связи, в этом конкретном взаимоотношении, то-есть в товаре и товарном хозяйстве, Маркс фиксирует двойственный

¹ С суб'ективной стороны в сознании товаропроизводителей дело принимает такой оборот, что каждый «признает» затрату другого, поскольку она возмещает (в широком смысле слова, включающем дополнение и завершение) его собственную затрату (т.-е. поскольку она равнозначна с его собственной). Отсюда форма приравнивания, характерная для обмена.

характер труда. Абстрактный труд обозначает *формально логически*, то-есть со стороны содержания своих определений¹, просто затрату человеческой рабочей силы в отвлеченном виде, то-есть нечто приложимое ко всем объектам, ко всякому явлению труда, но *диалектически* он берется лишь в определенном соотношении, в противоречии с конкретным трудом, то-есть как категория «современнейшего общества»².

Только в этом соотношении эта затрата образует *стоимость* продуктов труда, овеществляется в *товаре*. Только абстрактный труд, а не труд вообще, есть субстанция стоимости товаров и образует эту стоимость, как свойство товара. Двойственное определение труда может быть выражено лишь в бытии продуктов труда в качестве товаров, лишь таким образом находит свое выражение противоречие между частным и общественным характером буржуазного труда.

Таким образом, частный труд, чтобы проявить себя, как труд общественный, должен обнаружить в об'ективном процессе обмена свой общечеловеческий характер. Именно поэтому здесь, в обществе товаропроизводителей, общечеловеческий характер труда, всеобщность труда является *общественной формой труда*. Именно поэтому противоречие частного и общественного труда может быть поставлено лишь в товаре и полностью раскрывается лишь в результате анализа товара. Именно поэтому здесь труд создает стоимость. Итак, под *абстрактным трудом* следует понимать *затрату человеческой рабочей силы, физиологически всегда однородной, в определенных социально-исторических условиях, в которых этот «всеобщий характер обособленного труда» выступает, «как его общественный характер»* («Zur Kritik», S. 7). Затрата человеческого труда вообще имеет место во всех общественных формациях. Но только в товарном хозяйстве она является общественной формой труда, т.-е. абстрактным трудом. Таким образом, абстрактный труд, т.-е. труд, создающий стоимость, приобретает социально-историческую определенность. Что Маркс включает исторический момент в категорию абстрактного труда, видно хотя бы из следующего места, где он говорит: «Труд, создающий стоимость, является специфической общественной формой труда. Например, труд портного в своей материальной определенности, как особенная производительная деятельность, производит одежду, а не ее меновую стоимость. *Последнюю он производит не как труд портного, но как абстрактный всеобщий труд, а этот труд зависит от общественного строя, которого портной не произвел*»³.

Итак, правильный путь изложения теории стоимости Маркса состоял бы в том, чтобы, доказав *непосредственную* неприменимость определения общества, как системы пропорционально распределенного труда, к простой совокуп-

¹ О содержании определений стоимости см. К. I, стр. 28, изд. 1906 г.

² «Пример труда наглядно показывает, как самые абстрактные категории, несмотря на их значимость для всех эпох именно вследствие их абстрактности, все же в определенности этой абстракции в такой же мере являются продуктом исторических отношений и обладают полным значением только для этих отношений и внутри них» («Zur Kritik», Berlin, 1924, XLI).

³ Курсив наш. По-немецки это место звучит след. образом: «Tauschwert setzende Arbeit ist dagegen eine spezifisch gesellschaftliche Form der Arbeit. Schneiderarbeit zum Beispiel in ihrer stofflichen Bestimmtheit als besondere produktive Tätigkeit, produziert den Rock aber nicht den Tauschwert des Rocks. Letzteren produziert sie nicht als Schneiderarbeit, sondern als abstrakt allgemeine Arbeit und diese gehört einem Gesellschaftszusammenhang, den der Schneider nicht eingefädelt hat». («Zur Kritik», 1924, S. 13).

ности частных работ, каковой *непосредственно* является всякое товарное хозяйство, перейти к анализу возникающего в этом хозяйстве противоречия между частным и общественным трудом. Поставив и развив противоречивость буржуазного труда, как *непосредственно* частного, а *скрыто общественного*, можно было бы перейти, введя в анализ товар, к противоречию между трудом конкретным и абстрактным, как форме превращения труда частного в труд общественный. В свою очередь, через двойственный характер труда можно было бы перейти к двойственности товара и вскрыть противоречие между стоимостью и потребительной стоимостью. На основе анализа товара, как единства противоположностей, необходимо было бы показать неизбежность выражения внутреннего противоречия товара во внешней противоположности между относительной и эквивалентной формой стоимости. Последовательный анализ форм стоимости от простой до всеобщей и денежной—по линии необходимости адекватного выражения товара, т.-е. раздвоения его на потребительную стоимость и стоимость,—естественно, привел бы нас к полному расщеплению товара, к деньгам, как единственной форме движения противоречия товара.

К сожалению, тов. Кон пошел другим путем. Он не развивает теории стоимости, а дает простые определения или просто *описывает* различные стороны проблемы (общественно-необходимый труд, конкретный и абстрактный труд, сложный и простой труд и т. д.). Вследствие этого вопрос о противоречии товара и путях его разрешения остается в тени. Взаимоотношение и связь между абстрактным трудом и стоимостью нигде ясно не обрисовывается. Труд то отождествляется со стоимостью, то предпосылается ей как ее основа¹. Меновая стоимость то занимает место стоимости, как, напр., в определении товара, то является формой стоимости, то существующей без стоимости, то выступает как выражение *закона* стоимости, то; наконец, об'является неразрывность меновой стоимости и стоимости и их единство².

Проследим же путь, которым шел тов. Кон, и разберемся в смысле и значении отдельных его положений и выводов. Первым и крупнейшим промахом тов. Кона, несомненно, является *обход* им вопроса о противоречии частного и общественного труда. Тов. Кон даже не пытается критически проанализировать, каким путем абстрактное определение общества становится приложимым к меновому хозяйству. Поэтому он не выясняет понятий общественного и частного труда, и общественный труд, как экономическая категория, у него не фигурирует. В том месте *мелкого*

¹ А. Кон, «Курс»: «Труд, затраченный на производство товара, называется *стоимостью* товара. Он является *основой меновой стоимости* и образует ее субстанцию» (стр. 37). «*Основой стоимости*, ее субстанцией является труд абстрактный и общественно-необходимый» (стр. 55. Курсив наш). «Мы называем стоимостью такие *трудовые затраты*, которые служат основой стихийного регулирования производства» (стр. 39).

² «Обладание свойством *меновой стоимости* отличает товар от продукта вообще. Товар представляет собой *единство потребительной стоимости и меновой стоимости*» (стр. 36. Курсив наш). «Овеществлением закона стоимости в товаре и является меновая стоимость, т.-е. способность товара обмениваться на другие товары в определенной пропорции. Меновая стоимость, таким образом, является формой проявления закона стоимости» (стр. 36). «Меновая стоимость... является *формой проявления* стоимости как основы (субстанции) меновой стоимости» (стр. 38). «Меновая стоимость является только формой стоимости, и поэтому без стоимости она не может существовать. Однако и стоимость не существует вне меновой стоимости» (стр. 39).

шрифта (стр. 54), где мы этот термин впервые встречаем, он играет роль лишь дополнительного определения абстрактного труда, делающего труд создателем стоимости... Для того, «чтобы труд создавал стоимость,—пишет тов. Кон,— он должен быть не только *абстрактным, но и общественным трудом*». А так как в определении стоимости тов. Кона общественно-необходимый труд предшествует абстрактному и притом всегда фигурирует, как *непрерывный* член в этом определении¹, то позволительно заключить, что тов. Кон не различает противоположности *частного* и общественного труда и смешивает последний с общественно-необходимым трудом.

Однако возможно и другое толкование, а именно: не определяя ясно общественного труда, тов. Кон понимает под таковым только труд *товаропроизводителя*, который он трактует как экономическую категорию в отличие от труда в организованном обществе. Последний тов. Кон считает чисто технической категорией. «...Пока производство управляется организовано,—пишет он в своем «Курсе»,— эти трудовые затраты остаются лишь технической категорией (!) и не приобретают экономического содержания. Трудовые затраты на товар превращаются в стоимость лишь тогда, когда они становятся основой меновой стоимости и через ее посредство стихийно регулируют общественное производство» (стр. 39). Если отвлечься от вопиющей ошибки, будто труд где бы то ни было остается лишь технической категорией и не имеет общественного значения, то по сопоставлению с предыдущим остается заключить одно: что тов. Кон *противопоставляет общественный труд не частному, а техническому труду, который изобретается специально для этого случая и означает труд, не создающий стоимости*². Общественный труд (или труд с экономическим содержанием) иденти-

¹ Мы отнюдь не отрицаем *правильности* введения в определение стоимости *общественно-необходимого рабочего времени*, как признака количественной определенности абстрактного труда. Но это определение есть лишь дальнейшее развитие понятия абстрактного труда. Поэтому нельзя ставить общественно-необходимый труд в один ряд с абстрактным трудом, ставить *момент* определения на ряду с самим определением, как независимые и равноправные понятия.

² Последовательное проведение этой точки зрения обозначает не что иное, как отрицание всей теории исторического материализма, как признание полного тождества производительных сил и производственных отношений в не-меновых обществах, то-есть уничтожение *социального* за пределами товарного хозяйства. Такой точки зрения держится у нас проф. Солнцев, а за границей—вся социальнорегулирующая школа. Не пристало тов. Кону блокироваться с указанными авторами! Повидимому, именно эта ошибка тов. Кона привела его к непониманию Маркса в вопросе об общественном и техническом разделении труда. В этом пункте тов. Кон придерживается установившихся в наших популярных учебниках традиций. Принципиальное различие между техническим и общественным разделением труда он видит в том, что техническое разделение труда носит организованный характер и осуществляется по заранее установленному плану, а общественное разделение труда носит стихийный характер и осуществляется через рыночную форму связи. Это различие весьма произвольно. При таком понимании ни о каком общественном разделении труда в какой-нибудь древне-индийской общине или в социалистическом обществе не может быть и речи. Но разве разделение труда на почве полового неравенства было техническим? Но разве разделение труда на почве эксплуатации победителями побежденных не было общественным? Но разве разделение труда между различными отраслями в социалистическом обществе не будет общественным? В этом случае «общепризнанная» точка зрения, если таковой считать точку зрения Маркса, также оборачивается против тов. Кона. Приведем некоторые выдержки из «Капитала»: «Оно (общественное разделение труда. Авт.) составляет условие существования товарного производства, хотя товарное

чен, по мнению тов. Кона, с трудом, создающим стоимость. В итоге получается, что тов. Кон непосредственно применяет понятие системы распределенного, т.-е. *общественного* труда к совокупности *частных* работ и лишается возможности перейти через посредство противопоставления частного и общественного труда к двойственному характеру труда и противоречию товара. Таким образом, не оказываются звеньев между исходным пунктом и желаемым результатом, и тов. Кону остается только, разрубив Гордиев узел, насильственным образом проложить дорогу к определению стоимости трудом. Поспешно отвергая, вслед за И. И. Рубиным, мысль, что I глава «Капитала» содержит обоснование теории стоимости Маркса, автор «Курса» некритически считает *прямым* доказательством не только теории стоимости, но и необходимости обмена товаров по стоимости простую необходимость пропорционального распределения труда. «Если равновесие производства в меновом обществе так или иначе поддерживается,—пишет он на стр. 21,—то *это само по себе является доказательством, что средняя цена товаров не может устанавливаться независимо от трудовых затрат на товары, что пропорции, в которых один товар обменивается на другой, строго соответствуют в среднем соотношению трудовых затрат на обмениваемые товары*» (курсив наш). Но ведь если равновесие производства *само по себе* является доказательством, что меновые пропорции строго соответствуют трудовым затратам, то остается утверждать, либо что при капитализме немисливо равновесие производства, либо что цена производства не определяет меновых пропорций в капиталистическом хозяйстве.

Единственно, что вытекает *непосредственно* из закона пропорционального распределения труда,—это необходимость соответствия между определенной меновой пропорцией (независимо от того, будет ли это обмен по стоимости или по ценам производства) и определенной пропорцией распределения труда в смысле *совпадения* явлений *равновыгодности* экономического равновесия производства и его технического равновесия. Никакой внутренней связи между этими явлениями *непосредственно вывести нельзя*. Путь развития этой внутренней связи лежит лишь через теорию стоимости Маркса, т.-е. теорию вещного выражения труда в продукте труда, и через длинный ряд промежуточных звеньев завершается в теории общественного воспроизводства.

Теория стоимости Маркса исходит из того, что товары *обладают* стоимостью, что абстрактный труд вещно представлен в товаре. Следовательно, Маркс выводит обмен по стоимостям и меновые отношения вообще из «овеществления» труда. Поэтому марксова теория стоимости есть теория *абсолютной* стоимости, учитывающая, правда, всю относительность этого «абсолюта», т.-е. *общественный*, а не *естественный* характер овеществления труда. Беда тов. Кона в том, что он не исходит из этого овеществления, из абсолютной, абстрактной стоимости товара.

А так как всякому известно, что «овеществление» есть важнейший момент марксовой теории стоимости, то тов. Кон вынужден толковать о нем, но понимает его по-своему. «Товар является здесь (в меновом обществе. Авт.),—пишет он,—ору-

производство, наоборот, не является условием существования общественного разделения труда. В древне-индийской общине труд общественно разделен, хотя продукты его не становятся товарами» (К. I, 6). «Тогда как разделение труда внутри целого общества—все равно, обуславливается ли оно обменом товаров или нет—оказывается свойственным самым различным общественно-экономическим формациям, мануфактурное разделение труда есть совершенно специфическое создание капиталистического способа производства» (К. I, 247).

нием осуществления производственной связи между людьми. Закон стоимости не может поэтому не найти себе выражения в товаре. Он обязательно должен найти себе (!) овеществление в товаре. Таким овеществлением закона стоимости в товаре и является меновая стоимость, т. е. способность товара обмениваться на другие товары в определенной пропорции» («Курс», стр. 36). Как видим, тов. Кон дает ясную формулировку своего понимания «овеществления». У него имеет место не «овеществление» труда, а «овеществление» пропорций распределения труда или закона стоимости¹ в меновых пропорциях или, по его терминологии, в меновой стоимости.

Промежуточное предложение, что «закон стоимости не может... не найти себе (!) овеществление в товаре» (!), служит лишь для бессознательной мимикрии под теорию Маркса, что труд, как затрата одной и той же рабочей силы, «кристаллизуется» (прекрасная аналогия, ибо кристаллизация есть нахождение материей формы, адекватной ее внутреннему строению) в стоимость, что стоимость есть сгусток, кристалл абстрактного труда. Неправильное толкование «овеществления» есть у тов. Кона не что иное, как его отрицание. Но тогда теория стоимости Маркса превращается в теорию относительной трудовой стоимости, т. е. в ухудшенную буржуазными интерпретаторами теорию трудовой стоимости Рикардо. Именно для теории относительной трудовой стоимости характерно признание трудовых затрат принципом «ценности» (под которой разумеют меновую стоимость), регулятором ценности, но не субстанцией стоимости, этой «призрачной предметности».

Вся беда такой теории ценности в том, что она должна опираться на суб'ективные мотивы простых товаропроизводителей и не может быть исходным пунктом для вскрытия об'ективного закона движения капиталистического общества. По существу дела, тов. Кон стал на тот же путь выведения закона стоимости из суб'ективных мотивов товаропроизводителей и исходит из суб'ективного приравнивания ими своих трудовых затрат, выгод и проч. Путь этот, известный в науке со времен Адама Смита², не есть, однако, путь Маркса. Маркс никогда не апеллирует к мотивам и выгодам производителей для подтверждения или обоснования теории стоимости³. Наоборот, он развивает и обосновывает эти мотивы на основе своей теории стоимости. И это вполне понятно. Ведь суб'ективные мотивы простых товаропроизводителей отпадают в капиталистическом хозяйстве и заменяются мотивами капиталистов не трудящихся и потому учитывающих затраты капитала, а не затраты труда. Напрашивается мысль, что резкое противопоставление тов. Коном простого товарного хозяйства капиталистическому имеет опору именно в этом различии мотивов, различии «регуляторов», выражаясь языком тов. Кона. С точки зрения Маркса, исходившего из об'ективного

¹ Под законом стоимости тов. Кон разумеет «стихийный закон, регулирующий производство менового общества». Он состоит в том, что цены тяготеют к своей трудовой основе или трудовой затрате, и тем самым достигается пропорциональность производства.

² «Адам Смит, — говорит Маркс, — постоянно путается в детальном анализе и не замечает об'ективного равенства, которое общественный процесс неуклонно устанавливает между различными видами труда путем суб'ективного приравнивания индивидуальных работ» («К критике...», стр. 43, изд. 1918 г.).

³ «Как будто, — иронически замечает Маркс, — при обмене товаров и исследовании их ценности речь идет о «мотивах покупателя»» («Теория...», т. III, стр. 146, примечание 2).

равенства труда, а не из суб'ективного приравнивания работ, нет пропасти между регулятором простого товарного и капиталистического производства: по существу и там и тут стоимость «регулирует» ход хозяйственного развития, хотя содержание мотивов меняется вследствие превращения стоимости в цену производства. Таким образом, исходным пунктом является всегда модификация стоимости, а модификация мотивов — лишь проявлением и суб'ективным преломлением этой модификации стоимости.

Внешним, терминологическим выражением того, что тов. Кон слегка подвинулся в сторону суб'ективной относительной теории трудовой стоимости, служит то, что он не отличает стоимости от труда, ставит между этими понятиями большей частью полный знак равенства. Чтобы не быть голословными, представим слово тов. Кону: «Этот труд, затраченный на производство товара, называется стоимостью товара. Он является основой меновой стоимости и образует ее субстанцию» (стр. 39. Курсив наш). И если, дойдя до мелкого шрифта, тов. Кон пишет, что «в основе стоимости лежит материальный труд» (стр. 52), то есть отличает труд от стоимости, то это явная непоследовательность с его стороны. Что же в конце концов есть труд: стоимость или только основа стоимости? Если труд лишь основа стоимости, то что же такое сама стоимость в отличие от меновой стоимости?

Что основным направлением мысли автора является отождествление стоимости с трудом ясно из его понимания формы стоимости.

Отождествление на одном полюсе стоимости с трудом ведет на другом полюсе к полному отождествлению внутренней, имманентной формы стоимости (Wertgegenständlichkeit) и формы проявления стоимости (меновая стоимость). «Меновая стоимость, — пишет тов. Кон, — оказывается, таким образом, такой формой стоимости, вне которой немисливо самое существование стоимости» (стр. 39). «Меновая стоимость является не просто формой, но и единственной формой проявления стоимости» (стр. 38. Курсив наш). «Меновая стоимость является формой проявления стоимости, как основы (субстанции) меновой стоимости» (стр. 38). В то время как, по Марксу, труд есть субстанция стоимости, а меновая стоимость — форма проявления стоимости, по тов. Кону, стоимость (которую он отождествляет с трудом) есть субстанция меновой стоимости, и тем самым меновая стоимость есть вещная форма проявления труда.

В полном соответствии с этим и вопреки специальному разъяснению Маркса, что товар есть единство потребительной стоимости и стоимости, тов. Кон утверждает, будто «товар представляет собою единство потребительной стоимости и меновой стоимости». Таким образом, между трудом и меновой стоимостью нет, не может быть и не нужно никакого посредствующего звена в виде вещного выражения труда в самом товаре, в форме товарной стоимости¹.

Между тем, Маркс всегда недвусмысленно подчеркивает, что только овеществленный труд есть стоимость и, следовательно, стоимость не идентична с трудом, как деятельностью. «Стоимость есть не что иное, как овеществленный труд» (К., II, 200).

¹ Слабые и неясные намеки на форму стоимости в смысле различения стоимости от ее субстанции — труда имеются на стр. 37—38, где проводится различие между качественной и количественной стороной меновой стоимости. Отметим, кстати, что вопросу о фетишизме товара тов. Кон не отвел ни одного абзаца «Курса». Он поступил только логично. Если упустить из виду форму стоимости как нечто отличное от меновой стоимости, то теорией товарного фетишизма легко пожертвовать.

«Стоимость есть не что иное, как овеществленный общественный труд» (К., III, 388). «Стоимость товаров, т.-е. количество труда, об'ективированного в них» (там же, стр. 396). «Все эти вещи представляют теперь лишь выражение того факта, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они являются стоимостями — товарными стоимостями» («Капитал», I, изд. 1909 г., стр. 4). Таким образом, отождествление стоимости с трудом не согласуется с теорией стоимости Маркса и уводит тов. Кона в сторону от правильного ее изложения. Поскольку стоимость сама есть труд, снимается вопрос о специфическом характере труда, ее образующего. Двойственный характер труда перестает быть центральным, исходным пунктом теории стоимости, вопреки прямым разъяснениям и ходу изложения Маркса¹. Изложение теории стоимости в «Курсе» начинается с вопроса об общественно-необходимом труде, что имеет свою логику с точки зрения тов. Кона. В самом деле, раз *качественная* определенность стоимости и, следовательно, труда, создающего стоимость, отходит на задний план, то на передний выдвигается количественная определенность того же труда или вопрос об *общественно-необходимом труде*, который у т. Кона всегда, как непрменный член, фигурирует в определении стоимости на первом месте. Раз тов. Кону не приходится прибегать для обоснования теории стоимости к категории абстрактного труда, раз уже *доказано*, что трудовые затраты регулируют непосредственно меновые пропорции, то все дело сводится к определению величины этих затрат, т.-е. к вопросу об общественно-необходимом труде. Тов. Кон справляется с ним чрезвычайно легко, потому что вводит в анализ *цену* и доказывает, что раз цены равны, то должна быть *одна* регулирующая затрата. Но что такое *цена* и каково ее отношение к стоимости,—этого ведь читатель «Курса» еще не знает, ибо вне понимания абстрактного труда и формы стоимости нельзя дать понятие цены. Отсюда понятно, почему Маркс выводит общественно-необходимое время из категории абстрактного труда, как количественную меру, вытекающую из природы этой категории², что вполне согласуется с известным определением меры Гегелем, как количества, с которым связано какое-либо качество. Итак, с *качественной* стороны мы видим у тов. Кона *отрыв различных определений стоимости друг от друга*. Касаясь «количественной стороны», позволим себе также несколько замечаний. Нам кажется необоснованным *резкое противопоставление* тов. Коном средних затрат затратам *средних* предприятий или, точнее, преобладающей группы предприятий³. Как и всякое массовое явление, стоимость подчинена

¹ Приведем известную цитату из письма Маркса и Энгельса от 24 августа 1867 г. «Самое лучшее в ... («Капитале». Авт.)... в первой же главе подчеркнутая особенность двойственного характера труда, смотря по тому, выражается ли он в потребительной или меновой стоимости (на этой теории о двойственном характере покоится все понимание фактов)» и т. д.

² «Труд, образующий субстанцию стоимости, есть одинаковый человеческий труд, затрата одинаковой человеческой рабочей силы. Совокупная рабочая сила общества, выражающаяся в товарных стоимостях, рассматривается здесь, как одна и та же рабочая сила, хотя она и состоит из бесчисленного множества индивидуальных рабочих сил. Каждая из этих индивидуальных рабочих сил представляет собою такую же человеческую силу, как и все другие, поскольку она обладает характером средней общественной рабочей силы, т.-е. употребляет для производства какого-либо товара лишь средне-необходимое или общественно-необходимое рабочее время» («Капитал», I, § 1).

³ «При определении цены товара важны не затраты средних предприятий, а средние затраты всей отрасли производства» («Курс», стр. 22).

закону *большого числа*. Поэтому закономерное распределение, при большой массе случаев, отдельных явлений вокруг их средней состоит в совпадении моды, медианы и средней, то-есть средняя совпадает с взвешенной средней и составляет наибольшее число случаев, а отклонения от нее взаимно уничтожаются. При большом числе случаев вероятность такого распределения близка к единице, и, следовательно, всякое другое распределение *случайно* и *неустойчиво*. В самом деле, если слишком велика разница между высшей и низшей группой, численно преобладает одна из них, а средняя представлена слабо, то произойдут быстрые изменения стоимости, и распределение изменится. Поэтому Маркс считает *нормальным* случаем преобладание средней группы предприятий и взаимное уничтожение отклонений. Однако в случаях *незакономерного, неустойчивого* распределения преобладают затраты предприятий высшей или низшей производительности, т.-е. *они* оказывают *определяющее влияние* на величину средней, хотя последняя по смыслу своему никогда не может совпасть с индивидуальными затратами преобладающей высшей и низшей группы. Тов. Кону достаточно вдуматься в свои примеры, чтобы убедиться в сказанном. По существу, это и есть очищенная от неточностей (за которые ухватился тов. Кон) точка зрения И. И. Рубина, что доказывается следующим местом его «Очерков»: «Возможны, наконец, такие случаи, когда равновесие общественного хозяйства наступает при том условии, если рыночная стоимость определяется не индивидуальными издержками производства в данной группе предприятий (напр., высшей производительности), а средней цифрой между издержками производства данной группы и ближайшей к ней другой группы. Особенно часто это может иметь место, если в данной отрасли производства предприятия по своей производительности разделяются не, как мы предполагали, на три группы, а на две группы средней и низшей производительности» (2-ое изд., стр. 130). Там, где И. И. Рубин выступает против «средней арифметической», он просто неточно выражает ту мысль, что речь идет не о *простой*, а о *взвешенной* средней арифметической.

Главный недостаток тов. Кона, что он не рассматривает последовательно равновесие *диалектически*, т.-е. как момент движения, а зачастую видит в нем абстрактный, неизменный и постоянный *уровень*, вокруг которого колеблются цены, т.-е. подходит к нему механистически.

Мимоходом заметим, что тов. Кон напрасно, вопреки детальным исследованиям Григоровичи, видит различие взглядов Маркса и Лассаля в теории стоимости в разовой трактовке проблемы общественно-необходимого, а не *абстрактного* труда¹. Преувеличение значения проблемы общественно-необходимого труда за счет роли *абстрактного* труда в теории стоимости сказалось у тов. Кона и тут.

Перейдем теперь к отношениям между простым и сложным трудом. Начнем с того, что невнимание к качественной однородности труда, выражающегося в стоимости, к его характеру абстрактного труда, не дает тов. Кону возможности понять и соотношения сложного и простого труда. А именно, он не понимает, что в стоимости труд уже сведен к абстрактному безразличному труду, следовательно, и сложный труд сведен к простому (ибо общечеловеческий труд есть в первую очередь простой, то-есть всем доступный труд). Поэтому, проходя мимо утвер-

¹ Ср. Т. Григоровичи, «Теория стоимости у Маркса и Лассаля», стр. 62—85, где мнение, разделяемое тов. Коном, справедливо трактуется, как научное недоразумение.

ждений Маркса, что мерой труда является простой труд¹ и потому сложный труд есть только возведенный в степень простой, что, другими словами, в форме абстрактного труда уже уничтожена противоположность простого и сложного труда, тов. Кон полагает, что, уже приняв форму абстрактности, то-есть стоимости, труд еще должен быть сведен к простому труду. По крайней мере, иначе нельзя толковать его фразу: «Мы вовсе не хотим этим сказать, что каждый час абстрактно-общественно-необходимого труда, затраченного в той или другой отрасли производства, всегда обменивается на один же час абстрактного общественно-необходимого труда производителей других отраслей» («Курс», стр. 24). Тут ясно выступает непонимание тов. Коном того, что с *качественной* стороны проблема редукции разрешена в тот момент, когда мы переходим от конкретного труда к труду абстрактному, от потребительной стоимости к стоимости. Оно не случайно, ибо вытекает из основной точки зрения тов. Кона. В самом деле, как, стоя на этой точке зрения, т.-е. *отождествляя труд и стоимость*, можно истолковать основное положение Маркса: «Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его *стоимость* делает его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда» («Капитал», I, стр. 11, изд. 1909 г.)? Поставив в этом положении на место слова «стоимость» трудовые затраты, мы получим просто бессмыслицу. Если же понимать, что стоимость есть кристалл *абстрактного* труда, что в стоимости труд представлен в своей всеобщей, безразличной форме, то мы приходим почти к тому же положению, которое *непоследовательно* выставляет сам тов. Кон: «Поскольку между различными видами труда, взятыми абстрактно, существует лишь количественная разница, всякое количество сложного труда теоретически может быть выражено (следовало сказать: всякое количество сложного труда в форме стоимости тем самым выражено) в определенном количестве простого труда» («Курс», стр. 25). Мы хотим сказать, что *сложность* труда относится к его *конкретности* и идентична с *профессией*, как качественно особым натуральным видом труда. Всякий труд реально обладает, как правильно замечает И. И. Рубин, той или иной степенью сложности (хотя бы и приближающейся к нулю); но в своей абстрактной *форме* или стоимости он есть (представляется) как простой труд².

Простой и сложный труд суть полюсы противоречия. Это противоречие, производное от противоречия двойственного характера труда, и *включено* в противоречие между абстрактным и конкретным трудом. Так и только так следует понимать (с метафизической точки зрения «загадочную») точку зрения Маркса.

Тов. Кон разделяет профессию и сложность труда. Сложность труда он понимает только как количественное различие, *отвлекаясь* от потребительной стоимости и конкретности труда, то-есть *уничтожая* то различие, которое он хочет определить.

¹ «Как стоимости, товары суть не что иное, как кристаллизованный труд. Единичей меры самого труда служит средний простой труд, характер которого хотя и изменяется в разных странах и в разные эпохи развития культуры, но в данном обществе он определен» (Als Werthe sind die Waren nichts als kristallisierte Arbeit. Die Masseinheit der Arbeit ist einfache Durchschnittsarbeit. deren Charakter zwar in verschiedenen Ländern und Kulturepochen wechselt, aber in einer vorhandenen Gesellschaft gegeben ist («Das Kapital», I, 1867).

² Это говорит и тов. Кон хоть и *непоследовательно*, не делая отсюда соответствующих выводов: «Каждый труд обладает той или другой степенью сложности» («Курс», стр. 25).

Тов. Кон, видимо, не понимает, что когда он ставит проблему *в эту плоскость*, то он сводит ее к чисто количественной редукции, то-есть к тому, что им, повидимому, признается не *нужным* (хотя и возможным), ибо *количественная* редукция доказывается практикой «общественного процесса, протекающего за спиной производителей» (Маркс). Но так как логика мысли зачастую одолевает мыслителей, то тов. Кон впадает в забавное противоречие с самим собой. Для определения сложного труда он производит примерную редукцию труда профессора на основе предварительных затрат на подготовку и приходит к выводу, что «каждый час труда профессора стоит 3 часов предварительного труда» («Курс», стр. 25). Однако тов. Кон чувствует, что в самом своем вычислении он уже предположил *редукцию* в принципе, ибо складывает самые различные виды труда, потребные в годы ученичества профессору. Поэтому он делает только тот вывод, что труд профессора—сложный труд, ибо требует подготовки, для чего вовсе не следовало делать редукцию. Суть в том, что тов. Кон опасается тут об'яснить стоимость, создаваемую трудом *перенесением* издержек обучения, ибо речь идет о *присоединении* стоимости¹. Но тут же он, ничтоже сумняшеся, принимает свой расчет в самом буквальном смысле и заявляет: «Нельзя измерять труд просто часами, если оказывается, что в течение часа работники различных профессий вкладывают в *товар различное количество труда*» (там же).

Впрочем, в этой вульгарной форме («вкладывают... количество труда») тов. Кон выражает мучающее его противоречие между количественным определением труда, образующего стоимость, степенью его сложности, степенью его интенсивности и общественно-необходимым рабочим временем.

Простое разрешение этого вопроса состоит в том, что количественная мера труда есть *качество* простого труда, перед которым стоит постоянный коэффициент сложности труда и переменные коэффициенты времени и быстроты его течения. Коэффициент сложности труда связан с затратами подготовки, но принципиально *не тождественен* им даже в том случае, если количественно совпадает с ними. Затраты подготовки не *переносятся*, как *прошлая стоимость на продукт*, а лишь сообщают самому труду известный коэффициент сложности.

Зарегистрировав изрядное количество недоразумений и недомолвок и показав, что они вытекают из игнорирования тов. Коном противоречия труда и товара, *единства их противоположных* определений, мы переходим к трактовке им самой проблемы абстрактного труда.

Экономические категории, учили Маркс и Энгельс, суть выражения реальных производственных отношений. Категория абстрактного труда выражает реальные производственные отношения только в товарном хозяйстве. Это признает и тов. Кон. Но из этого положения следует, что категория абстрактного труда есть категория историческая, категория товарного хозяйства. Вот этот вывод тов. Кон почему-то боится сделать.

¹ Смелее он оказывается в полемике с Бем-Баверком на стр. 65. Если мы целиком согласны с тов. Коном, что «возражение Бема по этому пункту покоится на полном непонимании того разграничения, которое Маркс проводит между конкретным и абстрактным трудом», то тов. Кон должен согласиться с нами, что его противоречия покоятся на неполном понимании этого разграничения и полном непонимании им противоречия такого «разграничения», то-есть двойственной природы буржуазного труда.

Он боится превращения материального в *специфически социальное* так же, как И. И. Рубин признает немислимым обратное. К чему это приводит тов. Кона, мы увидим ниже при анализе его полемики с последним. Но прежде заметим, что в общей части «Курса», напечатанной крупным шрифтом для малоподготовленного читателя, теория абстрактного труда извращена незаметным способом, ибо *выхолощена*. На одной странице тов. Кон дает ходячее определение абстрактного труда, как простого логического отвлечения от конкретных видов труда, не показывая, в какой связи, в каком соотношении, т.-е. в какой социально-исторической обстановке, *как и почему* происходит это отвлечение и почему оно выражает основное противоречие товарного хозяйства.

Популярность, характер учебника, приданный «Курсу» в данных конкретных условиях, не может быть оправданием тов. Кону. В наших социально-экономических, вузах и Комвузах проблема абстрактного труда усиленно дискутируется, и потому любой читатель может потребовать ответов на проклятые вопросы. Тщетно будет тов. Кон доказывать, что он только изложил заключительные формулировки § 2 I тома «Капитала». Он должен был увязать в одно целое все высказывания Маркса. А Маркс постоянно развивает мысль, что абстракция от конкретных свойств труда не произвольна, что она имеет место в повседневных актах обмена, за спиной товаропроизводителей и лишь отражается в их сознании. У Маркса речь идет всегда об об'ективном процессе, выражающемся в абстракции, а не о простом логическом отвлечении, не об абстракции самой по себе. Между тем, в «Курсе» (стр. 23) только и говорится, что «стоит лишь отвлечься от той потребительной стоимости, на создание которой труд направлен, и всякий труд выступит в качестве целесообразной затраты физиологической энергии (следовало сказать точно—по Марксу—затраты одной и той же человеческой рабочей силы; пережевывание пищи, напр., не есть труд. *Авт.*)—итолько. Это будет уже не конкретный труд, а труд *вообще*. Отвлекаясь от той потребительной стоимости, на создание которой направлен данный вид труда, мы сводим всякий труд к абстрактному труду». После этого читатель должен рассуждать так: абстрактный труд создает стоимость. Стоит отвлечься от потребительной стоимости, чтобы получить абстрактный труд. Абстрактный труд это и есть стоимость (по тов. Кону). Потребительные стоимости существуют всегда. Отвлечься от них можно всегда («стоит лишь отвлечься»). Отсюда вывод: стоимость существует во всяком обществе, ибо всегда существует абстрактный труд. Самому тов. Кону, чтобы не слиться с А. А. Богдановым, остается прибегнуть к усилию воли и впасть (из добрых побуждений) в грубейшую непоследовательность в своей критике И. И. Рубина¹.

¹ Кстати, о *тоне* этой критики. В атмосфере всеобщего увлечения книгой И. И. Рубина, вслед за ее выходом, не было обращено достаточного внимания на те существенные ошибки, которые он совершил в трактовке целого ряда вопросов марксовой теории стоимости. В настоящее время мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Наши теоретические журналы пестрят статьями, направленными против «Очерков». Пишутся целые «исследования» для опровержения «рубинизма». Третирование «Очерков» стало своего рода спортом. Приходится пожалеть, что тов. Кон отдал чрезмерную дань этому спорту, поскольку такое усердие ведет к тому, что вместе с водой выплескивается из ванны и ребенок. По своему *содержанию* критика тов. Кона примыкает к тем возражениям, которые развивал в своем неопубликованном, но известном многим докладе тов.

В этой критике тов. Кон приходит к заключению, что было бы неправильным вводить в определение абстрактного труда определенную организацию производства. По тов. Кону, определяющим моментом категории абстрактного труда является *только* затрата физиологической энергии. Всякий труд, в какой бы общественной форме он ни затрачивался, является трудом абстрактным, если его рассматривать со стороны затраты нервов и мускулов. «Абстрактный труд представляет собой целесообразную затрату физиологической энергии человека» (стр. 52).

Но если это так, то положение, что «абстрактный труд создает стоимость», должно привести к выводу, что стоимость есть категория «над'историческая». Признание абстрактного труда категорией «вечной» ведет к признанию, что стоимость также является «вечной» категорией, особенно с точки зрения тов. Кона, игнорирующего стоимостную предметность (*Wertgegenständlichkeit*) и отождествляющего стоимость с трудом (абстрактным). Такой вывод в свое время сделал А. А. Богданов. Тов. Кон избегает этого вывода ценою отказа от основного положения Маркса о том, что стоимость создается абстрактным трудом, как *таковым*, и от своего положения, что стоимость есть самый труд. Абстрактный труд, думает тов. Кон, сам по себе стоимости не создает: «Для того, чтобы труд создавал стоимость, он должен быть не *только абстрактным*, но и *общественным трудом*» (стр. 54). Вместе с тем труд из стоимости превращается в *основу* стоимости.

Так как вся проблема сводится к *правильной* интерпретации Маркса, то едва ли можно игнорировать то определение, которое постоянно дает Маркс. Это определение гласит: «Труд, образующий меновую стоимость, есть *абстрактный всеобщий труд*». Здесь возможны два пути: *или* признание того, что как абстрактный труд, так и стоимость являются «вечными» категориями, *или* же такое определение абстрактного труда, которое учитывало бы его социально-историческую определенность. Тов. Кон отвергает оба эти пути и находит третий, вводя, как условие создания стоимости, что абстрактный труд должен быть и общественным трудом, не об'ясняя, что он разумеет под этим последним. Однако общественный труд сам по себе не может быть творцом стоимости. Ведь общественным трудом в организованных обществах является труд конкретный. Но никто из марксистов не *станет* утверждать, что стоимость создается конкретным трудом. Поэтому сказать, что стоимость создается «не только абстрактным, но и общественным трудом»,—это еще не значит подчеркнуть исторический характер стоимости. Ибо в этом определении оба понятия не заключают, с точки зрения тов. Кона, момента социально-исторической определенности. Категория абстрактного труда—по тов. Кону—логическая, категория общественного труда, взятая независимо от экономической структуры,—бессодержательна. Какой труд явится трудом общественным, это зависит от социальной организации общества. Поэтому нельзя признать формулировку, данную тов. Коном, точной и ясной даже с точки зрения той мысли, которую он хотел вложить в эту формулировку. А хотел он вложить ту мысль, что труд, создающий стоимость, есть явление историческое. Однако это ему не удалось, благодаря игнорированию двойственности буржуаз-

С. Геворкян, который первый, насколько нам известно, выступил против точки зрения И. И. Рубина.

ного труда и смешению абстрактного труда со стоимостью, как его вещным выражением и вытекающим отсюда смешением стоимости в смысле Wertgegenständlichkeit, т.-е. внутренней формы стоимости с меновой стоимостью или внешней формой проявления стоимости¹.

Непонимание того, что, по Марксу, субстанция стоимости, или абстрактный труд, должна «овеществиться», принять вещную видимость, что есть особая стоимостная предметность («Wertgegenständlichkeit»), которая носит чисто общественный, но весьма об'ективный характер², ставит тов. Кона в очень прискорбное положение в его полемике с И. И. Рубиным. И. И. Рубин в своих «Очерках» пишет: «Маркс не устал повторять, что стоимость есть явление общественное, что бытие стоимости (Wertgegenständlichkeit) имеет «чисто общественный характер» и не заключает в себе ни одного атома материи» (в оригинале Маркса — Naturstoff). Маркс вполне правильно подчеркивает, что в образовании «предметности», «вещественности» стоимости, не принимал участия ни один атом материального, естественного вещества, что это — плод общественного строя. И. И. Рубин делает отсюда крайне непоследовательный для

¹ Против отождествления внутренней имманентной формы вещи, придающей ей качественную определенность, с ее внешней видимостью попадает в цель следующее замечание Плеханова: «Еще Гегель очень хорошо показал в своей «Логике», что «форма» предмета тождественна с его «видом» только в известном и притом *поверхностном* смысле, в смысле внешней формы. Более глубокий анализ приводит нас к пониманию формы, как «закона» предмета или, лучше сказать, его строения» (Плеханов. Собр. соч., т. XVII, стр. 35). Для иллюстрации различия между формой имманентной содержанию и формой проявления мы позволим себе привести следующий пример Гегеля: «Кусок мрамора, — говорит он, — равнодушен к тому, облечен ли он в форму какой-нибудь статуи или колонны. Но и кусок мрамора равнодушен только к той форме, которую дает ему художник, а не к своей существенной форме, которая делает его тем, чем он есть. Минералог определяет отличительные признаки этой формации и различает ее от других близких формаций, например, от песчаника, порфира и др.» (Гегель. Энциклопедия, § 129, ст. 129).

Чтобы показать, что сам Маркс проводит различие между формой стоимости в смысле «Wertgegenständlichkeit» и меновой стоимостью, достаточно привести всего одну цитату: «Es ist einer der Grundmangel der klassischen politischen Oekonomie, dass es ihr nie gelang aus der Analyse der Waare und spezieller des Waarenwerths die Form des Werths, die ihn eben zum Tauschwerth macht, herauszufinden» («Das Kapital», 4. A., Hamburg, 1890, S. 47). Правильный перевод этого места, впервые указанный И. И. Рубиным, гласит: «Один из основных недостатков классической политической экономии состоит в том, что ей никогда не удавалось из анализа товара и, в частности, товарной стоимости вывести форму стоимости, которая именно и делает ее (т.-е. товарную стоимость, а не товар, как перевели переводчики. *Авт.*) меновой стоимостью». Какой смысл можно вложить, с точки зрения тов. Кона, в слова Маркса, что форма стоимости придает стоимости характер меновой стоимости? Ведь если принять положение тов. Кона, что форма стоимости употребляется всегда Марксом только в смысле внешней формы, т.-е. меновой стоимости, то здесь получается бессмыслица, а именно: «меновая стоимость придает стоимости характер меновой стоимости». Значение проблемы формы стоимости в последнее время особенно выдвинул И. И. Рубин.

² Об этой вещественности, предметности стоимости Маркс пишет: «Это общественно пригнанные и общественно признанные, следовательно, об'ективные формы мысли в рамках производственных отношений данного исторически определенного способа производства — товарного производства» («Капитал», I, стр. 42, изд. 1909 г.).

материалиста вывод, что и абстрактный труд, как субстанция стоимости, не материален. Непосредственно, вслед за приведенной фразой, он пишет: «Отсюда вытекает, что и абстрактный труд, создающий стоимость, должен быть понимаем, как категория социальная, в которой мы не найдем ни одного атома материи» («Очерки», стр. 99).

Если И. И. Рубин хочет сказать, что в экономических категориях, как таковых, как абстракциях действительных материальных отношений производства, нет ни атома той материи, от которой они абстрагированы, и вообще нет материи, то он говорит простую истину. Категории (всякие и социальные в том числе) суть не сами вещи или явления, но лишь их преломление в человеческой голове. Но если И. И. Рубин хочет сказать, что эти абстракции не есть действительное отражение об'ективного реального, материального мира, следовательно, что категория абстрактного труда не выражает настоящий, всамделишный «материальный» труд, протекающий в определенных об'ективных социальных отношениях в соответствии с его общечеловеческой природой, то он поворачивается спиной к материализму. Ведь нельзя же всерьез считать доводом против материальности труда, создающего стоимость, то, что строй товарного хозяйства способствует отражению труда в специфической форме призрачной предметности, стоимости, что стоимость в об'ективном мире не существует, как особый предмет, вещь, об'ект, т.-е. не материальна, хотя и выражает или «содержит» в себе нечто материальное, именно труда. Ведь самый строй товарного хозяйства есть нечто об'ективное, совокупность материальных отношений производства, единство своих производительных сил и производственных отношений. В форме социального явления «абстрактный труд» выступает самый настоящий труд, именно затрата человеческой рабочей силы, протекающей в условиях товарного хозяйства. Все дело в том, что И. И. Рубин не учитывает единства противоположных определений труда, упускает из виду, что абстрактный «социальный» и конкретный «материальный» труд — это не разные об'екты, а один и тот же, двойственный по своей природе, труд, выступающий в различных аспектах соответственно его двойственности.

В итоге он рассуждает на подобие человека, который, видя себя в зеркале, умозаключает: «То, что я вижу в зеркале, есть мое отражение, созданное мною по моему образу и подобию. Но отражение есть явление оптическое, в котором нет ни атома плоти и крови. Следовательно, я сам, оригинал его, не из плоти и крови. Я емь явление оптическое и идентичен с своим отражением». Но вернемся к тов. Кону.

Возразить И. И. Рубину тов. Кон по существу не может, потому что и он представляет себе двойственность только как внешнее соединение раздельных понятий. Для него тоже стоит вопрос: или-или. Или «стоимостная предметность» есть явление нематериальное, — тогда и абстрактный труд есть нечто нематериальное. Или абстрактный труд есть нечто материальное, тогда и стоимость должна быть чем-то материальным.

И тов. Кон негодуя пишет, отстаивая материальность стоимости: «Стоимость, которая является производственным отношением (?), об'является И. И. Рубиным нематериальным, следовательно, об'ективно не существующим явлением». Так как труд, т.-е. деятельность, не может быть производственным отношением, ибо производственные отношения суть отношения людей в процессе труда, а не труд, то смешать здесь стоимость с трудом никак невозможно. Отсюда вывод, что для тов. Кона

именно стоимость, взятая со стороны ее формы, то-есть вещное выражение труда в товаре, есть явление материальное. Теория товарного фетишизма, где ты? Факт налицо: тов. Кон невольно принял призрачную предметность стоимости за действительный предмет. В итоге тов. Кон рассуждает по такому, примерно, образцу: человек, видя себя в зеркале, умозаключает: «То, что я вижу в зеркале, есть мой образ и подобие. Но я ем человек, плоть и кровь. Следовательно, мое отражение в зеркале есть плоть и кровь, живой человек, движущийся, жестикулирующий, словом,—материальный». Борясь против одной крайности, тов. Кон попал в другую.

А так как противник опирается на цитату из «Капитала», то тов. Кону ничего не остается, как опровергнуть самую цитату. Спорное место в оригинале гласит: «Im graden Gegenteil zum sinnlich groben Gegenständlichkeit der Warenkörper geht kein Atom *Naturstoff* in ihre Wertgegenständlichkeit ein».

Ближе всего к подлиннику именно тот перевод под ред. Струве, на который опирается И. И. Рубин¹. В. А. Базаров и И. И. Степанов, уклонившись от точ-

¹ Дословный перевод гласит: «В прямую противоположность к чувственно грубой предметности товарных тел ни один атом природной материи не входит в предметность их (товаров) стоимости». Мы не считаем, что перевод «Wertgegenständlichkeit» словами «стоимостная предметность» удачен, но он передает смысл, который Маркс вкладывал в это понятие. Под «Wertgegenständlichkeit» он понимает вещную форму выражения субстанции стоимости в продукте труда, а не субстанцию стоимости, как переводят Степанов и Базаров. «(Веществление) абстрактного труда (т.-е. субстанции стоимости) придает продукту труда особую стоимостную форму («Wertgegenständlichkeit»), которая означает лишь предметное, вещное выражение труда в товаре. Только при таком понимании ясно, почему Маркс говорит: «Erinnern wir uns jedoch dass die Waren nur Wertgegenständlichkeit besitzen, sofern sie Ausdrücke derselben gesellschaftlichen Einheit, menschlicher Arbeit, sind, dass ihre Wertgegenständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so versteht sich auch von selbst, dass sie nur im gesellschaftlichem Verhältnis von Ware zu Ware erscheinen kann» (К., В. I, S. 15). «Если мы припомним, что товары обладают стоимостной предметностью лишь постольку, поскольку они являются выражением одной и той же общественной субстанции человеческого труда, что, стало быть, их стоимостная предметность имеет чисто общественный характер, то само собой вытекает, что она («Wertgegenständlichkeit») может проявиться лишь в общественном отношении одного товара к другому». Струве переводит «Wertgegenständlichkeit»—«бытие стоимости». Это не извращает смысла подлинника, чего нельзя сказать о переводе Базарова и Степанова (субстанция стоимости). В самом деле, в последнем случае мы получаем: в отношении товара к товару, т.-е. в меновой стоимости, проявляется не стоимость, а непосредственно субстанция стоимости труда. Такой именно смысл придает этому месту перевод Базарова и Степанова: «Если мы припомним, что товары обладают субстанцией стоимости лишь постольку, поскольку они суть выражение одной и той же общественной единицы, человеческого труда, что субстанция их стоимости имеет поэтому чисто общественный характер, то для нас станет само собой понятным, что она может проявиться лишь как общественное отношение одного товара к другому» (К. I, изд. 1923 г., стр. 13). Стоимость, как посредствующее звено между субстанцией стоимости и меновой стоимостью, исчезает. С точки зрения тех, кто отождествляет труд со стоимостью, это вполне логично, но мы уже видели, что такое отождествление не законно; что Маркс имеет здесь в виду не субстанцию стоимости, а стоимость, как вещное выражение труда в товаре, видно из непосредственно следующего за приведенным местом текста: «В самом деле,—говорит Маркс,—мы исходим из меновой стоимости или менового отношения товаров, чтобы попасть на след скрывающейся в них стоимости. Мы должны возвратиться теперь к этой форме проявления стоимости» (К. I, изд. 1923, стр. 13). Это отожде-

ности, перевели «Wertgegenständlichkeit» словами «субстанция стоимости», как если бы стояло «Wertsubstanz». А так как субстанция стоимости есть абстрактный труд, то, чтобы бороться с выводом о нематериальности абстрактного труда в духе Рубина и в то же время не отказаться от отождествления стоимости с трудом, тов. Кону остается: 1) принять, вопреки подлиннику, перевод Базарова и Степанова, 2) вставить в этот перевод, вопреки смыслу, слова, подтверждающие его точку зрения, и написать: «Маркс указывал, что ни один атом естественного вещества (товарных тел. А. К.) не входит в субстанцию их стоимости» («Курс», стр. 52). И после этого тов. Кон обвиняет И. И. Рубина в подлоге, в том, что он «подставляет» слова «ни одного атома материи». На самом деле ошибка И. И. Рубина не в том, что он пользуется правильным здесь переводом Струве для доказательства нематериальности «стоимостной предметности», а в том, что он пытается доказать нематериальность субстанции стоимости, при чем цитирует неверный перевод Базарова и Степанова («Очерки», изд. 2-е, стр. 108).

Перейдем теперь к доказательству тов. Коном того положения, что стоимость создается не просто абстрактным трудом, но и общественным трудом. Оно заключается в одной цитате и только в ней. «Только внешняя торговля»,—гласит эта цитата,—«развитие рынка в мировой рынок, превращает деньги в мировые деньги, а абстрактный труд—в общественный труд» («Theorien über den Mehrwert», В. III, S. 301. Курсив Маркса). И. И. Рубин делает из этой цитаты вывод, что «абстрактный труд создается обменом» («Очерки», стр. 103). С этим выводом нельзя согласиться. Но нельзя согласиться также с тов. Коном, который, на основании наличия в этой фразе слова «превращает», делает вывод о существовании абстрактного труда до товарного хозяйства. Этот вывод сделан неосновательно. Смысл выставленного Марксом положения совершенно ясен. Маркс говорит здесь, во-первых, о борьбе между меновым и натуральным хозяйством, между двумя общественными формами труда, между трудом абстрактным и трудом общественным в его натуральной форме. Развитие рынка и дифференциация труда нанесли тяжелые удары натуральному хозяйству и труду общественному в его натуральной форме. Вместе с тем одна форма труда была вытеснена в роли общественного труда другой специфической общественной формой труда, а именно трудом абстрактным, выражавшим новые победившие производственные отношения. Превращение труда абстрактного в труд общественный здесь означает не что иное, как распространение обмена за пределы узкой местной сферы—во всем общественном хозяйстве, которое до этого представляло безбрежное море натуральных чеек. Во-вторых, Маркс подчеркивает, что только с превращением денег в мировые деньги абстрактный труд находит свое полное, законченное выражение. По самому своему смыслу абстрактный труд должен выступать, как нечто общее всем видам труда. Все виды

ствление субстанции стоимости и стоимости отрезывает также путь к пониманию формы стоимости (Wertform), как об'ективной, чувственной формы бытия стоимости, в отличие от абстрактной, мысленной формы бытия стоимости в виде «Wertgegenständlichkeit». Продукты труда обладают формой товара постольку, поскольку они обладают двойной формой, формой потребительной стоимости и стоимости. Потребительной стоимостью товар является непосредственно как чувственная вещь; как стоимость отдельный товар может выступать только в абстракции—как мыслительная сверхчувственная вещь, как призрачная предметность. Чтобы дать этой «призрачной предметности» об'ективное выражение, необходимо поставить товар в общественное отношение с другим товаром, т.-е. придать ему форму стоимости в смысле внешней об'ективной формы ее бытия.

труда должны выступать, как абстрактный—и в этой форме общественный—труд. Это возможно лишь одним способом: все продукты должны стать товарами и превращаться в деньги. А это и делает деньги всемирными деньгами.

Это ясно всякому, кто читается в цитату, ибо речь идет, как о равнозначном процессе, во-первых, о превращении денег в мировые деньги и, во-вторых,— абстрактного труда в общественный труд. Очевидно, у Маркса абстрактный труд соответствует деньгам, что вполне понятно, ибо деньги, по Марксу, есть самостоятельная форма бытия абстрактного труда, в которой частный труд выступает, как непосредственно общественный труд.

Толкование тов. Кона нелепо, ибо предполагает деньги до стоимости. Что абстрактный труд и деньги тут по смыслу две стороны одного и того же явления, ясно из продолжения той же цитаты: «Абстрактное богатство, стоимость, деньги, следовательно, абстрактный труд развивается по мере того, как конкретный труд развивается в совокупность различных видов труда, охватывающую мировой рынок».

Ошибка тов. Кона заключается, конечно, не в том, что, по его мнению, стоимость создается специфической формой буржуазного труда, а в том, что он не считает этой формой абстрактный труд. А раз так, то товар не может быть противоречивым единством стоимости и потребительной стоимостью, в смысле выражения противоречия между конкретным и абстрактным трудом. Но если упустить это из виду и считать вместе с тов. Коном товар единством потребительной и меновой стоимости, то нельзя понять, почему «простая форма стоимости есть... простая форма проявления заключающейся в нем противоположности между потребительной стоимостью и стоимостью» («Капитал», I, пер. под ред. Струве, стр. 21, изд. 1906 г.).

А не поняв этого, нельзя правильно изложить развитие внутреннего противоречия товара во внешнюю противоположность товара и денег, то-есть развитие форм стоимости.

Ведь развитие форм стоимости является вместе с тем развитием очерченной выше противоречия, а этапы этого развития (простая, развернутая, всеобщая, денежная формы стоимости) выступают, как логические и исторические этапы развития и разрешения этого противоречия. Ясная трактовка вопроса о развитии форм стоимости на основе развития противоречия товарной формы представляется для марксистского курса политической экономии непререкаемое условие.

Тов. Кон, хотя и говорит о том, что «степени развития форм стоимости отражают собой как процесс развития стоимостных отношений, так и процесс развития денег», однако, в своем анализе развития форм стоимости он игнорирует процесс развития овеществления абстрактного труда, т.-е. денег, как процесс развития и разрешения противоречия товарной формы. Тот метод изложения, которым пользуется при этом тов. Кон, совершенно чужд марксовой политической экономии. Тов. Кон об'ясняет переход от простой формы к развернутой непригодностью первой для выражения и измерения стоимости. Преимущество же развернутой формы он видит в том, что «она более наглядно выявляет факт существования стоимости» (стр. 114). Однако развернутая форма стоимости также имеет свой недостаток. «Выражение стоимости каждого товара,—говорит тов. Кон,—носит в этой форме характер количественной неопределенности. Для того, чтобы судить о стоимости того или иного товара, мы вынуждены рассматривать все возможные ее выражения» (курсив наш). Тов. Кон отказался от рассмотрения

развития формы стоимости, как процесса разрешения противоречия товара, как об'ективного процесса обобщения обмена и превращения его в товарное обращение, включающего ряд исторически и логически неизбежных переходов от предыдущей формы к последующей, и стал на путь рационалистического изображения этого развития.

Не лишне отметить, что читателя очень часто занимает вопрос о различии между всеобщей и денежной формой стоимости. Тов. Кон обходит этот вопрос молчанием. Различие же всеобщей и денежной формы стоимости не только количественное, но и качественное, так как развитие всеобщей формы в денежную означает вместе с тем превращение простого обмена в процесс товарного обращения. При господстве формы всеобщего эквивалента не может быть обращения, т.-е. принятия *каждым* товаром прочной формы всеобщего эквивалента, ибо в качестве всеобщего эквивалента выступают различные товары в разные моменты и даже одновременно несколько товаров, связанных известным соотношением, напр., быки, овцы, рабы, золото. Постольку даже золото не принимает формы монеты и переходит из рук в руки в крупных слитках, браслетах, кольцах и т. д. Товары выражают свою стоимость в золоте, но обмениваются, большей частью, непосредственно. Есть всеобщая форма стоимости, но нет *цены*, т.-е. *денежной* формы стоимости, а значит нет и сплетения метаморфоз, превращения товара в деньги, словом, товарного и денежного обращения (Т—Д—Т). Только при денежной форме стоимости обособляется общественная форма труда, как *вещь*, существующая на ряду с действительными элементами производства, а не *среди* них. Тем самым всякий товар приобретает способность стать такой *вещью*.

Товарное и денежное обращение—и логически и исторически—есть крупнейший этап на пути к господству товарной формы хозяйства, т.-е. к капиталистическому строю.

III

Дав анализ денег, как средства обращения, тов. Кон устанавливает количество денег, необходимых для обращения. Здесь он воспроизводит формулу Маркса, согласно которой необходимое количество средств обращения равно сумме товарных цен, деленной на количество оборотов средней (?) монеты $K_d = \frac{\Sigma c}{o}$.

Как видит читатель, тов. Кон не прельстился теми «исправлениями», которые внес в формулу Маркса тов. Трахтенберг, заменивший в этой формуле сумму цен товаров произведением массы товаров на общий уровень цен.

Но выводы, которые тов. Кон сделал из правильной формулы Маркса, совсем не соответствуют теории денег Маркса. Тов. Кон совершенно незаконно воспользовался этой формулой, чтобы ввести в оборот марксистской политической экономии, вслед за тов. Трахтенбергом, чуждое ей понятие покупательной силы денег. Более того: он полагает, что это понятие непосредственно вытекает из формулы количества средств обращения Маркса и дает ему следующее определение: «Покупательная способность денег равняется сумме товарных цен, деленной на количество оборотов средней монеты и на количество денег, находящихся в обращении» (стр. 152). «Покупательная способность денег может рассматриваться, как форма выражения их стоимости. Однако к этому нужно сделать оговорку, что покупательная способность денег может изменяться не только под влиянием

изменения стоимости денег, но и под влиянием изменения стоимости (или даже цены) одного или нескольких товаров» (стр. 154). «В политической экономии принято измерять покупательную способность денег при помощи товарных индексов, или средней товарной цены» (стр. 153). «Мы... должны заметить, что индекс может выражать не ценность (стоимость) денег, а лишь их покупательную способность» (стр. 154).

Таким образом, у тов. Кона речь идет о «покупательной силе денег», измеряемой при помощи товарных индексов. Все, конечно, согласится с тем, что термин «покупательная сила денег» не пользуется гостеприимством в теоретических работах марксистов. Но, быть может, марксисты отстали от жизни, от «современной науки», которая, если под ней разуметь современную буржуазную политическую экономию, широко использует этот термин? Однако термин «покупательная сила денег» отнюдь не блещет новизной. Уже Д. С. Милль дал определение покупательной силы денег, как отношения, «обратно пропорционального общему уровню цен». И в этом смысле оно употребляется во всей современной буржуазной политической экономии. Так, Ирвинг Фишер говорит, что «покупательная сила денег есть величина, обратно соотносительная уровню цен; следовательно, изучение покупательной силы денег идентично с изучением цен» (И. Фишер, «Покупательная сила денег», стр. 13 русского перевода). Подобное же определение можно найти и у Касселя и у других количественников. То обстоятельство, что Маркс не пользовался понятием «покупательной силы денег» отнюдь не случайно, как не случайно и то обстоятельство, что это понятие широко эксплуатируется современной политической экономией.

Ибо, с точки зрения буржуазной политической экономии, отрицающей внутреннюю связь между товарной стоимостью и деньгами, на рынке действительно происходит противопоставление всей массы денег всей массе товаров. Товары выступают, как единая товарная куча. Буржуазная политическая экономия не может понять из анализа товара индивидуального отношения товара к деньгам, его цены. Поэтому такое индивидуальное отношение она растворяет в общем отношении товаров и денег и из последнего конструирует индивидуальную цену, а не наоборот. При этом она впадает в ту бессмыслицу, что все товары по существу представляют один товар, имеющий какую-то общую меру своего количества, после чего отдельная цена представляется простым частным от деления суммы денег на количество товаров. Вот почему исходным пунктом современных буржуазных теорий денег (если принять во внимание господство количественников) является фикция так называемого среднего уровня цен и корреспондирующее с ним понятие «покупательной силы денег». Диаметрально противоположна этой бессмыслице ясная и последовательная точка зрения Маркса. Так как товар «в духе своем» есть деньги, то в денежном выражении стоимости ему совершенно не нужно сотрудничество других товаров. Если товар может выражать свою стоимость в деньгах, то сумма цен есть не исходный пункт, а простой результат. Если же товар не может найти свое выражение в деньгах, то никакая коалиция товаров не поможет делу; от противопоставления суммы денег сумме товаров никакого уровня цен не получится. Проще говоря: тот, кто последовательно приемлет понятие среднего уровня цен в смысле единого и общего уровня цен, который не конструируется из составляющих, а конструирует их; кто строит «покупательную силу» денег на этой основе, тот отходит от теории стоимости и денег Маркса.

Задачей тов. Кона было, повидимому, развитие теории денег Маркса. И это кой к чему его обязывало. Если он, с одной стороны, вслед за всей буржуазной политической экономией, измеряет «покупательную способность» денег общим уровнем цен, то, с другой стороны, он стремится дать теоретическое обоснование «покупательной способности» денег на основе марксовой формулы количества необходимых для обращения денег. «Формула,—говорит тов. Кон,—дает нам возможность выявить покупательную способность денег. В самом деле, если количество денег, равное K_d , может купить товаров на сумму $\frac{C_d}{O}$, то одна монета может купить в K_d раз меньше. Отсюда получаем:

$$P_c = \frac{C_d}{O \times K_d} \quad (\text{«Курс», стр. 152}).$$

Мы не останавливались бы на этой бесплодной, как всем известная библейская смоковница, формуле «покупательной способности» денег, если бы тов. Кон не делал из нее выводов, находящихся в кричащем противоречии со всей теорией стоимости и денег Маркса.

Дело в том, что тов. Кон весьма пространно занимается вопросом о причинах изменения «покупательной способности денег» и в этом изменении «покупательной способности» и ее отклонении от стоимости денег видит механизм, регулирующий количество денег в обращении. Поставив на голову формулу Маркса, он пытается вывести такую причинную зависимость между «покупательной способностью» денег и другими величинами, включенными в эту формулу, что—при прочих равных условиях—изменение «покупательной способности денег» зависит от изменения количества денег в обращении. (При этом как здесь, так и в дальнейшем необходимо иметь в виду, что все время речь идет о полноценных деньгах в условиях свободной чеканки).

Но разве с таким же правом нельзя утверждать на основе формулы Маркса ($K_g = \frac{C_d}{O}$), что сумма цен товаров зависит от количества денег? Так, собственно, пытались истолковать эту формулу некоторые критики Маркса (напр., проф. К. Muhs).

Однако, в какой мере законно оперировать с формулами в целях доказательства теоретико-экономических положений? Мы знаем, что формула была для Маркса только математическим выражением теоретически доказанного положения. Маркс прекрасно понимал—и его «Капитал» тому блестящее доказательство,—что математические формулы и схемы не могут заменить в политической экономии теоретического обоснования. Политико-экономические выводы не могут быть обоснованы при помощи математических формул. Наоборот. Выводы, добытые на основе теоретического анализа, могут быть облечены—в целях наглядности—в одежду математических формул и схем. «Схемы сами по себе,—говорит Ленин,—ничего доказать не могут; они могут только иллюстрировать процесс, если его отдельные элементы выяснены теоретически» (т. II, стр. 477).

Соотношение между теоретическим доказательством и математической формулой состоит в том, что формула включает все мыслимые сочетания своих элементов, тогда как теоретическое доказательство определяет выбор из всех этих мыслимых связей тех, которые правильны. Следовательно, формулу можно читать с разных точек зрения, но следует читать с той, которая к ней привела, кото-

рую она выражает. Вот почему, если читать формулу Маркса, упуская из виду ход его доказательства, если стараться вычитать из нее больше, чем выразил ею Маркс, то в итоге можно вычитать нечто чуждое Марксу и противоречащее его точке зрения.

Между тем, тов. Кон обосновывает «теорию» покупательной способности денег не путем теоретического анализа, а при помощи математических действий над формулой Маркса. Вследствие этого как раз то, что может быть обосновано только теоретически, остается в стороне от пути доказательства и предполагается чем-то само собой разумеющимся.

Так, не доказавши возможности наличия в обращении излишнего количества денег, а лишь предположивши ее, тов. Кон устанавливает (опять-таки, пренебрегая всяким теоретическим анализом) такую причинную связь между величинами, входящими в уравнение ($Pc = \frac{Cn}{O \times Kd}$), что изменение одной из величин на правой стороне уравнения неизбежно приводит к изменению «покупательной способности» денег. Так, при неизменном количестве средств обращения и скорости оборота монеты, «покупательная способность» денег изменяется в зависимости от *изменения суммы цен* товаров. Наоборот, «увеличением количества средств обращения, при прочих равных условиях, покупательная способность денег падает, а при уменьшении — повышается. Увеличение скорости обращения денег, при прочих равных условиях, приводит к падению покупательной способности, а уменьшение скорости обращения — к повышению покупательной способности» («Курс», стр. 152. Курсив автора).

Заметим прежде всего, что сама предпосылка излишнего количества средств обращения содержит в себе положения: во-1-х, что количество денег *излишне* по сравнению с уже определенными ценами товаров; во-2-х, что излишек полностью вошел в обращение. А последнее мыслимо лишь на основе изменения цен. Откуда и следует вывод, что цены товаров в обращении меняются под влиянием количества денег (т.-е. количественная теория денег)¹. Теперь посмотрим, как тов. Кон вынул из формулы Маркса ровно столько, сколько он сам в нее вложил.

Формула тов. Кона грешит не только отсутствием обоснования *предпосылки*, но и логически противоречива. В этой формуле² тов. Кон предполагает *изменение* количества денег в обращении, при неизменной величине суммы цен товаров и скорости метаморфоза товара. Однако «покупательная способность» денег означает не что иное, как количество товаров, которое можно получить за одинаковое количество денег. И, как устанавливает сам тов. Кон, «увеличение количества средств обращения... приводит к сокращению «покупательной способности» каждой монеты или (что то же) к повышению цен («Курс», стр. 166. Курсив наш). А так как мы предполагаем здесь — вместе с тов. Коном — неизменными стоимость и количество товаров, то единственный вывод, к которому мы можем прийти, состоит в том, что изменение «покупательной способности» денег неизбежно связано с изменением суммы цен товаров, т.-е. с нарушением «*ceteris paribus*». В самом деле, раз даны: стоимость товаров, количество и скорость метаморфоза товаров

¹ Аналогичные рассуждения можно получить, предположив недостаток денег. Звенья к изменению здесь послужит предположение, что все товары реализовались.

² Мы рассматриваем здесь второй вывод из формулы.

в качестве *неизменных* величин, количество денег в обращении в качестве *переменной* величины, то изменение «покупательной способности» денег, вызванное изменением в количестве этих последних, может найти выражение лишь в изменении цен, что, при прочих равных условиях, должно повести к *изменению* суммы цен. Поэтому, предполагая неизменной¹ сумму цен, тов. Кон вступает в жесточайший конфликт с элементами арифметики и логики.

Что «арифметика» тов. Кона основана на своеобразной логике, можно показать на тех самых цифровых примерах, которые мы находим в «Курсе». «Допустим, — говорит тов. Кон, — что сумма товарных цен (Cn) равна 20 миллиардам рублей, скорость оборота средней монеты (O) — 10, и что денежный рынок (?) нуждается, таким образом, в 2 миллиардах рублей средств обращения. Допустим далее, что в действительности средств обращения имеется не 2 миллиарда, а всего 1,6 миллиарда рублей, — тогда покупательная способность каждого рубля окажется равной 1 рублю 25 копейкам.

$$Pc = \frac{20 \text{ миллиардам}}{10 \times 1,6 \text{ миллиарда}} = \frac{20}{16} = 1 \text{ руб. 25 коп. («Курс», стр. 155»).$$

Но что означает повышение покупательной способности 1 рубля до 1 рубля 25 коп? Только то, что теперь за один рубль можно купить товаров больше, чем раньше. Если раньше за один рубль покупали только один пуд хлеба, т.-е. цена одного пуда равнялась одному рублю, то теперь за один рубль можно купить то количество хлеба, которое раньше покупалось на 1 рубль 25 коп., т.-е. 1 пуд 10 фун. Вместе с тем, это означает снижение цены одного пуда хлеба до 80 коп. Но это рассуждение относится не только к хлебу, но и ко всем товарам. Следовательно, общая сумма цен реализуемых товаров *снизится* с 20 до 16 миллиардов рублей. Отсюда вывод: *недостаток денег* в обращении приводит к всеобщему понижению товарных цен.

Обратный результат мы получим в том случае, если в каналах обращения преобладает излишнее количество средств обращения, например, если, вместо необходимых двух миллиардов в обращении, находится 2,5 миллиарда рублей. Тогда, в полном соответствии с формулой тов. Кона, покупательная способность денег понизится, а именно:

$$Pc = \frac{20 \text{ миллиардам}}{10 \times 2,5 \text{ миллиарда}} = \frac{20}{25} = 0,80 \text{ рубля («Курс», стр. 157).$$

Следовательно, покупательная способность одного рубля теперь равна покупательной способности прежних 80 коп. Но *понижение* покупательной способности денег означает *повышение* цен товаров, а повышение цен товаров — *повышение суммы цен* товаров, которая теперь составит, вместо 20 миллиардов рублей, 25 миллиардов рублей.

Итак, тов. Кон, предслав своим математическим вычислениям условие *неизменности* суммы цен товаров, впадает в противоречие с самим собой². Но из этих вычислений и формул тов. Кона вытекает вывод, что сумма цен реализуемых

¹ Тов. Кон пишет: «При неизменной сумме товарных цен покупательная способность денег зависит от количества средств обращения и от скорости их обращения».

² Мы уже не говорим здесь о незаконности предпосылки о возможности — в условиях свободной чеканки — излишка или недостатка средств обращения. Но об этом ниже.

товаров устанавливается в обращении в зависимости от количества средств обращения. А так как тов. Кону известно, что—по Марксу—цены товаров определяются до обращения, то у него в уравнении выступают два вида цен. Одни цены устанавливаются до обращения в зависимости от стоимости товаров и стоимости денег и являются тем центром, вокруг которого колеблются другие, реализованные цены, определяемые «покупательной способностью» денег. Таким образом,—вольно или невольно,—тов. Кон исходит из предпосылки, что товары имеют две цены: «идеальную», устанавливаемую до обращения при посредстве денег в их функции меры стоимости, и «реальную», устанавливаемую в обращении в зависимости от количества средств обращения. Как мы уже видели, эти «идеальные» и «реальные» цены количественно не совпадают.

Между тем, Маркс не устал повторять, что деньги являются определяющим моментом цены товара не в их функции средства обращения, а в функции меры стоимости. А раз это так, то ни о каких двух ценах—одной, устанавливаемой до обращения, и другой—в процессе обращения, притом количественно друг с другом не совпадающих—не может быть и речи. С точки зрения Маркса, «цена есть превращенная форма, в которой меновая стоимость товаров является в обращении», и представляет идеальное количество золота, которое должно реально выступить в процессе обращения. «Идеальность» цены до обращения состоит в том, что золото существует в ней в «идее», и только в процессе обращения «идея золота» превращается в реальное золото—деньги. Но не в том, что будто бы это идеальное количество золота не совпадает количественно с реальным. В какое же количество золота фактически превратится товар, «ответ на этот вопрос—говорит Маркс—уже *предвосхищен* в цене товара, показателе величины его стоимости. Мы оставляем в стороне возможные *суб'ективные ошибки* в расчетах товаровладельца, которые на рынке немедленно подвергаются объективному исправлению» (К. I, стр. 54). Кстати, отметим, что у Маркса всегда идет речь об объективной цене, обусловленной данным этапом движения процесса распределения производительных сил. Эта цена является *необходимой, закономерной*.

Между тем, тов. Кон, вводя, сам того не замечая, в оборот марксовой политической экономии две цены,—одну—мистическую, другую—реальную,—по существу дела считает, что не сумма товарных цен определяет количество денег в обращении, а, наоборот, количество денег в обращении определяет сумму товарных цен. Но так как он исходит из марксовой формулы средств обращения, то он должен избрать обходный путь и утверждать, что только «покупательная способность» денег зависит от количества денег в обращении. Но изменение «покупательной силы» денег под влиянием их количества в обращении означает вместе с тем, как мы показали, изменение суммы товарных цен. Отсюда логический вывод, что количество денег в обращении определяет товарные цены. Таким образом, тов. Кон, допустив возможность излишка или недостатка денег в обращении, логикой вещей толкается в сторону от теории денег Маркса, который недвусмысленно писал: «Цены высоки или низки не потому, что в обращении находится большее или меньшее количество денег, а, наоборот, в обращении находится больше или меньше денег потому, что цены выше или ниже. Это один из важнейших экономических законов, полное подтверждение которого историей товарных цен составляет, быть может, единственную заслугу английской экономии после Рикардо» («К критике...», стр. 95).

Чтобы быть справедливыми к тов. Кону, мы должны отметить, что он не всегда «развивает» Маркса, но иногда правильно его излагает. Так, например, на стр. 152 он пишет: «Нередко думают, что именно переполнение рынка деньгами вызывает повышение товарных цен в эпоху «революции цен». Теперь мы наглядно убеждаемся, что дело обстоит как раз наоборот: падение стоимости денег и связанное с ним повышение товарных цен вызывают переполнение рынка деньгами». Та же по существу мысль о невозможности влияния денег в их функции средств обращения на цены проводится тов. Коном и на стр. 147, где он говорит: «Акт продажи не только теоретически, но и практически распадается на два этапа. Сначала происходит измерение стоимости, определяется цена предмета, и затем только, если цена оказывается приемлемой для обеих сторон, совершается действительная сделка». Таким образом, с одной стороны, цены изменяются под влиянием количества денег в обращении, а, с другой стороны, количество денег в обращении изменяется под влиянием изменения цен. С одной стороны, количество средств обращения может влиять на цены, с другой стороны, количество средств обращения не может влиять на цены. Таков порочный круг тов. Кона в теории денег.

Но здесь тов. Кон попытается отвести наши упреки указанием на то, что, во-первых, он, в отличие от современных количественников, признает самостоятельную стоимость денег и, во-вторых, что отклонение покупательной способности денег от их стоимости есть явление временное. Напрасно только тов. Кон думает, что эти две оговорки достаточны, чтобы соединить его теорию покупательной способности денег с теорией Маркса. Ведь Д. С. Милль, которого тов. Кону придется критиковать во II томе своего «Курса», как одного из крупнейших представителей количественной теории денег, писал в «Основаниях политической экономии»: «Деньги—товар, и ценность их определяется, подобно ценности других товаров, *временным* образом по уравнению запроса и снабжения, *постоянным* образом и средним числом по стоимости производства» (изд. 1865 г., стр. 9. Курсив наш). Нужно еще при этом иметь в виду, что Милль называет «ценность денег» в отличие от «стоимости производства» покупательной силой денег. В другом месте Милль пишет: «Если в обращение вводится количество денег больше того, какое может обращаться по ценности, соразмерной по стоимости их производства, то пока не исчезнет этот излишек, ценность денег будет оставаться ниже нормы стоимости их производства, и общая величина цен будет держаться выше натурального уровня» (там же, стр. 43). Разве точка зрения тов. Кона не является проекцией взглядов Милля на плоскость собственного понимания теории Маркса?

Мы сопоставляем точку зрения тов. Кона с теориями старых количественников потому, что они принимали оговорки тов. Кона. Это в свою очередь лишний раз показывает, что можно принимать трудовую теорию стоимости и быть одновременно сторонником количественной теории денег. Классическая политическая экономия сочетала трудовую теорию стоимости с количественной теорией денег потому, что она рассматривала деньги не как необходимую форму разрешения противоречия между частным и общественным трудом, между потребительной стоимостью и стоимостью, а лишь как простой технический инструмент, введенный ради «удобства» при обмене товаров. Тем самым деньги выступают не как превращенная форма данного товара, а как внешнее по отношению к товару средство обращения. «Деньги,—говорит, например, Милль,—машина для быстрого и удобного исполнения того, что делалось бы и без них, хотя не так быстро и

удобно... (Д. С. Милль, «Основания», т. II, стр. 8, изд. 1865 г.). Школе Смита-Рикардо и ее эпигоны Миллю никогда не удалось дойти до понимания качественного различия между товаром и деньгами. Они, наоборот, тщательно подчеркивали, что деньги—не более, как товар, подобный всем другим товарам. Поэтому они уделяли все свое внимание исключительно количественной стороне меновых отношений и в выражении стоимости видели лишь одно количественное отношение. С количественной же стороны нет никакой существенной разницы между отношением двух товаров в непосредственном обмене и актом обращения (Т—Д—Т). Один пуд хлеба в таком же смысле равняется одному аршину холста, как и одной десятой золотника золота.

Раз деньги—только товар, то они, подобно другим товарам, подчиняются законам спроса и предложения. Аналогично тому, как цена товара устанавливается в результате спроса и предложения товаров, «покупательная способность денег» («ценность» по терминологии Милля) колеблется также под влиянием спроса и предложения денег. Спрос на деньги, представляемый со стороны всех товаров, не ограничен. Следовательно, «покупательная способность денег» определяется только их предложением, т. е. их количеством. Такое обоснование количественной теории денег мы находим у большинства ее представителей. Так, например, современный количественник проф. Аммон говорит, что «предложение товаров означает не что иное, как спрос на деньги. Поскольку можно сказать, что ценность денег (т. е. их покупательная сила. *Авт.*) зависит от отношения между спросом и предложением, где под предложением и спросом нужно понимать предложение и спрос на деньги». Но,—говорит он дальше,—«спрос на деньги не имеет границ» (Аммон, «Grundzüge der Volkswirtschaftslehre», 1926, S. 191—192). Поэтому решающим фактором является их предложение, т. е. количество. Эта точка зрения исходит из той предпосылки, «будто золото и товар вступают в *область процесса обращения* в такое же отношение между собой, как в непосредственной меновой торговле, и будто, благодаря этому, их относительная стоимость вытекает из их обмена, как простых товаров» (Маркс, «К критике», стр. 79). В каждой меновой сделке при непосредственной мене мы имели два выражения стоимости, которые обнаруживают противоречие товарной формы. Товар А обменивается на товар В. С точки зрения владельца товара А, последний выражает свою стоимость в В. Наоборот, с точки зрения владельца товара В, товар В выражает свою стоимость в товаре А. Здесь А и В попеременно выступают то в относительной, то в эквивалентной форме стоимости, т. е. попеременно играют то активную, то пассивную роль. Совершенно иная картина предстанет перед нами, когда мы выйдем за околицу меновой торговли, непосредственного обмена и вступим в область товарного обращения. Здесь деньги *всегда* служат формой выражения стоимости товаров, т. е. пребывают в эквивалентной форме стоимости. Следовательно, они постоянно и неизменно играют пассивную роль, а все остальные товары—активную. «Количество золота,—говорит Маркс,—на которое обменивается товар в процессе обращения, определяется не этим обменом, но, наоборот, этот обмен обуславливается ценой товара, т. е. его меновой стоимостью, выраженной в золоте» («К критике», стр. 79). Из самой сущности относительной и эквивалентной формы стоимости вытекает, что «развитие эквивалентной формы есть только выражение и результат развития относительной формы стоимости» (К. I, стр. 26). Только взгляду поверхностного наблюдателя может показаться, что количественное отношение, в котором обменивается товар и деньги в процессе обращения, уста-

навливается в самом этом процессе, подобно тому, как это имеет место при непосредственном обмене товара на товар. Товар, прежде чем превратиться в деньги, должен получить свое денежное имя, форму цены. Товар еще не соприкоснулся с золотом, но «на лбу этого товара уже выскочила его цена, печать этого будущего свидания с золотом и перекрещивания с ним»¹. После того, как определены цены товаров, выступают на сцену реальные деньги, которые и выполняют свою функцию средства обращения.

Одна из крупнейших ошибок Гильфердинга в теории денег заключается именно в непонимании положения Маркса, что «золото становится в продаже реальными деньгами только потому, что меновые стоимости товаров в своих ценах были уже золотом в идее». Гильфердинг, напротив, считает, что «только тогда, когда товар и средства обращения непосредственно противостоят друг другу, они могут взаимно определять величину их меновых стоимостей» (Ст. «Деньги и товар» в сб. «Деньги и денежное обращение», стр. 26). Эта ошибка Гильфердинга коренится, безусловно, в непонимании им марксовой теории абстрактного труда, который у него отождествлен с общественно-необходимым трудом, но она в свою очередь повлекла за собой целый ряд других ошибок в его теории денег.

Итак, меновое отношение между товаром и деньгами устанавливается, по Марксу, не в обращении, а до того, как реальные деньги вступили в процесс обращения. Для того, кто усвоит это положение Маркса, становится ясным, почему количество средств обращения не оказывает никакого влияния на цены товаров. Именно потому, что деньги являются лишь эквивалентной формой стоимости, именно потому, что они вступают в обращение лишь как превращенная форма товара, их движение—явление производного порядка. Раз даны цены товаров, раз дана скорость метаморфоза товара, то тем самым дано и количество денег, выполняющих функцию средства обращения.

Так ли обстоит дело у тов. Кона? Тов. Кон считает *принципиально возможным* изменение «покупательной способности денег» (т. е. *уровня цен*) под влиянием количества денег в обращении. Тем самым он признает, что отношение между товаром и деньгами устанавливается и изменяется непосредственно в обращении. Тем самым он стирает качественное различие между непосредственной меновой торговлей и товарным обращением, между товаром и деньгами. Оговорка тов. Кона о том, что «при открытой чеканке монет покупательная способность денег не может отклоняться от их стоимости на сколько-нибудь продолжительный срок» (стр. 155.), в сильнейшей степени напоминает аргументацию женщины из известного анекдота, просившей суд признать ее девушкой на том основании, что ее ребенок был совсем маленький. Ведь ссылка на временный характер каждого отдельного отклонения может казаться спасительной лишь тому, кто в сладкой иллюзии закрывает глаза на постоянное наличие отклонений вообще. Но в этом отклонении тов. Кон видит тот механизм, который постоянно регулирует флуктуацию денег между непосредственным обращением и сокровищем. «Отлив золота из сферы обращения,—говорит он,—приводит к сокращению количества обращаю-

¹ «Эти прекрасные вещи носят на лбу фатальные белые бумажки с арабскими цифрами и лаконичными надписями: L. S. D. (фунт стерлингов, шиллинг, пенс). Это—картина товаров, вступающих в обращение» (Маркс), картина, иллюстрирующая положение, что товары вступают в обращение с *определенными* ценами, что в этих ценах еще до соприкосновения товаров с деньгами дана стоимость этих последних.

щихся денег. Покупательная способность их повышается, цены товаров падают, и тогда деньги, исполнявшие только что функцию сохранения стоимости, устремляются вновь в сферу обращения, пополняя обнаружившийся на рынке недостаток в орудиях обмена» (стр. 166). А если отклонение «покупательной способности денег» от их стоимости представляет собой механизм движения золота—денег из обращения в сокровище и обратно,—то о каком *временном* отклонении может идти здесь речь? Очевидно, что поскольку *постоянно и неизменно* совершаются колебания размеров товарооборота, постольку *постоянно и неизменно* должен действовать этот механизм отклонения. Ибо в каждый данный момент будет оказываться денег в обращении то слишком много, то слишком мало. Следовательно, «покупательная способность денег» должна—под влиянием количества средств обращения—постоянно колебаться вокруг стоимости денег, подобно цене любого товара. Поэтому оговорка тов. Кона о «*временном*» характере отклонения заключает в себе логическое противоречие. Мы же, следуя за тов. Коном, благополучно пришли к выводу, что в обращении постоянно находится количество средств обращения, не соответствующее потребности товарооборота, и что это количество средств обращения постоянно влияет на цены.

Значение сокровища, как резервуара обращения, было обстоятельно показано Марксом. Одна из ошибок Рикардо в теории денег состояла именно в том, что он «абстрагировался» от сокровища, как резервуара обращения. Поэтому у него все золото должно находиться в непосредственном обращении. Как мы видели, тов. Кон этой ошибки Рикардо не повторяет. Он подробно излагает роль сокровища, как резервуара обращения, но, исходя из принципиально неверной точки зрения, пришел к неверному, не-марксистскому выводу о механизме, регулирующем движение денег между непосредственным обращением и сокровищем.

Этот механизм, как мы видели, приводит к такому положению, что *всегда* должно иметь место несоответствие между количеством денег в обращении и потребностями товарооборота, и лишь *иногда* в моменты равновесия будет иметь место соответствие между означенными двумя величинами, ибо всякое равновесие в товарном хозяйстве пробивает себе дорогу через постоянные нарушения этого равновесия, и самое равновесие есть лишь случайность, частный случай. Достаточно сравнить выводы, к которым ведет точка зрения тов. Кона, с выводами Маркса, чтобы убедиться в их несовместимости. В самом деле, Маркс писал: «Сокровище является каналом прилива и отлива обращающихся денег, так что *всегда* обращается только такое их количество, которое необходимо для удовлетворения непосредственных потребностей обращения» («К критике», стр. 130). Аналогичные утверждения мы находим и в «Капитале». «Резервуары сокровищ,—говорит Маркс,—служат одновременно приводными и отводными каналами для циркулирующих денег, которые поэтому *никогда* не переполняют каналов обращения» («Капитал», I, стр. 75). Пусть тов. Кон, думающий в простоте душевной, что его точка зрения совпадает со взглядами Маркса, найдет у последнего хотя бы одно место для подтверждения своей простоты.

Но почему Маркс отвергал, казалось бы, столь простой и столь удобный «механизм» движения между обращением и сокровищем, предложенный тов. Коном, а еще ранее тов. Б. С. Лившицем? ¹ Во-первых, потому, что теория этого «меха-

¹ См. его статью в журнале «Под знаменем марксизма».

низма» покоится на совершенно неверном положении, что деньги в своей функции средства обращения могут оказывать влияние на цены, а это положение в корне противоречит марксову пониманию сущности денег. Во-вторых, потому, что при ближайшем рассмотрении этот «механизм» «работает», постоянно давая «осечки». Едва ли тов. Кон будет оспаривать положение Маркса, что чем выше сумма цен обращающихся товаров—при данной скорости метаморфозы товара,—тем большее количество денег необходимо для обращения. Кон-марксист сам утверждает это на стр. 152 своего «Курса».

Но это не мешает Кону-количественнику рассуждать на последующих страницах «как раз наоборот». Падение «покупательной способности денег» выражается в повышении цен. Следовательно, именно в те периоды, когда «покупательная способность денег» падает, цены растут. Кон-марксист должен был бы сделать из повышения цен вывод о необходимости прилива денег, согласно им же приведенной формуле. Однако Кон-количественник утверждает, что *как раз в периоды повышения цен деньги будут отливать в сокровище, вследствие падения их «покупательной способности»*. Таков еще один порочный круг тов. Кона.

Достаточно бросить взгляд на течение промышленного цикла, чтобы убедиться, что действительные отношения поставлены у тов. Кона на-голову. Ведь из теории «механизма» тов. Кона вытекает, что в период депрессии, когда уровень цен *низкий*, т.-е. «покупательная способность денег» *высока*, должен происходить прилив денег из сокровища в обращение. Иными словами, в период *депрессии*, когда уровень цен падает, обращение должно было бы стоять на *высоком* уровне, а в период *подъема*, когда уровень цен подымается, обращение должно было бы стоять на *низком* уровне. Но ведь это—бессмыслица. И не удивительно, что Маркс не «завел» такой «механизм».

Кроме того, сам тов. Кон признает, что в форме цены заключена возможность отклонения цены от стоимости. Отклонение цены от стоимости показывает, насколько пропорционально распределены производительные силы общества между отдельными отраслями производства. Следовательно, форма цены является тем «зеркалом», которое товарное хозяйство стихийно создало себе для отображения правильности распределения производительных сил. В этом «зеркале» товарное хозяйство видит свой лик и, благодаря этому, стихийно же поправляет свои ошибки. Но форма цены не могла бы выполнять этой своей роли, если бы деньги играли не пассивную, а активную роль. Ибо в этом случае в цене отображались бы не только искривления в распределении производительных сил, т.-е. на стороне товаров, но и искривления на стороне денег, в виде отклонения «покупательной способности денег» от их стоимости. Таким образом, деньги оказались бы, в случае правильности точки зрения тов. Кона, «*кривым* зеркалом».

Между тем, именно в деньгах, в форме цены товарное хозяйство стихийно нашло себе показатель своих диспропорций. Но чтобы быть таким показателем, деньги должны всегда играть пассивную роль. Они могут играть эту роль лишь в том случае, если цена является результатом выражения стоимости товаров деньгами, как мерой стоимости, а не как средством обращения. И, наоборот, они не могут играть этой роли, если регулирование движения между непосредственным обращением и сокровищем принимает форму отклонения «покупательной способности» денег от их стоимости под влиянием количества средств обращения.

Из приведенных выше положений Маркса мы видели, что всегда обращается только такое количество денег, которое необходимо для удовлетворения непосред-

ственных потребностей обращения. Эти выводы Маркса вытекают из его понимания сущности денег. Деньги для него выступают не как нечто внешнее по отношению к товару, а лишь как превращенная форма самих товаров. «Поскольку меновой процесс товаров перемещает товары из рук, где они не являются потребительными стоимостями, в руки, где они—потребительные стоимости, он представляет собой общественный обмен веществ... Товар из сферы товарного обмена попадает в сферу потребления. Здесь нас интересует только первая сфера, поэтому мы должны рассмотреть весь процесс со стороны его формы, т.-е. рассмотреть лишь изменение формы или метаморфозы товаров, посредством которого совершается общественный обмен веществ» (К. I, 52. Курсив наш). Но в чем заключается это изменение формы или метаморфоз товаров? Он состоит в том, что товарная форма стоимости замещается денежной и наоборот. Следовательно, весь процесс представляет движение превращенных форм. «Деньги выступают для продавца товара, как превращенная форма его товара, и движение денег, как средства обращения, есть поэтому в действительности лишь движение формы его товара» (Маркс). Обращение денег, таким образом, есть не что иное, как обращение превращенных форм товаров. Поэтому нельзя рассматривать обращение денег, как процесс, протекающий параллельно с обращением товаров. Наоборот, товарное обращение включает обращение денег, как свой собственный момент. Не понимая сущности денежного обращения, количественная теория денег обычно изображает обращение денег и товаров, как два параллельных потока.

Но является ли метаморфоз товаров чем-то самостоятельным? Вытекает ли он из самого обращения? Зависит ли движение товара от количества денег в обращении, или же причины этого движения лежат глубже? Нам, вместе с Марксом, думается, что как движение, так и остановки в процессе обращения нельзя вывести из самого обращения, что это движение является лишь выражением движения производственного цикла. «Внешний и формальный характер простого денежного обращения проявляется, собственно, в том, что все моменты, определяющие количество орудия обращения, как масса обращающихся товаров, цены, повышение и падение их, количество одновременных актов покупки и продажи, быстрота оборота денег—зависят от процесса метаморфоз в товарном мире, а этот процесс зависит в свою очередь от общего характера производства, от населенности и отношений между деревней и городом, от развития средств перевозки и сообщения, от большего или меньшего разделения труда, от кредита и т. д., словом, от условий, которые все находятся вне сферы простого денежного обращения и которые в ней только отражаются» («К критике», стр. 95). Будут ли изъятые из обращения те или иные товары по тем или иным ценам, зависит не от количества денег, а от хода процесса общественного воспроизводства, от распределения производительных сил между отдельными отраслями производства. «Движение массы денег, обращающихся, как покупательное средство и как платежное средство, определяется метаморфозом товаров, его размерами и быстротой, который сам является лишь моментом воспроизводства» (К. III, стр. 296). Если движение денег во всех своих моментах определяется движением товаров, то тем самым разрешается вопрос о флуктуации денег из непосредственного обращения в сокровище и обратно. Ведь сокровище есть не что иное, как *«остановившаяся монета»*. Будет ли монета пребывать в виде сокровища или останется в обращении, зависит от места, которое занимает товар, превращенной формой которого она является, в общественном процессе воспроизводства. Движение денег из обращения в сокровище и обратно

является, таким образом, лишь рефлексом движения товаров в совокупном процессе общественного воспроизводства. Поэтому—в условиях свободной чеканки—в каналах обращения пребывает только такое количество денег, которое необходимо для потребностей товарооборота.

«Возможно ли вообще такое положение,—спрашивает Каутский,—когда в обращении находится больше золота, нежели это необходимо для обращения?» И отвечает: «Разве кто-либо будет вынужден, вследствие отсутствия банка, выбросить в обращение все золото, которым он обладает? Ведь все то, что ему не нужно для покупки товаров, т.-е. для товарного обращения, он будет спокойно хранить у себя в кармане, если нет только банка, в кладовых которого он может свои деньги депонировать» (Сб. «Деньги и ден. обрац.», стр. 56—57).

И вывод, к которому мы приходим, состоит в том, что ни о каком самостоятельном механизме, регулирующем обращение денег, вне общего механизма, регулирующего движение товаров, не может быть и речи у Маркса.

Механизм тов. Кона куплен дорогой ценой, а именно отказом от основного положения Маркса, что движение цен товаров определяет количество денег в обращении, а не наоборот.

После сказанного остается разрешить еще один вопрос. Маркс исходит из той предпосылки, что деньги вступили в обращение с уже определенной стоимостью и что в ценах товаров эта стоимость денег дана. Однако где же устанавливается стоимость денег?

Всякому известно, что стоимость любого товара создается в процессе производства и может проявиться лишь в его отношении к другому товару. В этом отношении устанавливается относительная стоимость товара. Нельзя ли из этого общего положения сделать вывод, что относительная стоимость золота и товара устанавливается в процессе обращения? Однако такая точка зрения исходит из непонимания качественного различия между золотом-товаром и золотом-деньгами.

Маркс резко подчеркивает различие между меновой торговлей у истоков производства золота, где золото приходит в общение со всем остальным товарным миром и товарным обращением. «Как всякий другой товар, золото может выразить свою собственную стоимость лишь относительно, в других товарах. Его собственная стоимость определяется рабочим временем, необходимым для его производства, и выражается в том количестве всякого иного товара, в котором кристаллизовалось столько же рабочего времени. Такое установление относительной величины стоимости золота фактически совершается на месте его производства, в непосредственной меновой торговле. Когда оно вступает в обращение в качестве денег, его стоимость уже дана» (К. I, стр. 57—58).

У истоков производства золото—такой же товар, как и все остальные. Золото-промышленность является лишь одной из отраслей товарного хозяйства и подвергается воздействию тех же стихийных законов, что и все остальные отрасли производства. Поэтому здесь возможны те же колебания, что и во всякой отрасли производства. Если произведено излишнее количество золота, то это отразится на *«относительной величине»* стоимости золота, как товара. Но если золото-товар заняло место других товаров, с которыми оно приходит в соприкосновение у истоков производства, то в дальнейшем оно выступает, как деньги, т.-е. как превращенная форма товара. Стоимость золота уже нашла свое выражение в меновых отношениях с рядом товаров, представлявших весь товарный мир у истоков производства золота. Эта стоимость сообщается всему товарному миру путем трения

товара о товар. В результате *длительные* колебания в стоимости золота передаются по всей цепи товаров и находят себе выражение в изменениях цен товаров. В зависимости от этих изменений притягивается в обращение то большее, то меньшее количество денег. Раз дана «относительная величина стоимости» золота у истоков производства (мы здесь оставляем в стороне «случайные», т.-е. не отражающие изменений стоимости золота колебания этой «относительной величины»), то тем самым дана и стоимость золота-денег. Тем самым даны и цены всех товаров. Раз золото превратилось из товара в деньги, вошло в обращение, то оно выступает здесь как превращенная форма товара, и этим обуславливается его движение между непосредственным обращением и сокровищем¹.

* * *

В начале нашей статьи мы указали на решающее значение для нашего времени методологических проблем. С этой точки зрения становится понятным то большое внимание, которое уделяется вопросам теории стоимости. Будучи фундаментом всего здания политической экономии, проблема стоимости есть в известном смысле проблема *метода* политической экономии. Неправильная трактовка вопросов теории стоимости неизбежно—при некоторой последовательности мышления—приводит к неверному решению всех других проблем теоретической экономии.

Тов. Кон взял, как мы показали, неправильную установку в вопросах теории стоимости. Пренебрежение к противоречию между трудом частным и общественным, оставление в тени двойственного характера труда приводит тов. Кона к непониманию внутренней связи между субстанцией стоимости, стоимостью и формой проявления стоимости. Как раз непонимание этой связи характерно для Рикардо. Именно потому, говорит Маркс, что рикардианцы не нашли у самого Рикардо «вразумительного объяснения внутренней связи между стоимостью и

¹ Кстати, отметим, что в изложении тов. Коном функции сокровища имеется некоторое недоразумение. Тов. Кон считает, что «в качестве средства сохранения стоимости может выступать любой товар, если он обладает достаточной прочностью для того, чтобы сохранять стоимость в течение продолжительного времени. Поэтому нередко в роли средства сохранения стоимости выступают всякого рода драгоценные камни» (стр. 164). Это положение тов. Кона находится в противоречии с другим его положением: «Деньги являются представителем и заместителем абстрактного общественного труда и служат овеществлением социальных отношений менового общества. Из этой природы денег вытекают те функции, которые они выполняют в меновом обществе» (стр. 133). Функция сохранения стоимости есть функция *денег*. Очевидно, что и эта функция должна быть выведена из сущности денег. В то время, как в средние века богатство непосредственно выражалось в потребительных стоимостях, в товарном хозяйстве богатство общества заключается в стоимости. Поэтому накопление носит характер накопления всеобщей формы стоимости. Золото-деньги, являясь носителем общественного абстрактного труда, может быть обменено на любой товар. Будут ли обменены драгоценные камни по их стоимости—это еще большой вопрос. Итак, сущность денег, как всеобщего эквивалента, их свойство всеобщей обменяемости и делает их орудием сохранения стоимости. Конечно, денежный материал должен обладать достаточной прочностью. Это—обязательное условие для выполнения деньгами их функции сохранения стоимости. Однако не всякий товар, обладающий *естественным* свойством прочности, обладает *общественным* свойством сохранять *стоимость*.

формой стоимости, т.-е. меновой стоимостью», они не могли справиться с критикой Бэйли и ответили ему «грубо, но не убедительно». Это же непонимание формы стоимости обусловило ошибки Рикардо и рикардианцев в теории денег.

Если принять все это во внимание, то ошибка тов. Кона в теории денег отнюдь не может вызвать недоумения. Здесь только демонстрируется правильность положения тов. Н. И. Бухарина, что всякая теория стоимости подвергается испытанию в теории денег. Раз не понято противоречие буржуазного труда и его развитие в противоречие товара, то нет ничего удивительного, что остается непонятым развитие товара в деньги. Непонимание же сущности денег, как всеобщего эквивалента, как превращенной формы товара, привело тов. Кона к сползанию на рельсы количественной теории денег. Такова «внутренняя логика» ошибок тов. Кона. Воистину правы англичане, когда они видят дурной знак в том, что человек спотыкается на пороге!

Г. Абезгауз, Г. Дукор и А. Ноткин.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ МОИХ КРИТИКОВ В СВЕТЕ МАРКСОВОЙ ТЕОРИИ

Статья товарищей Г. Абезгауза, Г. Дукора и А. Ноткина не может быть отнесена к разряду обычных рецензий. Она отличается от них как по своим размерам, так и в том отношении, что авторы не претендуют на общую оценку моей книги, а ограничивают свою задачу рассмотрением лишь тех частей ее, с изложением которых они не согласны. Такой характер статьи позволяет мне (вопреки традициям) ответить на нее.

Остановлюсь лишь на главнейших пунктах критики.

Во введении к своему «Курсу» я дал такое определение политической экономии: «Политическая экономия представляет собой теоретическую науку, изучающую производственные отношения капиталистического общества (а также отношения, связывающие капиталистическое общество с некапиталистической средой) в их вещной форме». Моих критиков не удовлетворяет это определение. По их мнению, оно недостаточно подчеркивает, «что политическая экономия призвана вскрыть закон возникновения, развития и гибели капитализма, как исторически обусловленной экономической формации, посредством анализа движения противоречий между производительными силами и производственными отношениями товарного хозяйства».

Дополнение, вносимое авторами статьи в мое определение политической экономии, распадается, таким образом, на две части. Они предлагают мне: 1) внести в определение предмета указание на динамичность изучаемого политической экономией объекта и 2) дополнить его указанием, что путем для познания объекта политической экономии является анализ движения противоречий между производительными силами и производственными отношениями товарного хозяйства.

Рассмотрим первую часть поправки. С моей точки зрения, поправка эта не является принципиальной. Ее можно принять. Другой вопрос, обязательно ли нужно ее принять. Прежде всего укажу, что Маркс в определении предмета своего исследования тоже не указывает на динамичность объекта изучения политической экономии: «Предметом моего исследования в настоящей работе», — пишет он в предисловии к первому изданию «Капитала», — является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена»¹. Мы подчеркиваем, что это определение дано Марксом в предисловии к «Капиталу», потому что «всякое предисловие, как говорят некоторые неглупые люди, есть

¹ «Капитал», т. I, изд. 1920 г., стр. XLII.

послесловие, т.-е. некоторый чистый итог того труда, к которому предисловие пишется»¹. Если указание на динамичность объекта совершенно необходимо включать в определение предмета политической экономии, почему нет этого указания в определении Маркса. Н. И. Бухарин, вслед за Марксом, тоже «повторяет» мою «ошибку». Его определение политической экономии гласит: «Теоретическая политическая экономия есть наука о социальном хозяйстве, основанном на производстве товаров, т.-е. наука о неорганизованном социальном хозяйстве». Вновь в определении предмета политической экономии, данным одним из крупнейших теоретиков марксизма, мы не находим указания на динамичность объекта политической экономии.

Что же это значит? Значит ли, что в определение политической экономии не следует включать указания на динамичность ее объекта? Конечно, нет. Это указание можно включать и можно не включать. Это не существенный вопрос. Существенно лишь, чтобы фактически производственные отношения представлялись как непрерывно изменяющиеся. Будет ли дано это представление в определении политической экономии, в тексте ли, предшествующем определению, или в особой методологической части, это безразлично. Важно, повторяем, чтобы в процессе исследования производственные отношения рассматривались в их динамике.

В подтверждение того, что указание на динамичность производственных отношений является обязательным для всякого марксистского определения предмета политической экономии, наши критики приводят три цитаты: из Маркса, из Ленина, из Р. Люксембург. Вот эти цитаты:

Маркс: «Конечной целью этой работы является раскрытие закона экономического развития современного общества»².

Ленин: «Исследование производственных отношений данного, исторически определенного, общества в их возникновении, развитии и упадке—такое содержание экономического учения Маркса»³.

Люксембург: «В задачи политической экономии входит выяснение законов возникновения, развития и распространения капиталистического способа производства»⁴.

Здесь с нашими критиками случился небольшой курьез. Дело в том, что во всех приведенных определениях речь идет не о предмете политической экономии, а о ее содержании и задачах. Это—конечно, не одно и то же. Когда мы говорим о предмете науки, мы выясняем, что она изучает, когда же говорим о содержании ее, мы устанавливаем, к каким суждениям, к каким выводам приводит это изучение. Точно так же, говоря о целях или задачах исследования, мы выясняем не объект исследования сам по себе, но те выводы относительно объекта, которые мы собираемся обосновать. Если, говоря о предмете политической экономии, Маркс мог ограничиться указанием, что она изучает капиталистический способ производства и отношения производства и обмена, то, говоря о целях своего исследова-

¹ Н. Бухарин, В. К. А., № 11, стр. 294.

² «Капитал», т. I, изд. 1920 г., стр. XLIV (курсив мой).

³ Н. Ленин, т. XII, ч. II, стр. 327 (курсив мой).

⁴ Р. Люксембург, «Введение», изд. ГИЗ, стр. 118 (курсив мой). В изд. «Прибой» это место передано так: «Задачей и предметом политической экономии является объяснение законов возникновения, развития и распространения капиталистического способа производства», стр. 63 (курсив мой).

ния, он должен был *обязательно* указать, что целью его является открытие закона движения экономической системы капитализма.

Таким образом, приведенные цитаты не относятся непосредственно к предмету обсуждения и приведены не к месту. Они были бы действительно нужны моим критикам лишь в том случае, если бы я *отрицал* динамичность объекта политической экономии или *недооценивал* эту динамичность. Однако подозревать меня в этом нет оснований никаких оснований даже у таких строгих критиков, как авторы разбираемой статьи. Мы уже видели, что отсутствие указания на эту динамичность в самом определении политической экономии для такого подозрения никаких оснований не дает. В противном случае пришлось бы заподозрить в недооценке динамичности производственных отношений не только Бухарина, но даже самого Маркса.

К такому подозрению тем меньше оснований, что только в самом определении у меня нет указания на изменчивость производственных отношений. В тексте же, предшествующем определению, я в весьма недвусмысленной форме на эту изменчивость указываю. «Общественные производственные отношения не представляют собой отношений раз навсегда данных, застывших. Под влиянием роста производительных сил, роста мощи общества по отношению к природе, меняются как отдельные производственные отношения, так и вся система—экономическая структура общества»¹. «Политическая экономия нужна пролетариату лишь постольку, поскольку она вскрывает механизм современного общества, обнажает его основные тенденции и тем облегчает его переустройство»².

В другой работе—«Лекции по методологии политической экономии»,—писанной почти одновременно с «Курсом» и даже несколько раньше него, я посвятил целую главу выяснению изменчивости производственных отношений и необходимости их изучения в движении. Не имея ни возможности, ни охоты приводить все относящиеся к интересующему нас вопросу места этой книги, ограничусь несколькими выдержками: «Всякая система общественных отношений находится, как мы видим, в постоянном движении. Особенно же быстро изменение общественных отношений протекает в капиталистическом обществе, где развитие производительных сил в гораздо меньшей степени зависит от случайностей, чем во всех предшествующих формациях, и где оно представляет непрерывный процесс. Вся система капиталистических отношений и отдельные звенья, эту систему образующие, представляют, таким образом, не застывшие *факты*, но непрерывные *процессы*»³. «Маркс тоже прибегает к изучению капиталистического общества в его статике, однако, для него статический подход является лишь условным приемом для выяснения механизма *движения* капитализма. Буржуазная же экономия стремится изучать капитализм, как он есть, не замечая того, что он все время меняется, все время находится в процессе *становления*»⁴. И т. д., и т. д., и т. д.

И вся книга в целом и приведенные места, несомненно, известны авторам статьи. Поэтому они могли бы обсуждать вопрос о целесообразности или нецелесообразности включения в определение политической экономии указания на динамичность ее объекта, с точки зрения *методической*, но положительно смешно, когда

¹ «Курс», стр. 6.

² Там же, стр. 8.

³ «Лекции», стр. 85, курсив подлинника.

⁴ Там же, стр. 87, курсив подлинника.

они пытаются делать из этого пункта выводы насчет органического греха моего в области методологии и пытаются искать корень дальнейших моих «ошибок» в отсутствии указания на изменчивость производственных отношений в определении, данным мною предмету политической экономии.

В свои ученические годы я подозревал в незнании математики каждого, кто, производя сложение, не оговаривался, что он соблюдает правило знаков, хотя бы само по себе сложение и было произведено правильно. Хотя соблюдать правило знаков, конечно, нужно, однако, я не думаю, чтобы эта моя подозрительность была следствием глубокого знания математики...

Оставим же разговоры об органических грехах в области методологии и перейдем к вопросу о целесообразности включения дополнения о динамичности объекта в определение предмета политической экономии.

Повторяю, с этой *методической* точки зрения, поправку моих критиков в ее первой части можно принять.

Не могу, впрочем, не остановиться в нескольких словах на обосновании этой поправки авторами статьи: «Несколько десятилетий тому назад,—пишут они,—буржуазная политическая экономия во всех своих ответвлениях стояла на натуралистической точке зрения. Социологический подход Маркса резко отделил его от буржуазной политической экономии. Последние десятилетия принесли в этом отношении нечто новое. Банкротство «австрийской школы» привело к распространению среди буржуазных экономистов «социального» направления. Вот этого-то обстоятельства и не учитывает тов. Кон. В самом деле, что дает, по сравнению с идеалистическими интерпретациями Маркса, его определение политической экономии. В какой мере оно выделяет своеобразие подхода Маркса к изучению капиталистических производственных отношений. Тов. Кон видит своеобразие марксистской политической экономии в том, что она изучает производственные отношения капитализма в вещной форме... Но сейчас спор с буржуазной политической экономией идет не только по этой линии. Один из самых существенных пунктов этого спора заключается в том, является ли задачей экономической теории *открытие законов движения капиталистической производственной системы*, или же все дело сводится исключительно к раскрытию социальных сущностей, к разгадыванию «иероглифов».

Не останавливаясь на вопросе о том, что критики мои слишком спешат с похоронами австрийской и математической школ, которые, несмотря на появление и распространение (преимущественно в странах средней Европы) «социальных» буржуазных экономических учений, продолжают оставаться господствующими и попрежнему остаются нашими *главными* врагами¹. Для меня важно не это. Интересно, почему мои почтенные оппоненты полагают, что марксистскую политическую экономию от *идеалистических* течений отделяет *главным образом* учение об изменчивости производственных отношений, а не, напр., *материалистический* подход к изучению общественных явлений. Наш метод представляет собою органическое единство материализма и диалектики. И именно по линии диалектического материализма, а не по линии диалектики самой по себе пролегал

¹ Это мнение разделяет и Н. И. Бухарин: «Математическая школа в ее чистом виде и австрийская школа—главные враги, которые стоят перед нами»,—говорил он отнюдь не десятилетия, а всего три года назад. См. «В. К. А.», кн. 11, стр. 295.

межа, отделяющая марксистскую политическую экономию от всех буржуазных школ и учений. Это подчеркивание диалектичности нашего метода и оставление в тени материалистичности его чрезвычайно характерно для того течения в марксистской политической экономии, представителями которого являющиеся товарищи Абезгауз, Дукор и Ноткин. Фактически для того, чтобы отмежевать полностью нашу марксистскую политическую экономию от буржуазных школ, нужно дать полную характеристику диалектического материализма, как метода политической экономии, а не ограничиваться только указанием на диалектичность марксовой политической экономии.

Однако уместно ли делать это уже в главе о предмете политической экономии, если в «Курсе» уделяется самостоятельная часть методологии политической экономии? Мои почтенные критики совершенно справедливо указывают, что «предмет определяет метод, при помощи которого он может быть научно познан». Это кое к чему обязывает. Обязывает в первую голову к тому, чтобы выяснять метод политической экономии на основе знания предмета ее исследования, а не наоборот. Между тем, теперь к нам теми же критиками пред'является требование отмежевать марксистскую политическую экономию от всех буржуазных школ уже в самом определении политической экономии, — требование, которое не выполнимо без предварительного ознакомления читателей с методологией политической экономии. Говоря иначе, критики предлагают мне определять предмет политической экономии, исходя из ее метода.

Вряд ли столь противоречивые советы могут облегчить мне работу над вторым изданием книги, а ведь именно такую цель и должна преследовать товарищеская критика.

Если я и могу принять предложение вставить в определение политической экономии указание на динамичность ее об'екта, то я категорически отказываюсь принять на себя обязательство уже в самом определении марксистской политической экономии целиком отмежевать ее от других школ и течений. Этому должна быть посвящена специальная методологическая часть «Курса».

Теперь можно остановиться на второй части поправки предлагаемой авторами статьи. Читатели не забыли, что она сводится к предложению дополнить определение политической экономии указанием, что «методом для познания об'екта политической экономии является анализ движения противоречий между производительными силами и производственными отношениями товарного хозяйства». После всего сказанного читатель поймет, почему мы отвергаем эту поправку. Дело в том, что эта поправка тоже не может быть внесена в определение предмета политической экономии без предварительного изложения методологии этой науки.

Вторым вопросом, на котором необходимо остановиться, является вопрос о трактовке простого товарного хозяйства. Авторы статьи не только обнаружили у меня «ошибку» в этом вопросе, но и ухитрились связать ее с уже рассмотренным методологическим грехом в определении политической экономии. «Только такое определение политической экономии (т.-е. включающее предложенную критиками поправку. А. К.) дает понятие о капитализме, как об особой общественно-исторической формации, уходящей своими корнями в далекое прошлое, к первым зачаткам обмена, и своими пережитками влезавшей в будущее—в первые ступени возникающего социалистического общества»,—пишут они. «Отсутствие этой установки сильно чувствуется в трактовке тов. Коном так называемого про-

стого товарного хозяйства, которое он во введении рассматривает, как особый, отличный от капитализма тип хозяйства, а не как первую ступень и общую абстракцию (одностороннее рассмотрение) капитализма».

Из приведенной выдержки читатель мог бы заключить, что я в своей книге рассматриваю простое товарное хозяйство *только* как самостоятельный тип менового хозяйства и совсем не говорю о простом товарном хозяйстве, как абстрактной схеме всякого менового общества. Между тем, я рассматриваю простое товарное хозяйство и *под тем и под другим углом зрения*. На стр. 9 (во введении) я пишу: «Существует два основных типа меновых хозяйств—простое товарное хозяйство, построенное на отношениях обмена, но не знающее отношений эксплуатации труда, и капиталистическое хозяйство, построенное как на отношениях обмена, так и на отношениях эксплуатации труда» (это и есть то место, которое мне инкриминируется).

На странице же 18-й, переходя к рассмотрению теории стоимости, в особом §, озаглавленном «Простое товарное хозяйство», я указываю: «Мы возьмем простое товарное хозяйство не в той конкретной форме, в какой оно исторически существовало (товарное хозяйство средневековых городов), а в его абстрактной схеме. Такое товарное хозяйство предполагает: 1) что обмен товаров является господствующей формой связи между производителями. Он охватывает все отрасли общественного производства и охватывает настолько полно, что каждый производитель изготавливает продукты не для собственного потребления, а для продажи, необходимые же ему предметы потребления достает путем покупки; 2) что между производителями существует разделение труда, так что ни один производитель не может существовать вне связи с обществом; 3) что в обществе совершенно не существует эксплуатации труда и что, следовательно, каждый работник является собственником средств производства и самостоятельным предпринимателем, а каждый собственник средств производства—работником. Такое товарное хозяйство является, собственно говоря, абстрактной схемой всякого ¹ менового хозяйства. Если мы станем рассматривать капиталистическое общество со стороны отношений обмена и будем абстрагироваться (отвлекаться) от отношений эксплуатации, то мы и получим эту абстрактную систему простого товарного хозяйства».

Как видит читатель, о простом товарном хозяйстве, как конкретном типе менового общества, я упоминаю лишь вскользь, о простом же товарном хозяйстве, как абстрактной схеме всякого менового общества, я говорю довольно подробно. В непонимании того, что простое товарное хозяйство является прообразом капитализма, меня упрекнуть, таким образом, нельзя ². Однако критики мои считают преступлением даже самый факт, что, на ряду с простым товарным хозяйством, как абстрактной схемой капитализма, я упоминаю о простом товарном хозяйстве, как особом типе менового общества. «Тут упускается из виду,—пишут они,—что

¹ Слово «всякого» подчеркнуто в подлиннике.

² Только умолчание о наличии в моей книге параграфа, посвященного специально простому товарному хозяйству, как абстрактной схеме всякого менового общества, непосредственно предшествующего изложению теории стоимости, позволило моим критикам изобразить дело так, будто, при рассмотрении этой теории, я перехожу от анализа капитализма к анализу простого товарного хозяйства, как конкретного типа менового общества, а не мысленно упрощаю капиталистическую систему, подвергая ее одностороннему (с точки зрения обмена) рассмотрению. Почему мои критики сочли допустимым подобный прием, судить затрудняюсь.

меновое общество «вообще» никогда не существовало самостоятельно, что это не есть особая, отличная от капитализма формация, а лишь зародыш, первая ступень капитализма, «вкрапленная в докапиталистические формации». О том, что простое товарное хозяйство является особой экономической формацией, я не говорил, и критики зря это мне приписывают. По вопросу же о том, является ли простое товарное хозяйство особым *типом* меновых обществ или нет, прав, конечно, я, а не они. Если простое товарное хозяйство существует в щелях докапиталистических формаций (фактически оно существует и в щелях капитализма), то это несколько не позволяет заключать, что оно сливается с меновым окружением в единое хозяйственное целое. Мне уже приходилось писать в другом месте и по другому поводу, «что когда появляется меновое хозяйство в качестве островков в феодальном море, это меновое хозяйство далеко не сразу сливается со своим окружением в единую систему. Меновое хозяйство связывается с феодальным хозяйством в единую систему только по мере распространения обмена; только по мере того, как меновые отношения охватывают и феодальное хозяйство, только по мере этого феодальное хозяйство превращается в часть системы менового хозяйства. Однако по мере этого процесса закон стоимости распространяет свое влияние и на феодальное хозяйство»¹. Мы видим, таким образом, что простое товарное хозяйство хотя и существует на ряду с феодальным, однако, внутри феодального хозяйства оно представляет собою особую и единую систему, не связанную со своим окружением единством законов регулирования. Таким образом, соображение моих критиков о том, что «простое товарное хозяйство никогда не существовало самостоятельно», отпадает само собой. Что же касается существа вопроса, то и здесь я ни в какой мере не могу согласиться со своими критиками. Верно, что простое товарное хозяйство об'единяется с капитализмом единством законов, управляющих общественным производством и обменом (именно это обстоятельство и заставляет считать их типами *менового* общества, а не самостоятельными формациями). Верно, что простое товарное хозяйство служит «трамплином капитализма» и несет в себе зародыш всех противоречий капитализма. Однако не верно, будто простое товарное хозяйство лишь количественно отличается от капитализма. То обстоятельство, что в простом товарном хозяйстве отношения эксплуатации существуют лишь в *потенции*, в то время как в капиталистическом обществе они существуют в *действии*, позволяет считать их отличными друг от друга типами менового общества. «Диалектика не раз служила мостиком к софистике»². Только софист мог бы стирать разницу между простым товарным хозяйством и капиталистическим на том основании, что одно перерастает в другое. Напомню, что Ленин рассматривал элементы простого товарного хозяйства («мелко-товарного производства») и «частно-хозяйственного капитализма», как «элементы различных общественно-экономических укладов»³, а не как элементы одного и того же уклада. Ленин показал также, насколько важно не только теоретически, но и практически отличать эти уклады друг от друга.

В непосредственной связи с рассмотренным вопросом стоит и вопрос об определении политической экономии, как науки о производственных отношениях капитализма, а не просто о производственных отношениях менового общества.

Моя мысль заключается в том, что наука, изучающая капиталистическую систему, не может не об'яснить и отношений всякого менового общества, ибо капитализм представляет собой наиболее развитую, наиболее сложную систему менового хозяйства, включающую в себя всю совокупность отношений всякого менового общества; наука же, изучающая общие черты всех меновых обществ (если бы она могла существовать), невольно ограничивалась бы изучением простого товарного хозяйства и не могла бы осмыслить сложной системы капитализма. Мои критики делают отсюда за меня два вывода: 1) будто обмен, по моему мнению, в его развитом виде не включает в себя отношений эксплуатации; 2) будто я конструирую две науки: одну для изучения меновых обществ вообще и другую для изучения капитализма. Оба эти вывода они совершенно справедливо подвергают ожесточенной критике. Конечно, если из моей формулировки можно было сделать подобные выводы, ее придется уточнить. Однако по существу подобные выводы ни в какой мере не вытекают из моей мысли. Если бы политическая экономия изучала только общие черты всякого менового хозяйства, ей пришлось бы исследовать отношения обмена, не включающие продажи и покупки рабочей силы. Такой обмен, как известно моим критикам, скрывает за собой отношения эксплуатации лишь в *потенции*. Таким образом, никакого противопоставления анализа *развитого* обмена анализу отношений эксплуатации у меня нет. Первый вывод моих оппонентов оказывается, таким образом, ни на чем не основанным, и остается только пожалеть, что они зря тратили время на критику выводов, которых я не делал. Что касается второго «вывода», то он целиком опровергается следующей достаточно четкой формулировкой, данной мною в «Курсе»: «Так как капиталистическое общество является наиболее развитым, наиболее сложным из меновых обществ и включает в свою систему все отношения, свойственные другим видам меновых обществ, то политическая экономия, изучая экономическую систему капитализма, попутно выясняет природу меновых отношений вообще». Читателю ясно, что это место может быть приведено *только* в доказательство того, что наука, изучающая меновые общества вообще, не нужна, но отнюдь не в защиту второй политической экономии. Вся упомянутая часть критики порождена тем, что я, вместо слов «наука, специально изучающая производственные отношения капитализма», написал «специальная наука, изучающая производственные отношения капитализма». За указание этой действительно невозможной обмолвки я выражаю своим критикам сердечную товарищескую благодарность.

Как видит читатель, вся первая часть критики представляет собой не что иное, как попытку выделить отдельные промахи (зачастую, и в большинстве случаев, мнимые), сопоставить их друг с другом и привести в «систему». Эта часть критики не представляет собою ничего интересного и вряд ли выходит за рамки обычной за последние годы критики, устремление которой можно выразить словами: «покрыть во чтобы то ни стало». Гораздо интереснее вторая часть критики. Здесь авторы хотя и не брезгают от времени до времени поохотиться на полях неудачных словорасстановок, однако, все же пытаются противопоставить мне какую-то свою концепцию. В этой части их критика становится принципиальной. Это дает и мне возможность выйти из области раз'яснений и пояснений на широкое поле теоретического обсуждения вопроса.

¹ «О «Новой экономике» Преображенского», стр. 88.

² Ленин, т. XII, стр. 438.

³ Ленин, т. XVIII, ч. I, стр. 203, курсив мой.

Явление стоимости включает в себя три чрезвычайно тесно связанные стороны, представляющие собой три стороны единства. Маркс различает в нем:

1) *Форму стоимости или меновую стоимость*, которая на первый взгляд является лишь формой проявления стоимости в пропорциях между товарами-вещами.

2) *Стоимость*, которую Маркс определяет, как предметную форму затраченного на его (товара. А. К.) производство общественного труда¹.

3) *Субстанцию стоимости*—общественный (и общественно-необходимый) абстрактный простой труд в его специфически меновой форме.

Почему эти три стороны в явлении стоимости представляют собою три стороны единого явления, а не три самостоятельных явления? Потому, что бытие каждого из них обусловлено существованием каждого из остальных, не может иметь места без существования их. В самом деле. Меновая стоимость является меновой стоимостью (а не случайной пропорцией между двумя продуктами) лишь постольку, поскольку она служит выражением стоимости. Меновая стоимость не может существовать, не будучи формой *стоимости*. Стоимость в свою очередь порождает общественным абстрактным трудом, который образует ее субстанцию, и поэтому неразрывно связана с наличием этой последней. Чрезвычайно важно, однако, подчеркнуть, что труд, создающий стоимости, есть не просто труд, но труд общественный и притом не просто общественный труд, но общественный труд в условиях менового общества. Почему это важно подчеркнуть? Потому, что труд в меновом обществе организован, как труд индивидуальный, частный. Для того, чтобы проявилось общественное существо труда, его общественное содержание, необходимо, чтобы продукты различных видов труда были приравнены друг другу в процессе обмена. Однако это достигается только через посредство формы стоимости, вне которой индивидуальный труд не может преодолеть своей частной ограниченности и принять форму труда общественного. Здесь, таким образом, меновая стоимость, которая на первый взгляд представляется лишь *формой проявления* стоимости, оказывается не только *формой проявления*, но и необходимой составной частью стоимостных отношений, вне которой не может существовать труд, образующий стоимости, а, следовательно, и сама стоимость.

Эта тесная связанность трех сторон явления стоимости делает не только обреченными на неудачу, но положительно непозволительными всякие попытки строго их разграничить друг от друга. Вот почему внимание основоположников марксизма никогда не было направлено на строгое уточнение этих понятий. Различая их друг от друга, они обычно терминологически подчеркивали их единство. Известно, что Маркс в «Zur Kritik» называет термином Tauschwerth (меновая стоимость) и стоимость и меновую стоимость, несмотря на то, что уже в этой работе для него ясны различия между этими двумя понятиями. Правда, в «Капитале» Маркс уже употребляет для обозначения обоих понятий два термина: Werth—стоимость и Tauschwerth—меновая стоимость, однако, и здесь он не пытается, подобно школе И. И. Рубина (к которой в основном принадлежат мои оппоненты), отрубить их друг от друга топором. Наоборот, он увязывает их даже терминологически. Так, он применяет термин Werthform в двух совершенно различных смыслах этого слова, как для обозначения формы стоимости, т. е. меновой стоимости, так и для обозначения *стоимостной формы* товара, т. е. стоимости².

¹ «Капитал», т. I, 1920 г., гл. XVII, стр. 538.

² См. весь третий раздел I главы I тома «Капитала»: «Die Werthform oder der Tauschwerth» (Форма стоимости или меновая стоимость). См. напр.: «Für

Точно так же Маркс заявляет, что товары представляют собою единство потребительной стоимости и меновой стоимости и лишь потом раз'ясняет, что, «строго говоря, это было неверно. Товар есть потребительная стоимость или предмет потребления и «стоимость». Он обнаруживает эту свою двойственную природу, когда его стоимость получает собственную, отличную от натуральной формы форму проявления, а именно форму меновой стоимости, при чем товар, рассматриваемый изолированно, никогда не обладает этой формой, но обладает ею всегда лишь в отношении стоимости или в меновом отношении к другому, не однородному с ним товару. Раз мы это помним, указанное выше неточное словоупотребление не приводит к ошибкам, но служит только для сокращения»¹. Ленин не считал необходимым уделять внимание разграничению понятий стоимости и меновой стоимости, хотя трудно предположить, чтобы от его прозорливого ума укрылось различие между этими двумя понятиями, доступное моему и моих оппонентов пониманию. Кратко излагая экономическое учение Маркса, Ленин пишет: «Товар есть, во-первых, вещь, удовлетворяющая какой-либо потребности человека; во-вторых, вещь, обмениваемая на другую вещь. Полезность вещи делает ее *потребительной стоимостью*. Меновая стоимость (или просто стоимость) является прежде всего отношением, пропорцией при обмене известного числа потребительных стоимостей одного вида на известное число потребительных стоимостей другого вида»² и т. д. (Воображаю, что сказали бы мои критики, если бы эта фраза была на-

die bürgerliche Gesellschaft ist aber die Waarenform des Arbeitsprodukts oder die Werthform der Waare die ökonomische Zellenform» («Но товарная форма продукта труда или форма стоимости (стоимостная форма) товара является формой экономической клеточки буржуазного общества»), или: Die Waaren «erscheinen daher nur als Waaren oder besitzen nur die Form von Waaren, sofern sie Doppelform besitzen: Naturalform und Werthform» (товары «являются, поэтому, товарами или обладают формой товаров лишь постольку, поскольку они имеют двойственную форму: натуральную форму и стоимостную форму (форму стоимости)»). См. «Das Kapital», 1914, S.S. VI и 14. Мои критики полагают, что во всех подобных случаях Маркс имеет в виду не стоимость и не меновую стоимость, а какую-то особую форму стоимости. В подтверждение они приводят такую цитату: «Es ist einer der Grundmängel der klassischen politischen Oeconomie, dass es ihr nie gelang, aus der Analyse der Waare und specieller des Waarenwerths die Form des Werths, die ihn eben zum Tauschwerth macht, herauszufinden». Если бы мои критики были любознательнее и заглянули в 1-е французское издание «Капитала», авторизованное Марксом, они могли бы как следует перевести это место. По-французски приведенное предложение гласит: «L'économie politique classique, n'a jamais réussi à déduire de son analyse de la marchandise, et spécialement de la valeur de cet merchandise, la forme, sous laquelle elle devient valeur d'échange, et c'est là un de ces vices principaux» («Классической политической экономии никогда не удавалось из анализа товара и специально стоимости товара вывести форму, в которой (под которой) она (стоимость) превращается в меновую стоимость, и это—один из ее основных недостатков»). Здесь ясно, насколько отождествляет Маркс форму стоимости с меновой стоимостью.

¹ «Капитал», т. I, 1920, стр. 28. В своем «Курсе» я строго последовал примеру Маркса. Выставив сначала (до установления категории стоимости) положение, что товар «представляет собою единство потребительной стоимости и меновой стоимости», я затем выясняю, что за меновой стоимостью фактически скрывается стоимость. Мои строгие критики видят в этом доказательство непонимания мною категории меновой стоимости. Исключительно глубокая и, главное, меткая критика!

² Ленин, т. XII, ч. II, стр. 327 (курсив мой).

писана не Лениным, а мною). Гораздо строже Маркс отличает стоимость, т.е. овеществленный труд от общественного труда, как живого процесса. Однако и тут Маркс нередко допускает «неосторожные» обороты вроде: «Der Werth der Waare aber stellt menschliche Arbeit schlechthin dar, Verausgabung menschlicher Arbeit überhaupt»¹. Такое утверждение с одинаковым правом можно истолковать и в том смысле, что «стоимость товаров *отображает* просто человеческий труд, трату человеческого труда вообще», и в том смысле, что «стоимость товара *представляет собою* просто человеческий труд, трату человеческого труда вообще». Именно так и перевел приведенное место Струве². Подобные места встречаются в «Капитале» неоднократно.

Из всех приведенных соображений и цитат ясно, насколько необоснованными, бесплодными и незаконными являются попытки некоторых марксистов-экономистов (в первую голову—И. И. Рубина) разложить марксовы термины по ящикам и полочкам, строго разграничив скрытые за ними понятия друг от друга. Надо сказать, что в этом вопросе «углубители» Маркса, вольно или невольно, идут навстречу критикам Маркса. Известно, что критики Маркса (Туган-Барановский, Штаммлер и др.) нередко упрекали Маркса и марксистов в «равнодушии к точному определению терминов и понятий»³. Они не понимали, что это неточное определение терминов и понятий вытекает из самой сущности диалектического метода мышления. Там, где идет речь о *движении*, не может быть речи о точном ограничении понятий или строгом их расчленении. «Углубители», в отличие от критиков, исходят из того, что у Маркса строгое разграничение и расчленение терминов и понятий существует. Тем самым они укладывают диалектические категории Маркса в Прокрустово ложе метафизических определений, т.е. делают то, чего требовали от них *противники* диалектического метода.

Это отсутствие диалектического взгляда на категорию стоимости весьма сильно сказывается у моих критиков (так же, как и у всей школы И. И. Рубина) в их изложении теории стоимости.

Мои критики посвятили несколько страниц детальному изложению 4-го пункта первой главы «Капитала», носящего, как известно, заголовок «Товарный фетишизм и его тайна». Однако из изложения этого они не сделали надлежащих выводов. Труд общественный существует не только в меновых обществах, но и в других общественных формациях с расчлененной системой организации труда. Однако общественный труд менового общества отличается от общественного труда организованных обществ. В организованных обществах труд индивида *уже в момент своего отправления* выступает, как часть труда общественного. «Затрата индивидуальных рабочих сил является здесь прямо как общественный фактор, определяющий самый труд, т.е. индивидуальные рабочие силы функционируют тут прямо, как органы совокупной рабочей силы»⁴. «Непосредственной общественной формой труда является здесь его натуральная форма»⁵. Здесь труд является общественным уже тогда, когда он является *живым трудом, т.е. процессом*. В меновом же обществе труд организован на началах частной собственности или, говоря короче,—не организован. Хотя он и является об'ективно общественным трудом уже

¹ «Das Kapital», т. I, 1914, стр. 11.

² «Капитал», т. I, 1899, стр. 9.

³ М. Туган-Барановский, «Современный социализм», стр. 5.

⁴ «Капитал», т. I, 1899, стр. 40.

⁵ Там же, стр. 39.

в процессе производства, ибо отдельные товаропроизводители фактически работают друг на друга, однако, он в качестве живого процесса, в качестве живого труда выступает, как *частный* по форме труд. Для того, чтобы раскрыть свою общественную сущность, он должен преодолеть свою частную форму, а это может быть достигнуто только путем приравнения *продуктов труда* друг другу. «Так как производители входят во взаимные общественные отношения только посредством обмена своих произведений, то и специфический общественный характер их частных работ проявляется лишь в пределах этого обмена. Другими словами, частные работы в действительности осуществляются лишь, как звенья общественного труда,—через отношения, которые обмен устанавливает между продуктами труда и, посредством этих продуктов, между самими производителями».

«Только в процессе обмена продукты труда приобретают общественно одинаковую об'ективную природу, выражающуюся в ценности»¹. Продукты труда приобретают общественно одинаковую об'ективную природу *лишь после того*, как труд, создавший их, перестал существовать в качестве живого процесса. Иначе говоря, общественный труд в меновом обществе об'ективируется, как общественный, приобретает самостоятельное (на ряду с частным трудом) существование *не в качестве живого* процесса (как в организованных хозяйствах), но *лишь в качестве труда овеществленного, в качестве стоимости*. Этого-то обстоятельства и не поняли мои критики, так же как не понимает его и вся школа И. И. Рубина. А между тем, оно чрезвычайно важно для построения теории стоимости.

Мы уже видели взаимную обусловленность трех сторон явления стоимости: субстанции стоимости (общественного абстрактного труда), стоимости (предметной формы общественного труда) и формы стоимости (меновый стоимости). Совершенно очевидно, что та трактовка теории общественного труда, которую развивают (вслед за И. И. Рубиным) мои критики, лишает их какой бы то ни было возможности в этой взаимозависимости разобраться. Она заставляет их мысль замыкаться в логическом кругу. Они обвиняют меня в том, что, прежде чем вывести категорию стоимости, я не даю характеристики специфически-менового общественного труда. Их путь построения стоимости таков: общественный труд, стоимость, меновая стоимость. Однако мы уже видели, что общественный характер труда в меновом обществе вскрывается *только* при посредстве форм стоимости. Общественного характера труда в меновом обществе нельзя вскрыть без выяснения форм стоимости. Форм же стоимости нельзя понять, не зная стоимости. Логический круг налицо: природа труда, создающего стоимости, выясняется через посредство формы стоимости, форма стоимости—через посредство стоимости, стоимость—через посредство труда, создающего стоимости и т. д. И подобную «диалектику» мои критики навязывают мне, как обязательную для марксиста?! Положительно приходится недоумевать, как с подобными предложениями могут выступать люди, которые *хоть один раз* читали «Капитал».

У Маркса описанного логического круга *не получается*. Почему? Да просто потому, что он говорит об об'ективно происходящем сведении частного труда к общественному и конкретного к абстрактному *лишь после того*, как он дал представление о стоимости (при анализе форм стоимости и в теории товарного фетишизма). Строит же он свою теорию стоимости, исходя не непосредственно из об'ективно происходящего сведения конкретного труда к абстрактному и частного

¹ «Капитал», т. I, 1899, стр. 35.

к общественному, понять который можно только на основе познания стоимости и ее формы, а из *мысленного* сведения различных видов труда к одинаковому труду. Маркс пользуется здесь методом, который он сам охарактеризовал в «Введении» в критику». Конкретный товар, представляющий единство потребительной стоимости и стоимости, он мысленно сводит к абстрактному товару, который есть не что иное, как «сгусток труда». Труд, овеществленный в этом сгустке, он *мысленно* сводит к абстрактному простому труду, который, таким образом, выступает как продукт *мысленной* абстракции. Именно эта абстракция служит ему отправной точкой для восхождения от абстрактного к конкретному. Эта абстракция именно потому и плодотворна, что она улавливает лишь одну общую сторону всех товаров, но не содержит в себе всех определений подлежащего объяснению явления. Если бы мы придали этой абстракции все свойства общественного труда, как это предлагают И. И. Рубин и мои оппоненты, мы сделали бы эту абстракцию не менее сложным представлением, чем категория стоимости. Даже больше того, это представление *включало бы в себя категорию стоимости* в качестве одного из определений и потому не могла бы служить для объяснения стоимости. Отсюда, между прочим, видно, почему и И. И. Рубин и наши критики попадают в логический круг. Это происходит благодаря фактическому их отказу от абстрактно-диалектического («генетического», «синтетического») метода Маркса. Отсюда также видно, почему является неверным включать в понятие абстрактного труда общественный характер труда в меновом обществе.

Придя к категории абстрактного труда путем *мысленного* абстрагирования от конкретных качеств товара и труда, его создающего, и установив, таким образом, то общее свойство, которым обладают все товары, Маркс отправляется «в обратный путь», в путь мысленного воспроизведения конкретного. Он осложняет понятие абстрактного труда путем включения в него понятия труда общественно-необходимого и непосредственно переходит к стоимости, которая пока выступает лишь как сгусток, кристалл общественно-необходимого количества абстрактного простого труда. При этом еще до перехода на путь «восхождения от абстрактного к конкретному» Маркс подчеркивает: «Дальнейший ход исследования приведет нас опять к меновой стоимости, как необходимому способу выражения или необходимой форме проявления товарной стоимости; тем не менее, эта последняя должна быть сначала рассмотрена, как таковая, независимо от ее формы»¹. Лишь после установления понятия стоимости («независимо от формы») Маркс переходит к характеристике формы стоимости (к меновой стоимости) и только на основе анализа форм стоимости дает теорию общественного труда в меновом обществе. Тут только он показывает, что, в условиях менового общества, то сведение конкретного труда к абстрактному, которое вначале было произведено Марксом лишь *мысленно*, происходит и в объективной действительности. «Все, что раньше открыл наш анализ товарной ценности, говорит сам холст, как только он вступает в сношение с другим товаром»².

Мои критики полагают, что постановка Марксом теории общественного труда лишь *после* изложения всей теории стоимости является случайной, что в «Курсе» излагающей марксову теорию, расстановка тем должна быть изменена. Этим самым они обнаруживают недостаточное понимание как марксовской теории стои-

¹ «Капитал», 1920, стр. 5.

² Пер. Струве, 1899, стр. 17.

мости, так и самого метода Маркса. Ставить теорию общественного труда до теории стоимости, из которой она вытекает, нельзя ни в популярных, ни в самых научных изложениях Маркса. И. И. Рубин, который это сделал, совершил большую ошибку. К сведению моих критиков должен заметить, что основной ошибкой И. И. Рубина является не то, что он изобразил абстрактный труд, как труд нематериальный, а то, что он применил неправильный метод исследования, обрекающий его на метания в логическом кругу. Первая ошибка лишь вытекает из второй. Мы будем считать своих критиков последователями марксовской теории стоимости лишь тогда, когда они отграничатся не только от идеалистической интерпретации И. И. Рубина марксовской теории стоимости, но и от недиалектического метода этого интерпретатора Маркса¹. Совсем не случайность, что при переработке «Zur Kritik» в «Капитал» Маркс из'ял все те места, которые позволяли думать, что он строит свою теорию стоимости на абстрактном труде в рубинском смысле, и сосредоточил всю теорию общественного труда в конце первой главы в качестве завершения теории стоимости.

Мои критики ставят знак тождества между абстрактным трудом и трудом, создающим стоимость². Это отождествление представляет собой большую ошибку, являющуюся отражением или повторением уже отмеченных ошибок в области понимания метода Маркса и его теории стоимости. Верно, что «труд, образующий стоимость, есть абстрактный труд», однако, не верно обратное положение: «абстрактный труд есть труд, образующий стоимость». Абстрактный характер труда является одним из определений труда, образующего стоимость, но отнюдь не исчерпывающей его характеристикой. Маркс мог понять труд, образующий стоимость, только потому, что он мысленно расчленил этот комплекс определений на ряд определений. Труд, образующий стоимость, выступил в качестве труда абстрактного, простого, специфически общественного и общественно-необходимого. Рубинская школа, ставя знак тождества между абстрактным трудом и трудом, создающим стоимость, смазывает это расчленение труда, создающего стоимость, на ряд определений, отказывается от познания каждого из этих определений в отдельности и тем лишает себя возможности притти к труду, создающему стоимость, «не как хаотическому представлению о целом, а как богатой совокупности, с многочисленными определениями и отношениями»³. Мы уже видели, что именно это обстоятельство делает категорию абстрактного труда непригодной в качестве отправного пункта анализа стоимости.

Мои критики приписывают мой тон «моде» ругать Рубина. Укажу, что еще в 1923 г., непосредственно после выхода в свет первого издания рубинских «Очерков», я подверг критике его теорию абстрактного труда (см. рецензию в журнале «Печать и Революция», 1923 г., кн. 6). Хотя эта критика и не была исчерпывающей, однако, уже тогда я писал: «Изображая «абстрактный труд» в виде какой-то

¹ Кстати, о тоне моей критики И. И. Рубина. Я не позволил себе по отношению к И. И. Рубину ни одного резкого выражения, если не считать того, что я откровенно назвал его ревизионистом. Надо сказать, что употребил я это слово не в пылу полемического задора и не с целью обидеть И. И. Рубина, а просто потому, что я искренне считаю все его писания глубоко ревизионистскими. Я считаю совершенно невозможным для большевика замалчивать подобные вещи. Мы привыкли называть вещи своими именами.

² «Абстрактный труд, т.е. труд, создающий стоимость», — говорят они.

³ Маркс, «Введение», гл. 5.

нематериальной субстанции, проф. Рубин вырывает из-под теории стоимости ее основу, превращает революционную и революционизирующую марксову теорию в невинное идеалистическое варево».

Абстрактный труд в меновом обществе имеет двойное существование. В качестве живого процесса он существует только в конкретных видах труда, *только в них, но никак не на ряду с ними*. В качестве же труда овеществленного он приобретает (в стоимости) самостоятельное существование, об'ективируется.

Понятие абстрактного живого труда может быть получено только в результате мысленного абстрагирования от конкретных свойств труда и представляет собой лишь логическую, а не экономическую категорию. Эта категория *не историческая*. Почему же, однако, абстрактный труд, не создающий стоимостей в других общественных формациях, создает их в меновом обществе? Потому что труд менового общества является не только простым абстрактным трудом, но и трудом специфически-общественным и общественно-необходимым. «Расчленение предмета», — пишет Маркс, — очевидно должно быть таково: сначала (следует развить) общие абстрактные определения, которые именно поэтому более или менее относятся ко всем общественным формам, однако, в выше раз'ясненном смысле. Во-вторых, категории, которые образуют внутреннюю структуру буржуазного общества...»¹. Сначала определение абстрактного труда, свойственное всем общественным формам, затем — дополнительные определения этого труда, вытекающие из структуры буржуазного общества (специфически-общественный, общественно-необходимый), превращающие просто абстрактный труд в труд, образующий стоимость.

Если сведение конкретного труда к абстрактному труду, как процессу, может быть достигнуто только как *мысленное* сведение, то сведение конкретного труда к абстрактному *овеществленному* труду совершается не только в голове исследователя, но и *об'ективно*, в процессе приравнения продуктов различных конкретных видов труда друг другу. Это об'ективное сведение конкретного труда к абстрактному совершается только в меновом обществе. *Такой* «абстрактный труд» есть действительно специфически меновая категория. Однако каждому, кто отличает субстанцию стоимости (труд) от стоимости (овеществленного труда), а критики мои, как мы видели, специалисты по этой части, ясно, что *эта категория есть не что иное, как стоимость*. Ну можно ли, дорогие товарищи, смешивать труд со стоимостью?

Ошибка Богданова (а также некоторых его предшественников) состоит в том, что он не понял историчности категории овеществленного абстрактного труда, т.-е. стоимости, не учел, что стоимость создается не просто абстрактным трудом, но абстрактным трудом в специфической общественной форме. Ошибка И. И. Рубина и рубинцев (а, следовательно, и моих критиков) состоит в том, что они за специфически меновой общественной формой труда не разглядели самого труда, труда, как такового, труда вообще. Они видят овеществленный абстрактный труд (стоимость) и не видят живого труда, который одновременно является и конкретным и абстрактным.

Об'ективно протекающее сведение конкретного труда к абстрактному труду в его вещественной форме, путем приравнения продуктов различных видов конкретного труда друг другу, есть в то же время приведение «частного» труда к общественному (следовательно, и к общественно-необходимому) и сведение слож-

¹ Маркс, «Введение», гл. 5.

ного труда к простому. Эти три теоретически различных процесса практически совершаются в едином акте приравнения товаров друг другу. Однако практическое совпадение этих трех процессов, слияние их в единый практически акт, несколько не исключает необходимости при теоретическом анализе мысленно расчленять их, мысленно отделять друг от друга. Иначе мы неизбежно содем понятия абстрактного, простого, общественного и общественно-необходимого труда в единое хаотическое представление, не поддающееся дальнейшему расчленению. Между тем, мы уже видели, что подобное хаотическое представление не может служить отправным пунктом для плодотворного генетического (синтетического) познания категории стоимости.

Именно потому, что критики мои не хотят произвести подобного расчленения, с ними случается такой грех, что в определениях «абстрактный» и «общественный» они видят одно и то же комплексное определение, а определение «простой» — вообще игнорируют. Проблемы редукции сложного труда к простому они не только не понимают, но фактически и не видят. Всякие два конкретные вида труда качественно различны между собой, а, следовательно, несоизмеримы и несравнимы. Для того, чтобы сделать всякие два вида труда соизмеримыми, необходимо отвлечься от их конкретности, свести их к абстрактному труду. Мои оппоненты полагают, что между сложным и простым трудом существует лишь *качественное* различие и что, сводя конкретный труд к абстрактному, мы уже тем самым разрешаем проблему редукции. Вряд ли можно внести большую путаницу в ясный по существу вопрос. Если различия между сложным и простым трудом лежат в плоскости качества и выступают как различия двух конкретных видов труда, как вообще можно говорить о *сложности* труда? Сложный труд, как явствует из самого названия, является потенцированным, помноженным трудом¹. Различия между простым и сложным трудом суть различия *количественные*, а количественные различия обнаруживают себя лишь в пределах единого качества. Сведением конкретного труда к абстрактному мы приводим различные (по качеству) виды труда к единому качеству, и только после этого мы можем обнаружить, что труд, затраченный в различных отраслях производства, является трудом не одинаковой сгущенности, не одинаковой плотности. Мы сталкиваемся с проблемой сложного труда, когда рассматриваем труд не с точки зрения потребительной стоимости, которую он создает, а с точки зрения *стоимости*, иначе говоря, мы встречаемся с понятием сложного труда, рассматривая труд, как труд абстрактный, внутри которого не может быть никаких *качественных* различий, а могут быть только различия количественные. Труд сложный отличается от труда простого в том отношении, что он в единицу времени создает больше стоимости, чем труд простой. Так как конкретный труд *вообще не создает стоимости*, то отсюда ясно, что все различия между сложным и простым трудом лежат в пределах одинакового качества. Тов. В. Н. Позняков уже давно обращал внимание на необходимость отличать сложный труд от квалифицированного труда². Квалификация есть свойство труда конкретного и характер ее вытекает из потребительной стоимости, на создание которой данный труд направлен. Слож-

¹ Ср. К. Маркс, «Капитал», т. I, 1920, стр. 11: «Сравнительно сложный труд есть только *возведенный в степень* или, скорее, *помноженный* простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого». Курсив Маркса. Мы же обращаем внимание на слово: «только».

² См. его книгу «Квалифицированный труд и теория ценности Маркса».

ность же труда есть признак труда, взятого с абстрактной точки зрения, она связана с процессом создания стоимостей, а не потребительных стоимостей. Конечно, для рубинцев, которые не желают расчленять практически единый акт приравнения продуктов различных видов труда на его составные элементы, эта мысль не доступна. Это только свидетельствует о степени глубины их теоретического проникновения! На этом примере мы убеждаемся еще раз, сколь несовершенным является метод вращательного движения по логическому кругу, осью которого является нерасчлененное хаотическое представление о подлежащем объяснению явлении, и сколь далек этот метод от диалектического метода Маркса. Диалектическая терминология моих критиков остается только терминологией.

Из всего сказанного мною о категории стоимости читатель может убедиться, насколько чужда мне интерпретация марксовой теории стоимости в качестве теории только относительной стоимости. Не в меньшей мере читатель мог бы убедиться в этом, прочитав соответствующие места моего «Курса» и в особенности главу о формах стоимости. Как известно каждому, знающему «Капитал», именно в разделе, посвященном форме стоимости, Маркс особенно густо подчеркнул отличия своей теории от относительных теорий стоимости. Поэтому, заподозрев меня в недостаточном понимании абсолютного (в условном смысле) характера марксовой теории стоимости, критики должны были первым делом взяться за эту главу моего «Курса». Почему они этого не сделали? Ответ напрашивается сам собой. Но оставим в стороне этот вопрос. Что побудило моих критиков обвинить меня в интерпретации марксовой теории стоимости, как теории относительной стоимости? Мое утверждение, что в меновой стоимости овеществляется закон стоимости. Критики знают, что в явлении стоимости (а, следовательно, и в меновой стоимости) овеществляется труд, и поэтому считают неверным утверждение, что и закон стоимости, т.-е. закон стихийного регулирования общественного производства, тоже овеществляется и находит себе вещественное проявление¹. Для них вопрос стоит так: овеществляется *или* труд *или* общественное отношение. Поэтому-то они и принимают утверждение, что овеществляется общественное отношение, за отрицание или непонимание того, что овеществляется труд. Именно поэтому-то они, исходя из факта овеществления труда, сопровождают вопросительными и восклицательными знаками всякое мое утверждение, что стоимость есть производственное отношение.

Здесь мы встречаемся с той же попыткой раз'единить материальные элементы марксовой концепции от ее социальных элементов, которую мне уже приходилось констатировать у И. И. Рубина.

Между тем, не стоит большого труда доказать, что стоимость является овеществлением *и* труда, *и* общественных отношений. Дело в том, что труд, овеществленный в товаре, есть по существу общественный труд. Труд общественный не только в том смысле, что фактическим субъектом этого труда является весь общественный коллектив, но и в том смысле, что труд этот протекает в форме специфически менового общественного труда. Именно в этом смысле Маркс и говорит, что «стоимость товара есть предметная форма затраченного на его производство общественного труда». Овеществление *такого* труда не может не включать в себя и овеществления общественных отношений. Поэтому-то стоимость есть овеществленный труд, кристалл труда и вместе с тем овеществленное производ-

¹ Ср. Ленин, «Стоимость есть закон цен», т. XII, ч. II, стр. 389.

ственное отношение¹. Принимать мое утверждение об овеществлении общественных отношений за отрицание овеществления труда, делать отсюда выводы об отрицании мною абсолютной (об'ективной) стоимости, а отсюда переходить к упрекам меня в мнимом суб'ективизме..., не значит ли это выдавать свое собственное неправильное представление о соотношении материального и социального в теоретической концепции Маркса? Не значит ли это вновь и вновь обнаруживать свой уклон в сторону И. И. Рубина, а через него — в сторону всех идеалистических интерпретаций Маркса?

При рассмотрении статьи моих оппонентов в той ее части, которая относится к теории стоимости, мы уже обнаружили методологическую беспомощность моих критиков, мешающую им как понять метод, примененный Марксом в «Капитале», так и свести концы с концами в самой теории стоимости. Ту же методологическую беспомощность проявляют мои критики в теории денег.

Как известно, Маркс установил, что «количество средств обращения определяется суммой цен находящихся в обращении товаров и средней скоростью обращения денег», что, «при данной сумме ценностей товаров и данной средней скорости их метаморфоз, количество находящихся в обращении денег или денежного металла зависит от собственной ценности денег»². При этом Маркс подчеркивал, что полноценные средства обращения никогда не переполняют каналов своего обращения³. Мои критики повторяют эти два правильных положения. Однако повторяют их чисто механически. Они даже не пытаются поставить перед собою вопрос, почему количество средств обращения (полноценных) всегда оказывается таким, каким ему «быть надлежит», и как, при колебаниях сферы товарного обращения, происходит «подтягивание» количества средств обращения к изменяющейся сумме товарных цен.

Мои критики, как мы видели, весьма любят напоминать о противоречиях между общественным характером производства в меновом обществе и индивидуальной формой его организации. Почему забыли они об этих противоречиях, когда заговорили о сфере денежного обращения? Между тем, корень вопроса именно здесь. Если бы сфера денежного обращения регулировалась сознательным усмотрением единого субъекта, вопроса о том, почему количество средств обращения всегда оказывается достаточным, не могло бы существовать, и критики мои были бы правы, изобразив по этому вопросу «фигуру умолчания», но ведь фактически единое по существу меновое общество не является единым субъектом. Оно состоит из тысяч и миллионов самостоятельных субъектов. Если разрозненные действия этих миллионов приводят к определенному и всегда одинаковому результату, то результат этот подлежит теоретическому объяснению, здесь ограничиться простой констатацией факта непозволительно.

¹ Ср. К. Маркс: «Товарная форма и отношение ценности продуктов, в которой она проявляется... это только определенное общественное отношение самих людей... «Из подобного рода форм и состоят категории буржуазной экономики. Это получившие общественное признание и, следовательно, об'ективные мыслительные формы для производственных отношений данного, исторически определенного способа производства, товарного производства»... «Золото и серебро, предметы, которые в качестве денег представляют собой общественное отношение производства» и т. д., и т. д., и т. д. «Капитал», т. I, 1899, стр. 35, 38, 44.

² «Капитал», т. I, 1899, стр. 78.

³ Там же, стр. 88.

При открытой чеканке, каждый владелец золота может по своему усмотрению в любой момент перечеканить принадлежащий ему металл в монету и бросить его в обращение или, наоборот, задержать извлеченные из обращения монеты и переплавить их в слитки. Здесь сфера денежного обращения регулируется стихийными приливами и отливами металла. Поэтому вопрос о том, *почему*, в результате этих стихийных переливов металла, достигается соответствие количества средств обращения норме, встает во всю свою величину. Каждому, кто серьезно относится к вопросу, а не механически повторяет выхваченные из «Капитала» цитаты, приходится задуматься над *законом*, который регулирует сферу денежного обращения.

Допустим, что в данный момент мы имеем соответствие общего количества средств обращения норме. Однако затем сумма товарных цен, по тем или другим причинам, повышается. Что произойдет? На этот вопрос отвечает сам Маркс: «Если мы предположим массу товаров данной, то масса обращающихся денег колеблется вместе с колебаниями цен товаров. Она поднимается или понижается, потому что сумма товарных цен, вследствие изменения этих последних, увеличивается или уменьшается. При этом вовсе не необходимо, чтобы цены всех товаров одновременно поднимались или падали. Подъема цен известного числа важнейших товаров в одном случае или понижения их в другом вполне достаточно для того, чтобы возвысить или понизить подлежащую реализации сумму цен всех находящихся в обращении товаров, достаточно, следовательно, также и для того, чтобы пустить в обращение большее или меньшее количество денег»¹. Итак, возрастание суммы цен товаров вызывает недостаток средств обращения, который заполняется приливом новых денег в сферу обращения. Наоборот, снижение суммы цен товаров порождает избыток средств обращения и отлив денег из сферы обращения.

Я вовсе чужд мысли изображать этот процесс так, что сначала образуется недостаток средств обращения, а *затем* этот недостаток покрывается новым приливом денег; *сначала* избыток средств обращения, а *затем* отлив денег из сферы обращения. Нет, эти этапы могут совпадать во времени и фактически совпадают. *По мере* того, как начинает ощущаться недостаток средств обращения, недостаток этот устраняется новыми приливами денег. *По мере* того, как образуется избыток средств обращения, избыток этот рассасывается. Процесс образования недостатка денежного обращения совпадает с процессом его насыщения, и процесс образования излишка совпадает с процессом его рассасывания. Именно поэтому Маркс и имел право утверждать, что количество денег в обращении всегда совпадает с необходимой нормой.

Точно такие же последствия вызовет изменение скорости оборота монеты при неизменности всех прочих членов формулы количества средств обращения. «Если скорость обращения одной (монеты. А. К.) увеличивается, то замедляется обращение других, или они совсем выбрасываются из сферы обращения, так как эта сфера может поглотить только такую массу денег, которая, помноженная на среднее число оборотов отдельных ее элементов, равняется сумме подлежащих реализации цен. Если поэтому количество оборотов каждой монеты возрастет, то уменьшается циркулирующая масса их. Если же количество оборотов уменьшается, то масса их возрастает»². Опять мы сталкиваемся с тем же явлением.

¹ «Капитал», т. I, 1899, стр. 74.

² Там же, стр. 76.

Скорость обращения монеты, при неизменных прочих факторах, делает часть монет ненужными или, говоря иначе, порождает излишек денежного обращения. Излишек этот рассасывается путем отлива в сферу накопления. Замедление скорости обращения монеты порождает недостаток монеты и прилив новых масс средств обращения из сокровищ. Как и в первом случае, процесс образования излишка средств обращения может совпадать с процессом рассасывания этого излишка, процесс образования недостатка средств обращения—с процессом его устранения. Это совпадение процессов образования излишка или недостатка средств обращения с процессами их устранения давало, конечно, Марксу право утверждать, что количество средств обращения всегда совпадает с непосредственной потребностью обращения. Однако оно не дает моим критикам ни малейшего права отрицать самое понятие недостатка или избытка средств обращения, исходя из самого по себе факта постоянного совпадения количества средств обращения с необходимым количеством. Их рассуждения о том, что из моей точки зрения будто бы вытекает постоянное отклонение фактического количества средств обращения в ту или другую сторону и заключения о моей «простоте», только лишней раз обнаруживают недиалектический метод мышления, скрывающийся за их quasi-диалектической терминологией. Количество средств обращения именно потому и может совпадать с нормой в каждый данный момент, что в каждый данный момент проявляются две прямо противоположные и противоречивые тенденции: к образованию излишка (или недостатка) средств обращения и к его устранению¹.

Займемся теперь вопросом, *почему* всякая тенденция к образованию излишка или недостатка средств обращения порождает обратную тенденцию, ее парализующую. Тщетно мы стали бы ждать ответа на этот вопрос от моих критиков, ибо они и самого-то вопроса не видят. Я же отвечаю на этот вопрос так: всякая тенденция к образованию излишка денежного обращения есть тенденция к отклонению покупательной способности денег вниз от их стоимости. Именно поэтому она стимулирует сокращение (или прекращение) притока золота в сферу денежного обращения и усиление отлива золота из сферы обращения. В результате тенденция к падению покупательной способности денег сменяется обратной тенденцией—к повышению покупательной способности денег, а тенденция к отливу денег из сферы обращения—тенденцией к приливу их.

Означает ли все сказанное, что покупательная способность денег колеблется вокруг их стоимости на подобие того, как цены товаров колеблются вокруг товарной стоимости, и что, таким образом, она лишь *в среднем* совпадает со стоимостью денег, отклоняясь от нее в ту или другую сторону, в каждый данный момент? Конечно, нет, и зря мои критики напоминают мне про Милля. Цена товара, подня-

¹ Из следующей цитаты видно, что Маркс вовсе не склонен был, подобно моим критикам, отрицать воздействия на сферу денежного обращения указанных двух противоположных тенденций: «Если опыт показывает, что уровень металлического обращения или масса находящегося в обращении золота или серебра в данной стране, хотя и подвержены временным, иногда очень сильным приливам и отливам, но на протяжении более долгих периодов сохраняют постоянство, и что отклонения от среднего уровня составляют только слабые колебания, то это явление объясняется просто противоположной природой условий, которые определяют массу находящегося в обращении денег. Одновременное их изменение парализует их влияние и оставляет все по-старому» («К критике», 1918, стр. 95—96).

вшись над стоимостью, может к ней вернуться только после того, как новое производство заполнит образовавшийся на рынке недостаток товаров. Точно так же, отклонившись вниз от стоимости, цена товара может вернуться к стоимостной основе не раньше, чем образовавшийся на рынке избыток товара будет устранен. Поэтому отклонения цены товара от его стоимости являются отклонениями длительными и явно ощутимыми. С деньгами же дело обстоит совсем иначе. Здесь малейшая тенденция к отклонению покупательной способности денег от их стоимости вызывает немедленные передвижки золота из сферы денежного обращения в сферу накопления или обратно и, таким образом, погашает самое себя при самом зарождении. Именно благодаря этой особенности, покупательная способность полноценных денег фактически всегда совпадает с их стоимостью. Именно потому покупательная способность полноценных денег и совпадает всегда с их стоимостью, что всегда имеет тенденцию от нее отклониться. Конечно, в такой вещи невозможно разобраться, применяя только диалектическую терминологию, но избегая диалектического метода мышления.

Если покупательная способность денег практически всегда совпадает с их стоимостью, то спрашивается, зачем же нужно вводить это понятие? Потому, что практическое совпадение и взаимное погашение двух противоположных тенденций вовсе не уничтожает факта существования этих тенденций и необходимости их познания. Только отправляясь от познания этих тенденций, можно объяснить механизм стихийного регулирования сферы денежного обращения. Это—во-первых. И, во-вторых, только отправляясь от познания этих тенденций, можно понять явление неполноценных денег вообще и смысл системы закрытой чеканки, в частности.

Как в самом деле объясняют наши критики тот факт, что стертые (неполноценные) монеты обращаются наряду с полноценными и покупают (каждая) столько же стоимостей, сколько полноценные монеты? Как объяснят они слова Маркса о том, что денежный оборот отделяет функциональную сущность монет от их металлической сущности¹, что в обращении неполноценных монет проявляется обособление функции средства обращения²? Как вообще они разъяснят понятие «знак стоимости»³?

На все эти вопросы наши критики не дают (и не могут дать) членораздельных ответов, ибо, вместо объяснения закона, регулирующего сферу денежного обращения, они занимаются его отрицанием.

Наши критики имеют в своем распоряжении аргумент против самого понятия покупательной способности. По их мнению, понятие покупательной способности можно вывести только при предположении, что «в процесс обращения товары вступают без цены, а деньги—без ценности, и что потом, в этом процессе, некоторая часть товарной кучи обменивается на некоторую часть металлической

¹ «Денежный оборот сам отделяет реальное содержание монет от их номинального содержания, их металлическую сущность от их функциональной сущности». «Капитал», т. I, 1899, стр. 89.

² «Правда, обособление этой функции не имеет места для отдельных золотых монет, хотя оно и проявляется в том факте, что стертые монеты продолжают функционировать». Там же, стр. 79.

³ «Кстати, предлагаем нашим критикам, отрицающим возможность отклонения покупательной способности от стоимости денег, объяснить следующую фразу Маркса: «Каждая монета, хотя бы и полноценная, стала бы в своей монетной форме стоить меньше, чем в естественной форме». («К критике», 1918, стр. 100).

массу»¹. Это внешне убедительное соображение моих критиков построено на явном непонимании вопроса. Измерение стоимости товаров происходит *вне процесса обращения* и до него. Деньги (хотя и могут выражать свою стоимость в относительной форме), в качестве всеобщего эквивалента, представляют собой абсолютное бытие стоимости и в измерении ее не нуждаются. Таким образом, товары вступают в процесс обращения с *готовой* ценой, а деньги—с *данной* стоимостью. В процессе обращения совершается лишь *реализация* стоимостей. При этом от количественного соотношения товаров и денег на рынке зависит, сможет ли состояться превращение товара в деньги и будет ли полностью реализована его идеальная цена. «Разделение труда,—говорит Маркс,—превращает продукт труда в товар и этим делает необходимым его превращение в деньги. Вместе с тем оно делает успех этого пресуществления делом чисто случайным. Здесь, однако, мы должны рассмотреть это явление в его чистом виде, т.-е. предположить, что оно совершается нормально. Впрочем, если оно вообще совершается, т.-е. если товар не совсем лишний на рынке, то всегда происходит перемена его формы, хотя в ненормальных случаях *при этом превращении* субстанция—*величина ценности*—*может уменьшаться или увеличиваться*»². Здесь мы встречаемся с таким случаем, когда реализуется не вся стоимость товара и не вся его идеальная цена, а лишь часть этой цены. Если процесс *измерения* стоимости товара происходит до начала процесса обращения, то *реализация* стоимости товара совершается в процессе обращения. Если измерение стоимости указывает, какому количеству золота (идеального) приравняется данный товар, то процесс реализации указывает, на какое количество золота (реального) товар фактически обменялся. Конечно, можно утверждать, что реализуемая цена совпадает с идеальной его ценой, однако, утверждать это можно, только исходя из совпадения фактического количества средств обращения с нормальным их количеством. Точно так же и покупательная способность денег появляется не в результате *измерения* стоимости денег, а в результате реализации ее в товарах. Она представляет собою не идеальное выражение стоимости денег, а фактический результат обмена денег на золото. При этом покупательная способность денег, естественно, выражается не непосредственно в стоимости товаров, но в их *цене*. Как видит читатель, никакого измерения стоимостей в процессе реального обмена я не произвожу, и наши критики напрасно спешат причислить меня к лону количественной теории.

Как бы не рассчитывая на убедительность своего принципиального аргумента, критики на «всякий случай» заготовили и пару аргументов от практики. Я займусь рассмотрением этих аргументов как для того, чтобы показать всю их несостоятельность, так и для того, чтобы проиллюстрировать только что высказанную мысль.

Первый аргумент. Всякое увеличение цены товаров есть будто бы, по мнению Кона, в то же время уменьшение покупательной способности денег. Поэтому повышение цен всех (или главнейших) товаров при неизменном количестве товаров должно, по Кону, сопровождаться *отливом* денег из обращения, в то время как и в действительности, и по Марксу в этих случаях происходит *прилив* денег в сферу обращения.

¹ «К критике», 1918, стр. 79.

² Там же, стр. 65, курсив мой.

Рассмотрим различные случаи повышения цен, которые могут предполагаться моими критиками, и влияние каждого из этих случаев на покупательную способность денег, а через нее на количество средств обращения.

Допустим, *во-первых*, что повышение цен всех (или главнейших) товаров происходит вследствие повышения их стоимости. В этом случае возросшая масса товарных стоимостей найдет себе выражение, при измерении, в большей массе идеального золота. Поэтому, если бы количество средств в обращении осталось неизменным, каждый реальный рубль фактически покупал бы не меньше, чем раньше, количество стоимостей, а большее. Покупательная способность денег не упала бы, а возросла, и, «по Кону», как и по Марксу, деньги устремились бы не из сферы обращения в сферу накопления, как думают мои критики, а как раз наоборот: из сферы накопления в сферу обращения. Допустим, *во-вторых*, что повышение цен всех (или главнейших) товаров происходит не вследствие повышения их стоимости, а вследствие отклонения цен от стоимости. В этом случае, как и в первом, стоимость всей товарной кучи при измерении, предшествующем обращению, выразится не в меньшем, а в большем количестве идеального золота. Поэтому, если бы количество средств обращения осталось прежним, каждый реальный рубль обменивался бы не на меньшее, а на большее количество идеальных рублей. Покупательная способность денег опять оказалась бы не ниже, а выше, чем раньше, и опять, «по Кону», как и по Марксу, деньги устремились бы не из сферы денежного обращения в сферу накопления, а как раз в обратном направлении. «Отражают ли перемены цен товаров действительное изменение ценностей или простое колебание рыночных цен, влияние этого на массу средств обращения остается то же»¹.

Казалось бы мыслим и третий случай, когда цены товаров повышаются, вследствие переполнения сферы денежного обращения орудиями обращения и падения их покупательной способности. Именно на этом третьем случае мои критики и думают меня «поймать». Однако на деле такой случай невозможен, ибо цены есть результат идеального измерения стоимостей, приравнение товаров идеальному, а не реальному золоту. Золотые товарные цены не могут повыситься вследствие переполнения деньгами сферы обращения. Покупательная же способность самих денег, в случае такого переполнения, действительно упала бы, ибо теперь каждый реальный рубль обменивался бы на стоимость, нашедшую себе идеальное выражение не в одном рубле, а в меньшем количестве денег.

Перейдем ко второму аргументу моих критиков от практики. В период кризисов цены всех товаров падают. Так как это «по Кону» должно будто бы означать повышение покупательной способности денег, то в периоды кризисов должен наблюдаться прилив денег в обращение, тогда как в действительности наблюдается отлив.

После всего сказанного не стоит большого труда ответить на это возражение. Если в периоды кризисов падают цены, то это само по себе значит, что стоимость товарной кучи выражается теперь не в большем, а в меньшем количестве идеального золота. Таким образом (если бы даже падению цен не сопутствовало сокращение количества товаров), в этом случае покупательная способность денег должна была бы не повыситься, а упасть, ибо теперь каждый реальный рубль обменивался бы на стоимость, нашедшую себе выражение в меньшем, чем рубль,

¹ «Капитал», т. I, 1899 г., стр. 74.

количестве идеального золота. В результате должен был бы произойти не прилив денег в сферу обращения, а отлив их из сферы обращения, как это и имеет место в действительности.

Таким образом, как видит читатель, не я ставлю на-голову Маркса, а критики мои ставят на-голову меня; и только этим путем им удастся приписать мне «количественный уклон» в теории денег.

Известно, что начинающие врачи находят у каждого из своих пациентов все известные им болезни. Не такого же ли происхождения все те органические заболевания, которые обнаружили у меня мои оппоненты?

Александр Кон.

НОВАЯ «СОЦИОЛОГИЯ» ИСКУССТВА

(По поводу книги Ф. И. Шмита: «Предмет и границы социологического искусствознания». Лгр. 1927 г.)

Ф. И. Шмит—не новичок в теории искусства. Его предыдущие работы (особенно «Искусство» 1925 г.) вызвали довольно оживленное обсуждение и констатировали неприемлемость основных его положений для марксистского искусствознания. Предисловие к настоящей работе гласит: «мы все жалуемся, что у нас нет марксистского искусствознания. И верно, его у нас нет». Своей книгой он пытается восполнить этот пробел и ставит один из важнейших вопросов—«об отношениях бытия и сознания в приложении к теории искусства». Все это заставляет с вниманием отнестись к рассматриваемой работе.

Первая глава посвящена вопросу «рабочего определения искусства». Здесь автор выделяет прежде всего «два отрицательных признака» (8), характеризующие искусство, как особого рода деятельность. Первый признак: «произведения искусства не объединяются никакими общими материальными и техническими признаками» и второй: «художественная обработка вещественных предметов не имеет в виду повышение практической их полезности» (ibid)¹.

Но сейчас же устанавливается и некоторая однородность произведений искусства, которая доказывается тем фактом, что искусство некогда было синкретичным, таким оно будет и в будущем (стр. 9). Далее, на ряду с практической бесполезностью произведений искусства, устанавливается их общественная ценность, которая относительна, условна и суб'ективна, завися от данного времени и общественной среды. В конечном результате «единство искусства может быть обусловлено только единством стимулов, приводящих в движение мозговые центры, разные в зависимости от разных индивидуальных способностей художников» (11—12). Природа этих стимулов—эмоциональность. И ценность художественной деятельности в том, что она «расширяет количество и улучшает качественно мир его (человеческих) эмоций и образов» (15). Далее Шмит заявляет, что «ценность искусства не ограничена пределами каждой данной личности...», но «все люди заинтересованы в том, чтобы как можно полнее и лучше вооружиться личным опытом для борьбы за существование». Итак, речь идет не об общественно-клас-

¹ Мы не можем согласиться с этими утверждениями автора, но не подвергаем их обсуждению, так как очевидно им не придается существенного значения. Также мы не подвергаем критике переоценку биологического и психо-физиологических моментов, столь обычную для Ф. И. Шмита. Все это было сделано рецензентами предыдущей его работы «Искусство» (В. М. Фриче, Корницкий, Федоров-Давыдов и др.). Совершенно естественно, что для нас искусство прежде всего социально, и социальное объясняет его природу и развитие.

совой значимости искусства, а о пресловутой «борьбе за существование» (15). Искусство характеризуется в качестве «средств общения и организации общественного сотрудничества» (16). Это толстовское определение, маскирующее классовую активность искусства, его классовую дифференциацию, давно уже осуждено марксистским искусствознанием. Понятие—класс автор заменяет понятием—публика. Чем же определяется действительность данного искусства?

— Если и художник и его публика,—отвечает автор,—живут в одной и той же или в однородной материальной, культурной и общественной среде... познавательные способности находятся примерно на одном и том же уровне... то у художника есть много шансов, что ярко выявленные в художественном произведении образы пробудят и прояснят соответствующие им, но смутные... образы, потенциально имеющиеся уже и у публики, а охватившие его, художника, эмоции «заразят» через образы и публику» (17). Понятие однородной материальной, культурной и общественной среды—это, конечно, не понятие класса, а фактор «познавательных способностей» еще больше осложняет дело. Наконец, такие выражения, как «публика»,—все это уводит автора далеко от марксистского искусствознания. Далее, справедливо протестуя против «высокого искусства», автор раздражается гневной тирадой против ищущих качественный спецификум искусства и решительно утверждает, что всякое «обиходное средство эмоционального общения и воздействия» (22—23) есть искусство, что, конечно, явно неверно. Автор и сам сознает это и сейчас же устанавливает необходимость «выделить из общей массы средств обиходного общения некоторый особо-интересный (? А. М.) вид искусства, искусство особо квалифицированное» (23). Однако, спросим мы автора, чем это отличается от «высокого» искусства? Он отвечает, что отличие этого «особо квалифицированного» искусства не качественного, а исключительно количественного порядка. Оказывается, «сознание не-художников не поспевает за развитием бытия» (23—24). А вот художники это как раз те, которые «попевают за жизнью или даже опережают ее и учат всю остальную «публику» «смотреть на мир новыми глазами» (ibid)¹. Все это, конечно, путаница. Искусство—это психология определенной классовой группы, зафиксированная в определенных формах. А если так, то никакой художник или школа или художественное направление не существуют вне их выдвинувшей классовой группы и, ее выражая в своем развитии, проходят те же ступени, которые проходит и классовая группа. Если художник «отстает» от классовой группы в целом, то, значит, он является выразителем «отсталой», еще не осознавшей себя полностью, части этой группы. Если он «перегоняет» ее, значит, он выражает авангард, наиболее сознательную часть класса. Искусство в своем развитии не опережает и не отстает от тех реальных сил, которые в каждом конкретном случае это развитие определяют.

Ставить же художников в особенное положение людей, «предчувствующих» и предвосхищающих события,—это принадлежность идеалистической философии, с которой, при всем желании, не может расстаться Ф. И. Шмит.

Точно так же для марксистского искусствознания не существует ни высокого, ни особо квалифицированного искусства; искусство есть единое, идеологическо-классовое явление и его особенность в том, что здесь в специфические формы переводится психика общественного человека.

¹ Из этого ясно, что автор не совсем разбирается в понятиях количества и качества, ибо в этой цитате он указывает уже на качественное отличие художников от не-художников.

* * *

Вторая глава работы рассматривает искусство, как предмет научного изучения. Автор вполне прав, когда он протестует против индивидуально-суб'ективных методов и знаточества, когда он констатирует важность об'ективной искусствovedческой теории для художественной практики (политики) и т. д. Но то изучение, которое он нам предлагает, едва ли способно удовлетворить нашим требованиям. Он насчитывает 6 разделов, по которым должно идти изучение: 1) общий механизм эмоционального образного мышления, 2) особенности того моторного аппарата, который должен быть приведен в движение для создания произведения искусства, 3) технические свойства тех материалов, которыми пользуются художники, 4) индивидуальные черты психо-физической организации данного художника, 5) строение той общественной среды, которая породила художника и им обслуживается, 6) эффект, произведенный творчеством художника и в той среде, для которой оно было непосредственно предназначено, и в последующих средах, куда оно доходило» (30—31). Все это надо «ради той диалектической динамики, которая вскрывается в совокупностях художественных памятников и фактов» (33). Немудрено, что после этого Шмит повествует, «как нелегка и очень сложна» искусствovedческая методология (ibid) (о ее «путях» см. еще с. 35). Между тем, совершенно ясно, что изучение искусства ничем особым не отличается от изучения любого явления другого порядка. Вопрос лишь в той или иной степени овладения марксистским методом. И те, кто им не овладел, всегда жалуются на сложность. Прежде всего, не может быть никаких 6 разделов, как это представляется автору. Недостаток его методологии лежит в том, что он выдвигает ряд моментов, для социолога не существенных, а если и существенных, то в качестве следствий социальной обусловленности искусства. Всем этим факторам он придает одинаковое значение, и лишнее основного направляющего центра познание искусства делается невероятно осложненным.

* * *

Далее автор делает весьма интересную попытку «примирить» социологов и формалистов, которые, по его открытию, «не могут об'единиться из-за ясно осознанного или смутно чувствуемого расхождения во взглядах... на природу и взаимоотношения базиса и надстройки» (37). Мы могли бы ответить, что это, конечно, прежде всего об'ясняется их (формалистов) классовой принадлежностью, но автор рассуждает не так. Он берется ни больше, ни меньше примирить и формалистов и социологов подлинно Соломоновым решением. Формалистов будто бы пугает то, что искусство—только надстройка; и вот Шмит говорит им, что оно базис. А если социологи желают во что бы то ни стало искусство как надстройку,—сделайте милость: искусство и надстройка и базис! При этом он делает весьма занятные жесты в сторону Плеханова, который, по его мнению, больше всех отпугивает благонамеренных формалистов. Буквально так: «Формалистов пугает наиболее часто цитируемая и наиболее общеизвестная формулировка этих взаимоотношений, которую дает Плеханов: «В литературе, искусстве, философии и т. д. *выражается* общественная психология» (37) и т. д. «Значит, восклицает Шмит, искусство целиком есть «идеология», есть надстройка, нечто

вторичное и производное, выражение (или, если угодно, отражение) общественной жизни, плесень на поверхности жизни, ее отброс...» (37—38). Но, успокаивает автор, «конечно, совсем не такова точка зрения марксистов-социологов на искусство. Формалистов должно было бы успокоить то, что Ф. Энгельс пишет И. Блоху 21 сентября 1890 г.: «Маркс и я были виноваты отчасти в том, что молодые марксисты иногда придавали большее значение экономической стороне, чем это следует». Здесь прежде всего невыгодное для Плеханова противопоставление его формулировке слов Энгельса, против которых он никогда и не возражал. И вообще несколько комично видеть Энгельса в роли успокоительного средства для формалистов—от Плеханова. Далее сам Шмит успокаивает «ученых искусствovedов» и советует не впадать в панику, когда «молодые люди именно сейчас делают очень самонадеянные налеты в области искусствovedения, вооруженные только одним «экономическим фактором» (38). Он советует им, т.-е. «ученым искусствovedам», «внимательно изучить марксистскую теорию и по самому Плеханову... и по другим источникам, внимательно прочесть у Ф. Энгельса, напр., письмо к Г. Штаркенбургу от 25 января 1894 года» (о том, что и надстройки оказывают в свою очередь влияние на базис) (ibid). Все это, конечно, хорошо—среди «ученых» искусствovedов уже и сейчас насчитывается несколько самоотверженных людей, которые в 1925, 1926 гг. удосужились прочитать Плеханова, а Шмит кроме того, оказывается, еще и письма Энгельса кое-какие знает. Но вот здесь-то и возникает вопрос—а что успеют ли они, скажем, к 1937 г. прочесть что-нибудь Ленина и Маркса, и сколько по поводу каждой из прочитанных вещей будет изведено чернил. Ибо, если б автор, напр., внимательнее прочел классические марксистские работы, он не сделал бы после цитирования Энгельса (письмо к Штаркенбургу) того вывода, что искусство—базис¹. Но даже своим толкованием фразы Энгельса автор неудовлетворен. Она, оказывается, имеет значение для художников, а не для искусствovedов. Почему это так—неизвестно, может быть, искусствovedы более благовоспитанный народ. Толкование искусства, как идеологии, по мнению Шмита, не дает никаких посылок для об'ективного познания искусства. Автора смущает множество факторов, сложность диалектического взаимодействия. И так и сяк он примеривает выдержки из Плеханова и Энгельса (40—41) и приходит к выводу, что «собственно исторический процесс, основной, первичный, происходит в экономическом базисе; его закономерности проявляются—точнее, могут, пожалуй, проявляться—и не только в низших этажах идеологической надстройки, но и в высших, к каковым принадлежит искусство, но, уж во всяком случае, весьма неполно и искаженно,

¹ Здесь ясно сказывается влияние на Шмита того «кита», на котором по существу базируется его работа,—книги Разумовского «Исторический материализм». Напомним лишь характеристику постановки вопроса причинности у Разумовского, данную Лупполом в его рецензии на упомянутую книгу. У Разумовского: «проблема причинности... попросту снимается, устраняется и вместо нее выступает взаимодействие без какого бы то ни было направляющего и *производящего* момента... При такой точке зрения логический вывод будет лежать, далее, не в функциональной действительности, а в беспорядочном, ничего необ'ясняющем взаимодействии». Нужно пожалеть, что Ф. И. Шмит не удосужился прочесть эту рецензию, напечатанную, кстати сказать, в одном № журн. с его статьей «Диалектика искусства» (см. «Под Знаменем Марксизма» за 1924 г., № 12. Луппол.—По поводу книги Разумовского—«Курс теории истор. матер.», с. 103 и сл.).

в какой-то вторичной, отраженной закономерности»¹. «Нечего, значит, и думать о том, чтобы путем изучения смены стилей в искусстве добыть какие-нибудь обществоведчески ценные и на практике художественной политики или педагогики приложимые законы развития» (40), ибо «прикладному искусствоведению нужны закономерности, а не случайные комбинации факторов» (41—42). Необходимо несколько остановиться на этом. Прежде всего процитируем из письма Энгельса к Мерингу. Эта цитата как нельзя более характеризует понимание Шмитом взаимоотношений базиса и надстроек. «С этим связано также идиотское представление идеологов: так как мы за различными идеологическими областями, играющими роль в истории, не желаем признать самостоятельного исторического развития, то, значит, мы отрицаем за ними всякую историческую роль. В основе этого лежит заурядное недиалектическое представление о причине и следствии, как о двух неизменно разединенных полюсах, абсолютно не выходящих взаимодействия»². Далее нужно оговориться, что диалектическое развитие искусства не есть «случайная комбинация факторов», а определенная закономерность, свойственная вообще всякому развитию, в том числе и искусства. Здесь также развитие происходит в форме движения «противоречивых, взаимоисключающих противоположных тенденций» (Ленин—«О диалектике») в их единстве. Эта «борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение» (ibid). Существует определенная функциональная связь между общим диалектическим развитием общества, с одной стороны, и искусством, как идеологическим выявлением этого движения в определенных формах,—с другой. Искусство здесь частное, но оно подчинено законам общего. Они взаимодействуют, но в конечном результате искусство все же зависит от этого общего и им определяется. Но общее (содержание общественного развития), переведенное на язык искусства, принимает новые формы, и изучение этих форм проявления общего в частном (искусстве)—не только иллюстрация к истории, а обнаружение того, какие формы принимает в данном случае общественное содержание и какое значение эти формы имеют в общественном развитии. Этим путем и должно идти изучение искусства—от содержания к форме. Заключительная ступень марксистского познания искусства (оценка) предполагает его использование в качестве определенной практики, приложение на этой практике выводов, полученных в результате изучения искусства. Вся работа по исследованию должна быть проведена при этом единым методом—марксистским, ибо само искусство есть единство формы и содержания. По Шмиту же социолог должен устанавливать классовую значимость и классовую однородность произведений искусства, а формалист—закономерность смены формы (42—43). Поэтому «без социолога формалисту не обойтись» (43). Марксистский метод изучения искусства включает в себя и формальный анализ, при чем последний не должен быть самоцелью, если при посредстве его хотят добиться объективных результатов. Автор, подавленный сложностью диалектического взаимодействия, никак не может понять—каким образом может искусство, будучи надстройкой, зависеть от базиса, воздействовать в свою очередь на базис и все-таки не быть «причиной всего сущего», т. е.

¹ Характерно это «распределение» по этажам, при чем искусство уж обязательно попадает в самый верхний этаж. Даже и у идеологии оказывается есть свои ранги.

² Письмо Энгельса к Мерингу от 14/VII 1893. (Цитирую по книге Фингерта—«Основы диалект. материал.» (хрестоматия), вып. 2. 1926, с. 33—4).

базисом, и приходит к выводу, что «ни признать господство экономического фактора в искусстве нельзя, ни отрицать его нельзя!» (43) и что, значит, «вкралась какая-то неточность либо в самую формулу исторического материализма, либо, что более правдоподобно, в ее применение к искусству» (43). В дальнейшем он и направляет свои усилия к тому, чтобы «исправить» эту «неточность».

«Неточность» же он видит в том—«что в формуле исторического материализма искусство ошибочно целиком включено в надстройку, обусловленную многими факторами и, в первую голову и в конечном счете, экономическим» (45). Обоснование этого утверждения достигается просто. Оказывается, «мы имеем в своем распоряжении не само искусство, а лишь его проявления в памятниках, (? А. М.), а в памятниках искусства все то, что поддается непосредственному наблюдению, несомненно принадлежит именно к категории надстроек»¹ (ibid). Это, так сказать, область социологов, но при исследовании ее не достигается самое важное—объяснение формы, невозможность «свести форму к экономике» (46). Поэтому «надо в искусстве различать два неравноценных элемента: работу сознания, как таковую, и материал, которым оно распоряжается» (46). Материал, как мы уже видели, сдан социологам. А работа сознания заключается в накоплении личного опыта и передаче его (эмоциональной) другим людям» (46—47). И оказывается, искусство зависит вовсе не от материальной среды, а «от уровня функционального развития сознания» (ibid). Стоило после этого все склонять слово «марксистский» и цитировать Плеханова и Энгельса. Но автор смело идет дальше и, покидая Плеханова и Энгельса, находит себе «поддержку»... в Разумовском. Прежде всего он формулирует тезис: «уровень развития сознания не зависит от уровня развития производительных сил, а есть составная часть производительных сил. В этом смысле искусство, конечно, относится к базису, а не к надстройке». Итак, вот какой путь пришлось проделать: искусство обусловить индивидуальным сознанием—предпосылка явно идеалистическая,—а сознание объявить производительными силами, чтобы сей трюк вышел ортодоксальным. А дабы маловерные не усомнились, все это подкреплено цитатой «из популярного курса теории исторического материализма И. П. Разумовского»: «Сознание общественного человека является необходимой составной частью человеческой рабочей силы, производительной силы самого человека»... «Рассматриваемое с этой своей стороны, постольку сознание общественного человека входит в экономический базис и вовсе не является надстройкой»². Не стоит говорить, насколько неверен вывод Шмита. Сам Разумовский может его в этом заверить (Разум.—«Теорет. анализ Ленина», «Под. Зн. Маркс.», 1925 г., № 1—2, стр. 41, о содержании и форме общественного процесса). Конечно, есть взаимодействие, но оно не делает сознания базисом. Мы сделаем удовольствие автору, процитировав Разумовского, который указывает, что в общественном процессе «более

¹ Самое разделение искусства на искусство и его проявление в памятниках является очередной данью той дуалистичности, которая положена в основу книги. Мы, конечно, не можем согласиться с этим разделением.

² Здесь интересно отметить, что Шмит намеренно указывает на популярный учебник и хочет этим сказать, что обоснование ему нужного положения можно найти в любом узаконенном учебнике для I ступени. Однако, известно, что этот учебник вызвал значительную полемику, которая не удостоилась, очевидно, внимания Шмита. В результате этой полемики ряд положений книги Разумовского не был принят значительным большинством марксистов-философов. В частности было опровергнуто толкование идеологии.

общие формы (в числе их и сознание. А. М.), в свою очередь, становятся содержанием частных, специфических, характерных для более ограниченного исторического этапа, имеющих местное значение форм» (ibid, с. 43). Это и есть взаимодействие. Всякому понятно, как не похоже оно на толкование Шмита. Правда, он ниже оговаривается, что «содержание сознания в каждом данном случае обусловлено бытием» (48), но это уж находится в вопиющем противоречии с ранее бывшими утверждениями. Итак, работа сознания это и есть искомый базис. А вот то, что художник получает извне, его впечатления, из которых он строит образы, это, конечно, обусловлено «всею окружающею средою и, в значительной мере, случайностями» (48). Излишне говорить снова на тему «случайностей» — оставим это на совести автора. Самое же творчество художников (или «идеологов») часто делает их достаточно равнодушными к тому, что особенно озабочивает большинство их сограждан. Это и есть «идеологи»... (49—50). Итак, здесь достигнута полная автономия — идеологов, а следовательно и художников, «озабочивает» вовсе не то, что думают их «сограждане», а то, о чем последние совсем не думают. Художники, значит, в своей деятельности совершенно не зависят от выдвинувшей их общественно-классовой группы. Они и появляются лишь в результате развития сознания, на определенной его ступени, а не почему-либо другому. С подобной точки зрения изучать искусство могут, конечно, только формалисты-идеалисты. Марксисты этим не занимаются.

Что касается рассматриваемой работы, то в своей дуалистичности она, конечно, является попыткой проташить *формальный метод* в марксистское искусствознание, создать помесь идеализма и социологизма под вывеской ортодоксии. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров, с очевидностью это аргументирующих. Прежде всего ни один, конечно, формалист не может обойтись без своей закономерности искусства, которая не подведомственна социологам. Так и у Шмита: «в развитии искусства есть своя особая закономерность, вытекающая из самой природы сознания (эмоционально-образного мышления)¹, и в своем нормальном течении от внешних воздействий независимая... С этой точки зрения история искусства представляется, как прохождение через ряд последовательно сменяющихся структур сознания, неизменных и неизбежных; если мы совокупность формальных признаков каждой такой структуры назовем ее стилем, мы имеем право утверждать, что вся теория искусства доказывает строго закономерную последовательность стилей, в диалектическом порядке² вытекающих один из другого» (54). Если эта закономерность существует, то кому же ее и исследовать, как не формалисту? Тем более, что Шмит так и характеризует ее, как «смущающую исследователей-социологов закономерность» (ibid). Раз смущает, значит из 'ять ее от социологов и отдать формалистам. Что же остается на долю социологов? У них есть своя закономерность — они тоже не обижены. «Эти закономерности двух разных порядков: одна (для формалистов. А. М.) могла бы быть выражена в виде некоторой нормальной линии, по которой стремится идти искусство, другая (для социологов. А. М.) — в виде неправильной (дефективной! А. М.) линии, по которой фактически идет искусство, непрерывно отклоняясь от нормы под влиянием внешних воздействий» (55).

¹ Интересно, почему это сознание равно эмоционально-образному мышлению? (А. М.).

² Это очевидная, столь принятая ныне, «дань времени» (А. М.).

«Социолог исследует природу этих уклонений» (ibid). Но при исследовании их он должен все время руководствоваться той нормой, которая дана в удел формалисту. Фактически социолог, а следовательно и социология искусства, как определенная методология искусствознания, поставлен в зависимость от формалиста или, в конечном результате, от формального метода искусствознания и исследует лишь частные закономерности» (55—56). «Ограничено социологическое искусствознание искусством формальным, которое должно исследовать общий: нормальный путь развития искусства, по которому оно по своей природе стремится продвигаться всегда и при всяких внешних условиях» (56).

Заканчивается работа так же, как и начинается. Здесь перед нами вовсе не автор только-что цитированных положений, а самый что ни на есть правоверный социолог, здесь стадии «художественных структур» «суть не что иное, как художественные эквиваленты (а не «параллели». А. М.) экономических структур»... и т. д. Но мы полагаем, что это не служит оправданием тех теоретических упражнений, которые были разобраны. В заключение мы еще раз решительно подчеркиваем, что искусство черпает свою закономерность в закономерности общественно-классового развития в целом, что искусствознание — лишь часть науки о человеческом обществе и его проявлениях, исследующая одну из сторон этого проявления, известную нам под именем искусства (художественной идеологии). И нет никакой идеальной нормы пути, по которому стремится двигаться искусство, кроме общего пути развития человеческого общества через борьбу противоположностей (классовую борьбу) и их единство. Все попытки внести в марксистское искусствознание нечто идеалистическое, проташить формальный метод заранее обречены на неудачу. В качестве таковой мы можем квалифицировать и попытку Шмита.

Нам хотелось бы только отметить тот «отрадный» факт, что если два года тому назад Шмит цитировал одного лишь Плеханова, то теперь перед нами явный прогресс. К Плеханову присоединены два письма Энгельса и выдержка из учебника Разумовского. Но при всей отрадности это все же слишком медленное продвижение, не соответствующее ни в коей мере тем задачам (довольно обширным и ответственным), которые автор себе ставит. Нам думается, что марксисты могут требовать к себе известного уважения, в котором они другим не отказывают. В частности, например, Плеханов при работе над искусством первобытных народов счел своей обязанностью проштудировать всю важнейшую литературу, к тому времени известную. Когда же говорится о построении марксистского искусствознания, то методологическая для этой цели подготовленность вовсе не может быть исчерпана учебником Разумовского.

Но мы хотели бы надеяться, что то несомненно положительное, что есть в книге (протест против субъективного знаточества, рассмотрение искусства в движении и в практике и т. д.), поможет автору покинуть позиции идеалистического искусствознания, которые так сильно чувствуются в этой книге.

А. Михайлов.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ ГЕОМЕТРИИ

(Геометрия «функционального пространства». О работах Courant'a

За последние годы появился в свет ряд работ немецкого математика R. Courant'a¹, методологически примыкающих к весьма важному направлению в современном математическом анализе. Если XIX век был в анализе веком, прежде всего, формальных теорий, связанных с именами таких чистых аналитиков, как Jacobi и Weierstrass, то в современном анализе в различных формах применяются конструктивные, алгебраические и геометрические методы.

Очень характерным является возрождение своеобразной индукции—от конечного к бесконечному, от алгебры к анализу. Производные и интегралы—не что иное, как пределы отношений и сумм. Заменяя в задаче анализа предельные понятия допредельными, получаем задачу алгебраическую. Блестящее применение этого метода проделано Фредгольмом в его знаменитом мемуаре (Acta Mathematica, XXVIII, 1903). Линейные интегральные уравнения рассматриваются Фредгольмом как предельный случай обыкновенных линейных уравнений. И аппарат алгебраический (детерминанты) при переходе к пределу обращается в аппарат анализа (этим индуктивным методом посвящена 4-я глава указанной Courant'овской статьи в Acta Mathematica, 49)².

В дальнейшем эти методы были обогащены введением своеобразного геометрического аппарата—«функционального пространства». Глубокая связь анализа и геометрии вскрылась на заре современной математики. Но она же потребовала расширения рамок геометрии. Обычные планиметрия и стереометрия обслуживали чересчур ограниченный класс задач анализа: с одним, двумя, отчасти тремя независимыми переменными. Более общие задачи анализа потребовали введения геометрических объектов высшего числа измерений. Общее понятие размерности постепенно проникало в математику. Одной из ее начальных форм было количество «степеней свободы» в механическом движении. Движение твердого тела обладает, например, 6-ю степенями свободы. Совокупность возможных по-

¹ R. Courant. Zur Theorie der kleinen Schwingungen. Zt. der Angewandten Mathem. und Mechanic. Bd. 2. Его же—Статьи в Mathematische Zeitschrift. Bd. 1, 1918; Bd. 7, 1920; Bd. 15, 1922, несколько глав книги: Courant—Hilbert. Methoden der Mathematischen Physik. Courant über die Anwendung der Variationsrechnung in der Theorie der Eigenschwingungen und über neue Klassen von Funktionalgleichungen. Acta Mathematica 49.

² Эти методы были развиты Hilbert'ом в Grundzüge der allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen. Здесь же были применены ряд глубоко интересных геометрических методов, к которым примыкают исследования Courant'a.

ложений твердого тела дает нам некоторый объект 6 измерений. Правильнее, конечно, называть эти объекты не «пространствами», а «многообразиями» (Риман). Может показаться, что дело лишь в façon de parler, что мы приклеиваем геометрические ярлыки к чисто аналитическим объектам.

Но дело обстоит не так. Вернемся к элементарной геометрии 2-х и 3-х измерений. Мы изучаем в ней, как чисто качественные свойства, форму, расположение частей и т. п. Уже Лейбниц настаивал на выделении той части геометрии, где изучались бы свойства фигур, общие, «как для идеально вычерченной прямой, так для грубо нарисованной рукой ребенка». Эта часть геометрии выделялась в особую дисциплину—топологию. Но и остальные главы геометрии в большей или меньшей степени заполнены не числовыми понятиями (форма, выпуклость и т. д.).

Они лежат в основе того, что мы называем геометрической интуицией. Поскольку эти понятия играют столь же существенную роль в теории многообразий высшего числа измерений, поскольку свойства их в значительной степени сохраняются, постольку геометрическая интуиция приходит на помощь современному аналитику. Расширение объекта геометрии способствовало, несомненно, тому, что эпоха формальных теорий в анализе вновь сменилась эпохой теорий геометрических. Недаром, конечно, все ведущие фигуры математики последних десятилетий (F. Klein, U. Poincaré, Minkowski, Hilbert) были геометрами¹.

Но анализ не ограничился применением «многомерных пространств». И на более сложные объекты своего изучения он распространяет геометрические понятия. И в более сложных проблемах он ищет геометрического смысла. Переходу от алгебраической задачи к задаче функциональной отвечает переход от «*n*-мерного пространства» к т. н. «функциональному пространству». Courant пишет: «Это обобщение отвечает переходу от механики дискретной системы к механике непрерывной системы. Вместо дискретных координат x_1, x_2, \dots, x_n появляется непрерывная функция (или несколько непрерывных функций) одного или нескольких переменных, которая определяет положение системы» (Acta Mathematica, 49, стр. 3)².

«Функциональные пространства»—это просто совокупности различных классов функций (напр., непрерывных функций $f(x)$ одного переменного x , где x принимает значения от 0 до 1, $0 \leq x \leq 1$). Каждую функцию $f(x)$ будем называть «точкой» функционального пространства. Значения этой функции играют роль координат точки. Вернемся к механической интерпретации. Положение системы с n степенями свободы определяется n числами x_1, x_2, \dots, x_n . Каждая система чисел x_1, x_2, \dots, x_n называется «точкой» в «пространстве фаз» нашей системы³. Если у нас

¹ В частности, геометрическое изучение фазового пространства является важным орудием исследования в небесной механике (Poincaré, Birkhoff).

² D. Hilbert ввел другое обобщение n -мерного евклидова пространства; совокупность последовательностей $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, с сходящейся суммой квадратов $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$. «Hilbert'ово пространство» играет большую роль в топологии

и анализе. Оно тесно связано с функциональным пространством: мы можем каждой функции отнести систему чисел $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n, \dots$ —коэффициентов ее разложения в какой-нибудь функциональный ряд. См. Hilbert. «Grundzüge der Allgemeinen Theorie».

³ В некоторых исследованиях (напр., в кинетической теории газов) фаза системы определяется совокупностью 2 n чисел: n компонент x_1, x_2, \dots, x_n , определяющих положение системы, и n скоростей x_1', x_2', \dots, x_n' .

Эти, ставшие сейчас в математике обычными геометрические представления, показывают ценность введения функционального пространства.

R. Courant в своих работах широко пользуется геометрическими представлениями в теории дифференциальных и функциональных уравнений. Его работы связаны с проблемой преобразования поверхности второго порядка к главным осям. Если нам дано уравнение плоской кривой второго порядка $a_1x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_2x_2^2 = 1$, то мы можем заменой переменных, выбрав за новые оси координат главные оси кривой второго порядка, привести уравнение к каноническому виду: $ay_1^2 + by_2^2 = 1$ (числа a и b — обратные величины квадратов длин главных осей).

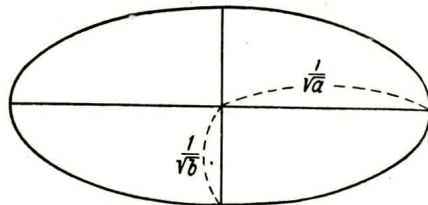


Рис. 1.

Большая главная ось эллипса обладает следующим экстремальным свойством — из всех векторов, исходящих из начала координат, конец которых лежит на эллипсе, она обладает наибольшей длиной, другая ось — наименьшей. Главные оси можно найти, решая задачу об экстремуме.

Перейдем от плоскости к n -мерному пространству. Квадратическая форма $H(x) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2$, приравненная 1, выражает «поверхность второго порядка» в пространстве n измерений. Если мы примем главные оси этой «поверхности» за оси координат, то квадратическая форма примет вид: $\alpha_1y_1^2 + \alpha_2y_2^2 + \dots + \alpha_ny_n^2$, где y_1, y_2, \dots, y_n новая система прямоугольных координат. Числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, расположенные по величине ($\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$), определяются из некоторых экстремальных задач. Можно их так, напр., определить

(если наша поверхность — эллипсоид): $\frac{1}{\alpha_1}$ — норма наименьшего вектора, исходящего из начала координат, конец которого лежит на эллипсоиде; $\frac{1}{\alpha_2}$ — наименьшего из таких векторов, перпендикулярных к оси oy_1 .

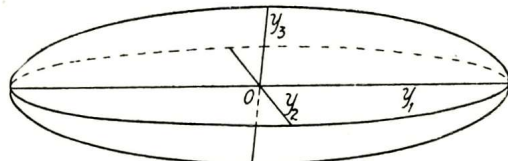


Рис. 2.

Courant рассматривает более общую задачу — одновременное приведение к нормальному виду двух форм:

$$H(x, x) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$G(x, x) = b_{11}x_1^2 + 2b_{12}x_1x_2 + \dots + b_{nn}x_n^2$$

можно заменой переменных привести обе формы к нормальному виду:

$$H = \theta(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2)$$

$$G = \alpha_1y_1^2 + \alpha_2y_2^2 + \dots + \alpha_ny_n^2$$

(мы преобразуем эллипсоид $H=1$ в шар посредством линейной трансформации геометрически означающей сжатие, затем производим замену осей). Числа α_1 определяются из некоторых экстремальных задач, типа вышеописанных

$$\left[\alpha_1 - \text{minimum} \frac{G(x, x)}{H(x, x)} \right]$$

В теории колебательного движения с n степенями свободы приходится рассматривать такого рода преобразования. Пусть: $T = \sum a_{ik}x_ix_k$ выражает потенциальную, $u = \sum b_{ik}x_ix_k$ — кинетическую энергию системы. Если мы приведем обе формы к виду: $T = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i^2$, $u = \sum_{i=1}^n y_i^2$, числа $\sqrt{\alpha_i}$ означают высоту основного

тона и обертона. Наше преобразование связано с разложением колебания на систему основных колебаний.

Если от колебания с конечным числом степеней свободы мы перейдем к колебанию непрерывной среды (теория упругости), то тем самым мы перейдем от задач приведения к нормальному виду «поверхностей» в функциональном пространстве. Экстремальные задачи обратятся в задачи вариационного исчисления, ортогональные преобразования выродятся в разложение по ортогональным функциям. Обширный класс задач, как классических (уравнение Sturm'a-Liouville'a), так и новых функциональных задач (термо-эластические колебания), приобретает геометрическую ясность, благодаря аппарату функциональных пространств.

Более подробное изложение методов Courant'a уместно только в специальном журнале. Делая методологические замечания о направлении Courant'a, мы хотели указать, что расширение объекта геометрии не случайно, что оно оказывает неопределимые услуги весьма плодотворным и богатым приложениями ветвям анализа.

Л. Люстernerк.

ОТ РЕДАКЦИИ.

По техническим причинам в статье тов. Асмуса в 23 книге «В. К. А.» «Философия языка Вильгельма Гумбольдта в интерпретации проф. Г. Шпета» выпало примечание редакции о том, что статья печатается в дискуссионном порядке.

Редакционная коллегия:

Бухарин, Н. И., Дволайцкий, Ш. М., Деборин, А. М., Крицман, Л. Н., Лукин, Н. М., Милютин, В. П., Пашуканис, Е. Б., Покровский, М. Н., Шмидт, О. Ю.



СОДЕРЖАНИЕ

I. — Статьи

	Стр.
Луначарский, А. — Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности	III
Милонов, К. — Гегель и материализм	1
Кафалова, Е. — Проблема производительных сил в теории Маркса—Энгельса	30
✓ Вайсберг, Р. — Экономическая мысль СССР в освещении «советской» буржуазии	79
Маца, И. — К вопросу марксистской постановки проблемы стиля	96
II. — Стенограммы докладов, читаемых в Коммунистической Академии	
Асмус, В. — Диалектика в системе Декарта	116
Прения по докладу В. Асмуса (т.т. Дмитриев, Г., Вайнштейн, И., Фурщик и Цейтлин, З.)	145
Заключительное слово В. Асмуса	170
Смирнов, Е. — Новые данные о наследственном влиянии среды и современный ламаркизм	183
Прения по докладу Е. С. Смирнова (т.т. Серебровский, А., Кузин, Б., Левин, М., Вермель, Ю., Волоцкой, М., Ежиков, И., Левит, С.)	197
Заключительное слово Е. Смирнова	210

III. — Критика и библиография

Абезгауз, Г., Дукор, Г., Ноткин, А. — Некоторые вопросы политической экономии в освещении тов. А. Ф. Кона	214
Кон, А. — Некоторые замечания моих критиков в свете марксовой теории Михайлов, А. — Новая «социология» искусства (по поводу книги Ф. И. Шмита: «Предмет и границы социологического искусствоведения»)	256
Люстерник, Л. — Применение общей геометрии (Геометрия «функционального пространства». О работах Courant'a)	280
	288

НОВЫЕ КНИГИ:

А. ГАЙСТЕР.

РАССЛОЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ.

Предисловие Л. Н. КРИЦМАНА.

Стр. 174. Цена в папке 1 руб. 50 коп.

А. ГАЙСТЕР.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ОТ РЕФОРМЫ 1861 года ДО РЕВОЛЮЦИИ 1905 года.

Стр. 174. Цена в папке 1 руб. 80 коп.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

В ТАБЛИЦАХ СССР И ДИАГРАММАХ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

на 1927 — 28 год и сравнительные данные за 1913, 1914—25, 1925—26 и 1926—27 г.г.

Составил Б. А. ГУХМАН, под редакцией В. Г. ГРОМАНА.

Издание на 60 отдельных карточках карманного формата.

Цена в папке 1 руб. 40 коп.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА ПЯТЬ ЛЕТ с 27/28 по 31/32 г.г.

В ТАБЛИЦАХ И ДИАГРАММАХ.

Издание выпускается на 48 карточках карманного формата.

Составитель М. П. КОХН. Редактор С. Г. СТРУМИЛИН.

Цена в папке 1 руб. 40 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1928 год
НА ЖУРНАЛ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

„ЛИТЕРАТУРА и МАРКСИЗМ“

Выходит 6 книг в год.—Отв. ред. В. М. Фриче.
Журнал выходит под редакцией коллегии Института языка и литературы.

Р а н и о н: В. М. Фриче, П. И. Лебедева-Полянского, В. Ф. Перверзева, И. И. Гливенко, Е. Д. Поливанова, С. С. Динамова.

З а д а ч а ж у р н а л а—разработка вопросов истории и теории литературы с точки зрения марксистской методики.

О т д е л ы ж у р н а л а: 1) Проблема марксистской методологии литературоведения. 2) Поэтика. 3) История литературы. 4) Вопросы современной литературы. 5) Хроника. Обзор научной жизни учреждений, разрабатывающих вопросы литературоведения.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

Центральная
Б Ю Р О на год 5 р.,
на 6 мес. 3 р.,
МЕЖДУНАРОДНОГО Отдельного номера—1 р.
К Р И Г О С Б У Д Л.

Содержание первой книги: В. М. Фриче. „Формально-социологический метод“. Л. Г. Якобсон. „Александр Веселовский и социологическая поэтика“. В. Ф. Перверзев. „Образы нигилиста у Гончарова“. Н. Ф. Бельчиков. „Достоевский и Тургенев“ (критика „Дыма“). В. Г. Совеун. „Варфоломей Зайцев, как литературный критик“. П. Н. Сакулин. „Литературоведение за 10 лет“. И. Г. Шиллер. „Литературоведение на Западе“. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ХРОНИКА.

Подписку направлять: Москва, центр, Рождественка, 4. Госиздат, в магазины и отделения.